

ОСИП
МАНДЕЛЬШТАМ



ЕК

И ЕГО ВРЕМЯ

Мой друг, я шведу велику
 Пожелал на мир вдова
 Звонкий день, молотки, как лавина!
 Так ли жажда в зрачки твои?

~~Детский рот жует свою мякину,
 Улыбается, жуя,
 Слово шугаю, голову закину
 И щегла увижу я.~~

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
 Ниже клюва в краску влиет,
 + добавляет ~~и~~ - до чего щеглы ты,
 До чего ты щеголовит!

И распыляется чернильной довью
 Летит ~~с~~ какими лет.
~~И откажись своему подобью,
 Жить щеглу: вот мой указ!~~

И сад бы выпрыгнуть в небо
 Тела колен и ногей
 Чтоб знойно криские щеглы

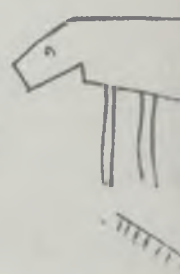
и распыляет в е дупе
 Ты как ало ~~и~~
 Крикам ~~и~~ ~~и~~ ~~и~~
 (Вот щеглы)

Милое, шугаю - best what you've
 In Moscow - Russia

9
 2
 7
 10
 0

Я так же люблю, и ты же любишь
 Я так же люблю, и ты же любишь
 Я так же люблю, и ты же любишь
 Я так же люблю, и ты же любишь

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10



КОНСЕРВАТОРИИ

Воскресенье, 26-го сентября

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРЪ ПОЭТОВЪ

О. МАНДЕЛЬШТАМА

И. ЭРЕНБУРГА

- I. Гр. Рабиндранат Тагор - Стихотворения - Ст. 1-10
 II. И. Эренбург - Искусство Стиха и Новая Поэзия - Стихи из книги "Новая Зора" - Ст. 11-20

Годулант ала: ва. В. В. В. В.

Иа, баянана аламан аламан

Конданабан алаба манан

Ала ала яла яла яла - яла яла
 Ман аламан аламан аламан аламан

А) Баянана баян яла яла яла яла
 И конданабан аламан аламан аламан

Манан аламан аламан аламан аламан
 Уа ала ман, ман аламан, ман
 Уа аламан аламан аламан аламан
 Уа аламан аламан аламан аламан

И аламан аламан аламан аламан
 А, аламан аламан аламан аламан
 Аламан аламан аламан аламан
 Аламан аламан аламан аламан

Манан аламан аламан аламан аламан
 Манан аламан аламан аламан аламан
 Аламан аламан аламан аламан
 Аламан аламан аламан аламан

**О СИП МАНДЕЛЬШТАМ
И ЕГО ВРЕМЯ**



A. J. Mandelbush

ОСИП
МАНДЕЛЬШТАМ
И ЕГО ВРЕМЯ

Москва
«L'Age d'Homme • Наш дом»
1995

**ББК 84Р7
М23**

**Составители, авторы комментария
Е. Нечепорук и В. Крейд
Предисловие В. Крейда
Послесловие Е. Нечепорука
Художник Р. Сайфулин
Редактор Г. Дзюбенко**

М23 **Осип Манделъштам и его время / Сост., авт. предисл. и послесл. В. Крейд и Е. Нечепорук. — М.: «L'Age d'Homme — Наш дом», 1995. — 480 с.: ил. — (Художник и его время).**

Первый сборник воспоминаний, посвященный крупнейшему русскому поэту Осипу Эмильевичу Манделъштаму (1891—1938), составили мемуары Анны Ахматовой, Георгия Иванова, Александра Блока, Зинаиды Гипшиус, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Ирины Одоевцевой, Георгия Адамовича, Виктора Шкловского, Корнея Чуковского, Михаила Слонимского и многих других.

Книга располагает обстоятельным справочным материалом.

Сборник открывает новую серию издательства «Художник и его время».

ISBN 5-8398-0358-8

ББК 84Р7

© Состав, предисловие, послесловие, комментарий, художественное оформление издательство «L'Age d'Homme — Наш дом», 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
<i>В.Крейд</i> . Личность Осипа Манделъштама и ее воплощение в мемуарной литературе	7
Анна Ахматова. Листки из дневника	18
Михаил Карпович. Мое знакомство с Манделъштамом	40
Сергей Маковский. Осип Манделъштам (фрагмент)	44
Александр Блок. Дневники (фрагменты)	61
Надежда Павлович. Воспоминания	63
Константин Мочульский. О. Э. Манделъштам	65
Зинаида Гиппиус. Одержимый (фрагмент)	69
Георгий Иванов. Петербургские зимы. Глава X	70
Китайские тени (фрагменты)	81
Марина Цветаева. История одного посвящения	90
Владимир Пяст. Встречи (фрагменты)	105
Виктор Шкловский. В Доме Искусств	109
Юрий Терапиано. Встречи (фрагмент)	110
Максимилиан Волошин. Воспоминания	113
Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь (фрагмент)	118
Николо Миццишвили. Пережитое (фрагмент)	134
Нина Табидзе. Память	135
Колау Надирадзе. Воспоминания	136
Михаил Булгаков. Записки на манжетах (фрагмент)	137
Ирина Одоевцева. На берегах Невы (фрагменты)	138
Георгий Адамович. Мои встречи	184
Несколько слов о Манделъштаме	186
Артур Лурье. Осип Манделъштам	196
Михаил Слонимский. Книга воспоминаний (фрагмент)	197
Корней Чуковский. Мастер	199
Михаил Пришвин. Сопка Маира	206
Эмилий Миндлин. Осип Манделъштам	211
Елена Тагер. О Манделъштаме	227
Рюрик Ивнев. Осип Манделъштам	245
Разговор в Трехпрудном	253
Николай Чуковский. Встречи с Манделъштамом	256
Всеволод Рождественский. Страницы жизни (фрагмент)	265
Вениамин Каверин. Встречи с Манделъштамом	268
Валентин Катаев. Встреча Манделъштама с Маяковским	273
Лидия Гинзбург. Из старых записей	275

Эмма Герштейн. Слушая Мандельштама	277
Борис Кузин. Об О. Э. Мандельштаме (в сокращении)	282
Семен Липкин. Угль, пылающий огнем	294
Елена Осмеркина-Гальперина. Мои встречи (фрагменты) . . .	312
Надежда Мандельштам. Воспоминания (фрагменты).	315
Наталья Штемпель. Мандельштам в Воронеже	369
Надежда Мандельштам. Дата смерти	391
Последние сведения об обстоятельствах гибели О.Э.Мандельштама (по материалам газеты "Известия") :	
Найдена могила Мандельштама	402
Юрий Моисеенко. Как умирал Осип Мандельштам	403
<i>Е. Нечепорук</i> . Поэт в памяти современников	405
Комментарий. <i>В. Крейд, Е. Нечепорук</i>	416
Указатель имен и названий	456
Указатель произведений О.Мандельштама	475

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга, лежащая сейчас перед вами, — первый сборник воспоминаний о крупнейшем русском поэте Осипе Эмильевиче Мандельштаме (1891—1938). Среди его участников — многие выдающиеся деятели русской культуры: Анна Ахматова и Георгий Иванов, Александр Блок и Зинаида Гиппиус, Марина Цветаева и Виктор Шкловский, Максимилиан Волошин и Илья Эренбург, Ирина Одоевцева и Георгий Адамович, Корней Чуковский и Михаил Слонимский, Вениамин Каверин и Семен Липкин, Лидия Гинзбург и Эмма Герштейн... И, конечно же, Надежда Мандельштам, жена и друг поэта, хранительница памяти о нем...

Воспоминания, составившие настоящий сборник, печатались — порознь — в зарубежной периодике или в мемуарных книгах их авторов. Но в рамках единого сборника, «под одной крышей», они сведены впервые. Первоначально эта книга готовилась к 100-летию со дня рождения поэта, однако выпустить ее удастся лишь сейчас. Издание осуществляется по пленкам, подготовленным еще в 1991 году, поэтому в нем, к сожалению, не удалось учесть некоторые изменения в биографиях его участников. Прежде всего это относится к «Указателю имен и названий», в котором отсутствуют даты кончины Л. Н. Гумилева, возвращения А. И. Солженицына в Россию и т. п.

У сборника два составителя: литературовед, профессор Симферопольского университета Евгений Нечепорук, и наш бывший соотечественник, ныне профессор славистики Айовского университета, поэт, критик Вадим Крейд. Каждый из составителей представил свой вариант рукописи, и это не совсем привычное обстоятельство оказалось в данном случае неожиданно плодотворным, позволило свести воедино тексты, известные по отечественной периодике, с теми, которые публиковались в зарубежных изданиях и в некоторых случаях приходят к нашему читателю впервые.

В книге представлены воспоминания людей разных поколений, принадлежащих к различным литературным группам, подчас разных идеологических воззрений, разных индивидуальностей — творческих и просто человеческих. Естественно, их мемуары не только дополняют и подкрепляют друг друга, но и спорят, а порой и не стыкуются друг с другом. Составителей и издательство это не испугало. Напротив, так создается скрытая внутренняя «драматургия» сборника. Мандельштам, увиденный и воссозданный разными людьми по-разному, предстает перед читателем более объемно, стереоскопично, «чуждачества» поэта не скрываются, но это лишь подчеркивает то, что, по меткому замечанию М. Волошина, Мандельштам был нелеп, как «настоящий поэт».

Мемуары располагаются в хронологической последовательности судьбы поэта — от начала жизни и творческой деятельности (воспоминания А. Ахматовой, С. Маковского, Г. Иванова, И. Одоевцевой и др.) до ссылки в Воронеж и трагического финала (воспоминания Н. Штемпель, Н. Мандельштам), финала судьбы человека, которому «на плечи кидается век-волкодав», но человек — «не волк... по крови своей», и Слово — его единственное прибежище и спасение.

ЛИЧНОСТЬ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Во всем, что написал Осип Манделъштам, чувствуется его личность, его можно сказать — архетипная судьба, его богатейший внутренний мир. Этот человек, казавшийся в иных житейских обстоятельствах самым заурядным, горел неугасимым огнем поэзии. Ей он приносил в жертву всего себя. С точки зрения людей, видевших в подлинной поэзии метафизический смысл, Манделъштам прожил прекрасную жизнь, оставив в наследие лучшую часть себя в своих стихах, которые истинные ценители поэзии часто называли гениальными. С точки зрения людей, от поэзии далеких, Манделъштам мог показаться суетным, смешным, беспомощным. Но при любом отношении — перед нами имя, которое вошло в пантеон мировой культуры. Творчество этого человека, имевшего твердую, почти религиозную веру в культуру, в высшей степени окрашено его личностью. Его произведения и его личность настолько едины, что без знания одного остается не вполне понятным другое.

Лучший ключ к этой личности — мемуарная литература, к удивлению нашему, сравнительно немногочисленная, если учесть ту творческую, обновляющую мощь, с которой Манделъштам вошел в литературу.

Осип Эмильевич Манделъштам родился в Варшаве в ночь с 14 на 15 января 1891 г. Но не Варшаву, а другую европейскую столицу — Петербург, считал он своим городом — "родимым до слез". Варшава не была родным городом и для отца поэта, Эмилия Вениаминовича Манделъштама, далекого от преуспеяния купца, то и дело ожидавшего, что его кожевенное дело вот-вот кончится банкротством. Курляндский еврей, далекий от религиозных интересов, но зато живо интересующийся философией Просвещения, Эмилий Вениаминович не прижился в Варшаве. Осенью 1894 г. семья переехала в Петербург. Впрочем, раннее детство поэта прошло не в самой столице, а в 30 километрах от нее — в Павловске. Об этой пригородной резиденции русских царей Манделъштам впоследствии вспоминал как "о городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов и чахоточных педагогов".

Воспитанием сыновей занималась мать, урожденная Флора Вербловская, выросшая в еврейской русскоязычной семье, не чуждая традиционных для русской интеллигенции интересов к литературе и искусству. Интеллигентность родителей, впрочем, не следует переоценивать. Сам Манделъштам, вспоминая детст-

во, писал о "среднемецанской квартире", в которой он слышал деловые разговоры отца с приходящими к нему коммерсантами. Во всяком случае, у родителей хватило мудрости отдать своего созерцательного и впечатлительного старшего сына в одно из лучших в Петербурге учебных заведений — Тенишевское училище. Эта мужская частная школа не напрасно имела репутацию прогрессивной. Программа сочетала интеллектуальное образование с гражданским и преследовала цель сбалансировать нравственное и физическое воспитание. Один из наших мемуаристов замечает, что среди тенишевцев не было, пожалуй, воспитанника, который не интересовался бы литературой и не писал стихи. Программа предусматривала изучение русской и всеобщей истории, теологии, литературы, географии, ботаники, зоологии и физиологии, законовещения, политической экономии, гражданского и торгового права, товароведения, коммерческой географии, рисования, геологии, космографии, физики, арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии, счетоводства, истории торговли. За семь лет обучения ученики приобретали большой объем знаний, чем дает в среднем современный четырехлетний колледж.

Среди выпускников училища Мандельштам — не единственная знаменитость. Назовем, по крайней мере, еще одного писателя, известного за пределами своей родины даже более, чем Мандельштам, — Владимира Набокова. Но для биографии Мандельштама более существенно упомянуть имя его учителя литературы — поэта-модерниста, первого русского декадента, зачинателя этого литературного движения в России — Владимира Гиппиуса. "Благодаря ему Мандельштам, — писала его вдова, — еще в школьные годы научился горячо и пристально относиться к русской литературе и особенно к поэзии. Не будь этого, ему было бы гораздо труднее определить свое место, найти единомышленников и, следовательно, себя".

Через Гиппиуса Мандельштам знакомится с творчеством ранних русских символистов — И.Коновского и А.Добролюбова. И это знакомство сберегло ему, возможно, годы плутаний и неуверенности. Для него в особенности важно было последнее — уверенность в правоте своего художественного и жизненного пути. К идее правоты художника он возвращался особенно часто.

В старших классах училища, кроме интереса к литературе, развился у Мандельштама еще один интерес, которому суждено было оказаться побочным, но все же в нем проявились горячий темперамент и сложная личность юноши. Не забудем, что годы формирования этой личности пришлись на годы первой русской революции. Нет ничего удивительного, что под влиянием общественных настроений, проникавших и в классные комнаты, молодой человек пробует читать "Капитал", изучает "Эрфуртскую программу" и произносит пылкие речи на массовках. Все это могло кончиться скверно. Пытаясь вступить в террористическую организацию социалистов-революционеров, он в свои шестнад-

цать лет еще не сознавал, что одной ногой уже шагнул в пропасть. Спасла скорее случайность: в террористы его не приняли по молодости лет. Позднее Мандельштам шутил над своими ранними политическими увлечениями. Но само увлечение, хотя и кратковременное, было нешуточным.

По окончании Тенишевского училища Мандельштам осенью 1907 г. едет в Париж — Мекку молодых артистически настроенных интеллектуалов. Подобный же путь раньше проделал и Николай Гумилев — поэт, который более чем кто-либо другой повлиял на литературную судьбу Мандельштама. Как и Гумилев, Мандельштам рано начал писать стихи, рано увлекся русским и французским модернизмом, рано и столь же кратковременно пристрастился к марксизму, столь же пылко проповедовал свои незрелые социалистические идеалы вполне неподготовленной аудитории и так же, как и Гумилев, едва окончив гимназию, отправился в Париж слушать лекции в Сорбонне. Именно в Париже два молодых поэта и познакомились. Но тогда из этого знакомства решительно ничего не последовало. Понадобилась новая встреча через несколько лет в Петербурге, оказавшаяся чрезвычайно важной для обоих поэтов, чтобы из этой встречи получились результаты важные не только для них, но и для истории русской литературы XX столетия.

В Париже, освобожденный от родительской опеки и от обязанности ежедневного посещения училища, Мандельштам ведет тот образ жизни, который остался характерным для него до конца. Это нежелание оседлости вскоре проявило себя в том, что, прожив в Париже немногим более полугода, он возвращается в Петербург. Здесь истинной удачей для него было посещение так называемой "Башни" Вячеслава Иванова — знаменитого салона, где сосредоточилась в лице наилучших своих представителей литературная, артистическая, философская и даже мистическая жизнь столицы империи. Для начинающего поэта эта среда была гораздо лучшим университетом, чем Сорбонна. Не будь "Башни", Мандельштам не созрел бы так рано и был бы, вероятно, не совсем тем поэтом, каким мы его знаем. В течение всего двадцатого века богатая интеллектуальными и художественными кружками Россия не знала кружка, в котором бы с такой интенсивностью кипела творческая жизнь. Несомненно, что для Мандельштама посещения "Башни" оказались решающими в формировании его личности. Но не только личность — самый талант получил оформление в этой среде. Весной 1909 г. Мандельштам посещает только что организованную на "Башне" по инициативе Гумилева Поэтическую академию. Здесь Вячеслав Иванов читал курс по поэтике, и здесь же Мандельштам мог познакомиться с молодыми поэтами, ставшими спутниками его жизни.

Летом он опять уезжает из Петербурга в Западную Европу и с осени посещает лекции в знаменитом Гейдельбергском университете, где занимается старофранцузским языком. Специа-

лизация оказалась провиденциальной как для самого Мандельштама, так и для того литературного течения, к которому он вскоре примкнет. Мы говорим об акмеизме.

В Гейдельберге Мандельштам провел только два семестра. Затем следуют многочисленные поездки — в Швейцарию, Италию, Петербург, Финляндию, Германию, снова в Петербург. Описание именно этого возвращения в Петербург осенью 1910 г. мы находим в ярких воспоминаниях Г.Иванова: "Никто его не встречал, багажа у него не было, — единственный чемодан он потерял в дороге. Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой руке он держал бутерброд... В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть".

В то время, когда летом 1910 г. Мандельштам жил в Целендорфе под Берлином, петербургский журнал "Аполлон" напечатал пять его стихотворений. Эта публикация была его литературным дебютом. О впечатлении, производимом стихами, писал в своих воспоминаниях Г.Иванов: "Я прочел несколько "качающихся", туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: почему это не я написал! ...Стихи были удивительные. Они прежде всего удивительны".

Сам факт первой публикации именно в "Аполлоне", культурнейшем русском журнале, собравшем лучшие литературные силы, является многозначительным в биографии Мандельштама. Уже первая публикация способствовала его литературной известности, хотя бы и в относительно узком кругу ценителей модернистской поэзии. Обратим внимание и на то обстоятельство, что литературный дебют состоялся в год кризиса символизма, когда наиболее чуткие из поэтов чувствовали в атмосфере эпохи "новый трепет". Этот новый трепет теперь, ретроспективно, может быть назван протоакмеизмом, — первыми подступами к акмеистическому направлению в поэзии. В символистических стихах Мандельштама, напечатанных в "Аполлоне", уже угадывается будущий акмеизм. Но понадобилось еще полтора года, чтобы в своих основных чертах эта школа полностью сложилась.

Одним из этапов становления школы было знакомство с Ахматовой, перешедшее в дружбу, длившуюся на протяжении всей жизни Мандельштама. Наиболее же решающим шагом на пути строительства новой литературной школы было создание Гумилевым Цеха поэтов — кружка молодых модернистов, объединившихся для совместного поиска новых путей в поэзии. Со времени возникновения кружка Мандельштам стал едва ли не самым активным его участником. Цех поэтов для формирова-

ния творческой личности Мандельштама оказался катализатором, ускорившим окончательное созревание его таланта. "Странно сказать, — вспоминал Г.Иванов, — почти все лучшие, кристально-просветленные, неподражаемые стихи Мандельштама написаны как бы немного по внушению цеховому, вернее гумилевскому. Мандельштам подчинялся акмеистической дисциплине, принимая ее как некое монастырское послушание..."

Время, предшествующее выходу первой книги поэта ("Камень", 1913), возможно, счастливейшее в его жизни и вместе с тем предельно насыщенное впечатлениями, событиями, значительными встречами. Участие в Цехе поэтов и в редакционной работе журнала "Гиперборей", лекции и семинары на романо-германском отделении Петербургского университета, созидательная работа по утверждению акмеизма, переживавшего свой период *Sturm und Drang*, и вместе с этим настолько частые ночные посещения артистического кабаре "Бродячая собака", что свидетель этих посещений мемуарист В.Пяст писал о фейерверке общений в этом кабачке, становящихся "абerrацией мировоззрения".

"Камень" вышел на пике этой активности. Этому маленькому сборнику (25 стихотворений) суждено было оказаться одним из поистине выдающихся достижений русской поэзии. В ранних стихах Мандельштама-символиста Н.Гумилев отмечал хрупкость вполне выверенных ритмов, чутье к стилю, кружевную композицию, но более всего Музыку, которой поэт готов принести в жертву даже саму поэзию. Такая же готовность идти до конца в раз принятом решении видна и в акмеистических стихах "Камня". "Здания он любит так же, — писал Гумилев, — как другие поэты любят горы или море. Он подробно описывает их, находит параллели между ними и собой, на основании их линий строит мировые теории. Мне кажется, это самый удачный подход..." Впрочем, за этой удачей видны прирожденные свойства поэта: его грандиозное жизнелюбие, обостренное чувство меры, одержимость поэтическим словом.

Как и большинство русских поэтов, Мандельштам откликнулся в стихах на военные события 1914—1918 гг. Иначе и не могло быть: историческое сознание всегда составляло фундамент его мировоззрения. Но в отличие от Гумилева, видевшего в мировой войне мистирию духа и пошедшего на фронт добровольцем, Мандельштам видел в войне несчастье. От службы он был освобожден по болезни (астенический синдром). О своем отношении к войне он со всей определенностью сказал одному из наших мемуаристов: "Мой камень не для этой пращи. Я не готовился питаться кровью. Я не готовил себя на пушечное мясо. Война ведется помимо меня".

Напротив, революция в нем и как в человеке, и как в поэте вызвала грандиозный энтузиазм — вплоть до потери умственно-го равновесия, как замечает мемуарист. В дни Октябрьского

переворота Мандельштам оставался в Петрограде, но прямых свидетельств об этом времени сохранилось мало. О подробностях могла рассказать А.Ахматова, но в ее воспоминаниях о революционной зиме 1917—1918 гг. мы находим лишь несколько сдержанных слов: "Мандельштам часто заходил за мной, и мы ездили на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню". Революционной эйфории Мандельштам поддавался недолго. С марта 1918 г. он живет в Москве, куда переехало новое "коалиционное" правительство. Мандельштам знакомится со многими видными деятелями новой власти, заведует секцией в большевистском Наркомпросе. "Революция была для него огромным событием" — вспоминала Ахматова. Но эта огромность событий вскоре проявилась в реках крови и гекатомбах трупов, а Мандельштам с юных лет стал убежденным противником террора.

Кульминационным событием его жизни было столкновение с чекистом Яковом Блюмкиным, описанное в воспоминаниях Г.Иванова. Вдова Мандельштама называла это описание "приукрашенным", но никакими лучшими мы не располагаем. очевидцы этого героического поступка, совершенного Мандельштамом, обо всем виденном трусливо промолчали. Склонный к драматическим эффектам Блюмкин расхвастался своей неограниченной властью над жизнью и смертью сотен людей и в доказательство вынул пачку ордеров на арест, заранее подписанных шефом чека Дзержинским. Стоило Блюмкину вписать в ордер любое имя, как жизнь ни о чем не подозревавшего человека была решена. "И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски". В этом поступке весь Мандельштам — и человек, и поэт. К столкновению, которое произошло в начале июля, Мандельштам был подготовлен и психологически (вера в культуру и гуманистические идеалы), и философски (о чем свидетельствует написанное весной 1918 г. стихотворение "Сумерки свободы"). Об аналогичном событии, хотя и далеко не столь драматическом, рассказал в своих мемуарах Г.Адамович. Все, связанное с этим воспоминанием, — пишет он, — осталось памятным навсегда — "в качестве примера, как надо жить, что такое человек".

Годы гражданской войны проходят для Мандельштама в разъездах. Около месяца живет он в Харькове; в апреле 1919 г. приезжает в Киев. Здесь же, в Киеве, с ним встречался поэт Ю.Терапиано, оставивший об этих встречах свои воспоминания. Знакомство произошло в "Хламе", в артистическом кафе. "Я заметил единственного, кроме меня, посетителя. Невысокий человек... с рыжеватыми волосами и лысинкой, бритый, сидя за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внима-

ния на принесенную ему чашку кофе. Поэт, — решил я, — но кто?” Тот же Терапиано рассказал, к сожалению, почти без каких-либо подробностей, как Мандельштам был арестован контрразведкой Добровольческой Армии. Это был первый из многих арестов. ”Век-волкодав”, как Мандельштам назвал свою бесчеловечную эпоху, с тех пор все годы ходил за ним по пятам. На этот раз Мандельштама выручили из-под ареста поэты-киевляне и посадили его в поезд, идущий в Крым.

Здесь он провел около года — время, освещенное мемуаристами наиболее подробно. Сначала он жил в гостеприимном доме поэта и художника М. Волошина, который не раз повторял, говоря о Мандельштаме, что он нелеп, как настоящий поэт. Одно время, живя в Крыму, Мандельштам работал на виноградниках, но большей частью средства к существованию зарабатывал поэзией. Феодосийские негоцианты в этом ”дервише” с севера чувствовали, по словам мемуариста Э. Миндлина, своего национального поэта, ”давали ему малые толики денег и почтительно слушали, как он скандирует стихи”. Здесь же, в Крыму, шел почти непрерывный процесс создания новых стихов. Стихи писались в самых разнообразных обстоятельствах, но, пожалуй, реже всего за письменным столом. ”Вдруг в будничном деловом разговоре, — вспоминал Миндлин, — в просьбу о деньгах или жалобу на кого-нибудь врывается еще в испуге дрожащая новорожденная строка”. В Крыму Мандельштам был опять арестован — столь же необоснованно и случайно, как и первый раз, однако с той разницей, что теперь его арестовала врангельская разведка. Далекий от власти имущих любой масти, нищий и державшийся независимо, Мандельштам вызывал недоверие и подозрительность со стороны любых властей. И на этот раз, как еще недавно в Киеве, помогли хлопоты друзей, в частности Волошина. Мандельштам был отпущен и, гонимый своей беспощадной судьбой, уехал на Кавказ.

Первой остановкой был портовый город Батуми. Здесь, — рассказывает И. Эренбург, — опасались эпидемии чумы. ”Мандельштам гадал, от чего умрет: от романтической чумы или вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму”. Итак, еще один арест по подозрению в шпионаже. В батумской газете была напечатана статья, в которой говорилось о Мандельштаме как о ”двойном агенте”. В тюрьме он сидел недолго: опять помогло вмешательство друзей-поэтов.

Из Тифлиса вместе с Эренбургом Мандельштам пробирается в Россию. Следует короткая остановка в Москве, и, наконец, после долгого отсутствия Мандельштам возвращается в Петроград. Об этом четырехмесячном пребывании в родном городе — с октября 1920 г. по март 1921 г. — написано сравнительно много воспоминаний, тем более важных для историка литературы, что для самого Мандельштама и его ближайшего окружения это время оказалось переломным.

”Это был человек с душой бродяги в самом высоком смысле этого слова и poete maudit par excellence”, — писала о нем Ахматова. Гумилев в свою последнюю встречу с Мандельштамом предсказывал ему, что он ”сломает шею”, если не останется в своем родном Петрограде. Но его постоянно тянуло к незнакомым местам и в особенности к морю и югу. Ко времени отъезда из Петрограда уже был закончен второй сборник стихотворений “Tristia” — книга, которая со временем принесла ее автору мировую известность.

”Tristia” вышли в Берлине в 1922 г., советское переиздание (дополненное) под названием ”Вторая книга” — годом позднее. К этому времени уже женившийся на Надежде Хазиной, Мандельштам снова побывал в Тифлисе, Баку, Батуми, Сухуми, Ростове, Харькове, печатался в периодических изданиях, переводил с французского, английского и немецкого. В 1923 г. вышло новое, дополненное издание ”Камня” с подзаголовком ”Первая книга стихов”. Этот год в биографии Мандельштама значителен также и тем, что он начал писать прозу (”Шум времени”).

В двадцатые годы на московском Парнасе он занимает одно из виднейших мест, его считают мэтром. Эта репутация еще больше упрочивается после выхода в 1928 г. его последнего прижизненного сборника — ”Стихотворения”. ”Люди большой литературной культуры, — пишет в своих воспоминаниях Е. Тагер, — говорили о Мандельштаме, не боясь слова ”гениальность”, называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели... повторяли анекдоты насчет его заносчивости, неуживчивости и даже неменяемости”.

Во второй половине двадцатых годов Мандельштам переживал настоящий творческий кризис. Издавал детские книги, работал над переводами и над собственно прозой, но все же сознавал, что как бы впал в немоту, ибо не делал главного дела своей жизни — перестал писать стихи. Молчание оказалось затяжным — до осени 1930 г. А между тем кончалась эпоха нэпа. Суровое время ожесточалось еще больше. От Мандельштама ждали, что он ”перестроится”, станет созвучным эпохе, изменит себе. Его называли ”бывшим” поэтом и в центральных периодических журналах печатали все реже.

Два события 1928 г. не могут быть опущены даже в краткой биографии Мандельштама. Первое имело место весной, когда он заступился, пользуясь своими знакомствами в высоких кругах, за группу банковских служащих, которым грозила смертная казнь. Государство за десять лет существования уже приобрело грандиозный опыт убийств своих граждан. Казни по подозрению, без доказательства виновности теперь никого не удивляли. Мандельштам был из тех, кто не смог смириться с государством-убийцей. Его заступничество за людей, с которыми он даже никогда не встречался, вызывало у знакомых недоуменное

пожатие плечами. Осенью того же года Мандельштам оказался жертвой обвинения в литературном пиратстве. Горнфельд — переводчик "Легенды о Тиле Уленшпигеле" Ш. Де Костера — опубликовал открытое письмо, обвинявшее Мандельштама в плагиате. Как выяснилось, ошибка произошла по вине не поэта, а издательства. Однако Мандельштаму это испортило немало крови.

Летом 1930 г. он отправился в Армению. Поездка, по словам Надежды Мандельштам, пробудила в поэте "одну из самых глубоких струй его историософского сознания". Именно в Армении окончился период молчания, он снова начал писать стихи. Об этом затянувшемся периоде без поэтического вдохновения сам Мандельштам говорит как о сне "без облика и склада". Толчком к началу нового периода творчества послужило знакомство в Ереване с ученым-биологом Б.Кузиным. Знакомство перешло в дружбу, значение которой Мандельштам определил в строке: "Я дружбой был как выстрелом разбужен". Приезд в Армению был для Мандельштама возвратом к историческим источникам культуры. Цикл стихотворений "Армения" вскоре был напечатан в московском журнале "Новый мир". О впечатлении, производимом стихами, писала Е.Тагер, слышавшая их в чтении самого Мандельштама: "Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и свете".

Жизнь была наполнена до предела, хотя все тридцатые годы это была жизнь на грани нищеты. В воспоминаниях вдовы Мандельштама находим загадочное свидетельство о том, что возвращение к стихам привело поэта к чувству единения с миром и людьми. "Это было блаженное чувство, и нам чудесно жилось", — писала Надежда Мандельштам. С другой стороны, мы находим прямо противоположные свидетельства других мемуаристов о том, что поэт становился неузнаваем: седая щетина на дряблых щеках, глубокие впадины под глазами. Он часто находился в нервном, взвинченном состоянии, понимая, что принадлежит другому веку, что в этом обществе доносов и убийств он настоящий отщепенец. "Он опускался страстно", — писала хорошо его знавшая Э.Герштейн.

Как видим, мнения взаимоисключающие, но обе стороны свидетельствуют достоверно: Мандельштам был одной из противоречивейших фигур во всей истории русской литературы. Поэзия, которая со времени путешествия в Армению и до самой смерти не покидала его, была полифоничной и неистовой. Поэзия поддерживала его и несла чувство блаженства и единения с миром. Но там, где кончалась поэзия, начиналась действительность, ежедневно напоминавшая ему, что он очутился среди чужого племени. Он жил в постоянном нервном напряжении: писал стихотворения одно лучше другого — и испытывал острый кризис во всех аспектах своей жизни, кроме самого творчества.

Во внешней жизни один конфликт следовал за другим. Летом 1932 г. живший по соседству писатель Сергей Бородин оскорбил жену Мандельштама. Мандельштам написал жалобу в Союз писателей. Состоявшийся суд чести вынес решение, которое Мандельштама не могло удовлетворить. Конфликт долго оставался неизжитым. Весной 1934 г., встретив в издательстве писателя Алексея Толстого, под председательством которого проходил "суд чести", Мандельштам дал ему пощечину со словами: "Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены".

В мае 1934 г. его арестовали за антисталинскую, гневную, саркастическую эпиграмму, которую он неосторожно читал своим многочисленным знакомым.

Нервный, истощенный, на следствии он держался очень нестойко и назвал имена тех, кому читал эти стихи о Сталине, сознавая, что ставит невинных людей в опасное положение. Вскоре последовал приговор: три года ссылки в Чердынь. Он жил здесь с сознанием, что в любой момент за ним могут прийти и увести на расстрел. Страдая галлюцинациями, в ожидании казни, он выбросился из окна, расшибся и сломал плечо. Подробности этих дней находим в воспоминаниях А.Ахматовой: "Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом позвонил Пастернаку: "Если бы мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти". Неизвестно, кто повлиял на Сталина — может быть, Бухарин, написавший ему: "Поэты всегда правы, история за них". Во всяком случае, участь Мандельштама была облегчена: ему позволили переехать из Чердыни в Воронеж, где он провел около трех лет.

Воронежский период характеризуется необыкновенным подъемом творческой энергии. А.Ахматова говорила, что простор, широта, глубокое дыхание проявились именно в стихах воронежского цикла. Контраст художественных достижений и повседневности в этот период разителен. "Простор" — в стихах поэта, который в это время начал страдать патологической боязнью пространства, так что не мог ходить один. "Широта" — в голосе и эстетических концепциях у поэта, которого допекали мелкие заботы, квартирные проблемы, безденежье. "Глубокое дыхание" — в строфах, написанных человеком, который сам о себе говорил: "Я изломан". Он действительно был болен физически и душевно, а мнительность заставляла его ставить себе новые и новые диагнозы. Зато в дни просветления это был один из культурнейших и интереснейших собеседников, каких только можно было найти в целом поколении. В местном отделении Союза писателей отношение к нему было негативным. Это пренебрежение великим поэтом было отнюдь не местного происхождения. Оно диктовалось сверху, как и самим психологическим климатом эпохи большого террора. "Меня не принимает советская действительность", — сказал Мандельштам в разгово-

ре со своим биографом С.Рудаковым. Кроме большого количества обессмертивших его имя стихотворений воронежского цикла, здесь Мандельштам, словно предчувствуя скорую смерть, предпринял пересмотр своей поэтической работы за три предшествующих десятилетия.

В мае 1937 г. срок ссылки кончился. Мандельштам уезжал из Воронежа, полный радужных надежд. По приезде в Москву строил планы на будущее, радовался жизни. Но уже через несколько дней столкнулся с московскими порядками: из-за судимости по знаменитой 58-й статье в столице ему оставаться не разрешили — не позволили поселиться в своей собственной квартире. Он прожил в Москве лишь две-три недели, окруженный сыщиками и страдая припадками стенокардии. В начале июня гонимый поэт со своей женой поселился в Савелово, поселке на Волге. Он не мог знать, что ему остался только один год бродяжнической жизни да чуть более полугода в аду сталинских тюрем, этапов и транзитных лагерей.

В последний год жизни на свободе Мандельштам часто ездил в Москву, пытался достать какую-нибудь работу, но все двери для него уже были закрыты. "Нам не на что было жить, — вспоминала об этом времени Надежда Мандельштам, — и мы вынуждены были ходить по людям и просить помощи". Дважды им удалось съездить в Ленинград. "Время было апокалипсическое, — писала А.Ахматова о своей последней встрече. — Беда ходила по пятам за всеми нами... Осип плохо дышал, ловил воздух губами... Все было как в страшном сне".

В марте 1938 г. с помощью Литературного фонда Мандельштам получил путевку в дом отдыха. Он взял с собой книги — Данте, Пушкина, Хлебникова. Жилось ему там спокойно: чтение, прогулки на лыжах. Временами возникала иллюзия, что худшие времена позади. Утром 2 мая его разбудил тихий, как бы робкий стук в дверь. Мандельштам отворил, на пороге стояли двое в военной форме. Предъявили ордер на арест...

С этого раннего часа 2 мая 1938 г. и до конца декабря достоверных сведений о Мандельштаме чрезвычайно мало. Приговоренный к отбыванию наказания в концлагерях "за контрреволюцию", он был отправлен в тюремном вагоне на Дальний Восток. В единственном дошедшем из транзитного лагеря под Владивостоком его письме сказано: "Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но послать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки".

Вадим Крейд

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

...28 июля 1957 г.

1

⟨ ... ⟩ Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названия которому сейчас не подберу, но, несомненно, близкий к творчеству. (Пример – Петербург в "Шуме времени", увиденный сияющими глазами пятилетнего ребенка.)

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью Осип Эмильевич выучивал языки. "Божественную комедию" читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например к Блоку. О Пастернаке говорил: "Я так много думал о нем, что даже устал" и "Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки". О Марине: "Я – антицветаевец".

В музыке (Осип) был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты. Называл ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо. Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки, легко запоминая прочитанное ему. Например:

На грязь горячую от топота коней
Ложится белая одежда брата-снега...

Я помню это только с его голоса. Чье это?

Любил говорить про то, что называл своим "истуканством". Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки. Например, стих Малларме "La jeune mère allaitant son enfant"*¹, он будто бы в ранней юности перевел так: "И молодая мать, кормящая со сна". Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на "Тучке" и хохотали до

* Прозаический перевод: "Молодая мать кормит своего дитя" (фр.).

обморочного состояния, как кодатерские девушки в "Улиссе" Джойса.

Я познакомилась с Осипом Манделъштамом на "Башне" Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с пылающими глазами и с ресницами в полщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Старо-Невском, он не узнал меня, и Алексей Николаевич стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя.

Это был мой первый Манделъштам, автор зеленого "Камня" (изд. "Акмэ") с такой надписью: "Анне Ахматовой – вспышки сознания в беспамятстве дней. Почтительно – Авторь".

Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей, хозяин типографии, где печатался "Камень", поздравляя его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: "Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше".

Я вижу его как бы сквозь редкий дым-туман Васильевского острова и в ресторане бывш(ем) "Кинши" (угол Второй линии и Большого проспекта; там теперь парикмахерская), где когда-то, по легенде, Ломоносов пропил казенные часы и куда мы (Гумилев и я) иногда ходили завтракать с "Тучки". Никаких собраний на "Тучке" не бывало и быть не могло. Это была просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было не на чем. Описание файфоклока на "Тучке" (Георгий Иванов, "Поэты") выдуманно от первого до последнего слова. Н. В. Н(едоброво) не переступил порога "Тучки".

Этот Манделъштам – щедрый сотрудник, если не соавтор "Антологии античной глупости", которую члены Цеха поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином: "– Лесбия, где ты была", "Сын Леонида был скуп...".

Странник! Откуда идешь? – Я был в гостях у Шилея.
Дивно живет человек, за обедом кушает гуся,

Кнопки ль коснется рукой, – сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Странник, ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой?

Помнится, это работа Осипа. Зенкевич того же мнения.
Эпиграмма на Осипа:

Пепел на левом плече, и молчи –
Ужас друзей! – Златозуб.

(Это — "Ужас морей — однозуб".)

Это, может быть, даже Гумилев сочинил. Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо, однако на плече обычно нарастала горка пепла.

Может быть, стоит сохранить обрывки сочиненной Цехом пародии на знаменитый сонет Пушкина ("Суровый Дант не презирал сонета") :

Valère Brussoff не презирал сонета,
Венки из них Иванов заплетал,
Размеры их любил супруг Анеты,
Не плоше ль их Волошин лопотал.

И многие пленялись им поэты,
Кузмин его извощиком избрал,
Когда, забыв воланы и ракеты,
Скакал за Блоком, да не доскакал.

Не
пом-
ню

Владимир Нарбут, этот волк заправский,
..... в метафизический сюртук облек,
И для него Зенкевич пренебрег
Алмазными росинками Моравской.

Вот стихи (триолеты) об этих пятницах (кажется, В.В. Гиппиуса) :

1

По пятницам в "Гиперборее"
Расцвет литературных роз
.....
Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
Рукой лаская исполинской
Свое журнальное дитя.

2

У Николая Гумилева
Высоко задрана нога,
Для романтического сева

Разбрасывая жемчуга.
Пусть в Царском громко плачет Лева,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

3

Печальным взором и манящим
Глядит Ахматова на всех.
Был выхухолем настоящим
Ее благоуханный мех.
Глядит в глаза гостей молчащих
.....
.....

4

..... Манделъштам Иосиф
В акмеистическое ландо сев...

Недавно найдены письма Осипа Эмильевича к Вячеславу Иванову (1909). Это письма участника Проакадемии (по "Башне"). Это Манделъштам-символист. Следов того, что Вячеслав Иванов ему отвечал, пока нет. Их писал мальчик 18 лет, но можно поклясться, что автору тех писем – сорок. Там же множество стихов. Они хороши, но в них нет того, что мы называем Манделъштамом.

Воспоминания сестры Аделаиды Герцык утверждают, что Вячеслав Иванов не признавал нас всех. В 1911 году никакого пиетета к Вячеславу Иванову в Манделъштаме не было. Цех бойкотировал "Академию стиха". См., например:

Вячеслав, Чеслав Иванов,
Телом крепкий, как орех,
Академию диванов
Колесом пустил на Цех...

Когда в 191(4) году Вяч. Иванов приехал в Петербург, он был у Сологубов на Разъезжей. (Дата уточнена благодаря помощи Н.В. Котрелева.) Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной подошел ко мне Манделъштам и сказал:

”Мне кажется, что один мэтр — это зрелище величественное, а два — немного смешное”.

В десятых годах мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в ”Гиперборее”, т.е. у Лозинского, в ”Бродячей собаке”, где он, между прочим, представил мне Маяковского. Как-то раз в ”Собаке”, когда все шумно ужинали и гремели посудой, Маяковский вздумал читать стихи. Осип Эмильевич подошел к нему и сказал: ”Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр”. Это было при мне (1912 — 1913). Остроумный Маяковский не нашелся, что ответить, о чем очень потешно рассказывал Харджиеву. (Встречались и) в ”Академии стиха” (Общество ревнителей художественного слова, где царил Вячеслав Иванов), и на враждебных этой Академии собраниях Цеха поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой. Тогда же он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про ”Черного ангела на снегу”. Надя (Н.Я. Мандельштам) утверждает, что оно относится ко мне.

С этим ”Черным ангелом...” дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное. Оно, кажется, никогда не было напечатано. По-видимому, это результат бесед с В.К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще ”не умел” (его выражение) писать стихи ”женщине и о женщине”. ”Черный ангел...”, вероятно, первая проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу растут.

Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал. Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение ”Египтянин”.

Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились в Париже. (См. конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Николай Степанович был напудрен и в цилиндре:

Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.)

Символисты никогда его не приняли.

Приезжал Осип Эмильевич и в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его

конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой головой (1914 ?) — на Алексеевской улице. Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько мне жаловался — еще не умел писать любовные стихи. Второй была Цветаева, к которой были обращены крымские и московские стихи; третьей — Саломея Андроникова (Андреева, теперь Гальперн, которую Мандельштам обессмертил в книге "Tristia" — "Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне...". Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове).

В Варшаву Осип Эмильевич действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М.А.З.), но о попытке самоубийства его, о которой сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слышала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила.

В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александринского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи ("За то, что я руки твои..." и т.д.). Рукописи якобы пропали во время блокады, однако я недавно видела их у Х.

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что, между прочим, и меня) он через много лет назвал "нежными европейками":

И от красавиц тогдашних, — от тех европейок нежных —
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени — "В холодной стокгольмской постели...". Ей же: "Хочешь, валенки сниму...".

В 1933—34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение "Турчанка" (заглавие мое), на мой взгляд, лучшее любовное стихотворение 20 века ("Мастерица виноватых взоров..."). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цветке. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк М.С. знает на память.

Надеюсь, можно не напоминать, что этот донжуанский список не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок.

Дама, которая "через плечо поглядела", — это так называемая Бяка (Вера Артуровна), тогда подруга жизни С.Ю. Судейкина, а ныне супруга Игоря Стравинского.

В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель.

Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.

Архистратиг вошел в иконостас...
В ночной тиши запахло валерьяном.
Архистратиг мне задает вопросы,
К чему тебе косы
И плеч твоих сияющий атлас... —

т.е. пародию на стихи Радловой — он сочинил из веселого зло-вредства, а не *rag dérit** и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: "Архистратиг дошел!", т.е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении.

Десятые годы — время очень важное в творческом пути Мандельштама, и об этом еще будут много думать и писать. (Виллон, Чаадаев, католичество...) О его контакте с группой "Гилея" — смотреть воспоминания Зенкевича.

Мандельштам довольно усердно посещал собрания Цеха, но в зиму 1913—14 (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться Цехом и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мною прошение о закрытии Цеха. Городецкий наложил резолюцию: "Всех повесить, а Ахматову заточить — Малая, 63". Было это в редакции "Северных записок".

Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 г., кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени — о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком. Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон "Крафта" еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи люди любили (главным образом молодежь), почти так же, как сейчас, т.е. в 1964 г.

В Царском, тогда — "Детское имени товарища Урицкого", почти у всех были козы; их почему-то всех звали Тамарами.

Царское в 20-х годах представляло собою нечто невообразимое. Все заборы были сожжены. Над открытыми люками водопровода стояли ржавые кровати из лазаретов Первой войны, улицы заросли травой, гуляли и орали петухи всех цветов... На воротах недавно великолепного дома гр. Стенбок-Фермора красовалась огромная вывеска: Случной пункт. Но на Широкой так же терпко пахли по осеням дубы — свидетели моего детства, и вороны на соборных крестах кричали то же, что я слушала,

* С досады (*фр.*).

идя по соборному скверу в гимназию, и статуи в парках глядели, как в 10-х годах. В оборванных и страшных фигурах я иногда узнавала царскоселов. Гостиный двор был закрыт.

Все каменные циркули да лиры... —
мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал.
И еще потрясающее

В великолепный мрак чужого сада —

самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мной (однако неплохо и "священный сумрак").

НАБРОСОК С НАТУРЫ

Что же касается стихотворения "Вполоборота", история его такова. В январе 1914 г. Пронин устроил большой вечер "Бродячей собаки" не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества "чужих" (т.е. чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бесполоково. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20—30) пошли в "Собаку" на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: "Как вы стояли, как вы читали" и еще что-то про шаль (см. о Мандельштаме в воспоминаниях В.С. Срезневской). Таким же наброском с природы было четверостишие "Черты лица искажены...". Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале (10-е годы). Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки.

О ЦЕХЕ ПОЭТОВ

Собрания Цеха поэтов с ноября 1911 по апрель 1912 (т.е. наш отъезд в Италию): приблизительно 15 собраний (по три в месяц). С октября 1912 по апрель 1913 — приблизительно десять собраний (по два в месяц). (Неплохая пожива для "Трудов и Дней", которыми, кстати сказать, кажется, никто не занимается.) Повестки рассылала я (секретарь?!); Лозинский сделал для меня список адресов членов Цеха. (Этот список я давала японцу Наруми в 30-х годах.) На каждой повестке было изображение лиры. Она же на обложке моего "Вечера", "Дикой порфиры" Зенкевича и "Скифских черепков" Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой.

Гумилев, Городецкий – синдики; Дмитрий Кузьмин-Караев – стряпчий; Анна Ахматова – секретарь; Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, М. Зенкевич, Н. Бруни, Георгий Иванов, Адамович, Вас. Гиппиус, М. Моравская, Елизавета Кузьмина-Карабаева, Чернявский, М. Лозинский. Первое собрание у Городецких на Фонтанке: был Блок, французы... Второе – у Лизы на Манежной площади, потом у нас в Царском (Малая, 63), у Лозинского на Васильевском острове, у Бруни в Академии Художеств. Акмеизм был решен у нас в Царском Селе (Малая, 63).

2

Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом.

(«Душа его была полна всем, что свершилось»).

Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово *н а р о д* не случайно фигурирует в его стихах.

Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917–18 гг., когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9) – не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вячеслава Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны.

Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной Осип Эмильевич на концерте Бутомо-Названовой в Консерватории, где она пела Шуберта (см. «Нам пели Шуберта...»).

К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: «Я не искал в цветущие мгновенья...» (декабрь 1917 г.); ко мне относится странное, отчасти сбывшееся предсказание:

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы –
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

«Твое чудесное произношенье...»

Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия:

1. «Вы хотите быть игрушечной...» (1911 г.).

2. "Черты лица искажены..." (10-е годы).
3. "Привыкают к пчеловоду пчелы..." (30-е годы).
4. "Знакомства нашего на склоне..." (30-е годы).

После некоторых колебаний решаю вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что (это) может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. (Однако тогда все вокруг было так раздрызгано, бесформенно — кто-то исчезал навсегда, кто-то не навсегда, и всем казалось, что они почему-то на периферии — конечно, не в теперешнем значении этого слова, — а центра-то и не было (наблюдение Лозинского), — что исчезновение Осипа Эмилевича меня не удивило.

Осип) М(андельштам) в 3-м З(ачатьевском).

В Москве Мандельштам становится постоянным сотрудником "Знамени труда". Таинственное стихотворение "Телефон", возможно, относится к этому времени:

На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы — телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце — скоро
Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиришественный сон:
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок — и закружились сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой.
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон!

«Москва. Июнь 1918»

Снова и совершенно мельком я видела Мандельштама в Москве в 1918 г. В 1920 году он раз или два приходил ко мне на Сергиевскую (в Петербурге), когда я работала в библиотеке Агрономического института и там жила (особняк кн. Волконского. Там у меня была "казенная" квартира). Тогда я узнала, что в Крыму он был арестован белыми, в Тифлисе — меньшевиками. (В 1920 г. Осип Мандельштам пришел ко мне на Сергиевскую, 7, чтобы сказать о смерти Н.В. Недроброво) в Ялте, в декабре 1919 г. Он узнал об этом несчастье в Коктебеле у Волошина. И н и к о г д а н и к т о больше не мог сообщить мне никаких подробностей. Вот какое было время!).

Летом 1924 года Осип Мандельштам привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену. Надюша была то, что французы называют *laide mais charmante**. С этого дня началась моя дружба с Надюшей, и продолжается она по сей день.

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление.

В 1925 году я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. Осип Эмильевич каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Ваксель, которые я запомнила и так же по секрету записала ("Хочешь, валенки сниму..."). Там он диктовал П.Н. Лукницкому свои воспоминания о Гумилеве.

Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них несколько раз — приезжала кататься на лыжах. Жить они хотели в полуциркуле Большого дворца, но там дымили печки или текли крыши. Таким образом возник Лицей. Жить там Осипу не нравилось. Он люто ненавидел так называемых царскосельских сюсюк, Голлербаха

* Некрасива, но очаровательна (*фр.*).

и Рождественского, и спекуляцию на имени Пушкина.

К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что "Вчерашнее солнце на черных носилках несут..." — Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы). Мою "Последнюю сказку" — статью о "Золотом петушке" — он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: "Прямо — шахматная партия".

Сияло солнце Александра
Сто лет тому назад, сияло всем

(декабрь 1917 г.), —

конечно, тоже Пушкин. (Так он передает мои слова.)

«Вообще же темы "Мандельштам в Царском Селе" — нет и не должно быть. Это был корм не для него».

Была я у Мандельштамов и летом в Китайской Деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для Осипа Эмильевича несколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский и Карамзин. Уверена, (что) он нарочно, приглашая меня вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: "Пойдем в европейскую часть города", будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое. То же подчеркнутое невнимание в строке — "Там улыбаются уланы". В Царском сроду уланов не было, а были гусары, желтые кирасиры и конвой.

В 1928 году Мандельштамы были в Крыму. Вот письмо Осипа от 25 августа (день смерти Н.С. (Гумилева)):

"Дорогая Анна Андреевна,
пишем Вам с П.Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой, хочется видеть Вас. Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется.

В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено. Мы уговорили П.Н. остаться в Ялте, из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам".

Юг и море были ему почти так же необходимы, как Надя.

(На вершок бы мне синего моря
На игольное только ушко...)

Попытки устроиться в Ленинграде были неудачными. Надя не любила все, связанное с этим городом, и тянулась в Москву, где жил ее любимый брат Евгений Яковлевич Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот. В этой биографии поражает одна частности: в то время (в 1933 г.) как Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т.п., к нему в "Европейскую гостиницу" на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962), в Москве Мандельштама никто не хотел знать и, кроме двух-трех молодых ученых-естественников, Осип Эмильевич ни с кем не дружил. (Знакомство с Белым было коктейльского происхождения.) Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их "красавиц-жен". Союзное начальство вело себя подозрительно сдержанно.

Из писателей-современников Мандельштам высоко ценил Бабея и Зоценко. Михаил Михайлович знал это и очень этим гордился. Больше всего Мандельштам почему-то ненавидел Леонова.

Кто-то сказал, что Н. Чуковский написал роман. Осип отнесся к этому недоверчиво. Он сказал, что для романа нужна по крайней мере каторга Достоевского или десятины Льва Толстого. В 30-х годах в Ленинграде Осип Мандельштам, встретив Федина где-то в редакции, сказал ему: "Ваш роман ("Похищение Европы") – голландское какао на резиновой подошве, а резина-то советская" (рассказал в тот же день).

Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил (воспеваю им) квартиру (две комнаты, пятый этаж, без лифта; газовой плиты и ванны еще не было) в Нащокинском переулке ("Квартира тиха, как бумага..."), и бродячая жизнь как будто бы кончилась. Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка).

На самом деле ничего не кончилось, все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. Осип Эмильевич был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку: "Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений". Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно. Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных.

Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили – не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал:

"Я к смерти готов". Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места.

Я довольно долго не видела Осипа и Надю. В 1933 году Мандельштамы приехали в Ленинград, по чьему-то приглашению. Они остановились в "Европейской гостинице". У Осипа было два вечера. Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, читая наизусть страницами. Мы стали говорить о "Чистилище", и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче):

Sopra candido vel cinta d'oliva
Donna m'apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva.
.....
..... "Men che dramma
Di sangue m'e rimasto non tremi:
Conosco i segni dell' antica fiamma"*.

(Цитирую по памяти).

Осип заплакал. Я испугалась: "Что такое?" – "Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом". Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает.

Осип читал мне на память отрывки стихотворения Н. Клюева: "Хулители искусства" – причину гибели несчастного Николая Алексеевича.

Когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине, Осип возражал, что может простить Есенину что угодно за строку: "Не расстреливал несчастных по темницам..."

Жить, в общем, было не на что: какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паек. К этому времени Мандельштам внешне очень изменился: отяжелел, поседел, стал плохо дышать – производил впечатление старика (ему было сорок два года), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже.

На днях перечитывая (не открывала книгу с 1928 г.) "Шум времени", я сделала неожиданное открытие. Кроме всего высокого и первозданного, что сделал ее автор в поэзии, он еще умудрился быть последним бытописателем Петербурга – точным, ярким, беспристрастным, неповторимым. У него эти

*В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена
В зеленый плащ, и в платье огне-алом.
.....
..... "Всю кровь мою
Пронизывает трепет несказанный:
Следы огня бывшего узнаю!"

Пер. М.Л. Лозинского

полузабытые и многократно оболганные улицы возникают во всей свежести 90-х и 900-х годов. Мне скажут, что он писал всего через пять лет после Революции, в 1923 г., что он долго отсутствовал, а отсутствие лучшее лекарство от забвения (объяснить потом), лучший же способ забыть навек – это видеть ежедневно. (Так я забыла Фонтанный Дом, в котором прожила 35 лет.) А его театр, а Комиссаржевская, про которую он не говорит последнее слово: королева модерна; а Савина – барыня, размлевшая после Гостиного двора; а запахи Павловского вокзала, которые преследуют меня всю жизнь. А все великолепие военной столицы, увиденное сияющими глазами пятилетнего ребенка, а чувство иудейского хаоса и недоумение перед человеком в шапке (за столом)...

Иногда эта проза звучит как комментарии к стихам, но нигде Мандельштам не подает себя как поэта, и, если не знать его стихов, не догадаешься, что это проза поэта. Все, о чем он пишет в "Шуме времени", лежало в нем где-то очень глубоко – он никогда этого не рассказывал, брезгливо относился к мирискусническому любованию старым (и не старым) Петербургом.

Кроме того, очень интересны подробности политических манифестаций у Казанского собора, которые свидетельствуют об очень пристальном внимании к этим событиям и заставляют вспомнить о том, что сам Осип сообщил для помещения в книгу "Писатели советской эпохи" (цитата).

Эта проза, такая неслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя. Но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем XX веке не было такой прозы. (Это – так называемая "Четвертая проза".)

Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. Осип Эмильевич, который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: "Стихи сейчас должны быть гражданскими" – и прочел "Под собой мы не чуем...". Примерно тогда же возникла его теория "знакомства слов". Много позже он утверждал, что стихи пишутся *только* как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина: "Мне хочется сказать не Сталин – Джугашвили" (1937), он сказал мне: "Я теперь понимаю, что это была болезнь".

Когда я прочла Осипу мое стихотворение "Уводили тебя на рассвете..." (1935), он сказал: "Благодарю вас". (Стихи эти в "Реквиеме" и относятся к аресту Н.Н. П(унина) в 1935 году.)

На свой счет Мандельштам принял (справедливо) и последний стих в стихотворении "Немного географии" ("Не столицей европейской..."):

Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными – и тобой.

13 мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым). Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты, последний, данный Ремизовым в России (мне принесли его уже после бегства Ремизова — 1921 г.), и статуэтку работы Данько (мой портрет, 1924 г.), для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей.)

Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундука рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной, у Кирсанова, играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел "Волка" ("За гремучую доблесть грядущих веков...") и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату, я — к Чулковым на Смоленский бульвар, 8, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евг(ений) Як(овлевич) Хазин сказал: "Если они придут еще раз, то уведут вас с собой". Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в "Известия" к Бухарину, я — в Кремль к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер (Театра имени Е.Б. Вахтангова) Русланов, через секретаря Енукидзе.) Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: "А может быть, какие-нибудь стихи?" Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли (см. "Стансы", строфа 4-я), и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место. Потом звонил Пастернаку. Остальное слишком известно.

Вместе с Пастернаком я была и у Усиевич, где мы застали и союзное начальство, и много тогдашней марксистской молодежи. Была я и у Пильняка, где видала Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева.

А в это время бывший синдик Цеха поэтов Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: "Это строчки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию", — так что даже в "Литературной газете", которая напечатала отчет об этом собрании, подлинные слова оратора были смягчены (см. "Литературную газету" 1934 года, май).

Бухарин в конце своего письма к Сталину написал: "И Пастернак тоже волнуется". Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. "Если бы мой друг-поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти". Пастернак

ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. "Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?" — "Писательские организации не занимаются этим с 1927 года". — "Но ведь он ваш друг?" Пастернак замялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: "Но ведь он же мастер, мастер?" Пастернак ответил: "Это не имеет значения".

Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы.

... "Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить". — "О чем?" — "О жизни и смерти". Сталин повесил трубку.

Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн.

Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш. Женщин в тот день приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные, в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут; красавица "пленная турчанка" (как мы ее прозвали), жена Зенкевича; ясноокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская. А мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одереженевшие. С нами были Эмма Герштейн и брат Нади.

Через 15 дней, рано утром, Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть вечером на Казанском вокзале. Все было кончено, Нина Ольшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки.

На вокзал мы поехали с Надей вдвоем. Заехали на Лубянку за документами. День был ясный и светлый. Из каждого окна на нас глядели тараканы усища "виновника торжества". Осипа очень долго не везли. Он был в таком состоянии, что даже они не могли посадить его в тюремную карету. Мой поезд (с Ленинградского вокзала) уходил, и я не дождалась. Братья, т.е. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмильевич Мандельштам, проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться. Очень плохо, что я его не дождалась и он меня не видел, потому что от этого ему в Чердыни стало казаться, что я непременно погибла. (Ехали они под конвоем читавших Пушкина "славных ребят из железных ворот ГПУ".)

В это время шла подготовка к первому съезду писателей (1934 г.), и мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Демьяна Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе.

В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его "дела". Он рассказал мне, как в

припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь своего приезда.

Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор, и все было напрасно.

Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружие...

Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение "Воронеж". Вот его конец:

А в комнате опального поэта
Дежурит страх и Муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

(*"Бег времени"*, 1965 год)

О себе в Воронеже Осип говорил: "Я по природе ожидальщик. Оттого мне здесь еще труднее".

В начале 20-х годов (1923) Мандельштам дважды очень резко нападал на мои стихи в печати ("Русское искусство", № 1, 2–3). Этого мы с ним никогда не обсуждали. Но и о своем словословии моих стихов он тоже не говорил, и я прочла его только теперь (рецензия на "Альманах Муз" (1916) и "Письмо о Русской поэзии" (1922, Харьков).

Там, в Воронеже, его, с не очень чистыми побуждениями, заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: "Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых". На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: "Тоска по мировой культуре".

В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался не таким хорошим, как мы думали. Он, очевидно, страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он – Рудаков. Рудаков убит на войне, и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью.

Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах "Петербургские зимы" Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале 20-х годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, – мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких ме-

муаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится, и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды. Вот что сделал Леонид Шацкий (Страховский) с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно "пикантных" мемуаров ("Петербургские зимы" Георгия Иванова, "Полутораглазый стрелец" Бенедикта Лившица, "Портреты русских поэтов" Эренбурга, 1922). Эти книги использованы полностью. Материальная часть черпается из очень раннего справочника Козмина "Писатели современной эпохи" (Москва, 1928). Затем из сборника Мандельштама "Стихотворения" (1928) извлекается стихотворение "Музыка на вокзале" (точнее, "Концерт на вокзале") — даже не последнее по времени в этой книге. Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно — 1945 г. (на семь лет позже действительной смерти — 27 декабря 1938 года). То, что в ряде журналов и газет печатались стихи Мандельштама, хотя бы великолепный цикл "Армения" в "Новом мире" в 1930 г., Шацкого нисколько не интересует. Он очень развязно объявляет, что на стихотворении "Музыка на вокзале" Мандельштам кончился, перестал быть поэтом, сделался жалким переводчиком, опустился, бродил по кабакам и т.д. Это уже, вероятно, устная информация какого-нибудь парижского Георгия Иванова. И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, мы имеем "городского сумасшедшего", проходимца, опустившееся существо. И все это в книге, вышедшей под эгидой лучшего, старейшего и т.п. университета Америки (Гарвардского), с чем и поздравляем от всей души лучший, старейший университет Америки.

Чудак? Конечно, чудак! Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: "А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?"

С. Липкин и А. Тарковский и сейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи.

Артур Сергеевич Лурье, который близко знал Мандельштама и который очень достойно написал об отношении Осипа Мандельштама к музыке, рассказывал мне (10-е годы), что как-то шел с Мандельштамом по Невскому и они встретили невероятно великолепную даму. Осип находчиво предложил своему спутнику: "Отнимем у нее все это и отдадим Анне Андреевне". (Точность можно еще проверить у Лурье.)

Очень ему не нравилось, когда молодые женщины любили "Четки". Рассказывают, что он как-то был у Катаевых и прият-

но беседовал с красивой женой хозяина дома. Под конец ему захотелось проверить вкус дамы, и он спросил ее: "Вы любите Ахматову?", на что та, естественно, ответила: "Я его не читала", после чего гость пришел в ярость, нагрубил и в бешенстве убежал. Мне он это не рассказывал.

Зимой 1933—34 гг., когда я гостила у Мандельштамов в Нащокинском в феврале 1934 г., меня пригласили на вечер Булгаковы. Осип взволновался: "Вас хотят сводить с московской литературой?!" Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: "Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТа". Осип совсем рассердился. Он бегал по комнате и кричал: "Как оторвать Ахматову от МХАТа?"

Однажды Надя повезла Осипа встречать меня на вокзал. Он встал рано, озяб, был не в духе. Когда я вышла из вагона, сказал мне: "Вы приехали со скоростью Анны Карениной".

Комнатку (будущую кухню), где я у них жила, Осип прозвал Капище. Свою называл Запьястье (потому что в первой комнате жил Пяст). А Надю называл Маманас (наша мама).

Чудак?.. Но совсем не в этом дело. Почему мемуаристы известного склада (Шацкий-Страховский, Э. Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен(едикт) Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют голову перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут?

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву, "к себе" в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным, много лежал. Прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже. (К ней обращены два стихотворения: "Клейкой клятвой пахнут почки..." и "К пустой земле невольной припадаю...")

Уже год, как, все нарастая, вокруг бушевал террор. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя даже показываться в этой квартире. Разрешения остаться в столице Осип не получил. Х. сказал ему: "Вы слишком нервный". Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: "Надо уметь менять профессию. Теперь мы нищие" и "Нищим летом всегда легче".

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа, — "Как по улицам Киева-Вия..." (1937). Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном Доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: "Благодарю вас" — и заснул.

В это время в Шереметевском Доме был так называемый "Дом занимательной науки". Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: "А может быть, есть другой занимательный выход?"

В то же время мы с ним одновременно читали "Улисса" Джойса, он — в хорошем немецком переводе, я — в подлиннике. Нескольким раз мы принимались говорить об "Улиссе", но было уже не до книг.

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, "забыли" послать повестки, и никто не пришел. Осип Э(мильевич) по телефону приглашал Асеева. Тот ответил: «Я иду на "Снегурочку"». А Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они — он и Надя — приезжали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, у отца Осипа Эмильевича (у "деда") нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу.

Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Э(мильевича) о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе.

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черусти (в разгар террора). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца (с 10 марта). О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: "Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер".

В начале 1939 года я получила короткое письмо от москов-

ской приятельницы: "У подружки Лены родилась девочка, а подружка Надюша овдовела", — писала она.

(Анна Ахматова)

Комарово

(P.S.) От Осипа было всего одно письмо (брату Александру) из того места (.....), где он умер. Письмо у Нади. Она показала мне его. "Где моя Наденька?" — писал Осип и просил теплые вещи. Посылку послали. Она вернулась, не застав его в живых.

Настоящим другом Нади все эти очень для нее трудные годы была Василиса Георгиевна Шкловская и ее дочь Варя.

Сейчас Осип Мандельштам — великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги — защищают диссертации. Быть его другом — честь, врагом — позор. Готовят академическое издание его произведений. Находка одного его письма — событие.

Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно, от Нади), как мне плохо в Фонтанном Доме, сказал мне, прощаясь, — это было на Московском вокзале в Ленинграде: "Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом — ваш". Это могло быть только перед самой гибелью...

8 июля 1963 Комарово

МОЕ ЗНАКОМСТВО С МАНДЕЛЬШТАМОМ

Я не решился бы предложить вниманию читателей эту заметку, если бы не одно обстоятельство. Случилось так, что я познакомился с Осипом Мандельштамом в "доисторический" период его жизни — еще до того, как он стал печатать свои стихи. В литературе о Мандельштаме воспоминаний, относящихся к тому времени, я не нашел. Возможно поэтому, что и то немногое, что я могу рассказать, представляет некоторый интерес.

Было это очень давно — без малого столетия тому назад. Я жил тогда в Париже и слушал лекции в Сорбонне. Могу точно указать день, когда я впервые встретился с Мандельштамом: 24 декабря 1907 г. Как известно, французы справляют сочельник вроде того, как у нас встречают Новый год. В тот вечер и я "пировал" в одном из кафе на Бульваре, в небольшой компании русской молодежи. По соседству с нами, за отдельным столиком, сидел какой-то юноша, привлечший наше внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше всего он был похож на цыпленка, и это сходство придавало ему несколько комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых грустных глазах было что-то очень привлекательное. Услышав, что мы говорим по-русски, он нами заинтересовался. Было ясно, что среди происходившего вокруг него шумного веселья он чувствовал себя потерянным и одиноким. Мы предложили ему присоединиться к нам, и он с явной радостью на это согласился. Мы узнали, что его зовут Осип Эмильевич Мандельштам.

В этот вечер мы с ним разговорились и быстро установили общность наших литературных интересов. Я дал ему свой адрес, и он пришел ко мне чуть ли не на следующий день. С тех пор и до моего отъезда весной 1908 г. в Россию мы встречались очень часто — не меньше чем несколько раз в неделю. Я не могу вспомнить, где он жил, и из этого заключаю, что обычно он приходил ко мне или вернее — за мной, так как беседы свои мы вели либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам. Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции. Мандельштаму было тогда семнадцать лет, мне — девятнадцать. Предвидеть, что он станет одним из крупнейших русских поэтов нашего времени, я, конечно, не мог. Да и вообще, в ранней молодости личные отношения носят более непосредственный и бескорыстный характер. Поэтому я Мандельштама не пытался "изучать" или "оценивать" и наших с ним разговоров не записывал. А память моя, увы, сохранила очень немногое.

Больше всего меня поражала в нем его необыкновенная впечатлительность. Казалось, что для него действительно были еще новы "все впечатленья бытия" и на каждое из них он откликался всем своим существом. В нем была тогда юношеская экспансивность и романтическая восторженность, плохо вяжущаяся с его позднейшим поэтическим обликом. Ничего каменного в будущем творце "Камня" еще не было. Не могу вспомнить ничего специфически "мандельштамовского" и в тогдашних его эстетических вкусах и литературных увлечениях. В моем воспоминании они представляются мне довольно эклектическими. Помню, как он с упоением декламировал "Грядущих гуннов" Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою версию Gaspard Häuser'a. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба (каюсь!) были потрясены "Танцем Саломеи", а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее. К стыду своему, ни одного из ранних стихотворений Мандельштама я не запомнил. Были ли среди них те четыре, помеченные 1908 годом, которыми открывается "Камень", — тоже не помню. В апреле 1908 г. я ездил на две недели в Италию. Мандельштам принял очень близко к сердцу это мое первое итальянское паломничество и отозвался на него стихами. Но даже из этого, мне посвященного стихотворения в памяти сохранилась почему-то только одна строка: "...поднять скрипучий верх соломенных корзин" (в моем багаже действительно была такая, вывезенная из России, корзина).

Не помню, чтобы мы когда-либо говорили на общественно-политические темы. В "Шуме времени" Мандельштам, вспоминая свои школьные годы, рассказывает и об Эрфуртской программе, на время сделавшей из него "законченного марксиста", и о своем соприкосновении с эсеровской средой в семье Синани. Сомневаюсь, чтобы эти ранние впечатления оставили в его душе какие-либо прочные политические следы. Весной 1908 г. в Париже умер Гершуни, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной туда пойти, но думаю, что политика здесь была ни при чем: привлекали его, конечно, личность и судьба Гершуни. Главным оратором на собрании был Б. В. Савинков. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад — так что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А. О. Фондаминская и Л. С. Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама.

О своей семье Мандельштам мне почти ничего не говорил, а я его не расспрашивал (биографический интерес к людям тоже пробуждается позднее в жизни). Как-то раз только, не помню уж в какой связи, он дал мне понять, что в его отношениях с родителями не все было ладно. Он даже воскликнул: "Это ужасно, ужасно!"; но так как он вообще злоупотреблял этим выражением, то я тогда же заподозрил его в преувеличении. Я и сейчас думаю, что если родители Мандельштама дали ему возможность жить в Париже и заниматься, чем он хочет, то значит, не так уж равнодушно относились они к его желаниям и не так уж тяжки были лежавшие на нем семейные путы. Во всяком случае, в нем не чувствовалось никакой связанности или ущемленности. Он был беспомощен в житейских делах, но духовно он был самостоятелен и, я думаю, достаточно в себе уверен.

Когда поздней весной 1908 г. я уезжал из Парижа, Мандельштам там еще оставался. В следующий раз я встретился с ним уже в Петербурге. Думаю, что это было в 1909 г.— во всяком случае, до его поездки в Германию. Встретились мы с ним очень дружески и в течение моего кратковременного пребывания в Петербурге виделись несколько раз. Помню, что он был вместе со мной и с моей матерью на каком-то концерте и потом провожал нас до нашего дома. Было уже поздно, и потому моя мать не просила его зайти, а ему, видимо, очень не хотелось уходить, и, прощаясь, он сказал: "Всякое расставание всегда болезненно". В эту нашу встречу он дал мне рукопись своей статьи, которую он просил меня передать П. Б. Струве как редактору "Русской мысли". Содержание этой статьи в памяти моей тоже не сохранилось. Вспоминаю только, что это было нечто лирико-критическое, о поэзии, и что центральную роль в статье играл образ Снегурочки (кажется, она даже называлась "Снегурочка"). С П. Б. Струве я тогда еще лично знаком не был и передал ему статью Мандельштама через А. А. Корнилова. О дальнейшей судьбе этой статьи я ничего не знаю — кроме того, что в "Русской мысли" она не появилась.

После того я видел Мандельштама еще один раз — в 1912 г. В промежутке у нас с ним никаких сношений не было. Он жил в Петербурге (на время уезжал в Германию), а я в Москве, и мы не переписывались. В Петербург я приезжал не так часто и всегда на короткий срок. В один из таких приездов я случайно, после трехлетнего перерыва, встретился с Мандельштамом на лекции Бурлюка (кажется, в Тенишевском училище). Мандельштам показался мне очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и, во всяком случае, без каких-либо следов прежней экспансивности. К тому же мы разошлись в нашем отношении к футуризму. Я испытывал сильное от него отталкивание, а Мандельштам в какой-то мере его защищал и, во всяком случае, был им серьезно заинтересован.

На мое замечание, что я "предпочитаю корабль вечности кораблю современности" (теперь я так цветисто не выразился бы), он ответил мне, не без некоторого раздражения: "Вы не понимаете, что корабль современности и есть корабль вечности".

Не думаю, однако, чтобы это теоретическое расхождение сыграло какую-либо роль в фактическом прекращении нашего знакомства. Просто наши жизненные пути разошлись, и мы перестали быть друг для друга достаточно интересны. Больше я Мандельштама не видел.

1957

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

(фрагмент)

Конец 1909 года. Петербург. "Аполлон" – редакция помещалась тогда на Мойке, около Певческого моста, в том доме, что и ресторан "Донон". Журнал только начинался, работы было много, целые дни просиживал я над рукописями и корректурами.

Как-то утром – отчетливо запомнился этот не совсем обычный эпизод – входит ко мне секретарь редакции Е. А. Зноско-Боровский, заявляет: некая особа по фамилии Мандельштам настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна...

Через минуту появилась дама, немолодая, довольно полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати – видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался "за ручку". Голова у юноши крупная, откинута назад, на очень тонкой шее; мелко-мелко вьются пушистые рыжеватые волосы. В остром лице, во всей фигуре и в подпрыгивающей походке что-то птичье...

Вошедшая представила мне юношу:

– Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант – пусть талант. Тогда и университет, и прочее. Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги... Так вот, господин редактор, – мы люди простые, небогатые, – сделайте одолжение – скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет...

Она вынула из сумочки несколько исписанных листков почтовой бумаги в линейку и вручила мне:

– Вот!

– Хорошо, оставьте... на несколько дней. Прочту.

Но энергичная мамаша ни о какой отсрочке и слышать не хотела. Требовала: тут же прочесть и приговор вынести.

Я запротестовал:

– Нет, сейчас никак не могу... Стихам нужно внимание, вчитаться нужно...

Против новичков-поэтов в те дни я был достаточно предрешен – сколько любительских виршей каждый день летело в редакционную корзину! Но меньше всего хотелось мне огор-

чить конфузливую юношу... Уж очень выжидательно-печальны были его глаза. От волнения он то закатывал их, то прикрывал воспаленными веками, то опять смотрел на меня с просящей покорностью.

Мамаша настаивала: прочти да прочти, и резолюцию — немедленно!

Нехотя раскрыл я листки и стал разбирать бисерные строчки. Буквы паутинными петельками давались с трудом; кажется, ни одного стихотворения толком и не прочел я тогда. Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня и уж я готов был отделаться от мамыши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда — взглянув опять на юношу — я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей.

Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно:

— Да, сударыня, ваш сын — талант.

Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. Мамаша удивленно примолкла; видимо, она не ждала такого "приговора" с моей стороны. Но быстро нашлась:

— Отлично, я согласна. Значит — печатайте!

Дело оборачивалось не в мою пользу: новичок-то теперь не отстанет... Но делать было нечего — прощаясь с ним, я попросил "приносить еще".

Новичок стал заходить в "Аполлон" чуть не ежедневно, всегда со стихами, которые теперь он читал вслух с одному ему свойственными поддвиганиями и придыханиями — почти что пел их, раскачиваясь в ритм всем своим шуплым телом. Так же читал он и чужие стихи. Если понравится — закроет глаза и зальется, повторяя строчку по несколько раз.

И сочинял он — вслух, словно выпевал словесную удачу. Никогда не встречал я стихотворца, для которого тембр слов, буквенное их качество имело бы большее значение. Отсюда восторженная любовь Манделъштама к латыни и особенно к древнегреческому. Можно сказать, что античный мир он почувствовал до какого-то ясновидения через языковую стихию эллинизма. Но и к России, к русской сути, к царской Москве и императорскому Петербургу, он прикоснулся тоже, возлюбив превыше всего — русскую речь, богатство ее словесных красот, полнозвучие ударных гласных, ритмическое дыхание строчки. (...)

Стихи Манделъштама стали печататься "Аполлоном" очень скоро. Одними из первых были, помнится, следующие строчки, ставшие известными:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок. (...)

В редакции его полюбили сразу, он стал "своим". И с Гумилевым и с Кузминым завязалась прочная дружба. На страницах "Аполлона" появлялись циклы его стихотворений.

Он стал "аполлоновцем" в полной мере, художником чистой воды без уклона в сторону от эстетической созерцательности. Впоследствии, в годы революции, которую он пережил очень болезненно (может быть, даже до потери умственного равновесия), он стал другим, инсказательно философствующим на социальные темы.. Но сейчас я говорю о юном Манделштаме, о годах "Аполлона". Тогда к поэзии сводилась для него вся жизнь, а поэзия представлялась ему преобразованием мира в красоту — и ничем больше. И добивался он этого преобразования всеми силами души, с гениальным упорством — неделями, иногда месяцами выискивая сочетание слов и буквенных звучаний. Писал немного, но сочинял, можно сказать, непрерывно, только и дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал звучать как-то по-новому. Объясняется это, вероятно, и тем отчасти, что он не ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны, открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неумоимо вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним.

Вот хотя бы в следующих стихах (из первого сборника "Камень") о зимнем Петербурге с дворниками в "овчинных шубах", напоминающими поэту скифскую Россию, когда Овидий пел, "мешая Рим и снег", "арбу воловью", — разве не грозит русский ямб с какой-то неслыханной силой?

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в овчинных шубах
На лавках у подъездов спят.

На стук в тяжелые ворота
Привратник, царственно ленив,

Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф!

Когда с дряхлеющей любовью,
В стихах мешая Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

Здесь, помимо пушкинского урока ("Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят"), "арбу воловью", конечно, не совсем по-русски (мы не скажем "лошадиная карета" или "ослиная повозка"). Но в строке Мандельштама как будто и убедительно древняя Овидиева "арба" тут неразрывно спаяна с образом воллов в варварском походе и становится она воловьей, как, скажем, хомут лошадиный.

Мандельштам трудился самоотверженно над "материалом" слов, создавая прекрасное из их "недоброй тяжести", но иногда и неточно понимал их (например, "в простоволосых жалобах ночных", "простоволосая шумит трава"), и выдумывал их произвольно ("безъязыкий"), и, наконец, связывал одно слово с другим на основании слишком уж отдаленных ассоциаций:

И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина...

Вообще слова у Мандельштама часто не совпадают с прямым своим смыслом, а как бы "намагничены" изнутри и втягивают в себя побочные представления. Поэтому и к неправильностям и вычурам его словоупотребления иначе относиться, чем к неправильностям и вычурам у других поэтов, менее искренних, менее правдивых и вдохновенно-ищущих.

Неутомимость творческого горения (откуда и сочинительская техника) чувствуется почти в каждой строке молодого Мандельштама. Дальше всего эти любовно выношенные строки — от импровизации и от поверхностного блеска. Их красноречие обдуманно-скупое, подчас — до замысловатой краткости. Вот уж где "словам тесно"! Художественные длинноты, или поэтические клише, или сорвавшиеся с языка обычности исключаются при таком отношении к искусству: образ, как и мысль поэта, приобретает глубоко личный характер, оттого часто — не до конца понятный, даже смутный, загадочный... Но разве не этим именно и отличается символизм как школа, как стихотворный стиль?

Началось во Франции, на смену описательной четкости Парнасцев, со Стефана Малларме, углублявшего, насыщавшего скрытым содержанием стихи до того, что сплошь да рядом при-

ходится их разгадывать, как ребусы. Сам он называл многоликие образы свои – гиперболами. В русской "новой" поэзии последователями этого словесного герметизма сделались символисты: Блок, Анненский, Вячеслав Иванов. В этом смысле и Осип Мандельштам – символист прирожденный, хотя и не в том мистическом и даже эзотерическом духе, какой придавали этому понятию Андрей Белый и, отчасти, Блок.

Символизм – это прежде всего сжатость образного мышления, сжатость, доводимая иногда (например, у позднего Малларме) до криптограммы. Несколькими словами, одним словом-метафорой выражается сложная ветвистая мысль или сложное ощущение, и чаще всего такая мысль и такое ощущение, каких и не сказать иначе, разложив на составные части. Слово при этом теряет свое прямое значение или, даже не теряя его, как бы преобразуется от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям.

Таковыми криптограммами "в зародыше" представляются мне у Мандельштама, например, образы в следующих "крымских" стихах (начинаю с четвертой строфы, – курсивы мои).

4

Я сказал: *виноград, как старинная битва*, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

5

Ну, а в комнате белой, *как прялка, стоит тишина*,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, –
Не Елена – другая, – как долго она вышивала?

6

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, *пространством и временем полный*.

Не менее характерны для Манделъштама такие строки: "И вчерашнее солнце на черных носилках несут", или "И лес безлиственный прозрачных голосов", или "Сюда влачится по ступеням широкопасмурным несчастья волчий след", или "И в ветхом неводе генисаретский мрак"...

Не буду "объяснять" гиперболики этих образных определений. Полагаю, что всякий, кто чувствует новую поэзию, их почувствует, вчитавшись в стихотворения, из которых они взяты. Я говорю — *новую* поэзию, потому что, разумеется, такой прием, такую сжатость образного определения — "как прятка, стоит тишина" — невозможно представить себе, скажем, у Пушкина, у Лермонтова, вообще — в поэзии до-символической. Один Тютчев иногда доводит выраженное ощущение или мысль до этого *магического лаконизма*. Таковы его уподобления зарниц "демонам глухонемым" или брызнувшего грозового дождя пролитому Гэрой "громокипящему кубку". Это еще не "гипербола" Малларме, но уже символика.

У Манделъштама она — сплошь. Подвергнуть эту "магию" логическому разбору подчас трудно и даже невозможно, но не кажется она искусственным, претенциозным, ничего в конце концов не выражающим словоизлишеством — как у многих символистов. Манделъштамовская магия согрета искренним чувством — может быть, это и есть в ней самое пленительное. От строф, словно высеченных из мрамора или отлитых из бронзы, — на самые неличные, самые далекие темы — никогда не веет холодом. Потому что эти далекие темы действительно *его* любовь, *его* страдание и *его* счастье, *его* душа, приявшая миры, созданные творческим воображением. О чем бы он ни грезил: о прошлом возлюбленной средиземноморской земли, о легендарной Тавриде, о скифском варварстве, или о древней Москве с "пятиглавыми соборами", или о современном умирающем Петрополе с Исаакием, стоящим "седою голубятней", или о богослужебной торжественности полудня, — рассказ об этих видениях насыщен восторгом сердца. И больше того: живое, конкретное впечатление переходит в образ какой-то трансцендентной сущности. Манделъштам лучше, чем кто-нибудь, понял урок великих французских новаторов и связал русский стих с "сюрреалистическими" прозрениями века... Но и по темам, и по религиозному акценту эти стихи остаются русскими, в самой отвлеченности их таится великая любовь поэта и к русским судьбам, и к русской вере:

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взял в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

Религиозность этого "полудня" (или "вселенской литургии"?) не только восторженно-христианская, но русская, иконописная религиозность. Удивительно, как сумел проникнуться ею этот выросший в еврейской мелкопомещанской среде юноша, набравшийся многосторонней образованности в Швейцарии и Гейдельберге!

Послушайте, с какой растроганной любовью говорит он о кремлевских церквях:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снесала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне — явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Мандельштам был одним из столпов провозглашенного Гумилевым акмеизма в "Цехе поэтов". Акмеизма — от *акмэ*, "острие, заострение". Создалась эта "школа" в среде "Аполло-

на” как противодействие мистическому символизму, возглавляемому Вячеславом Ивановым. Гумилев требовал ”заострения” словесной выразительности независимо от каких бы то ни было туманных идеологий. Но и он в таких стихотворениях, как ”Дракон”, например, остался верен языку символов. Хоть и далекий от В. Иванова, Мандельштам становится символистом чистой воды каждый раз, когда ”заострялось” до предельной выразительности его слово-звук и слово-образ. Не надо забывать, что словесную фонетику он называл ”служанкой серафима”.

В течение восьми лет (вплоть до моего отъезда из Петербурга весной 17-го года) я встречался с ним в редакции ”Аполлона”. Неизменно своим восторженно-задыхающимся голосом читал он мне стихи. Я любил его слушать. Вообще любил его. Но у него на дому ни разу не был. Даже не знал адреса. Да и не помню, чтобы он кого-нибудь звал к себе. Неприветно жилось Осипу Эмильевичу под родительским кровом. С отцом вечные ссоры. Самостоятельная жизнь оказалась еще труднее, из меблированных комнат выселили за невнос платы. Одно время, где-то на Сергиевской, прикармливали его дядя с тетушкой. Беден был, очень беден, безысходно. Но кроме стихов, ни на какую работу он не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывающий насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру.

Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его, отчасти и выдуманных им, житейских ”катастроф”. Ветер вдохновения пронесил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся. Смешлив он был чрезвычайно — рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота... А в стихах, благоговей перед ”святыней красоты”, о себе, о печалях своих если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно, вот как эти белые стихи о мертвых пчелах:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок –
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Приведу еще одно "молодое" стихотворение Осипа Мандельштама, в котором звучит уже не личная грусть, а грусть как бы заклинательной отходной. По форме, не в пример другим, стихотворение – чрезвычайно просто и даже бедно: повторяющиеся глагольные рифмы и целые строки, все тот же похоронный припев в конце каждой строфы, как вздох. Слова-символы неразборчивы, сбивчивы, полузаумны, но поют о самом важном, об отходящей навсегда России, приобщенной гением Петра к великолепию европейских веков, в которых скиталась душа поэта:

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь, –
Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, – воды и неба брат, –
Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда, – в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась. Воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!

Много лет это стихотворение было последним, оставшимся в моей памяти от "прежнего" Мандельштама. Оно вошло в сборник, выпущенный в 1922 году издательством "Petropolis" (в Берлине), — "Tristia". До того, десятью годами раньше, вышла его маленькая книжка стихов — "Камень". В "Tristia" — 45 стихотворений, большую часть "аполлоновских" еще по духу. Затем, в 1925 году, поэту удалось издать небольшой сборник чрезвычайно ярко написанных мемуарных отрывков "Шум времени", а в 1928 году — поэму ритмической прозой "Египетская марка", и, наконец, издан был Госиздатом томик поэта, под заглавием "Стихотворения", куда вошли целиком и "Камень", и "Tristia", и стихи, не попавшие в прежние сборники, сочиненные между 21 и 25 годами.

Впервые об этом мало кому известном в эмиграции сборнике я узнал года три назад от проф. Г. П. Струве. Он писал мне: "Сейчас, когда удушающий ждановский пресс выжал из советской литературной атмосферы последние остатки свежего воздуха, трудно поверить, что этот сборник Мандельштама был выпущен в 1928 году под фирмой Госиздата; что советские журналы могли серьезно — хотя и без всякого сочувствия — писать о нем; что Мандельштаму и после этого не был закрыт доступ в "Новый мир" и "Звезду"... Еще совсем недавно, уже после ждановских чисток, один советский критик в злосчастной "Звезде" вспоминал и даже цитировал вошедшие в сборник 1928 года стихи Мандельштама и говорил, что некоторые из них звучали как ребусы, были полны зашифрованных образов и было очевидно, что "поэт не согласен с нашей революционной действительностью". Советский критик называл стихи Мандельштама "набором субъективных произвольных ассоциаций, противопоставленных реальной действительности", и цитировал в доказательство такие строки:

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Несмотря на "несозвучность генеральной линии", Мандельштам и позже, хотя и редко, печатался в советских журналах, насколько удалось установить Г. П. Струве — вплоть до 1933 года. О том, что было с поэтом позже, ничего достоверно неизвестно. "Еще до войны, — сообщал Струве, — в Лондоне я слышал, что был он арестован за какое-то неосторожное высказывание в связи с убийством Кирова. В советской печати имя его перестало упоминаться. Говорили упорно об его исключении из Союза советских писателей (но мы даже не знаем, входил ли он в него — в Союз принимались только писатели, стоявшие на "советской платформе"). Позднее в России получил широкое распространение рассказ об эпиграмме, за которую Мандель-

штам пострадал, был арестован и сослан. Рассказ этот, проникший и за границу, я слышал от заслуживающего полного доверия лица, которое слышало его в свою очередь в Москве, почти из первых рук. Эпиграмма была на "самого Сталина..." Но об обстоятельствах смерти Мандельштама (в том, что он погиб, почти нет сомнений) мы до сих пор наверное не знаем. Даже год смерти неизвестен. Есть разные версии, разные даты, но можно ли верить хоть одной из этих версий?.. Большой, замечательный поэт погиб безвестной смертью. Где, кроме сталинской России, мыслим такой факт?"

Сейчас известно около сорока пяти стихотворений Осипа Мандельштама после "Tristia". Я прочел их сравнительно недавно, и мое отношение ко многим из них уже не то, что к его раннему творчеству... Конечно, эти "советские" стихи Мандельштама дополняют его поэтический образ (между ними встречаются и совсем замечательные), но все-таки это уже куда менее "бесспорный" Мандельштам. Изменилась лирическая его настроенность, и в связи с этим изменилась и манера письма. Лучше сказать — не столько изменилась, сколько доведена до предельной "криптограммности", и вовсе не только из соображений эстетического порядка: многое в этом герметизме объясняется причинами, увы, ничего общего с поэзией не имеющими; поздние стихи Мандельштама написаны сплошь да рядом на эзоповском языке — чтобы невдомек было тем власть имущим, в которых метят их отравленные стрелы. Попадают между ними криптограммы с определенно политическим содержанием (после того как разберешься в словесных нагромождениях, увлекающих звоном необычных метафор, рифм и ритмических ударений).

Не надо забывать, конечно, и чисто литературных влияний, в частности — модного в те годы имажинизма, поэзии, уступающей первое место эффектно звучащим уподоблениям, описательным парадоксам и неожиданным эпитетам, зачастую никак не оправданным лирической сутью. Имажинизм в значительной степени облегчил Мандельштаму задачу (такую опасную в советских условиях) — говорить о том, о чем говорить не полагается. В самом деле — иначе, как эзоповским стилем, не объяснить строчек вроде:

Жестоких звезд соленые приказы,

или

...Крутая соль торжественных обид,

или

Время — царственный подпасок,

или

Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной...

и т.д.

При этом такие "непонятные" строчки звучат у Мандельштама не рассудочно, не обнаруживают хитросознательного приема, а выбрасываются им с оглядкой на "врага" из сознания повышенно-нервного, страстно-напряженного, отдающего дань "поэтическому безумию" (вероятно, его и опьяняла эта словесная эквилибристика у "мрачной бездны на краю"). Несомненно, так. Продолжая говорить правду, свою правду, он прятал обидный для инакомыслящих смысл ее в метафорах, на первый взгляд только парадоксальных, а на самом деле – изобличительных.

Вопрос тут не только в писательской "эволюции", а в глубоко трагически пережитой поэтом гибели всего, чему он верил прежде, что считал целью и оправданием жизни. Никто, вероятно, из писателей не был потрясен Октябрем сильнее, чем Мандельштам, повторяю – может быть, даже до потери умственного равновесия. Недаром ходили слухи в России, что он вовсе не погиб ни от немцев (в годы нашествия), ни от чекистов, а попал где-то на юго-востоке России в лечебницу для душевнобольных...

Когда внимательно вчитаешься в позднейшие его стихи, эти слухи не кажутся невероятными. Пугливый от природы, но в свои часы смелый до отчаяния из благородства, Мандельштам действительно обезумел от большевизма. Правда, не сразу. Пробовал сначала "сменить вежи", завязывал дружбу с влиятельными литературными кругами, в качестве писателя-плебея по происхождению и вольнодумца без политических предубеждений. Осип Эмильевич попытался у жизни взять то, в чем она ему отказывала прежде. Даже – как это ни кажется невероятным – женился на молодой актрисе... Словом, всеми силами хотел примириться с реальностью. Но с творческим духом как справиться? В строчках, написанных им в это десятилетие, почти везде одна неотступная мысль об ужасе, об одиночестве, об обреченности и непримиримости по отношению к новой безрелигиозной, бездуховной большевистской ереси... Чтобы иметь возможность печатать такие стихи, нужна была словесная завеса, и не только из страха попасться в контрреволюционности, но также из какого-то опьянения этими словесными фокусами и этой вдохновенной одинокостью. Впрочем, прорываются и строки, довольно прозрачно указывающие на страстный мятеж автора...

Выписываю наудачу (курсив – мой).

*Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...*

Куда же ты? *На тризне милой тени*
В последний раз нам музыка звучит...
(1921)

...Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в рогоже голодать,

Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.
(1922)

...*А ведь раньше лучше было.*
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

...*Не своей чешуей шуришм,*
Против шерсти мира поем.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Но вот уж совсем "программное" стихотворение (1923 года) – "Век". Начинается совсем недвусмысленно и вообще поддается расшифровке. Сам поэт как будто еще только оглядывается и пытается прозреть будущее:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?.

.....

Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческой земли –
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Здесь "темя" я понимаю как высшие духовные ценности. Поэт хочет уверить себя, что задача поэзии – увенчать эту жертву:

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

И тем не менее в заключительных строках он опять признается в своей беспомощности:

*И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.*

В следующем длинном стихотворении – какое отчаяние в этом отождествлении мирового процесса с творческим бессилием:

*Все трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой...*

.....

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:

Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.

И в заключение:

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одни на монетах изображают льва,
Другие – голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле,
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого...

(1923)

В стихотворении, озаглавленном "1 Января 1924", поэт жалуется на то, что ему отказано в праве на песню, на поэтическое слово, на правду сердца:

*...Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут*

*Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.*

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

.....

Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

К этому времени относятся, судя по стихам, последние колебания Мандельштама. Он понял, после пяти лет революционного насилия, что с "диалектическим материализмом" ему не по пути:

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Но, может быть, всего недвусмысленнее выражен этот протест бездуховного детерминизма в стихотворении, посвященном "пламенному Ламарку":

...Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по изломам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

.....

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота научья,
Здесь провал сильнее наших сил.

*И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.*

(1932)

Как все это, пожалуй, "заумно"! Но никогда не бессмысленно. Надо знать Осипа Эмильевича, как я знал его, чтобы за этим гремящим обличительно иносказанием почувствовать его муку. Большевицкий погром нашей духовной культуры так расшатал его обостренную чувствительность, что он с годами и вовсе "потерял себя". Весь его внутренний мир, пронизанный светом мировой гармонии, рухнул в уродливой тьме народного и всемирного бедствия. И пусть прячет поэт мысли и чувства за образы и слова, переходящие сплошь в очень замысловатую "заумь", или логическую бессмыслицу, эта поэзия Мандельштама завораживает словесным мастерством и той *подлинностью*, которая чувствуется за словами и говорит о его возмущенном отчаянии.

Антисоветскость "советских" стихов Осипа Мандельштама — явление очень исключительное. И сам он на фоне этих так часто зашифрованных стихов против вершителей русских судеб вырастает, если прислушаться, в яркую фигуру мученика за правду. Власти, видимо, долго не понимали, о чем, собственно, они, эти строфы, такие необычайно звучные и как бы лишённые человеческого смысла... Но в конце концов этот смысл был разъяснен (не в связи ли с той эпиграммой на Сталина, о которой я упомянул?), и поэта "ликвидировали". Как? Это уже подробность. Верно то, что Мандельштам погиб благодаря своей Музе, не пожелавшей смириться перед властью несвободы.

Мне кажется, что это звучит и в том стихотворении Осипа Эмильевича, которое привезла недавно из России одна из его почитательниц. Оно еще не появлялось в печати, насколько я знаю, ни в России, ни по сю сторону железного занавеса. Но в авторстве его сомневаться нельзя. Это — исповедь поэта, вероятно

сосланного куда-то в Сибирь — ”в ночь, где течет Енисей”, —
и тут в каждом слове звучит драматический стон его голоса:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

ДНЕВНИКИ

(фрагменты)

1911 г. 29 октября.

Вечером "Академия" — доклад Пяста, его старая статья о "каноне", многоглаголанье Вяч. Иванова усыпило меня вовсе. Вечером пьем чай в "Квасисане" — Пяст, я и Мандельштам (вечный).

3 декабря.

Вечером — заседание Общества ревнителей художественного слова. Я — председатель, что незаметно ни для кого, кроме меня, нервного, незащищенного со времени провала и получающего какие-то незримые токи — шпильки в душу. Сначала несколько слов об И. Анненском (опять некрология), потом — соображения Вячеслава — "морфология стиха" и разговоры и споры до $1/2$ 3-го. Сергей Платонович Каблуков как-то за дверью — зачем он там, у нас, не знаю хорошенько, но сочувствую. Пяст — мое чувство, мой провал, отчасти от него. Ночь мороз, я его провожаю, он целует меня. Мандельштамъ. Хороший Недоброво — и жена его. Эльснер — "выездной лакей" (Пяст) из Киева. Много народу — "умного до глупости" и наоборот, мучительная усталость.

1912 г. 13 июня.

Работа не идет. Днем шляюсь — зной, вонь, тоска. Город провонял. Письмо от Бори — спокойное — из Франции. Вечером — у Пяста, где — Мандельштам.

1920 г. 22 октября.

Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, — первый после того, как выперли Павлович, Шкапскую, Оцуца, Сюннеберга и Рождественского и просили меня остаться.

Мое самочувствие совершенно другое. Никто не пристает с бумагами и властью.

Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев опре-

деляет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его "Венеция". По Гумилеву – рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое (Вначале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником его; и все кончится Словом – все исчезнет, останется одно Оно). <...>

ВОСПОМИНАНИЯ

5 октября открылся клуб поэтов. Мы получили помещение на Литейном в бывшем доме Мурузи.

Наиболее интересен был вечер, на котором впервые после своего возвращения в Петроград выступал О. Э. Мандельштам.

Он привез прекрасные стихи, и Блок слушал его с большим интересом, особенно его стихи о Венеции, напомнившие Александру Александровичу собственные венецианские впечатления.

С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими, неправильными чертами, он всем своим обликом напоминал персонажей картин Шагала. Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения. Некрасивое, незначительное лицо Мандельштама стало лицом ясновидца и пророка. Это поразило и Александра Александровича.

Гумилев и "гумилята" держались особым кланом, чувствуя свою связь с акмеизмом и старым "Цехом поэтов".

Для этой группы было характерно неприятие Октябрьской революции (впоследствии некоторые из них докатились за границу до обслуживания фашистов) и презрительное отношение к окружающему.

У разных людей это было в различной степени, более или менее отчетливо, но в какой-то мере для всех них искусство было некоей цитаделью, где можно было противостоять врагу, а в крайнем случае — отсидеться.

Гумилев держал себя "мэтром". Мелкие черты лица — действительно словно с "персидской миниатюры", — осанка и движения офицера.

Надменный и втайне застенчивый, считающий поэзию как бы государством в государстве, а себя ее законодателем, русским Малларме, он говорил о Блоке: "Он лучший из людей, не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа, но он ничего не понимает в стихах, поверьте мне".

Дом Искусств талантливо описан О. Форш в "Сумасшедшем корабле" и в воспоминаниях Рождественского "Страницы жизни". Прибавлю только несколько коротких воспоминаний. По холодной лестнице, по уцелевшей бархатной елисейской до-

рожке, полузакрыв глаза, спускается Мандельштам и бормочет: "Зиянье аонид... зиянье аонид..." Сталкивается со мной: "Надежда Александровна, а что такое "аониды"?"

В кухне, единственном теплом месте этого фантастического дома, у плиты собрались Аким Волинский с философской книгой, повариха, гадающая на картах, Мандельштам, только что выменявший селедку пайка на пирожное с сахарином, и я, спасающаяся от стужи нашего "обезьянника".

По кафелю пола звонко цокает копытами выпущенный в этот вечерний час из-под стола поросенок, которого откармливают на кухне. Волинский начинает рассказывать об Афоне, в древних монастырских библиотеках которого он работал. Он имел грамоту константинопольского патриарха, разрешавшую это, и его, как патриаршего посланца, а верней эту грамоту, встречали колокольным звоном.

11 января 1921 г. мы были с Александром Александровичем на маскараде на Миллионной, в школе ритма Ауэр. И Блок, и писатели, жившие в Доме Искусств, получили туда приглашения, и мы с Александром Александровичем уговорились, что он зайдет за мной. Собрались туда и Рождественский, Пяст, Мандельштам. Должна была зайти ко мне и М. К. Неслуховская. Кому-то удалось выхлопотать, чтобы Театр оперы и балета (б. Мариинский) прислал нам маскарадные костюмы. Они были изрядно измяты, и надо было их поправлять и гладить. Гладильную доску приспособили в моей узкой и длинной комнате. Дом Искусств обслуживали бывшие лакеи и швейцары Елисеева. В этот вечер кто-то спросил у старого лакея Ефима, где сейчас Мандельштам, и получил изысканный ответ: "Г-н Мандельштам у г-жи Павлович жабу гладят" (жабо). Это стало потом ходовым словом.

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

(...) Осип Эмильевич Мандельштам — самый замечательный из современных русских поэтов после Блока и самый неопцененный. В одном из ранних его стихотворений есть строчки:

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?..

Эта "тихая радость" всегда светилась в нем, он был полон ею и нес ее торжественно и бережно. Доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков "здорового смысла", фантазер и чудака, он не жил, а ежедневно "погибал". С ним постоянно случались невероятные происшествия, неправдоподобные приключения. Он рассказывал о них с искренним удивлением и юмором постороннего наблюдателя. Как пушкинский Овидий,

Он слаб и робок был, как дети,

но кто-то охранял его и проносил невредимым через все жизненные катастрофы. И, как пушкинский Овидий,—

Имел он песен дивный дар...

Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: "Я написал новые стихи". Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза — у него были веки прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером,— и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву.

Читая стихи, он погружался в "аполлинический сон", оьянялся звуками и ритмом. И когда кончал, смущенно открывал глаза, просыпался.

В 1912 году Осип Эмильевич поступил на филологический факультет Петербургского университета. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой граммати-

ки. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола "пайдево" (воспитывать) звучит "пепайдевкос", он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: "Я ничего не приготовил, но написал стихи". И, не снимая пальто, начал петь. Мне запомнились две строфы:

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.

Забываю тяготы и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог "пепайдевкос"?

До конца наших занятий Осип Эмильевич этого вопроса не решил. Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер — чем непонятнее, тем прекраснее. Я очень боялся, что на экзамене он провалится, но и тут судьба его хранила, и он каким-то чудом выдержал испытание. Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его. Впоследствии он написал гениальные стихи о золотом руне и странствиях Одиссея:

И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В этих двух строках больше "элинства", чем во всей "античной" поэзии многоученого Вячеслава Иванова.

Через несколько лет после греческого экзамена мы встретились с ним в "Профессорском уголке", в Алуште. Он объедался виноградом, объяснял мне свои сложные финансовые операции (у него никогда не было денег), лежал на пляже и искал в песке сердолики. Каменная Таврида казалась ему Элладой и вдохновляла его своими "кудрявыми" виноградниками, древним морем и синими горами. Глухим голосом, под шум прибоя, он читал мне изумительные стихи о холмах Тавриды, где "всюду Бахуса службы", о белой комнате, где "как прятка, стоит тишина".

Мандельштам любил смотреть на далекие Судакские горы, на туманный мыс Меганом. О нем написал он строфы, загадочные и волшебные:

Как быстро тучи пробегают
Неосвященную грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.

И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет, —
Туда, где с темным содроганьем
В песке зарылся амулет,

Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Житейские катастрофы тем временем шли своей чередой. Осипу Эмильевичу было поручено купить в Алуште банку какао. На обратном пути в "Профессорский уголок" он сочинял стихи и в рассеянности съел все какао. Какие-то кредиторы грозили ему; с кем-то он вел драматические объяснения. Но эти невзгоды были ничто по сравнению с настоящим горем, которое он пережил в конце этого крымского лета 1916 года. Я помню, с каким вдохновением он сочинял одно из лучших своих стихотворений:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.

И две последние строки второй строфы возникли сразу в своем законченном великолепии:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим...

Но первые две строки? Их не было.

Напрасно Мандельштам повторял эти стихи, надеясь, что они приведут за собой недостающие рифмы,— они не приходили.

Я никогда не видел его в таком отчаянии. "Вот я слышу,— говорил он:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим...

а перед этим — пустое место, как бельмо на глазу. Ничего не вижу". Простодушно он просил друзей помочь ему, сочинить две строчки. Так они и не сочинились. В сборнике "Tristia" на месте их стоит два ряда многоточий.

Словесное мастерство Манделъштама роднит его с Тютчевым. Вспоминаю его стихотворение о смерти:

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

И последняя строфа:

И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

Эти стихи беспримерны в русской поэзии. Они вызывают изумление: слова звучат странной, непривычной музыкой. Кажется, что написаны они на чужом языке, древнем и торжественном, как язык Пиндара.

Манделъштам писал мало, с трудом и напряжением; боролся с "материалом", преодолевал "недобрую тяжесть" слов. Он издал два тоненьких сборника стихов: "Камень" и "Tristia"— и небольшой сборник статей "Шум времени".

ОДЕРЖИМЫЙ

(фрагмент)

...По тонкости *внешнего* понимания стихов — у Брюсова не было соперника. Способность к "стилю" и форме (не странно ли, что даже ее он потерял ныне!) позволяла ему "шалости" вроде издания целого сборника стихов от женского имени, под таинственным псевдонимом "Нелли". Это был, конечно, тот же Брюсов, холодный в эротике (и потому циничный), естественно-бессодержательный. Но, благодаря внешнему мастерству, замаскирован он был ловко.

Внутреннего же вкуса и чутья к стихам, предполагающего хоть какую-нибудь *любовь* к поэзии, у него совершенно не имелось. Случаев убедиться в этом у меня было много; вот один.

Кто-то прислал ко мне очень юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал — не помню (может быть, он сам пришел), к юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и — мне все-таки, с несомненностью, показалось, что они не совсем в ряду тех, которые приходится десятками слушать каждый день (приходилось бы сотнями, не положи я предела).

В стихи этого юнца "что-то попало", как мы тогда выражались.

Решаю про себя, что мальчик не без способностей и вызываюсь (в первый раз в жизни, кажется, без просьбы) где-нибудь напечатать стихи: "в Русской мысли", например; я пошлю их Брюсову".

Ответ получился не очень скоро, и даже, между прочим, в письме по другому поводу. Ответ насмешливый, небрежный и грубоватый: что до вашего юнца "со способностями", то таких юнцов с такими же, и даже большими, способностями у меня слишком достаточно и в Москве. Советую этому не печататься... Еще что-то было, в том же роде, если не хуже.

Однако из юнца вышел, и необыкновенно скоро, — поэт, во всяком случае всеми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отделке ее, поэт в сорте Брюсова. Это был О. Мандельштам.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ

Глава X

Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было — единственный чемодан он потерял в дороге.

Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой он держал бутерброд...

Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно: мелкий холодный дождь над Обводным каналом — веял безденежем. Клеенчатый городской под мутным небом, в мрачном пролете Измайловского проспекта, напоминал о "правожителстве".

Звали этого путешественника — Осип Эмильевич Манделштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть...

* * *

...В твои годы я сам зарабатывал свой хлеб!

Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расшлескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол...

Отец — не в духе. Он всегда не в духе, отец Манделштама. Он — неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий. Постоянные надежды: вот наладится кожевенное дело... И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло, провалилось...

Мать — грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэконоименный на хозяйстве. Девяностолетняя взохшая бабушка с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки пришествия Мессии...

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч... Слезы матери — что мы будем делать? Отец, точно лейденская бан-

ка, только тронь — убьет...

Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло. "Что мы будем делать?" — Вексель предъявлен к протесту...

Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные древнееврейские слова.

Ничего, как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспорт масла...

Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво — должно кончиться чем-нибудь страшным — разрывом сердца, самоубийством, нищетой.

...Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись наконец от томительного чаепития, читает у себя в комнате "Критику чистого разума". Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом — к черту Куно Фишера.

"Головой" — трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо впитывает, как воздух, его "чудный холод". В голове шумок тоже "чудный": самое сладкое читать так — не умом, предчувствием...

Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостровском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве...

— Осип, ложись спать. Опять отец рассердится.

— Ах, сейчас, мама.

...В голове туман. Кант... Музыка... Жизнь... Смерть... Сердце начинает стучать... Губы начинают шевелиться.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.

"Господи!" — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

* * *

Мандельштам — самое смешливое существо на свете.

Где бы он ни находился, чем бы ни был занят — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг:

— Ха-ха-ха-ха...

Он хохочет до удушья. Лицо делается красным, глаза полны слез. Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он?..

О нет, не болен. Впрочем — пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять действительную причину смеха: кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину...

— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам. — Ведь и так *все* смешно.

Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где года два назад Мандельштам, "временно" проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Я навещал его несколько раз в этом изгнании. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.

"Славные старики, милые старики..."

Мы проходили мимо дома этих "славных стариков". Я заметил на окнах их квартиры белые билетики о сдаче.

— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?

— Живут?.. Ха... ха... ха... Нет, не здесь... Ха... ха... ха... Да, переехали...

Я удивился.

— Ну, переехали, что ж тут смешного?

Он совсем залился краской.

— Что смешного? Ха... ха... А ты спроси, куда они переехали!..

Задыхаясь от хохота, он пояснил:

— В прошлом году... Тю-тю... от холеры... на тот свет переехали!

И, оправдываясь от своей неуместной веселости:

— Стыдно смеяться... Они были такие славные... Но так смешно — оба от холеры... А ты... ты... еще спрашиваешь... Куда пе... Ха... ха... ха... Пе... переехали...

Смешлив — и обидчив.

Поговорив с Мандельштамом час, нельзя его не обидеть, так же как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.

Это, впрочем, "общепозитическое" — чувствовать обиды, настоящие и выдуманые, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться и над ними, и над собой.

Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются...

Ну а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно. А вряд ли не с это-

го прихрамывания пошел весь "байронизм"...

Да, это "общепозитическое". Только о Мандельштаме как-то особенно "позаботилась" недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый "ангельский" дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным. Барахтайся, как можешь.

Он и барахтался:

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве,
И о верности жалеть!

* * *

Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке "Аполлона".

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

Я прочел это и еще несколько таких же "качающихся" туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

— Почему это не я написал!

Такая "поэтическая зависть" — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет "вес" чужих стихов. Если шевельнулось — "зачем не я" — значит, стихи "настоящие".

Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего *удивляли*.

Я очень "уважал" тогда "Аполлон", чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжки

1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе "Аполлона", я искренно считал *поэзией*. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в "роковое раздумье". Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило...

Впервые блеск "Сребролукого" показался мне несколько... оловянным.

...На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Стихи, подписанные неизвестным именем "О. Мандельштам", переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого "звездного" соседства очень уж явно обнаруживалась краска и "верже" высшего качества.

Недели через две в своей царскосельской гостиной Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:

– Мандельштам. Георгий Иванов.

Так вот он какой – Мандельштам!

На шуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на шуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина – и порядочная), так торчат оттопыренные уши... И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты веками – глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул – и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.

Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком "парижском" rrr... как-то споткнулся. Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменной...

Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, – уже обиделся на меня. За что? – За то, что он не так что-то выговорил или не так подал руку и я это заметил и про себя что-нибудь непременно подумал...

А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике – чушь какую-то. Смеялся, как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.

Когда я впервые услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.

К странным манерам читать мне не привыкать было. Все поэты читают "своеобразно" — один пришептывает, другой подывает. Я без всякого удивления слушал и "шансонетное" чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня.

Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако не казалось.

Напротив, чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой по тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах), я еще не видал в жизни.

И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать, Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.

* * *

"Над желтизной правительственных зданий" светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у "Медведя", — но что же делать в этом распорядке царского Петербурга ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет. Его оттопыренные уши мерзнут.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Что же, чем не занятие — шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдась бедности! Тем более что

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

Вскоре по приезде из-за границы (в родительском доме стало ему совсем "не жить") Мандельштам зажил самостоятельно.

Мандельштам и самостоятельная жизнь!

Жил все-таки. Ценою долгих переговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его грудку нестираного, — из цепких, красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным: симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге... Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе: для написания стихотворения в пять строф Мандельштаму требовалось в среднем часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полуфунта кофе.

Если денег окончательно нет — остается последний выход, утомительный, но верный. Броситься, как в пучину, под замороженную полость извозчика. Пошел...

Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то, где-то заплатит. А уж, наверно, у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока...

Замороженный ванька плетется в "неизвестном направлении". Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банке. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок, призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Коношенной и Невского продаются плакаты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию... Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя; за стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз. И все это так... кажущееся...

Реально — пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные — выдуманные часто большее настоящих... И все то же, единственное жалкое утешение:

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

...Зачем пишут юмористику, — не понимаю. Ведь и так *все смешно...*

Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно). И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) "вся его судьба". Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуска и разрешения. Но в хлопотах он забыл о "пустяшном" — деньгах на поездку.

Ему надо было — “непреренно, или умереть” — быть в Варшаве к определенному сроку. И вот — нет денег. И полная, абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где “высоко ценили” его “прекрасное дарование”, но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда:

— Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех и никто даже не обернется...

В Варшаву он попал все-таки — его взял в свой санитарный поезд покойный Н. Н. Врангель. В Варшаве с его “судьбой” произошла какая-то катастрофа — Мандельштам стрелялся, конечно неудачно. Отлежавшись в госпитале, он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в “Бродячей собаке”. Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

* * *

Когда пришел “Октябрь” и “неудачникам” всех стран были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался “на той стороне” — у большевиков. Точнее — около большевиков. В партию он не поступил (по робости, должно быть, придут белые — повесят), товарищем народного комиссара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, какие-то руки, которые не следовало пожимать, — пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной (притом голодной, беспомощной, одинокой) “птицей Божьей” был Мандельштам. Да и не одному ему из “литераторов российских” и отнюдь при этом не “птицам”, вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть:

Какие грязные ни пожимал я руки,
Ни соглашался с чем...

Вспомнив 1918–1920 годы, Смольный, Асторию, “Белый коридор” Кремля...

...1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизиционном московском особняке идет “коалиционная” попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить не трудно: интел-

лигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. "За милых женщин, прелестных женщин...", "Пупсик", "Интернационал". Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, "Пупсика", "Интернационала", водки и икры, — Мандельштам. "Божья птица", пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к "ассигновочке", которую Каменева завтра выпьет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, "ветчинки"...

Советская попойка, конечно, тоже смешна, и как всякое сборище пьяных людей, и "индивидуально", и советскими манерами "прелестных женщин", и этим "мощным" "Интернационалом", и мало ли чем. "Коалиция" пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: "Зайдите завтра к моему секретарю". "Пупсик" гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. Все забавно. И... много пить не следует, но рюмку, другую...

Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что, с такими хлопотами сшитого костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заньли от сахара и конфет?..

Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом так же тяжело, но уверенно достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров...

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию...

И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

– Погоди. Выпишу ордера... контрреволюционеры....

– Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная "птица Божья", залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить "ассигновочку".

Слышит и видит:

...Сидоров? А, помню, в расх...

...Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. "Золотое сердце" доверяет своим сотрудникам "всецело". Остается только вписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

...Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться – опрорхотав выбегаеа из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб... Всю ночь он пробродил по Москве в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению, он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился. "О чем же ты думал?" – спросил я его. – "Ни о чем. Читал какие-то стихи, свои, чужие. Курил. Когда начался рассвет и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москва-реки и заплакал..."

Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и поплелся в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой.

Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

– Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.

И Мандельштам "чистился" в каменевской ванне, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча.

Она молчала, и он молчал.

И о чем говорить, мой друг?..

Потом поехали.

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потерял бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку.

– Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен

был поступить всякий честный гражданин на вашем месте.— В телефон: — Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегия ВЧК для рассмотрения его дела.— И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Т-т-товарищ...— начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... "если можно", не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь,— "пока вся эта история не уляжется"...

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился "строжайший революционный суд", а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: "Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу".

Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда — одному Богу известно. Но добрался-таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная: его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона.

Через несколько месяцев Блюмкин провинился "посерьезнее", чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха. Мандельштам из осторожности "выждал события": мало ли как еще обернется. Но все шло отлично, — левые эсеры рассажены по тюрьмам, Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Денег у него не было, той "энергии ужаса", которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже. Все ничего — устроилось. Помогли друзья — грузинские поэты: выхлопотали для Мандельштама... высылку из Грузии в административном порядке.

Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть "что и как" в кафе поэтов, был... Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал...

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

(фрагменты)

I

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы вырастали сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу – иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее – блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому – наведаться в университет, оттуда зайти в "Гиперборей". На Васильевский остров со Знаменской – путь не маленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался "роковым".

Казанская площадь была полна народа. Флаги, портреты, "Боже, царя храни" с одной стороны – с другой свист, крики "долой", "погромщики". Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагоприятными элементами.

Мы вмещались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городовых с криком: "Расходитесь, расходитесь, господа" – оттиснула нас в сторону Казанской улицы...

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе – с полчаса. Когда вывели – толпы на площади уже не было. "Последние тучи рассеянной бури" – партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы писать куда-то жалобу, кричал, что знаком с Джунковским, и волновался ужасно. Волноваться же было совершенно бесполезно – никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава. Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама. "Маленькое недоразумение... Сейчас мы это

уладим... — Он взялся за карандаш: — Ваши фамилии, господа, адреса...”

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и ”род занятий”, пристав приятно осклабился.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Г-н пристав, даю вам слово... Даже не знаком...

— Но позвольте...

— Даю вам слово... Я сын купца. Сын купца...

— Но, позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав. — Вы вон писатель. Я и предположил, не из семейства ли нашего известного...

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию ”Гиперборея” в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков буян, мост. Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом.

Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете. Горничная в наkolке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто. Хозяина — редактора — еще нет — задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя...

Мало кто помнит о ”Гиперборее”, да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. (...)

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: "Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?"

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом "сыпал" вокруг себя чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое... не хуже какого-нибудь Чаплина, оставаясь при этом, в каждом движении, каждом шаге, "ангелом", ребенком, "поэтом Божьей милостью" в самом чистом и "беспримесном" виде.

Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов,— люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть единственная в мире, визитная карточка: "Георгий Иванов и О. Мандельштам". Конечно, заказать такую карточку пришлось в голову Мандельштаму, и, конечно, одному ему и могло прийти это в голову.

И разве не слышали наши "молодые поэты", что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же "чудака", "ангела", "комического персонажа" — из жизни поэта Мандельштама.

В "Tristia" (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто "Tristia" читал, тот уж, наверное, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских стихотворений:

...Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

.....

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.

Нам остается только имя —
Блаженный звук, короткий срок,
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Так вот — это написано в Крыму, написано до беспамьятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная: "Пушкин прощается с морем"), — поклонники эти несколько ошибутся.

Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом "живописном уголку Крыма", — ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками. Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры служанки, чтобы дали графин воды: получив его, он выпивал, конечно, все сразу, и опять начиналась мука... Кормили его обедками. Когда в воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения "живописного уголка". Особенно, кстати, потешалась над ним "она", та, которой он предлагал "принять" в залог вечной любви "ладонями моими пересыпаемый песок". Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель ее привез ее содержатель — армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен, наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...

С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу; встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы "свиное ухо". Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной оказывала Мандельштаму "кредит": разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока "на книжку". Она знала, конечно, что ни копейки не получит, но надо же под-

держат молодого человека – такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот – флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному – коробке печенья или плитке шоколада, – добрая старушка, отстранив его руку, говорила грустно, но твердо:

– Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам.

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед – может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, – видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...

Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным, унылым коктейбельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе – вкусный, жирный кофе – и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок... Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос – сочиняя на ходу стихи, упоительные, "ангельские" стихи:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим...

Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо: "Господин – часы обронил". И когда он гневно обращивался, убегали, высунув "свиное ухо"...

2

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

1920 год. Снег. Холод. Фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной – мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция "Гиперборея",

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино.

Мандельштам только что приехал в советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода, – к себе ночевать. Он два года пропадал – был в Крыму, оттуда выслали в

Грузию, в Грузии едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с Мандельштамом путешествие через всю Россию, — и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры.

— Кто там? — Из-за двери пыхтение, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака... — Кто там?

— Это я.

— Кто я?

— Я... Мандельштам...

Конечно, он приехал в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Первой его заботой, после того как он немного осмотрелся и отошел, было — достать себе "вид на (жительство)".

— Да успеешь завтра.

— Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем в Совдеп, или как там его.

— Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.

— У меня есть. Вот.

И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу. "Вот: "Командующий вооруженными силами на юге России" — значится в заголовке. — У д о с т о в е р е н и е... Дано сие Мандельштаму Осипу Эмилиевичу... Право жительства в укрепленном районе... Генерал Х... Капитан Y..."

— И с этим ты хотел идти в Совдеп!..

Детская растерянная улыбка.

— А что? Разве бумажечка не годится?

.....

Первые стихи Мандельштама были напечатаны в "Аполлоне" в 1910 году. В них была уже вся мандельштамовская прелесть — все туманно-пронзительное очарование. Стихи были замечены — их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин. Вскоре в петербургских литературных "салонах" стал появляться их автор, только что приехавший из-за границы — он учился в Париже.

Наружность у него была странная, обращающая внимание. Костюм франтовский и неряшливый, баки, лысина, окруженная вьющимися редкими волосами, характерное еврейское лицо — и удивительные глаза. Закроет глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел.

При этом он был похож чем-то на Пушкина. И не одними баками. Это потом находили многие, но открыла это сходство моя старуха-горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары и т(ому) п(одобные) посторонние поэзии, но вы-

нужденные иметь с Манделыштамом дело, она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требование чаю и бутербродов в неурочное время и т(ому) п(одобное).

Однажды (Манделыштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Лушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой:

— Что вы, барин, видно, без всякого Манделыштамта не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!

Стихи Манделыштама были замечены. Но мало кто оценил это "чудо", как называла их Ахматова. И он, инстинктивно чувствовавший свое "божественное" происхождение и с детской беззастенчивостью этого не скрывавший, постоянно терпел обиды.

Манделыштам чрезвычайно ценил Сологуба. Еще мальчиком знал его всего наизусть, из-за границы написал ему восторженное письмо, послал свои стихи. Ответа не получил — ну мало ли что — письмо затерялось, может быть.

Приехав в Петербург и напечатавшись в "Аполлоне", решил позвонить Сологубу по телефону. Произошел следующий разговор:

— Можно попросить Федора Кузьмича?

— Я у телефона.

— Говорит Манделыштам.

Молчание.

— Я хотел бы приехать к вам, Федор Кузьмич.

— Зачем это?

— Чтобы прочесть вам свои стихи.

— Я их уже читал.

— И услышать ваше мнение.

— Я не имею о них мнения...

В 1916 году я был у Брюсова. На письменном столе в его кабинете лежали две кипы новых стихотворных сборников, одна поменьше, другая побольше. Брюсов объяснил: "Вот об этом, — кипа поменьше, — я буду писать в "Русской мысли". Об остальных — не стоит".

В ворохе "остальных" лежал только что вышедший "Камень" Манделыштама.

— Как? Вы о "Камне" не будете писать?

Презрительный жест. "Не стоит — эпигон". И Брюсов прочел:

Так!.. Но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величьи видел ты
Закат звезды его кровавой!..

— Из этого вышел весь Мандельштам. И конечно, все его римские стихи не стоят ни одной из этих строк.

— Предположим. Но другие? Неужели ни одно вас не "трогает"?

— Ни одно!

— ...Он ненавидит его,— сказала Ахматова, слушая пересказ этого разговора.— Ненавидит за то, что Мандельштам ангел, а сам он только литератор!

Источником обид была и его удивительная манера читать. К стихам Мандельштама она необыкновенно подходила — он "пел" стихи — но не так, как "поют" большинство поэтов, умеренно, а вовсю, как-то воркуя, растягивая слова, понижая и повышая голос. Но при этом он притоптывал ногой, отбивал рукой такт и весь раскачивался. Понятно, что на публику, которой и обычное "пение" поэтов кажется странным, чтение Мандельштама, да еще при его оригинальной наружности, производило впечатление самое странное. Улыбавшиеся на манеру X-а или Y-а, когда появлялся Мандельштам, начинали хохотать.

Однажды в Тенишевском зале Мандельштам читал только что написанные удивительные стихи: "Я опоздал на празднество Расина..." Слушатели выдались особенно тупые. Мандельштам читал. Стихи были длинные. Смешки и подхихикивания становились все явственней.

...Вновь шелестят ислевшие афиши
И слабо пахнет апельсиновой коркой...

— Свины! — вдруг крикнул Мандельштам в публику, обрывая стихи, и убежал за сцену.

Я утешал его, как мог,— он был безутешен. "Свины, свины",— повторял он. Из зала слышался рев — хохота, криков, аплодисментов. Наконец, сквозь слезы, Мандельштам улыбнулся. Какие свины!

Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье музы не пришли! —

сказал я ему в тон, строчками из недочитанного им стихотворения.

* * *

Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода. Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром — здесь он задыхался... "Если здесь задыхаешься — там сломаешь шею",— холодно сказал ему на прощанье Гумилев. Это был разрыв — его отъезд, обе стороны, и Мандельштам,

и его петербургские друзья, это сознавали. "Может быть, и не сломаю!" – "Сломаешь", – твердо повторил Гумилев.

Мне тогда казалось, что Гумилев не прав. Ведь не пропадет же у *такого* поэта и *такой* голос оттого, что он окунется с головой в болото московской советской литературной жизни – имажинизма, всероссийского союза поэтов, казенных издательств. "Погуляет козочка и вернется домой". И кто знает, может быть, это чистилище пойдет ему даже на пользу.

Осенью 1922 года я пробыл в Москве несколько часов – от поезда до поезда. Я разыскал Мандельштама. Он был все тот же – но вид у него был какой-то растерянный. "В Москве мне хорошо. А в Петербурге что ты можешь мне предложить?" – была одна из его первых фраз. – "Очень рад, что хорошо, предлагать мне нечего". – "Нет, ты скажи, – настаивал он, – можно ли в Петербурге устроиться?"

От "хорошей жизни" в Москве его явно тянуло обратно "домой". Я ему посоветовал оставаться в Москве – все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге – одни дорогие могилы.

Заговорили о стихах. Мандельштам, как всегда, был полон планами и надеждами. "Нет, ты прочти что-нибудь написанное за это время". Он смущенно признавался – ничего нет.

Теперь он снова пишет стихи. Время от времени в советских газетах среди разных неведомых имен, на десятом месте – мелькает его подпись. Грустно читать это имя под такими стихами:

Куда как тетушка моя была богата.
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель *акажу*,
Людовик, рококо – всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.
Однажды довелось мне в гости к ней прийти,
И, гордая собой, упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
– Вот, душечка, Марат, работы Мирабо!
– Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
– Вот, – говорит, – портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.
Читатель, согласись, не может быть того!

Читатель, грустно, не правда ли?

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

(...) Город Александров. 1916 г. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения – проваленный склеп с из земли глядящими иконами.

– Хочу в ту яму, где боженька живет!

Любимая детей и нелюбимая – Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел – ”всю жизнь”!).

– Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно.

Мандельштам – мой гость, но я и сама гость. Гощу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе, семья – я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам.

Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, не может. Петербуржец и кремец – к моим косограм не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идуших, мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец встать. – Взбеситься. – Присниться. – На кладбище я, по его словам, ”рассеянная какая-то”, забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю, сколько лет – лежащим и над ними растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз... но неизменно *от*. Отвлекаюсь.

– Хорошо лежать!

– Совсем не хорошо: вы будете лежать, а по вас ходить.

– А при жизни – не ходили?

– Метафора! Я о ногах, даже сапогах говорю.

– Да не по вас же! Вы будете – душа.

– Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося тела – еще неизвестно, что страшней.

– Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец?

– Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой.

Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. *О себе, лежащем здесь*. Мало, что у вас Богом отнята жизнь, людьми – Мандельштамом с его ”страшно” и мною с моим ”хорошо” отнимается еще и смерть! Мало того, что Богом – вся земля, нами еще и три ваших последних аршина.

Одни на кладбище приходят – учиться, другие – бояться, третьи (я) – утешаться. Все – примерять. Мало нам всей земли со всеми ее холмами и домами, нужен еще и ваш холм, ваш дом. Свыкаться, учиться, бояться, спасаться... Все – примерять. А потом невинно дивимся, когда на повороте дороги или коридора...

Если чему-то дивиться, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их... Будь я на вашем месте...

Тихий ответ: "Будь мы на твоём..."

Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Востока, тоже впервые видевшего со мною Москву – на кладбище Новодевичьего монастыря, под божественным его сводом:

– Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь.

Дома – чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла – с рубашками. Мандельштам – шепотом:

– Почему она такая черная?

Я, так же:

– Потому что *они* такие белые!

Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо), – стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца – себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.

У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывающая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша – ему: "Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?" А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: "Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?"

Но на монашку (у страха глаза велики!) покашливает. Даже, пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распаивает. Распахнутые глаза у Мандельштама – звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.

– А скоро она уйдет? Ведь это неудобно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана.

– Мандельштам, это вам кажется!

– И обвалившийся склеп с костями – кажется? Я, наконец, хочу просто выпить чаю!

Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом:

– А вам не страшно будет носить эти рубашки?

– Подождите, дружочек! Вот помру и именно в этой – благо что ночная – к вам и явлюсь!

За чаем Мандельштам отгаивал.

– Может быть, это совсем уж не так страшно? Может быть, если каждый день ходить – привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдём...

Но завтра неотвратимо шли опять.

А однажды за нами погнался теленок. На косогоре. Красный бычок.

Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу, и когда руки сходились — хохотали, — собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.

Солнце выедало у меня — русость, у него — темность. — Солнце, единственная краска для волос, мною признаваемая! — Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.

— До-о-мой!

Нужно сказать, что Мандельштаму с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли — всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не писал — всегда, то есть раз в три месяца по стиху) — томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось — не жилось.

Итак, домой. И вдруг — галоп. Оглядываюсь — бычок. Красный. Хвост — молнией, белая звезда во лбу. На нас.

Страх быков — древний страх. Быков и коров — без различия, боюсь дико, за остановившуюся кротость глаз. И все-таки, тоже, за рога. "Возьмет да подымет тебя на рога!" — кто из нас этим припевом не баюкан? А рассказы про мальчика — или мужика — или чьего-то деда, которого бык взял да и поднял? Русская колыбель — под *бычьим* рогом!

Но у меня сейчас на руках две колыбели! Дети не испугались вовсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как на канатах гигантских шагов, не по земле, а над. Скок усиливается, близится, настигает. Не вынеся — оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал. Может, не гнался вовсе? (...)

— Барыня! Чего это у нас Осип Емельич такие чудные? Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне: "Счастливый у вас, Надя, Андрюша, завсегда ему каша готова, и все дырки на носках проштопаны. А меня — говорят — никто кашей не кормит, а мне — говорят — никто носков не штопает". И так тяжело-о вздохнули, сирота горькая.

Это Надя говорит, Андрюшина няня, тоже владимирская. Об этой Наде надо бы целую книгу, пока же от сестры, уехавшей и не взявшей, перешла ко мне и ушла от меня только в 1920 году, ушла насильно, кровохаркающая от голода (преданности) и обворовывая (традиция), заочно звала сестру Асей, меня Мариной, гордилась нами, ни у кого больше служить не могла. Приручившаяся волчиха (...)

— ...А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите, сосватаю? Поповну одну.

Я:

— И вы серьезно, Надя, думаете, что любая барышня?..

— Да что вы, барыня, это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухо-ручка какая. Чуден больно!

— Что это у вас за Надя такая? (Это Мандельштам говорит). Няня, а глаза волчки. Я бы ей ни за что — не только ребенка, котенка бы не доверил! Стирает, а сама хохочет, одна в пустой кухне. Попросил ее чаю — вы тогда уходили с Алей, — говорит, весь вышел. "Купите!" — "Не могу от Андрюши отойти". — "Со мной оставьте". — "С Ва-ами?" — И этот оскорбительный хохот. Глаза — щели, зубы громадные! Волк!

— Налила я им тогда, барыня, стакан типятку и несу. А они мне так жа-алобно: "На-адя! А шоколадику нет?" — "Нет, — говорю, — варенье есть". А они как застонут: "Варенье, варенье, весь день варенье ем, не хочу я вашего варенья! Что за дом такой — шоколада нет!" — "Есть, Осип Емельич, плиточка, только Андрюшина". — "Андрюшина! Андрюшина! Печенье — Андрюшино, шоколад — Андрюшин, вчера хотел в кресло сесть — тоже Андрюшино!.. А вы отломите". — "Отломить не отломлю, а вареньица принесу". Так и выпили типятку — с вареньем.

Отъезд произошел неожиданно — если не для меня с моим четырехмесячным опытом — с февраля по июнь — мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал. Если человек говорит *навек* месту или другому смертному — это только значит, что ему здесь — или со мной, например, — сейчас очень хорошо. Так, а не иначе, должно слушать обеты. Так, а не иначе, по ним взыскивать. Словом, в одно — именно прекрасное! — утро к чаю вышел — готовый.

Ломая баранку, барственно:

— А когда у нас поезд?

— Поезд? У нас? Куда?

— В Крым. Необходимо сегодня же.

— Почему?

— Я — я — я — здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить.

Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться: бритва и пустая тетрадка, кажется.

— Осип Емельич! Как же вы поедете? Белье сырое!

С великолепной беспечностью отъезжающего:

— Высохнет на крымском солнце! — Мне: — Вы, конечно, проводите меня на вокзал?

Вокзал. Слева, у меня над ухом, на верблюжьей шее взвол-

нованный кадык — Александровом подавился, как яблоком. Андрюша из рук Нади рвется под паровоз — "колесики". Лирическая Аля, видя, что уезжают, терпеливо катит слезы.

— От вернется? Он не насовсем уезжает? Он только так?

Нянька Надя, блестя слезами и зубами, причитает:

— Сказали бы с вечера, Осип Емельич, я бы вам на дорогу носки выштопала... пирок спекла...

Звонок. Первый. Второй. Третий. Нога на подножке. Оборот.

— Марина Ивановна! Я, может быть, глупость делаю, что уезжаю?

— Конечно (спохватившись)... конечно — нет! Подумайте: Макс; Карадаг, Пра... И вы всегда же можете вернуться...

— Марина Ивановна! (паровоз уже трогается) Я, наверное, глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у вас было так, так... (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) — мне никогда ни с...

Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. Конец платформы. Столб. Столбенею и я. Мимовые вагоны: не он, не он, не он, — он. Машу — как вчера, еще с ним, солдатам. Машет. Не одной — двумя. Отмахивается! С паровозной гривой относимый крик:

— Мне так не хочется в Крым.

На другом конце платформы сиротливая кучка: плачущая Аля — "Я думала, что он не вернется!" — плачущая сквозь улыбку Надя — так и не выштопала ему носков! — ревуший Андрюша — уехали его колесики!

ЗАЩИТА БЫВШЕГО

Мёдон, 1931 г. Весна. Разбор бумаг. В руке чуть было не уничтоженная газетная вырезка.

... Где обрывается Россия

Над морем черным и чужим.

То есть как — чужим? Глухим! Мне ли не знать. И, закрыв глаза:

Не веря воскресенья чуду,

На кладбище гуляли мы.

— Ты знаешь, мне земля повсюду

Напоминает те холмы.

(Выпадают две строки.)

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю — он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Стихи ко мне Манделъштама, то есть первое от него после тех проводов.

Столь памятный моим ладоням песок Коктебеля! Не песок даже — радужные камешки, между которыми и аметист, и сердолик, — так что не таков уж нищ подарок! Коктебельские камешки, целый мешок которых хранится здесь в семье Кедровых, тоже коктебельцев.

1911 г. Я после кори стриженная. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

— Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

– Марина! (Вкрадчивый голос Макса) – Влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!

– Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

А с камешком – сбилось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной.

А с Мандельштамом мы впервые встретились летом 1915 г. в том же Коктебеле, то есть за год до описанной мною гостьбы. Я шла к морю, он с моря. В калитке волошинского сада – разминулись.

Читаю дальше: "Так вот – это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом".

До беспамятства? Не сказала бы.

"Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная: "Пушкин прощается с морем"), – поклонники эти несколько ошибутся".

Настороженная "влюбленным до беспамятства", читаю дальше.

"Мандельштам жил в Крыму. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить..."

Стой! Стой! Это каких хозяев – требования, когда хозяевами были Макс Волошин и его мать, замечательная старуха с профилем Гёте, в детстве любимица ссыльного Шамиля. И какие требования, когда сдавали за гроши и им *годами* должны?

"...Несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом живописном уголке Крыма – ему не давали воды".

(Макс и Елена Оттобальдовна – кому-либо не давали воды? Да еще поэту?!)

"Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками – ни реки, ни колодца не было, – и Мандельштам хитростями и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки..."

Да в Коктебеле, жила в нем с 11-го по 17-й год, отродясь служанки не было, был полоумный сухорукий слуга, собственник дырявой лодки "Сократ", по ней и звавшийся, – всю дачу бы по первому требованию отдавший! (...)

"Кормили его объедками..."

Кто? Макс? Макс вообще никого не кормил, сам где мог подкармливался, кормила добродушнейшая женщина в мире, державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же касается "объедков" — в Коктебеле было только одно блюдо: баран, природный объедок и даже оглодок. Так что можно сказать: в Коктебеле не-объедков не было. Коктебель, до всяких революций, — голодное место, там и объедков не оставалось из-за угрожающего количества бродячих собак. Если же "объедками" — так всех.

"Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане..."

Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех сторон света, то есть месте, о котором иные и мечтать даже не смели!

"Простудившись однажды на такой ночевке..."

Это в Коктебеле-то, с его кипящим морем и трескающейся от жары землей! В Коктебеле, где все мы спали на воле, а чаще и вовсе на спали: смотрели на красный столб встающего Юпитера в воде или на башне у Макса читали стихи. От восхода Юпитера — до захода Венеры...

"...На такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения "живописного уголка"..."

Живописный — да, если вести от живописцев: художников, друзей Макса, там живших (Богаевский, Лентулов, Кандауров, Нахман, Лев Бруни, Оболенская). Но живописный в кавычках — нет. Голые скалы, морена берега, ни кустика, ни ростка, зелень только высоко в горах (огромные, с детскую голову, пионы), а так — ковыль, полынь, море, пустыня. Пустырь. Автор, очевидно, Коктебель (Восточный Крым, Киммерия, родина амазонок, вторая Греция) принял за Алупку, дачу поэта Волошина за "профессорский уголок", где по вечерам Вяльцева и граммофон: "Наш уголок я убрала цвета-ами..."

Коктебель — никаких цветов. И сплошной острый угол скалы. (Там, по преданию, в одной из скал, досягаемой только вплавь, — вход в Аид. Подпльвала. Входила.)

"Особенно, кстати, потешалась над ним "она", та, которой он предлагал принять в залог вечной любви "ладонями моими пересыпаемый песок".

Потешалась? Я? Над поэтом — я? Я, которой и в Коктебеле-то не было, от которой он и уехал в Крым?

"Она очень хорошенькая (что?), немного вульгарная (что??), брюнетка (???), по профессии женщина-врач (что-о-о-???)"

"Вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был доволен: наконец нашел место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать..."

Женщина-врач на содержании у армянского купца — (помимо того, что этой данной женщины никогда не было) — *не наши нравы!* Еврейская, то есть русская женщина-врач, то есть интеллигентка, сама зарабатывающая. У нас не так-то легко шли на содержание, особенно врачи! Да еще в 1916 году, в войну... Вот что значит десять лет эмиграции. Не только Мандельштама забыл, но и Россию.

”С флюсом, обиженный, некормленный Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклопоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы ”свиное ухо”...”

Кстати, забавная ассоциация: пола — свиное ухо. Еврей в долгополом сюртуке, которому показывают ”свиное ухо”. Но у автора воспоминаний мальчишки из *полы* делают ”свиное ухо”. Из какой это полы? Мальчишки — в рубашках, а у рубашки полы нет, есть подол. Пола у сюртука, у пальто, у чего-то длинного, что распахивается. Пола — это 1/2. Автор и крымских мальчишек, и крымское (50 гр.) лето, и просто мальчишек и просто лето — забыл!

”Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком...” (которое, в скобках, в Коктебеле, как по всему Крыму, было величайшей редкостью. Бузой — да, ситро — да, ”пашетепе” — да, молоко — нет).

”Эта старушка...”

И не старушка-еврейка, а цветущих лет грек — единственная во всем Коктебеле кофейня: барак ”Бубны”, расписанный приездими художниками и поэтами, — даже стишок помню — изображен белоштаннный дачник с тростью и моноклем и мы — все: кто в чем, а кто и ни в чем —

Я скромный дачник, друг природы.
Стыдитесь, голые уроды!

Бубны, нищая кофейня ”Бубны”, с великодержавной, над бревенчатой дверью, надписью ”Славны Бубны за горами!”.

С Коктебелем-местом у автора воспоминаний произошло то же, что у Игоря Северянина с Коктебелем-словом: Игорь Северянин в дни молодости, прочтя у Волошина под стихами надпись: Коктебель, — принял название места за название стихотворного размера (рондо, газель, ритуфель) и произвел от него ”коктебли”, нечто среднее между коктейлем и констеблем. Автор воспоминаний дикий Коктебель подменяет то дачной Алушкой, то местечком Западного края с его лотками, старушками, долгополыми мальчишками и т. д.

”Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески...”

Позвольте, а мы всё? Всегда уступавшие ему главное место на арбе и последний глоток воды из фляжки? Макс, его мать, я, сестра Ася, поэтесса Майя – что ни женщина, то нянька, что ни мужчина, то дядька – всё женщины, жалевшие, всё мужчины, восхищавшиеся, – все мы, и жалевшие, и восхищавшиеся, с утра до ночи нянчившиеся и дядчившиеся... Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может быть, раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен *ушами* – на стихи и *сердцами* – на слабости.

"Старушка (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа) по доброте сердечной оказывала Мандельштаму "кредит": разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока "на книжку". Она знала, конечно, что ни копейки не получит – но надо же поддержать молодого человека – такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот – флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос 2-го сорта, спички, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному – коробке печенья или плитке шоколада, – добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: "Извините, господин Мандельштам, это вам не по средствам".

А вот *мой* вариант, очевидно неизвестный повествователю. Поздней осенью 1915 года Мандельштам выехал из Коктебеля в собственном пальто хозяина "Бубен", ибо по беспечности или по иному чему заложил или потерял свое. И когда год спустя в тех же "Бубнах" грек – поэт: "А помните, господин Мандельштам, когда вы уезжали, шел дождь, и я вам предложил свое пальто", поэт – греку: "Вы можете быть счастливы: ваше пальто весь год служило поэту". Не говоря уже о непрерывном шоколаде в кредит – шоколаде баснословном. Так одного из лучших русских поэтов любило одно из лучших мест на земле: от поэта Максимилиана Волошина до полуграмотного хозяина нищей кофейни.

"Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным, унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе – вкусный, жирный кофе – и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок..."

Товарищ пишуший, я никогда не ходила в розовых прелестных капотах, и я никогда не была ни очень хорошенькой, ни просто хорошенькой, ни немного, ни много вульгарной, я никогда не была женщиной-врачом, никогда меня не содержал черномазый армянин, в такую "меня" никогда не был до беспамятства влюблен поэт Осип Мандельштам.

Кроме того, повторяю, Коктебель – место пусто, в нем никогда не было жирных сливок, только худосочное (с ковыля!)

и горьковатое (с полыни!) козье молоко, никогда в нем не было горячих домашних булок, вовсе не было булок, одни только сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно. И если поэт был голоден — виноват не "злой хозяин" Максимилиан Волошин, а наша общая хозяйка — земля. Здесь — земля Восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога никогда не была.

Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из лучших в русской литературе, в них ничего не поняли. "Крымские" стихи написаны в Крыму, да, но по существу своему — Владимирские. Какие же в Крыму — "темные деревянные юродивые слободы"? Какие — "туманные монашки"? Стихи написаны фактически в Крыму, но по существу же — изнутри владимирских просторов. Давайте по строкам:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.

Какие холмы? Так как две последующие строки выпадают — в тексте просто заменены точками, — два возможных случая: либо он и здесь, на русском кладбище, вспоминает — с натяжкой — холмы Крыма, либо — что гораздо вероятнее — и здесь, в Крыму, не может забыть холмы Александрова. (За последнюю догадку двойная холмистость Александрова: холмы почвы и холмы кладбища.)

Дальше, черным по белому:

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться — значит, быть беде.

Монашка, думается мне, составная: нянька Надя с ее юродивым смехом, настоящая монашка с рубашками и, наконец, я с моими вождениями на кладбище. От троящегося лица — туман. Но так или иначе — от этой монашки и уезжает в Крым.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.

Я знаю – он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.

Еще белеет полоса, то есть от прошлого (1915 год) коктейбельского лета. Таково солнце Крыма, что жжет на целый год. Если бы говорилось о крымской руке – при чем тут еще и какое бы чудо?

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.

Не "строкою", а "гордою" (см. "Tristia"). Не отрываясь целовала – что? – распятие, конечно, перед которым в Москве, предположим, гордилась. Гордой по молодой глупости перед Богом еще можно быть, но строгой? Всякая монашка строга. В данной транскрипции получается, что "она" целовала не икону, а чело- века, что совершенно обесмысливает упоминание о Спасе и все четверостишие. Точно достаточно прийти к Богу, чтобы не отрыва- ваясь зацеловать человека.

Нам остается только имя:
Блаженный звук, короткий срок.

Не "блаженный звук, короткий срок", а (см. книгу "Tristia")

Чудесный звук, на долгий срок.

Автор воспоминаний, очевидно, вместо "на долгий" прочел "недолгий" и сделал из него "короткий". У поэтов не так-то коротка память! – Но можно ли так цитировать, когда "Tristia" продается в каждом книжном магазине?

Кончается фельетон цитатой:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим.

Это пишущему, очевидно, – чужим, нам с Мандельштамом родным. Коктебель для всех, кто в нем жил, – вторая родина, для многих – месторождение духа. В данном же стихотворении:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим, —

глухо-шумящим, тем же из гениального стихотворения Мандельштама:

Бессонница. Гомер, тугие паруса...

Во избежание могущих повториться недоразумений оповещаю автора фельетона, что в книге "Tristia" стихи "В разноголо-сице Ведического хора", "Не веря воскресенья чуду..." ("Нам остается только имя: чудесный звук, на долгий срок..."), "На розвальнях, уложенных соломой" принадлежат мне, стихи же "Соломинка" и ряд последующих — Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже и столь же похожей на ту женщину-врача, как и я.

Что весь тот период — от Германо-Славянского льна до "На кладбище гуляли мы" — *мой*, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарил Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге небывшего армянина.

Эту собственность — отстаиваю.

Но не о мне одной речь, мне — что; что эта брюнетка с армянином — я — никто не поверит. Что эти стихи ей, а не мне — если даже поверят — мне что! в конце-то концов! Знает Мандельштам, и знаю я. И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас не смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых, в друге (моем и, как выясняется из фельетона, и автора NB! Если так помнят друзья, то как же помнят враги?), во-вторых, в большом поэте, которого выводят пошляком (Мандельштам не только данной женщины не любил, но *любить не мог*), в-третьих, в другом поэте — Волошине, — которого выводят скрягой и извергом (не давать воды), и, в-четвертых, в том, что все это преподносится в виде поучения молодым поэтам.

Закончим началом фельетона, вскрывающим повод, причину и цель его написания:

"На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: "Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудачком? Разве он мог быть таким?" Именно таким он и был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал..."

В данном фельетоне, как доказано, выдуманно всё.

"Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и,

кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов, — люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка: такой-то и О. Мандельштам. И разве не слышали наши "молодые поэты", что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое".

Высокое и смешное — да, высокое и пошное — никогда.

"...Приведу, для наглядности, пример из жизни того же "чудака", "ангела", "комического персонажа" — из жизни поэта Мандельштама..."

Цену примеру — мы знаем.

Большой фельетон у литераторов зовется "подвал". Здесь — правильно. Киммерийские утесы и мои Александровские холмы, весь Коктебель с его высоким ладом, весь Мандельштам с его высокой тоской здесь низведены до подвала — *быта* (никогда не бывшего!).

Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто — когда — где — с кем — при каких обстоятельствах — и т. д., как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсеков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта? Да разве он не знает, что поэт *в стихах* — живой, *по существу* — далекий?

Но — спорить не буду — официальное право у биографа на *быль* (протокол) есть. И уж наше дело извлечь из этого протокола соответствующий урок. Важно одно: чтобы протокол был бы именно протоколом.

Если хочешь писать *быль*, знай ее, если хочешь писать *пасквиль* — меняй имена или жди сто лет. Не померли же мы все — в самом деле! Живи автор фельетона на одной территории со своим героем — фельетона бы не было. А так... за тридевять земель... да, может, никогда больше еще и не встретимся... А тут — соблазн анекдота, легкого успеха у тех, кто чтению стихов поэта предпочитает — сплетни о нем. Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния.

— А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли да все это нам и рассказали? Зачем нам знать, как великий поэт Мандельштам по зеленому косогору скакал от невинного теленка?

На это отвечу:

На *быль* о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана *вымыслом* о Мандельштаме летом 1916 года. На *свой* подстроч-

ник к стихотворению – подстрочником *тем*. Ведь нигде никогда (1916–1931 гг.) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. Оборона! Когда у меня в Революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими.

– Ограбили дедов! – Эти стихи я – хотя бы одной своей заботой о поэте – заработала.

Еще одно: ограничившись одним опровержением вымысла, то есть просто уличив, я бы оказалась в самой ненавистной мне роли – прокурора. Противопоставив вымыслу – живую жизнь, – и не обаятелен ли мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду, а быть может, и благодаря им? – утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта – защитника.

Мёдон, апрель – май 1931

ВСТРЕЧИ

(фрагменты)

(...) Итак, акмеисты: то есть Ахматова, Гумилев, Мандельштам – и потом так называемые "мальчики" из Цеха поэтов – Георгий Иванов, Георгий Адамович; потом другие "примыкавшие" – будущие ученые, как-то В. Гиппиус, В. Жирмунский, – и сколько еще других! – одни чаще, другие – реже, но все отдавали дань "Бродячей собаке". Анна Ахматова, например, помнит, не в одном стихотворении использовала обстановку этого художественного подвала. Вспомните хотя бы:

Все мы бражники здесь, блудницы...

Стихотворение это почему-то кончается так:

А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

Мандельштам, задирая голову, рассыпал свои оригинальные стихи периода первого расцвета его таланта, – и всегда встречался публикой не с меньшим вниманием, чем представители футуристического лагеря. В этот период он написал и свою забавную эклогу неразменному золотому, и свое, ставшее тогда знаменитым, "Адмиралтейство":

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря –
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!

Но там же он был автором и ряда таких стихотворений, которые впоследствии отверг. Во-первых, своего "Футбола второго"; "Футбол первый": "Рассеян утренник тяжелый, – На босу ногу день пришел; – А на дворе военной школы – Играют мальчики в футбол" – он где-то все-таки напечатал, хотя и по излишней строгости к себе не включил в собрание своих стихотворений...

Вот этот замечательный "Футбол второй", образ Юдифи в котором был вызван одной из постоянных посетительниц "Собаки", имевших прозвание "Королевы Собаки" (таких было несколько):

Телохрани́тель был отравлен.
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обесславлен
Футбола толстокожий бог.

И с легкостью тяжеловеса
Удары отбивал боксер...
О беззащитная завеса,
Неохраняемый шатер!..

Скажи, не так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно-жива,
Не допив кубка, покати́лась
К ногам тупая голова?

И надсмехалась лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь, и тешились враги?

В "Свиной Собачей книге", называвшейся так странно не в силу того же смешения двух этих животных, в каком был повинен Алексей Крученых, — но оттого, что эта толстая книга нелинованной бумаги была заключена в переплет из свиной кожи, — в "Свиной книге" много было записано отличнейших экспромтов не только присяжных поэтов легкого жанра — к каким относился в первую голову ставший также постоянным "собачником" и не примыкавший (как и автор этих строк) ни к какой поэтической группе П. П. Потемкин, — но и более серьезных, в том числе интереснейшие стихи Мандельштама, Маяковского и скольких еще!

Но это было не в "Собаке", а в "Вене", и записано было даже не в "Венский" альбом, а просто на открытку, тут же направленную к адресату, — следующее коллективное стихотворение по случаю первых по времени выборов "короля поэтов", имевших место там. В них принимали участие супруги Кузьмины-Караваяевы, Мандельштам, Василий Гиппиус и я. После того как в первый раз голоса разделились (были поданы два за Федора Сологуба, два за Блока, а пятый за одну поэтессу), назначили перевыборы. Пятый присоединил свой голос к сторонникам Блока, которому и было сооружено следующее письмо:

Диалог. Мы и Блок.

Мы. После Цеха,

После Академии, —
Мы без смеха
Раздавали премии.
Б л о к. Вот потеха!
Избран вами всеми я!

А вот после такого не совсем складного вступления шли четыре грациозные строчки, в которых по почерку я узнал, проглядывая не так давно сохраненную Блоком в тщательном порядке корреспонденцию, — Манделъштама — в качестве автора их:

Блок — король и маг порока;
Рок и боль венчают Блока.

⟨...⟩ Так как мне уже не придется возвращаться к шуточным стихам, — я позволю себе некоторые анахронизмы в своих эклогах М. Лозинскому. ⟨...⟩ Не он ли автор пародии на некую строфу из Шиллера "Кубка"?

У Шиллера — Жуковского:

. свиваются в клуб
И млат водяной, и уродливый скат,
И ужас морей — Однозуб...

У Лозинского (дело идет о "Клубе поэтов", возникшем в доме Мурузи в 1921 году):

За жизнь свою медной полушки не даст,
Кто зрел, как собираются в клуб
И Блок ледяной, и уродливый
И ужас друзей — Златозуб...

А Златозуб — это прозвище Манделъштама...

Этот последний, "взаимно", взял Михаила Леонидовича Лозинского героем многих своих эпиграмм из "Антологии античной глупости", которую Манделъштам начал сочинять как раз в означенную пору и в означенной "Собаке".

Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался,
Редко он гостю совал в руку полтинник иль рубль;
Если же скромен был гость и просил лишь тридцать
копеек,

Сын Леонида ему тотчас, ликуя, вручал...

Вероятно, я запомнил, как в точности звучал последний пентаметр... В другом случае, при приходе гостя, в квартире сына Леонида были разверсты широкошумные краны. В назидание ему говорилось:

Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей.

(...) Я хотя попадал почти ежедневно часам к половина второго, к двум на службу, — и успевал там поперевести из Тирсо де Молина либо ответить своим сослуживцам на несколько вопросов из выдуманной мною, якобы основанной Курбатовым, науки "Петербургологии", тогда как сидевший за соседним столом А. Е. Кудрявцев спешно готовил (или это было уже только в годы войны?) "Иностранное обозрение" для "Летописи", журнала Максима Горького, — но, вернувшись в шестом домой, после обеда погружался в сон, чтобы встать иной раз как раз к тому времени, когда пора было собираться в "Собаку". Помню, как раздувал я ноздри, впитывая в себя дневной воздух, когда однажды в воскресенье попал на картинную выставку! Нам (мне и Манделыштаму, и многим другим тоже) начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в "Собаке", что и нет иной жизни, иных интересов, чем "Собака"!

К нашей чести, надо сказать, что мы сами чувствовали эту опасность. То есть опасность того, что в наших мозгах укоренится эта абберация "мировоззрения".

В ДОМЕ ИСКУССТВ

(...) По дому, закинув голову, ходил Осип Манделъштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно. И кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного.

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Осип Манделъштам пасся, как овца по дому, скитался по комнатам, как Гомер.

Человек он в разговоре чрезвычайно умный. Покойный Хлебников назвал его "Мраморная муха". Ахматова говорит про него, что он величайший поэт.

Манделъштам истерически любил сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным.

Его какая-то женская распушенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле, — он, как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает, чтобы ее не заставили работать.(...)

ВСТРЕЧИ

(фрагмент)

(...) Бенедикт Лившиц, киевлянин, учившийся в Петербурге, был уже "настоящим поэтом": он печатался в "Аполлоне", лично знал многих петербургских знаменитостей, выпустил в Петербурге книгу стихов "Флейта Марсия" и готовил вторую книгу — цикл стихов о Петербурге "Болотная Медуза":

...Лети, лети на темном звере,
Ты, наездник с бешеным лицом,
Уже вскипает левый берег
Зимнедворцовым багрецом...

Бритый, с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный, Лившиц в Киеве держал себя как "мэтр": молодые поэты с трепетом знакомились с ним, его реплики и приговоры падали, как нож гильотины: "Гумилев — бездарность", "Брюсов — выдохся", "Вячеслав Иванов — философ в стихах". Он восхищался Блоком и не любил Есенина. Лившиц пропагандировал в Киеве "стихи киевлянки Анны Горенко" — Ахматовой и Осипа Мандельштама. Ему же киевская молодежь была обязана открытием поэзии Иннокентия Анненского.

...После падения гетмана и Петлюры, в начале 1919 года в Киев вошли большевики. Кому-то из бывших деятелей Киевского Литературно-Артистического Общества пришла в голову мысль устроить в зале бывшей гостиницы "Континенталь" эстраду со столиками, для выступлений, — "Хлам": художники, литераторы, артисты и музыканты. В это время в Киев съехалось много поэтов и писателей из Петербурга и Москвы в надежде подкормиться в продовольственно более благополучном Киеве. Помещение "Хлама", днем — пустое, стало своего рода штаб-квартирой киевских литераторов. Однажды днем (днем в "Хламе" можно было получать кофе и кое-какую еду, но столики обычно пустовали) я заметил единственного, кроме меня, посетителя. Невысокий человек, лет 35-ти, с рыжеватыми волосами и лысинкой, бритый, сидя за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внимания на принесенную ему чашку кофе.

"Поэт, — решил я, — но кто?" В это время в "Хлам" вошел Маккавейский. Я поделился с ним моими наблюдениями. Решительный в таких случаях, с обычной своей изысканной любез-

ностью, Маккавейский представился.

— Осип Мандельштам, — последовал ответ незнакомца.

Через несколько минут разговор уже шел о стихах: точнее, Маккавейский говорил и задавал вопросы. Он обладал даром заводить новые знакомства.

Оказалось, только что приехав в Киев (подкормиться, на севере голодно), Мандельштам пошел осматривать город и случайно забрел в "Хлам".

— Я пишу стихи медленно, порой — мучительно-трудно. Вот и сейчас никак не могу окончить давно начатое стихотворение, не нахожу двух заключительных строк, — с серьезным, глубоким выражением лица и в то же время с какой-то детской доверчивостью поделился своим затруднением Мандельштам.

Это было его прекрасное стихотворение "На каменных отрогах Пиэрии", впоследствии вошедшее в книгу "Tristia". В последней строфе:

Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,

не хватало двух заключительных строк, которые Мандельштам искал и здесь, в "Хламе". С присущей ему формальной находчивостью Маккавейский подсказал:

Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?

Если вслушаться в музыку двух последних строк стихотворения, эти строки суше и фонетически беднее мандельштамовских. Я был очень удивлен, когда Мандельштам принял их; но в таком виде стихотворение появилось в "Гермесе" и осталось в "Tristia".

Мандельштам пробыл в Киеве несколько месяцев, принимал участие в литературных вечерах и в киевских изданиях. С эстрады он читал очень плохо — то слишком понижал, то слишком повышал тон, торопился, останавливался, иногда начинал снова. В небольшом же помещении, там, где слышен даже шепот, он порой читал вдохновенно и прекрасно. Также и в разговорах — то застенчиво молчал, то вдруг мог говорить долго, глубоко и замечательно. Лишенный от природы представительной внешности, в такие минуты он казался прекрасным.

В жизни Мандельштам был беззащитен, непрактичен, наивен. С ним постоянно случались всякие приключения. Так, зайдя навестить знакомого в дом, где помещался Военный комиссариат, он попал не туда, его приняли за призывного и чуть-чуть не мобилизовали. В другой раз, желая купить незаконным способом несколько яиц, он попал в милицию и т. п. В конце концов, пос-

ле занятия Киева Добровольческой Армией, Мандельштам умудрился оказаться в бывшей квартире видного советского чиновника – знакомые поручили ему охранять эту квартиру.

Дело грозило принять трагический оборот, контрразведка арестовала его, а тут еще еврейское происхождение, но поэты-киевляне, имевшие связи, выручили Мандельштама и отправили его в Крым. (...)

1953

ВОСПОМИНАНИЯ

Вспоминаю зиму 1919–20 гг.

Воспоми(ания) о Мандельштаме. Я не был в России, когда он приехал в Коктебель. Я был в Париже и помню мамино письмо: "Сейчас в твоей комнате живет молодой поэт Мандельштам. Ты его когда-то встречал в Петербурге". Помню эту встречу – это было у сестры Зинаиды Венгеровой – Изабеллы Афанасьевны (певицы). Там было нечто вроде именинного приема – торты, пироги, люди в жакетах и смокингах. Сопровождая свою мать – толстую немолодую еврейку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии – вроде Поливановской – кажется, Тенишевской.

Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. "Вот растет будущий Брюсов", – фомулировал я кому-то (Лиле?) свое впечатление. Он читал тогда свои стихи.

Он в том же мамином письме прислал в Париж свои стихи. Стихи были своеобразны, но мне не очень понравились, и я ему ничего не ответил.

После, в России, Иос(иф) Мандельштам (снова) появился на моем горизонте. У мамы к нему была необъяснимая сердечная слабость. Она его всегда дразнила, называла M-lle Fifi.

М(андельштам) был часто невыразимо комичен: у мамы оставался куриозный умывальник в стиле эсмарховой кружки с короткой резиночкой и заворачивающимся краником. Прислуга явно конфузилась. Помню, Домна (молодая болгарка) на вопрос мамы: "Что ты?" – закрывая рот платком, ответила: "...точно маленький мальчик". М(андельштам) приблизительно так же реагировал на этот умывальник, который стоял в его комнате, и просил не раз у мамы позволения обменять этот аптечный умывальник. Над ним после сжалилась Юлия Оболенская, отдала ему свой, а сама взяла его. А когда М(андельштам) приходил в гости, то всегда втыкал в кран цветок, изображавший фиговый листок.

В ту зиму М(андельштам) был влюблен в Майю. Однажды он просидел у нее в комнате довольно долго за полночь. Был настойчив. Не хотел уходить. Майя мне говорила: "Ты знаешь, он ужасно смешной и неожиданный. Когда я ему сказала, что я хочу спать и буду сейчас ложиться, он заявил, что теперь он не уйдет: "Вы меня скомпрометировали. Теперь за полночь. Я у Вас

просидел подряд 8 часов. Все думают про нас... Я рискую потерять репутацию мужчины”.

Крым в эту зиму был под властью белых.

Однажды М(андельштам) вошел ко мне очень взволнованный.

”Макс Алекс(андрович), сейчас за мной пришел какой-то казацкий есаул и хочет меня арестовать. Пойдемте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы знаете, как белые относятся к евреям”.

Мы с ним пошли на дачу Харламова, где он занимал комнату вместе с братом. У них сидел, действительно, пьяный казацкий есаул в страшной кавказской папахе и, поводя мутными глазами, говорил: ”Так что, я нахожу, что у Вас бумаги не в порядке, и я Вас арестую”. Этот есаул откуда-то свалился в деревню Коктебель и пил безвыходно несколько дней, а потом, спохватившись, нашелся: ”Есть ли у Вас в Коктебеле жида?” Крестьяне очень предупредительно ответили: ”Как же — двое есть — у моря живут всю зиму — братья Мандельштамы”.

Есаул тотчас же отправился к ним делать обыск. Он сидел посреди комнаты, икал во все стороны и рассматривал книги, случайно попавшие к нему в руки.

”А это *Евангелие*, моя любимая книга — я никогда с ним не расстаюсь”, — говорил Мандельштам взволнованным голосом и вдруг вспомнил о моем присутствии и поспешил меня представить есаулу: ”А это Волошин — местный дачевладелец. Знаете что? Арестуйте лучше его, чем меня”. Это он говорил в полном забвении чувств.

На есаула это подействовало, и он сказал: ”Хорошо. Я Вас арестую, если М(андельштам) завтра не явится в Феодосию в 10 (часов) утра”.

Учреждение, куда должны были явиться братья Мандельштам (не помню, как оно называлось), было учреждение, которым заведовал полк(овник) Цыгальский — поэт и поклонник М(андельштама).

Сам Осип Эм(ильевич) находился в таком забвении чувств, что, вернувшись к нам в дом, обнаружил у себя в руке ключ от Майиной комнаты, который бессознательно зажал у себя в руке.

Он уезжал вместе с Эренбургом в Батум. Ему эту поездку устраивал милейший Александр Алекс(андрович), порт(овый) начальник.

В конце лета О(сип) Э(мильевич) обратился ко мне с просьбой:

”Мак(с) Алек(сандрович), наверно, у Вас в библиотеке найдется итальянский текст Данта. Одолжите мне, пожалуйста”.

Я пошел наверх, в кабинет, искать. А он между тем говорил Наташе Верховецкой: ”Ну, (не удивлюсь), если Макс Ал(ександрович) будет теперь долго искать своего Данта — я сам его года три назад завез в Петербург и там позабыл”. — ”Но как

же вы его теперь просите?” – “Но ведь хорошая библиотека не может быть без “Divina Commedia” в оригинале – я думаю, что М. А. за эти годы успел себе выписать новый экземпляр”.

Я спустился из кабинета и сказал: “Осип Эмильевич, я думаю, что не Вам у меня, а мне у Вас надо просить Данта, Вам я дал свой экземпляр – года 3 назад”.

У Мандельштама была с собою его книжка “Камень” в единственном экземпляре – (в то время) к(ак) ему было необходимо много экземпляров, чтобы расплачиваться за ночлег, обеды и всякие любезности.

У меня стоял в библиотеке один экземпляр “Камня”, подаренный им маме с нежной дружеской надписью.

Я боялся за его судьбу и как-то заметил, что его на полке больше нет. Обыскал соседние полки, убедился в том, что он похищен. Тогда я призвал на допрос Майю – и она созналась, что Мандельштам, взяв со стола у нее эк(земпляр) “Камня”, объявил ей, что он его ей больше не вернет. Я тогда написал письмо Новинскому, где его просил не выпускать М(андельштама) из Феодосии, пока он не вернет мне экземпляр “Камня”, похищенного из моей библиотеки. Случилось, что Новинский получил это письмо за завтраком и М(андельштам), завтракавший с ним вместе, прочел его. Искренно возмущен и был по своему прав: похитил со стола у Майи книжку не он, а Эренбург.

А он, увидевши, что я принимаю энергичные меры, написал мне ругательное письмо. Письмо было пересыпано самой отборной руганью, и, чего он ожидал еще меньше, я, на первом же чтении стихов, что я устраивал постоянно в мастерской, сказал слушателям:

“А вот если кто из Вас потеряет или иначе утратит какую-нибудь книжку, взятую из моей библиотеки, то рекомендую Вам вместо того, чтобы извиниться, писать мне ругательное письмо”. И как образец стиля прочел им письмо М(андельштама).

Через несколько дней М(андельштам) в момент о(т)хода парохода был арестован и посажен в тюрьму.

Он обезумел от ужаса, как тогда, при инциденте с есаулом, и, будучи введенным в тюрьму, робким шепотом спросил у офицера: “А что, невинных иногда отпускают?”

Тогда все друзья М(андельштама) стали меня уговаривать, что я должен за него заступиться. Раньше я мог делать или не делать. Это было в моей воле. А теперь (после того как он мне написал ругательное письмо) я обязан ему помочь. Напрасно я им доказывал, что сейчас я не могу ехать в Феодосию, так как у меня болит рука и я никого из влиятельных лиц в Добр(овольческой) армии не знаю.

В конце концов было решено: я напишу под диктовку письмо начальнику контрразведки, которого я в глаза не видел

(“но он твое имя знает...”), и только подпишусь. Я продиктовал такое письмо:

”М(илостивый) г(осударь)! До моего слуха дошло, что на днях арестован подведомственными Вам чинами — поэт Иос(иф) Мандельштам. Т(ак) к(ак) Вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слышали имени поэта Мандельштама и его заслуг в области русской лирики, то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает (в) русской поэзии очень к(р)упное и славное место. Кроме того, он человек крайне панический и, в случае, если под влиянием перепуга, способен на всякие безумства. И, в конце концов, если что-нибудь с ним случится, Вы перед русской читающей публикой будете ответственны за его судьбу. Сколько верны дошедшие до меня слухи — я не знаю. Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: М(андельш)там ни к какой службе вообще не способен, а также (и к) политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал”.

Нач(альник) к(онтр)разведки, получив карточку ”княгиня Кудашева”, принял Майю очень любезно, прочитал письмо про себя, восклицая: ”А кто же такое Волошин? Почему же он мне так пишет?” — ”Поэт... Он со всеми так разговаривает...” — отвечала Майя высоким и наивным голоском. Письмо нарочно было написано в таком духе: оно было корректно, но на самом лезвии. Оно звучало как личное оскорбление и поэтому запоминалось. Это был обычный тон моих отношений с Добровольческой армией. Нач(альник) к(онтр)разведки очень недовольным жестом сложил бумагу и сунул в боковой карман. И на другой день велел отпустить Мандельштама.

М(андельш)там и Эр(ен)бург уехали одновременно. Вскоре я получил от одного поэта и издателя — Абрамова несколько номеров художественного журнала ”Творчество”. Он просил ему написать свое впечатление от журнала. Там была большая статья Осипа Эмильевича ”Vulgata”. ”Вульгатой”, как известно, называется латинский перевод Библии, сделанный св(ятым) Иеронимом и принятый в католической церкви. Я долго вчитывался в статью М(андельш)тама и не мог понять ее заглавия, как оно понималось ему, пока не прочел заключительных слов статьи: ”Довольно нам Библии на латинском языке, дайте нам, наконец, Вульгату”. Он как филолог просто перевел заглавие, а как историк никогда не встречался с этим термином и не подозревал о том легком ”искривлении” смысла, кот(орое) лежит в этом имени. Я написал Абрамову: ”Нельзя Вам как редактору допускать такие вопиющие ошибки: нельзя, чтоб наши невежественные поэты помещали у Вас заглавием статьи такие имена, смысл которых им самим неясен. За это ответственны Вы как редактор”. Случилось, что с М(андельш)тамом я встретился только в 1924 г(оду) в Москве, когда я ездил в Москву и был у ре-

дактора "Красной нови" Воронского. Мы встретились не в кабинете, а в коридоре.

М(андельштам) встретил меня радостно и, видимо, "все простил" из того, что между нами было: и зачитанного у меня Данта, и спасение из-под ареста. Он это все мне высказал, но прибавил: "Но нельзя же, Максимилиан Александрович, так нарушать интересы корпорации. Ведь все-таки наши интересы – поэтов, равнодейственны, а редакторы – наши враги. Нельзя же было Абрамову выдавать меня в случае "Vulgata". Ведь эти подробности только Вы знаете. А публика и не заметит". (...)

1932

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

(фрагмент)

(...) Жили мы в Коктебеле отнюдь не спокойно: то и дело из Феодосии приезжали военные или охранники — искали подпольщиков, партизан, "смутьянов". Арестовали Мандельштама. Его вскоре выпустили, но это было лотереей — могли расстрелять. Я поглядывал на дорогу с опаской. Много раз в жизни мне приходилось чувствовать себя дичью — прислушиваться к шагам на лестнице или к лифту; это очень противное ощущение — унижительное; но я себя утешал тем, что я по природе не охотник — никого не выслеживал и не арестовывал.

Иногда по ночам мне мерещились герои "Хуренито": они как будто стучались в двери ненаписанной книги; но у меня не было мысли сесть за роман (можно для шутки добавить, что не было даже бумаги, стихи я записывал на обороте старых конторских счетов). Я думал тогда о другом: как добраться до Москвы? Войне, казалось, не будет конца; разбили Колчака, но в поход двинулись поляки. Как-то я нашел в Феодосии несколько номеров парижских газет. Я узнал, что на выборах во Франции победили правые, что союзники никогда не отдадут плацдармов в России, что они защищают "свободный мир". (Формулы куда долговечнее правительств.) Действительно, в Феодосии я видел много иностранных офицеров. В порту царило оживление: выгружали пушки, боеприпасы.

В Феодосию я ездил редко: нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвезти человека на своей телеге (на четырех бревнах, все время распозлавшихся), да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть, аркадами или ярусами домов на горе; но в городе шла нехорошая жизнь: никто просто не шел по улице — одни покрикивали, другие поеживались.

У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил; были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться.

Мандельштамы уехали: им помог, насколько я помню, начальник порта. Я докучал и Волошину, и моим феодосийским знакомым, чтобы они помогли нам выбраться. Наконец Макс сказал: "Кажется, выходит..." Кончалась затянувшаяся глава: не книги — жизни. Я говорил, что, когда врангелевцы арестова-

ли Осипа Эмильевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: "Вы должны меня выпустить — я не создан для тюрьмы..." На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: "Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?.." Я понимаю, что в 1919 году в контрразведке такие слова звучали фантастически и что белый офицер мог принять их за симуляцию душевного заболевания; но если задуматься, забыть о тактике, даже о стратегии, то разве не было в поведении Мандельштама глубокой человеческой правды? Он не пытался доказать палачу свою невинность, откровенно спросил — стоит ли ему вообще разговаривать; он сказал тюремщику, что "не создан для тюрьмы", это ребячливо и в то же время мудро. "Не по времени", — печально заметила Пра. Конечно. У Мандельштама есть стихи про время:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Познакомился я с Осипом Эмильевичем в Москве; потом мы часто встречались в Киеве — в греческой кофейне на Софийской; там он прочитал мне свои стихи о революции:

Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судия-народ.

Видел я его в тот день, когда Красная Армия оставляла Киев. Потом он об этом рассказал:

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще, разумеете!..

Вместе мы пережили в Киеве ночь погрома. Вместе хлебнули горя в Коктебеле. Вместе пробирались из Тбилиси в Москву.

Летом 1934 года я искал его в Воронеже.

(Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...)

В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве. Мы оба родились в 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.

Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.

Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убежал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых "либералов" и строго сказал им: "На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите "нет". Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы ответите "да", вам многое простится". В самые трагические минуты он смешил нас газеллами:

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемной издательства или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленнейший человек, неспособный даже призадуматься. А Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола — на улицах Москвы или Ленинграда, в степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте: "Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии". Эти слова прежде всего относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова; он сотни раз менял все; порой ясное вначале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой, наоборот, прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долго, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения.

В первые годы революции его словарь, классический стих многими воспринимались как нечто архаическое:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.

Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка — данью давно сгнувшей моде. Мандельштам говорил: "Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее". Это не было канонами, направлением: "Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики". Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее.

Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим — зрительное. Блок слышал, Маяковский видел. Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал: "Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра..." О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту (вспоминаешь холсты Кончаловского):

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как стружья, положил...

.....

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы — Тинторетто, Тициан.

Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; понимал страны, где пробыл недолго.

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет — денежный, обиженный...

Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь... Размышления о прекрасной "детскости" итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из "Разговора о Данте".

Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. "В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загашиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и горящей плотью..." Он отвергал символизм как чуждое русской поэзии явление. "Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик... иностранное представительство от несуществующей фонетической державы..." Андрей Белый — "болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка..."

Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений.

На тебя надевали тиару, — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, лёгок...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о Блоке, и о своих современниках, о Капе, о степи, о сухой, горячей Армении, о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуюсь, что жил с ним рядом...

Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия? Когда Осипу Эмильевичу было девятнадцать лет, он написал статью о Франсуа Вийоне; он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века:

”бедный школяр” по-своему отстаивал достоинство поэта. Мандельштам писал о Данте: ”То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта”. Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму: множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось ”мучительно преодолеваемой неловкостью”.

Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения; передо мной том ”Литературной энциклопедии”, изданный в 1932 году; там сказано: ”Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями... Для мирозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему... Это лишь чрезвычайно ”сублимированное” и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры...” (Статья написана была молодым критиком, который не раз прибежал ко мне, восторженно показывая неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям.) Трудно сказать ббльшую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой! Я уже говорил, как в 1918 году он меня порастил глубоким пониманием грандиозности событий; стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого.

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
 Попробуйте меня от века оторвать, —
 Ручаюсь вам — себе свернете шею!..

.....

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей...

О Ленинграде:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей...

.....

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса...

Это стихотворение было напечатано в "Литературной газете" в 1932 году. А в 1945-м я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой.

Мандельштама не в чем упрекнуть. Разве в том, что и слабость и сила любого человека — в любви к жизни.

Я все отдам за жизнь —
Мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.

.....

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкальной стихией, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество, прошло через всю его жизнь — до сонетов у лагерного костра...

В 1936 году он писал:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Осознавшее свою длину...

Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем "бессмертием".

А в моей памяти живой Осип Эмильевич, милый беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься: наконец-то он уезжает из Коктебеля! Про себя я подумал:

Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит...

В соляных озерах северной части Крыма добывается поваренная соль; добывалась она и до революции. Наверно, я об этом узнал в третьем или четвертом классе гимназии, но школьные познания быстро забываются. Притом я никогда не интересовался происхождением соли, которая стояла на столе. И вот соль, притом крымская, сыграла важную роль в моей жизни.

Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговала с белым Крымом и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар — поваренная соль. Я говорю о его ценности отнюдь не шутя: в то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар.

Один предприимчивый феодосиец решил доставить в Поти соль; ею нагрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии и о рублях, капитан буксира и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвига. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали.

Пришлось пережить несколько неприятных минут; над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волощина: "Застыть, как соль" — и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза.

Буксир взял курс на юг, будто мы шли к берегам Турции. Объяснялось это тем, что в Новороссийске была Советская власть и владелец соли боялся, как бы большевики не захватили его товар. А баржа была предназначена только для небольших рейсов вдоль берега; притом, как я сказал, у нее был возраст, мало подходящий для авантюры.

Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди

идиллии: сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы радовались, что вырвались из Крыма, и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно; мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и накрылись брезентом. Шторм крепчал; навалилась быстрая южная ночь.

На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи: мы находимся далеко от берега, вода попала в трюм и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельца соли, белых, красных, грузин и вообще все на свете.

Мы пробовали уснуть, но это было невозможно — несмотря на брезент, нас заливало; хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали.

Самое неприятное было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу: боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили по канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отошавшими от супа на перце (Люба незадолго до путешествия перенесла сыпняк); перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли и решили остаться — будь что будет.

Я не раз в жизни замечал, что страх — капризное чувство, зачастую не связанное с рассудком. Мой друг, писатель О. Г. Савич, в Испании совершенно спокойно беседовал о поэзии под нестерпимыми бомбежками, но я помню, что, когда мы с ним ехали из Бельгии во Францию, он смертельно боялся таможенного осмотра, хотя не вез никакой контрабанды. Я был в Толедо с испанским художником Фернандо Херасси; он был тогда офицером и не раз удивлял товарищей храбростью. В толедском Алькасаре сидели фашисты и время от времени лениво, для приличия, постреливали в анархистов. Фернандо мне признался, что не хочет лезть со мной на крышу дома — боится: фронт — это фронт, а в Толедо он поехал со мной за компанию и здесь ему страшно. Что касается меня, то я испытывал страх не на фронтах, не в Испании, не при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука в дверь, но об этом я уже писал. Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с драгоценной солью. Мы разговаривали, шутили, и если дрожали, то не от страха, а от холода: промокли насквозь.

Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее. По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли, и он отстоял свой товар.

Сухуми нам показался невыразимо прекрасным; это действительно красивый город, но дело было не только в его живо-

писности — в то яркое, солнечное утро мы восхищались возвращенной жизнью. Нам казалось, что все трудности не только путешествия в Москву, но и жизненного пути позади. Какой-то грузин предложил нам обменять деньги, и вот мы сели в кафе прямо на улице, пили турецкий кофе, кейфовали. Крикливые усатые люди улыбались нам. Продавали золотистый теплый виноград. Было жарко, как летом, и мы не думали ни о цене соли, ни о цене человеческой жизни. Мы развлекались — нам троим вместе было меньше лет, чем теперь мне одному.

Потом мы снова спали на барже, но это была обыкновенная, спокойная ночь: вдоль берега мы шли на Поти. Оттуда поездом добрались до Тбилиси. Куда идти? Где посольство? И где Москва? Мы несколько растерялись в чужом городе, без документов, без денег.

Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к безвыходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он — нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: "Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан..."

Мандельштам рассказал нам о своих злключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни, — это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он — Осип Мандельштам, автор книги "Камень", а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков. Достаточно было взглянуть на Осипа Эмильевича, чтобы понять, насколько он мало походил на агента — не только двойного, но и обыкновенного. Однако у охранников не было времени для размышлений: они выполняли, а может быть перевыполняли, план. (Автор даже самого вздорного приключенческого романа, и тот заботится о некоторой правдоподобности, а полицейские не ломают себе головы — предпочитают проламывать чужие головы.) Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и читали в газете, что "двойной агент Осип Мандельштам" выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича.

Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе духана различные яства, о существовании кото-

рых успели давно позабыть.

С Паоло Яшвили я познакомился в Париже, в "Ротонде"; было это в 1914 году. Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня: "А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишите в кафе? Я не мог бы... Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это чересчур вдохновляет..." Увидев Паоло в Тбилиси, я ему обрадовался, как однополчанину, хотя наша встреча в Париже была случайной и беглой.

Не успели мы сесть за стол, как Паоло и Тициан объяснили нам, что они основатели поэтического ордена "Голубые рога". Я подумал, что это не имеет никакого отношения к обеду: есть ведь журнал "Голубой всадник", выставки "Голубой розы". Но духанщик притащил огромные рога (правда, не голубые). В рог, который Паоло поднес мне, он налил кварту вина. Рог не стакан, на стол его не поставишь, я подержал его несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом. Если вспомнить, что в Коктебеле я сильно отошал, то легко догадаться, чем это для меня кончилось. Грузинские друзья зачем-то поволокли меня на концерт знаменитого виртуоза. Смутно помню, как я валялся в одной из комнат консерватории среди арф и лент от венков.

На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую.

Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался — боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль; спал он на спине, и спал торжественно.

Мы прожили в Тбилиси две недели; они показались мне лирическим отступлением.

Каждый день мы обедали — более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой — обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали, как строки стихов: сулгуни, соцхали, сациви, лоби. Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соусы ореховый и барбарисовый, куринные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уже о разноликих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели.

Никогда дотоле я не бывал на Востоке, и старый Тбилиси мне показался городом из "Тысячи и одной ночи". Мы бродили по нескончаемому Майдану; там продавали бирюзу в смоле и горячие лепешки, английские пиджаки, кинжалы, кальяны и грам-

мофоны, пахучие травы и винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев.

Мы побывали в серных банях; на меня взобрался огромный банщик и облепил меня чудодейственной грязью, которая уничтожала растительность; Паоло пресерьезно уверял, что я похож на Нарцисса.

Мы попивали вино в Верийских садах; внизу нетерпеливая Кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и кинза.

В древних храмах мы глядели на каменных цариц, к которым ласкались барсы. Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета.

Тбилиси был случайным полустанком, на котором остановился поезд времени. Глава меньшевистского правительства Ной Жордания, в прошлом сотрудник различных марксистских журналов, ссылался то на Каутского, то на царицу Тамару. Каутский писал, что меньшевистская Грузия — государство с будущим, а петербуржцы и москвичи, застрявшие на полустанке, торопливо упаковывали чемоданы; одни спешили на север, другие за границу. Некоторых из них я встретил. Артист Н. Н. Ходотов собирався домой, в Петроград. Поэты Агнивцев и Рафалович ждали французских виз. Жители Тбилиси ругали меньшевиков, говорили, что их песенка спета.

Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов — "шахсей-вахсей". На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сновали молодые люди; костюмированные всадники нещадно хлестали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка. Главными актерами были люди в белых халатах; раскачиваясь, они выкрикивали "шахсей-вахсей!" и били себя саблями по лицу. На ярком солнце кровь казалась краской. Самоистязание было поминками по сыну халифа Хусейну, который погиб в битве тысячу четыреста лет назад...

А на соседней улице мастера читали листовку: "Красное знамя Советской власти реет над Баку. Не сегодня завтра оно взвевается над Тифлисом..."

Мне подарили "Сборник тифлисского Цеха поэтов". Эта книжка случайно у меня сохранилась. Среди авторов много поэтов с поэтичными фамилиями: Нина Грацианская, Бел-Конь-Любомирская, Магдалина де-Капрелевич. Поэты "тифлисского цеха" писали сонеты о Свароге, Эросе, Суламите, Санаваллате, Монфоре и о других, столь же близких персонажах.

(...) Я уже говорил, что у меня в жизни было немало разнообразных и неожиданных профессий; теперь мне предстоит рассказать о самой неправдоподобной; она была кратковременной, но бурной — посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей.

Мне часто приходилось и приходится ездить за границу; если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется "руководитель делегации". А вот из Тбилиси я отправился с семью лицами; одни из них в документе именовались "сопровождающими" (Люба, Ядвига, братья Мандельштамы и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии); другие числились моей "охраной" — краснофлотец и молоденький актер Художественного театра. Таким образом, на новом поприще я сразу сделал карьеру.

Теперь я часто встречаю в самолетах дипкурьеров; это спокойные, солидные люди, привыкшие к своей работе; в далекий путь они отправляются вдвоем — когда один спит, другой присматривает за почтой. Поглядывая на них, я вспоминаю далекое прошлое: небось не догадываются, что я тоже вез такие мешки, только не в самолете, где проводницы угощают пассажиров конфетами, а в разбитом вагоне, прицепленном к брошенному паровозу...

Осенью 1920 года советские дипломаты были новичками. Дипломатические отношения тогда поддерживались только с Афганистаном, с новоиспеченными государствами Прибалтики да с меньшевистской Грузией. Все было внове и не проверено. Большевики хорошо помнили жаркие дискуссии с меньшевиками на нелегальных собраниях; иногда приходила полиция и забирала всех. Теперь картина была иной: меньшевистский публицист А. Костров, он же Ной Жордания, стал главой грузинского правительства, и его полиция начала сажать недавних оппонентов в Метехскую тюрьму. Конечно, дипкурьер пользуется неприкосновенностью, никто не вправе посягнуть на груз, который он везет. Посол об этом хорошо знал, но он не знал, знают ли об этом меньшевики, и мне строго наказал, чтобы на границе я ни в коем случае не позволил вскрыть пакет, завернутый в коричневую оберточную бумагу и запечатанный десятком печатей. Я держал этот пакет в руках и не расставался с ним восемь дней, пока не сдал его в Москве в Наркоминдел.

Сначала дорога была идилической. Мы ужинали в духане и заночевали в пути; все мои попутчики, как "сопровождающие", так и "охрана", спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше; сверкала снегами, внизу шумели горные реки, паслись отары овец.

Мы приближались к границе, и я стал обдумывать, что мне

делать, если грузинские пограничники вздумают вскрыть пакет. У краснофлотца был наган, но, когда я с ним заговорил о предстоящей угрозе, он равнодушно ответил, что пакет везу я, а он везет фрукты. Товарищ, приехавший из Англии, был гладко выбрит, пах лавандой и беспечно глядел в бинокль на вечные снега. Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчикам.

Грузинский офицер, командир пограничного отряда, оказался милейшим человеком. Узнав, что моя жена — художница, он начал ее расспрашивать, что делают теперь русские живописцы. Он хочет перебраться в Москву и поступить во Вхутемас. Может быть, Люба за него похадатайствует?..

Мы долго перетаскивали тюки через "нейтральную полосу". Советские пограничники были заняты: поймали трех контрабандистов. Нам обещали машины к вечеру. Я запротестовал: "Почта срочная, нельзя терять ни часа..." (Именно так сказал мне посл.)

Ночью мы въехали во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались денкинцы; все было загажено, поломано; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, настороженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу, и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город.

Я начал обсуждать с представителями горсовета и военным командованием, как нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до Минеральных Вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обычных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее: красноармейцы с пулеметами.

В вагоне я увидел нового пассажира, который, улыбаясь, говорил всем, что он грузинский дипломат. Один из чекистов объяснил мне, что в чемодане дипломата нашли около тысячи брошек, браслетов и колец с бриллиантами и ценными камнями. Москва приказала доставить задержанного в Наркоминдел. Обращались с грузином учтиво, как с настоящим дипломатом, и я себя почувствовал дилетантом, но не спускал глаз с тюков.

Когда мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы услышали выстрелы. Татарорил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осипа Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы... Люба не поддавалась его увещаниям, а белых скоро отогнали.

На станции Минеральные Воды люди неделями ждали посад-

ки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону; кто-то кричал: "Дипломатический курьер!", но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать "римский папа" или "Шалапин"... Не помню, как мы все же очутились в набитом до отказа вагоне. Здесь-то начались мои главные мучения: тюки занимали очень много места, и на них все норовили сесть; я понимал, что от сургучных печатей ничего не останется, и неистово кричал: "Прочь от диппочты!.." Действовали не столько слова, сколько мой голос, преисполненный отчаяния.

Вначале краснофлотец помогал мне отбивать атаки; но вскоре случилось несчастье: на какой-то станции он купил два большущих мешка соли. Проклятая соль снова вмешивалась в мою жизнь. Краснофлотец теперь оберегал не диппочту, а соль и цинично отгонял всех от мешков: "Это диппочта". Я выглядел самозванцем.

На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности: где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит. Но теперь у меня почта, заветный пакет... Что мне делать? Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез в термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк; он мне говорил: "Выпейте, и все обойдется..."

Все действительно обошлось. Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет к груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж (пакет с почтой я нес в руке). Мы шли вслед за телегой; больше всего это напоминало деревенские похороны.

Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом печати на Никитском бульваре — там дают бутерброды.

Наркоминдел помещался в здании "Метрополя", вход был позади, с небольшой площади. Дежурный принял у меня почту. К маленькому пакету он отнесся уважительно, и я снова вырос с своих глаз; но тюки пренебрежительно оттащил в кладовку. Я ему пытался объяснить, что противная бабенка, несмотря на всю мою бдительность, повредила одну из многочисленных печатей, но он равнодушно сказал: "А там только газеты..."

Случилось чудо: это ведь были первые годы революции, романтика... Узнав, что мне некуда деться, дежурный пожалел меня, объявил кому-то по телефону, что приехал дипкурьер из Тбилиси, и начал обзванивать различные общежития. Я получил бумажку о том, что в Третьем общежитии Наркоминдела должны приютить Эренбурга с женой. Третье общежитие оказалось бывшими меблированными комнатами "Княжий двор", где я когда-то жил с отцом. Там было тепло, и я понял, что я в раю...

Вечером мы пошли в Дом печати; я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черно-

го хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности — футуристы или имажинисты.

Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: "Я тебя сейчас застрелю!" Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно.

Мы шли по Арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень темно, но в окнах копошились слабые огоньки. Вот и Москва, город, на который смотрит весь мир! Здесь нет хлеба, нет угля, людям трудно, но они упрямы, и войну они уже выиграли, пробили путь в историю...

Так я думал по дороге в Третье общежитие. Мне хотелось что-то делать, писать, а главное — ломать прежнее, ломать с душой: теперь я знал, чем оно пахнет.

1969

ПЕРЕЖИТОЕ

(фрагмент)

В 1919 году летом в Батум приехал из Крыма известный русский поэт Осип Мандельштам. Приехал он на маленьком пароходе в числе десяти каких-то сомнительных пассажиров. Все они были арестованы береговой охраной.

В те времена я и поэт Тициан Табидзе жили в Батуме. Как-то раз на улице настигает нас какой-то старичок, останавливает и говорит, что он старшина местной еврейской общины, и спрашивается — известен ли нам поэт Мандельштам. Мы ответили — да, известен.

— Если так, — сказал старик, — поэты должны помочь поэту: Мандельштам арестован и сидит в Особом отряде.

Мы пошли в Особый отряд. Нам сказали, что среди арестованных на самом деле есть какой-то Мандельштам, но невозможно, чтобы это был наш знакомый: такой уж он непозитичный на вид.

Самого Мандельштама нам не показали, и мы, усомнившись в правильности подхода к поэзии со стороны Особого отряда, отправились к генерал-губернатору Батумской области.

— Посмотрим, что это за человек, — ответил он и тотчас же распорядился по телефону доставить Мандельштама к нему.

Доставили...

Губернатор взглянул на него и обратился к нам по-грузински:

— Я думал, в самом деле какой-нибудь такой... а этот!.. На него дунуть — улетит. Нашли тоже опасного человека...

Затем усадил вошедшего, дипломатически выяснил, что он действительно поэт Мандельштам, и вежливо извинился.

Мандельштам, как воробей, присев на край стула, начал рассказывать.

— (...) От красных бежал в Крым. В Крыму меня арестовали белые, будто я большевик. Из Крыма пустился в Грузию, а здесь меня приняли за белого. Какой же я белый? Что мне делать? Теперь я сам не понимаю, кто я — белый, красный или какого еще цвета. А я вовсе никакого цвета. Я — поэт, пишу стихи, и больше всяких цветов теперь меня занимают Тибулл, Катулл и римский декаданс (...)

ПАМЯТЬ

...В первый год после нашей свадьбы мы поехали на лето в Батум. Соблазнил нас Нико Мицишвили, который там одно время работал в газете. Он и Тициану предложил с ним работать. Он же организовал в Батуме вечер Тициана, который прошел очень тепло и интересно.

...Раз, выходя с пляжа, я увидела Тициана, идущего с какими-то молодыми людьми. Я окликнула его, они остановились. Тициан объяснил мне, что в батумском карантине оказался приехавший из Крыма поэт Осип Мандельштам и его надо как-то вызволить оттуда.

Место, где люди находились в карантине по случаю возможной эпидемии чумы, было обнесено проволокой, туда никого не пускали. Тициана пропустили, а я ждала его на улице. Он вышел оттуда очень взволнованный. Оказывается, когда ему показали на Мандельштама, он сперва не поверил, что этот поэт, этот эстет сидит на камне, обросший, грязный. Тициан некоторое время не верил, что это и есть Мандельштам, и даже стал задавать вопросы, на которые он один мог бы ответить. Например: "Какое ваше стихотворение было напечатано в таком-то году в таком-то журнале?" Тот назвал и даже прочитал свои стихи наизусть. Потом читал еще другие стихи. Тициан понял, что перед ним действительно Мандельштам...

Мы уезжали из Батума, и Мандельштам поехал с нами в Тифлис...

1976

ВОСПОМИНАНИЯ

Моя память сохранила два приезда Осипа Мандельштама в Тифлис в начале 20-х годов. В первый раз он приехал к нам в 1920 году после страшного батумского карантина (куда в свою очередь он попал после еще более страшных застенков врангелевской охранки в Феодосии) — тогда он производил довольно угнетающее впечатление человека задержанного, измученного и истощенного, пережившего немало ужасных минут, часов или даже дней и недель.

Во второй раз он приехал в Тифлис (вместе со своей молодой женой) летом 1921 года и прожил у нас почти полгода. Сначала их поселили в одной из комнат бывшего сараджевского особняка, превращенного в Дворец искусств, потом они переехали в комнату в одном из старых дворцов на углу улиц Белинского и Варзисубани (ныне улица Баринава).

Надо сказать, что Осип был на редкость скромнен и неприхотлив в своих житейских потребностях. И между прочим, не только житейских. Даже в отношении поэтической славы, им по праву заслуженной, он был человеком без претензий. Он говорил: "Мне нечего требовать, ведь мои стихи по-настоящему станут читать несколько позднее. И вообще дело это неспешное..."

Между нами завязывались и с каждой новой встречей крепились дружеские связи, связи по Братству поэтов. Всем нам — и Тициану, и Паоло, и остальным голубороговцам — очень нравилось, как Осип читал свои стихи вслух: никаких жестикующих, взвизгов, выкриков и прочего "артистизма", очень плавно, очень ровно, но вместе с тем с большим воодушевлением, все более и более нарастающим к концу стихотворения. Осип всерьез и глубоко полюбил грузинскую поэзию. Грузинские стихи он слушал, как музыку, просил при чтении читать помедленней, выделяя мелодию. Звучание некоторых стихов так его очаровывало, что он старался заучить их, подбирая к непривычным для русского слуха звукам довольно близкие русские фонетические эквиваленты. Больше других восторгался он Бараташвили и Важа Пшавела, знал наизусть бараташвилиевскую "Серьгу" в переводе Валериана Гаприндашвили.

Осип приезжал в Тбилиси еще раз или два в начале 30-х годов. И, как мне кажется, снова ему было у нас в Грузии хорошо и тепло. Во всяком случае, мы, его друзья, грузинские поэты, делали для этого все, что было в наших силах...

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

(фрагмент)

⟨...⟩ Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ... но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович — с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе. ⟨...⟩

Уехал Серафимович... Антракт.

1923

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

(фрагменты)

⟨...⟩ Поздняя осень 1920 года. На улице холодно и темно. А здесь, в Доме литераторов, тепло и светло. Совсем особенно, по-дореволюционному, тепло и светло. Электричество ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в восемь часов вечера на всю ночь. И тепло здесь ровное, мягкое, ласковое — тепло центрального отопления, не то что палящий жар "буржук", дышащих льдом, как только их перестают топить.

Случайные посетители Дома литераторов чувствуют себя здесь, как в каком-то сказочном царстве-государстве. Ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция похлебки и кусок хлеба.

Уже с осени я — к великой зависти всех студистов и студисток — стала членом Дома литераторов и бываю здесь ежедневно.

В большой прихожей бородатый профессор-египтолог старательно и неумело пристраивает поверх своего котелка голубой детский башлык на розовой подкладке с кисточкой.

— Слыхали, — обращается он ко мне, — говорят, Мандельштам приехал. Будто даже видели его на улице. Но я не верю. Ведь не сумасшедший же он, чтобы с сытого юга, из Крыма, от белых приехать сюда голодать и мерзнуть.

Одна из кавалерственных дам — их немало среди членов Дома литераторов — оправляет перед зеркалом седые букли.

— Мандельштам? Что такое Мандельштам? — спрашивает она, продолжая глядеться в зеркало, будто ждет ответа от него, а не от профессора или меня. Лорнетка изящным жестом поднимается к ее чуть презрительно прищуренным глазам. И снова падает, повисая на черном шнурке для ботинок, заменяющем золотую цепочку. В лорнетке нет стекол. Стекла теперь найти невозможно. Но лорнетка необходима. Ведь лорнетка вместе с буклями — почти единственное, оставшееся от прежней жизни.

— Не верю, — раздраженно повторяет профессор, туго стягивая узел башлыка. — Не сумасшедший же он.

Я тоже не верю. Боюсь поверить, чтобы потом не разочароваться.

"Что такое Мандельштам", я узнала совсем недавно, в одну ночь прочитав "Камень". Я сразу и навсегда запомнила наизусть большинство его стихов и часто повторяю про себя:

За радость легкую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Ах, если бы Мандельштам приехал... Нет, лучше пока не верить.

Дверь прихожей отворяется, и в струе холодного воздуха, серебрясь морозной пылью, появляется в своей неизменной дохе и оленьей шапке обмерзший Гумилев. Должно быть, он пришел издалека, а не из своей квартиры. Ведь она здесь, за углом, в трех шагах. Он с несвойственной ему поспешностью сбрасывает с себя доху, отряхивает снег с ног и громко объявляет во всеуслышанье, как глашатай на городской площади:

— Мандельштам приехал!

Но эта сенсационная новость не производит ожидаемого эффекта. Профессор, наконец справившийся со своим башлыком, недовольно бурчит:

— Приехал? Значит, действительно спятил!

Кавалерственная дама, так и не получив ответа на свое "Что такое Мандельштам?" относится к известию о его приезде с абсолютным безразличием и не удостаивает Гумилева даже взглядом через свою бесстекольную лорнетку. А я от волнения и радости не в состоянии говорить.

Гумилев идет в столовую, становится в длинную очередь за пшенной кашей. Я иду за ним. Я уже овладела собой и задаю ему множество вопросов, взволнованно и радостно. И Гумилев, не менее меня взволнованный и радостный, рассказывает:

— Свалился как снег на голову! Но разве он может иначе? Прямо с вокзала в семь часов утра явился к Георгию Иванову на Каменноостровский. Стук в кухонную дверь. Георгий Иванов в ужасе вскакивает с кровати — обыск! Мечется по комнатам, рвет письма из Парижа. А стук в дверь все громче, все нетерпеливей. Вот сейчас начнут ломать. "Кто там?" — спрашивает Георгий Иванов, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. В ответ хриплый крик: "Я! я! я! Открывай!"

"Я" — значит, не обыск. Слава Богу! Но кто этот "я"?"

— Я, я, Осип! Осип Мандельштам. Впусти! Не могу больше! Не могу!

Дверь, как полагается, заперта на ключ, на крюк, на засов. А из-за двери несется какой-то нечленораздельный вой. Наконец Георгию Иванову удалось справиться с ключом, крючком и засовом, грянула цепь, и Мандельштам, весь синий и обледеневший, бросился ему на шею, крича:

— Я уже думал, крышка, конец. Замерзну у тебя здесь, на лестнице. Больше сил нет, — и уже смеясь, — умереть на черной лестнице перед запертой дверью. Очень подошло бы для моей биографии? А? Достойный конец для поэта.

Мы уже успели получить нашу пшенную кашу и съесть её. К нашему столу подсаживается Кузмин с Юрием Юркуном послушать рассказ о "чудесном прибытии Мандельштама".

Оказывается, Мандельштам — так уж ему всегда везет — явился к Георгию Иванову в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил у себя, отапливая самоваром, который беспрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, тонной и чопорной даме, не могло быть и речи. И Георгий Иванов, кое-как отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика, повел его в Дом Искусств искать пристанища. Там их и застал Гумилев.

С пристанищем все быстро устроилось. Мандельштаму тут же отвели "кособоковую комнату о семи углах" в писательском коридоре Дома Искусств, где прежде были какие-то "меблированные комнаты". Почти все они необычайны по форме — ромбообразные, полукруглые, треугольные, но комната Мандельштама все же оказалась самой фантастической среди них. Мандельштам сейчас же и обосновался в ней — вынул из своего клеенчатого сака рукопись "Тристи", тщательно обтер ее и положил в ящик комода. После чего запихал клеенчатый сак под кровать, вымыл руки и вытер их клетчатым шарфом вместо полотенца. Мандельштам был очень чистоplotен, и мытье рук переходило у него в манию.

— А бумаги у тебя в порядке? — осведомился Гумилев.

— Документы? Ну конечно, в порядке, — и Мандельштам не без гордости достал из кармана пиджака свой "документ" — удостоверение личности, выданное Феодосийским полицейским управлением при Врангеле на имя сына петроградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в белую армию. Георгий Иванов, ознакомившись с "документом", только свистнул от удивления.

Мандельштам самодовольно кивнул:

— Сам видишь. Надеюсь, довольно...

— Вполне довольно, — перебил Георгий Иванов, — чтобы сегодня же ночевать на Гороховой, 2. Разорви скорей, пока никто не видел.

Мандельштам растерялся.

— Как же разорвать? Ведь без документов арестуют. Другого у меня нет.

— Иди к Луначарскому, — посоветовал Гумилев. — Луначарский тебе, Осип, мигом нужные бумаги выдаст. А этот документ, хоть и жаль, он курьезный, уничтожь, пока он тебя не подвел.

И Мандельштам, уже не споря, поверив, что "документ" действительно опасный, порвал его, поджег куски спичкой и

развевал пепел по воздуху — чтобы и следов не осталось.

— Сейчас они у Луначарского. И, конечно, беспокоиться нечего. Все, как всегда, устроится к лучшему. Ведь о поэтах, как о пьяницах, Бог всегда особенно заботится и устраивает их дела.

Суеверный Кузмин трижды испуганно сплевывает, глядя сквозь вздрагивающее на его носике пенсне на Гумилева своими "верблюжьими" глазами. У Кузмина глаза, как у верблюда или прекрасной одалиски: темные, томные, огромные. "Бездонные" глаза, полные женской и животной прелести.

— Тьфу, тьфу, тьфу, Коленька. Не сглазь меня. Сплюнь.

"Меня" — Кузмин всегда думает только о себе. Он большой охотник до всяких сплетен, слухов и сенсаций и готов говорить о них часами. Приезд Мандельштама приятен ему именно с этой анекдотической стороны.

— Завтра в пять Осип придет ко мне чай пить. Приходи и ты, Мишенька. Он написал массу чудных стихов и будет их читать. И вы, Юрочка, — это уже к Юркуну, — тоже приходите послушать новые стихи Мандельштама.

Но перспектива послушать новые стихи Мандельштама вообще — или чьи бы то ни было стихи — не кажется Кузмину соблазнительной.

— Завтра? Завтра мы заняты. Нет, завтра совсем нельзя. Ты уж извини, Коленька. Без меня слушаете.

Конечно, он ничем не занят завтра. Но одно упоминание о стихах заставляет его вдруг заторопиться.

— Уже поздно. Пора идти. Идем, Юрочка. Кланяйся Осипу Эмильевичу, Коленька. До свидания, — это уже мне.

Он суетливо снимается с места и мелкими быстрыми шагами идет к выходу рядом с высоким, молчаливым, красивым Юркуном.

Гумилев улыбается.

— И всегда он так. Бежит от стихов, как черт от ладана. А сам такой замечательный поэт. Вот и пойми его.

Но мне хочется говорить о Мандельштаме, а не о Кузмине.

— Правда, что он будет завтра читать у вас новые стихи?

— Сушая правда. Приходите послушать. Вы-то, уж конечно, даже если и очень заняты, придете. Вас, наверное, поразит внешность Мандельштама. И я готов держать пари, он вам не понравится. Боюсь, что вы не сумеете ни понять, ни оценить его. Он совсем особенный. Конечно, смешной, но и очаровательный. Знаете, мне всегда кажется, что свои стихи о Божьем Имени он написал о себе. Помните:

Божье Имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

Мне всегда кажется, что он сам эта "птица – Божье Имя", вылетевшая из клетки в густой туман. Очаровательная, бедная, бездомная птица, заблудившаяся в тумане.

На следующий день я, конечно, пришла к Гумилеву. Вернее, прибежала. Я была на лекции Чуковского о Достоевском. Пропустить ее казалось невозможным. Но и опоздать к Гумилеву было тоже невозможно. И я, напрасно прождав трамвай целых десять минут, в отчаянии пустилась бегом по Невскому, по мягкой, усыпанной снегом мостовой.

Если начнут с чая, не беда, что опоздаю. Но если со стихов – катастрофа. Ведь не станет же он повторять свои стихи для меня. Нет, никогда не прощу себе, если...

Меня выпускает прислуга Паша. От долгого бега мне трудно отдышаться. Я перевожу дух, чтобы спросить:

– Мандельштам уже тут?

Паша пожимает плечами:

– Должно, тут. Народу много. Кто его знает, который из них Мамштам.

Я еще раз перевожу дыхание, перед тем как войти в столовую.

"Народу много", – сказала Паша. Но за чайным столом сидят только Михаил Леонидович Лозинский, Георгий Иванов, сам Гумилев и – да, это, должно быть, Мандельштам. Кто же другой, как не он? Нет, меня не поразила внешность Мандельштама. И он мне сразу очень понравился.

Сколько раз мне впоследствии приходилось читать и слышать описание его карикатурной внешности – маленький, "щуплый, с тощей шеей, с непомерно большой головой", "обремененный чичиковскими баками", "хохол над лбом и лысина", "тощий до неправдоподобности", "горбоносый и лопухий". И совсем недавно – о встречах с Мандельштамом в Крыму: "Его брата называли "красавчик", а его – "лошадь"... за торчащие вперед зубы".

Бедный Мандельштам! С лошадьёу у него не было абсолютно никакого, даже отдаленнейшего, сходства. А торчавшие вперед зубы – зубов у него вообще не было. Зубы заменяли золотые лопаточки, отнюдь не "торчавшие вперед", а скромно притаившиеся за довольно длинной верхней губой. За эти золотые лопаточки он и носил прозвание "Златозуб".

Меня всегда удивляло, что он многим казался комичным, "карикатурой на поэта и на самого себя". Но вот я впервые смотрю на него и вижу его таким, каким он был на самом деле.

Он не маленький, а среднего роста. Голова его не производит впечатления "непомерно большой". Правда, он преувеличенно закидывает ее назад, отчего на его шее еще резче обозначается адамово яблоко. У него пышные, слегка вьющиеся волосы, поднимающиеся над высоким лбом. Плешь, прячущуюся среди них, никак нельзя назвать лысиной. Конечно, он худой.

Но кто же из нас в те дни не был худ? Адамович, как-то встретив меня на Морской, сказал:

— Издали на вас смотреть страшно. Кажется, ветер подует и вы сломаетесь пополам.

Упитанными и гладкими среди поэтов были только Лозинский и Оцуп, сохранившие свой "буржуйский" вид.

Нет, внешность Мандельштама тогда меня не поразила. Я как-то даже не обратила на нее внимания. Будто она не играла решающей роли в впечатлении, производимом им. Возможно, что она теряла свое значение благодаря явному несоответствию между его внешностью и тем, что скрывалось под ней.

Здороваясь со мной, он протянул мне руку и, подняв полуопущенные веки, взглянул на меня сияющими "ангельскими" глазами. И мне вдруг показалось, что сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу дно его сознания. И дно поэзии.

Я скромно сажусь на свободный стул между Оцупом и Лозинским.

С осени 1920 года я уже настоящий поэт, член Дома литераторов. И что много почетнее и важнее — равноправный член недавно восстановленного Цеха поэтов. Но меня все еще продолжают называть "Одоевцева — ученица Гумилева", и я продолжаю чувствовать и вести себя по-ученически. Вот и сейчас я сознаю свою неуместность в этом "высоком обществе" за одним столом с Мандельштамом. С "самим Мандельштамом".

Гумилев особенно старательно разыгрывает роль гостеприимного хозяина. Он радушно угощает нас настоящим, а не морковным чаем с сахарным песком внакладку и ломтиками черного хлеба, посыпанного солью и политого подсолнечным маслом.

Винючник торжества, Мандельштам, с нескрываемым наслаждением пьет горячий сладкий чай, закусывая его этими ломтиками хлеба, предварительно насыпав на них целую горку сахарного песка.

Оцуп опасливо следит за тем, с какой быстротой набухшие от масла солено-сладкие ломтики исчезают в золотозубом рту Мандельштама. И, не выдержав, спрашивает:

— Как вы можете, Осип Эмильевич? Разве вкусно?

Мандельштам кивает, не переставая жевать:

— Очень вкусно. Очень.

— Еще бы не вкусно, — любезно подтверждает Лозинский, — знаменитое самоедское лакомство. Самоеды шибко хвалят.

— Только, — с компетентным видом прибавляет Георгий Иванов, — вместо подсолнечного масла лучше рыбий жир, для пикантности и аромата.

Взрыв смеха. Громче всех смеется Мандельштам, чуть не подавившийся от смеха "самоедским лакомством".

Теперь мы сидим в прихожей перед топящейся печкой в обтянутых зеленой клеенкой креслицах — все ближайшие "со-

ратники” Гумилева – Лозинский, Оцуп, Георгий Иванов (Адамовича в то время не было в Петербурге).

Гумилев, сознавая всю важность этого исторического вечера – первое чтение ”Тристи” в Петербурге, – как-то особенно торжественно подкидывает мокрые поленья в огонь и мешает угли игрушечной саблей своего маленького сына Левы.

– Начинай, Осип!

И Мандельштам начинает:

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод...

.....

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет...

Слушая его, глядя на его закинутое, мучительно вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я испытываю что-то похожее на священный страх.

Мандельштам, кончив, широко открывает глаза, отряхивается, как только что выкупавшийся в пыли воробей, и спрашивает взволнованной скороговоркой:

– Ну как? Скверно? Как, Николай Степанович? Как, Михаил Леонидович? Это я в Киеве написал.

Пауза. Затем Гумилев веско заявляет – не говорит, а именно заявляет:

– Прекрасные стихи. Поздравляю с ними тебя и русскую поэзию. – И тут же исчерпывающе и последовательно объясняет, почему эти стихи прекрасны и чем обогащают русскую поэзию.

За Гумилевым – такова уж сила цеховой дисциплины – все по очереди выражают свое восхищение ”с придаточными предложениями”, объясняющими восхищение.

Но я просто восхищена, я просто в восторге, я не нахожу никаких ”придаточных предложений”. И чтобы только не молчать, я задаю очень, как мне кажется, ”акмеистический” вопрос:

– Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кифару из черепахи?

Мандельштам, только что превознесенный самим синдиком Цеха Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает мне несколько надменно:

– Оттого, что Терпандр действительно родился, жил на

Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира — не знаю. И не интересуюсь этим вовсе.

Но мой вопрос, по-видимому, все-таки возбудил сомнение в его вечно колеблющемся, неуверенном в себе сознании, и он быстро поворачивается к Лозинскому:

— Михаил Леонидович, а может быть, правда, лучше вместо Терпандра Меркурий? А?

Но Гумилев сразу кладет конец его сомнениям.

— Вздор! Это стихотворение — редкий пример правильности формулы Банвиля: "то, что совершенно, и не требует изменений". Ничего не меняй. И читай еще! Еще!

Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть в ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня. В особенности мой учитель, Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной. И все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах:

Золотистого меда струя из бутылки текла

Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...

Голос Манделъштама течет, как эта "золотистого меда струя", и вот уже я, забыв, что я "навсегда опозорена", вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз.

Да, я забыла. А другие? И я осторожно оглядываюсь.

Но оказывается, что и другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Манделъштама.

Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает.

Ну, а в комнате белой, как прятка, стоит тишина,

Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —

Не Елена — другая, — как долго она вышивала?..

Манделъштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самопоении:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?

Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую "талассу", адриатические волны и корабль с красным парусом, "пространством и временем полный", на котором возвратился Одиссей.

Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их, добытые с таким трудом папиросы, где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана.

Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее.

— Кури, Осип, кури! Ты заслужил, и еще как заслужил!

И тут во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова:

— Да. И это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоём месте изменил бы одну строчку. У тебя:

Ну, а в комнате белой, как прятка, стоит тишина.

По-моему, будет лучше:

Ну, а в комнате белой, как палка, стоит тишина.

Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, раздражается неистовым приступом кашля-хохота:

— Как палка! Нет, не могу! Как палка!

Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама:

— Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь?

Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем повзрослому заливаться смехом по всякому поводу — и даже без всякого повода.

— От иррационального комизма, переполняющего мир, — объяснял он приступы своего непонятного смеха. — А вам разве не смешно? — с удивлением спрашивал он собеседника. — Ведь можно лопнуть со смеху от всего, что происходит в мире.

Как-то, уже в весенний ветреный день, когда от оттепели на Бассейной голубели и потягивались рябью огромные лужи-озера, я увидела шедшего по противоположному тротуару Мандельштама. Он смотрел прямо на меня, трясаясь от смеха. Помахав

мне шляпой, стал торопливо перебираться ко мне, разбрасывая брызги и зачерпывая калошами воду.

Смеясь все сильнее, он подошел ко мне, и я не могла не присоединиться к его смеху. Так мы и простояли несколько минут, не переставая смеяться, пока Мандельштам не объяснил мне между двумя взрывами смеха:

— Нет, представьте себе. Я иду в Дом литераторов. Думаю, встречу там и вас. И вспомнил вашу "Балладу о котях". А тут вдруг кошка бежит, а за ней, за ней другая. А за кошками, — тут смех перешел в хохот и клекот, — за кошками — вы! Вы идете! За кошками! Автор котов!

Он вытер слезы, катившиеся из его цвета весеннего неба глаз, и, взглянув поверх меня, поверх крыш домов, в голубое небо, заговорил другим голосом, грустно и чуть удивленно:

— Знаете, мой брат, мой младший брат выбросился из окна. Он был совсем не похож на меня. Очень дельный и красивый. Недавно только женился на сестре Анны Радловой, счастливый, влюбленный. Они накануне переехали на новую квартиру. А он выбросился из окна. И разбился насмерть. Как вы думаете, почему? Почему?

Мне показалось, что он шутит, что он это выдумал. Только впоследствии я узнала, что это была правда. Его брат, муж сестры Анны Радловой, действительно неизвестно почему выбросился из окна. И разбился насмерть.

Но от ответа на вопрос, почему выбросился из окна брат Мандельштама, меня избавило появление Гумилева, шествующего в Дом литераторов, как и мы.

Мандельштам ринулся ему навстречу и, снова захлебываясь и клокоча, стал объяснять:

— Я иду... а тут коты... бегут, а тут Одоевцева. Нет, ты только подумай! Не могу! Не могу! Коты... и Одоевцева!

Встречи с Мандельштамом были всегда не похожи на встречи с другими поэтами. И сам он ни на кого не походил. Он был не лучше и не хуже, а совсем другой. Это чувствовали многие, даже, пожалуй, все.

Человек из другого мира, из мира поэзии.

На его стихи из "Камня" —

Я блуждал в игрушечной чаше
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?

мы, студисты, сочинили ответ:

Вы, конечно, ненастоящий —
Никогда к вам смерть не придет, —
Вас уложат в стеклянный ящик,
Папиросу засунут в рот
И поставят в лазоревый грот —
Чтобы вам поклонялся народ!

Стихи, хотя они и привели Мандельштама в восхищение и восторг, были, как мы сами понимали, далеко не блестящи. Но, должно быть, действительно

Бывают странными пророками
Поэты иногда —

ведь о стеклянных ящиках, мавзолеях для поклонения народа, никто тогда и понятия не имел. Впрочем, в стеклянный ящик, "чтобы ему поклонялся народ", уложили не Мандельштама, а погубившего его Сталина. Но это случилось позже, много позже. А сейчас все еще зима 1920 — 1921 года. И моя первая встреча с Мандельштамом у Гумилева.

Это было во вторник. А на следующий вечер я встретила Мандельштама на одной из очередных "сред" Дома Искусств. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы.

— А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная. Но главное — крыша и печка. И ведь теперь весь Дом Искусств принадлежит мне. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это знаете, надеюсь? Вы — мой гость.

Он не дает мне ответить.

— Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык.

И опять, не дав мне сказать ни слова, прибавляет:

— А про Меркурия вы правильно заметили. Он в детстве изобрел лиру. Хотя это изобретение приписывают еще — а ну-ка, скажите, кому? Ведь не знаете?

— Музе Эрато, — говорю я не задумываясь.

Он разводит руками.

— Правильно. Но откуда вы такая образованная? Такая всезнайка?

Мне очень лестно, хотя это совсем незаслуженно. Образованной меня еще никто не считал. Скорей наоборот.

Мои познания в мифологии я почерпнула из детской книжки, которую в семь лет читала вперемешку со сказками Гримма и Андерсена. Но этого я Мандельштаму не открываю. А он, может быть, именно из-за моей мнимой образованности говорит со мной как с равной, просто и дружески. Без преувеличенной

снисходительности и оскорбительной любезности. Мандельштам первый поэт, с которым я сразу легко себя почувствовала. Будто между нами нет пропасти — он прославленный автор "Камня", всероссийски знаменитый, а я еще продолжаю сидеть на школьной скамье и слушать лекции.

Он рассказывает мне о своих южных злоключениях и радостях. Как же без радостей? Их тоже было много, но злоключений, конечно, неизмеримо больше.

— Вот в Коктебеле, у Волошина... Вы, конечно, бывали в Коктебеле?

Я качаю головой.

— Нет. И даже Волошина не знаю. Никогда его не видела.

— Ах, сколько вы потеряли. Не знать Волошина! — Мандельштам искренне огорчен за меня. — Волошин — представьте себе — бородатый шар в венке и в хитоне. Едет на велосипеде по горной, залитой солнцем каменистой тропинке. Кажется, что не едет, а летит по воздуху, что он — воздушный шар. А за ним стая пестрых собак с лаем несется по земле.

Мандельштам с увлечением рассказывает, как он за стакан молока и сладкую булочку стерег на берегу моря каких-то заговорщиков, левых эсеров, для конспирации совещавшихся, ныряя в волны.

— А в Киеве. В Киеве мне жилось привольно. Как, впрочем, и потом в Тифлисе. В Киеве профессор Довнар-Запольский подарил мне свою шубу, длинную, коричневую, с воротником из обезьянки. Чудесную профессорскую шубу. И такую же шапку. Только шапка мне оказалась мала — голова у меня не по-профессорски большая и умная. Но одна премилая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею шапку. Получилось довольно дико — будто у меня вместо волос скунсовый мех. Раз иду ночью по Крещатику и слышу: "Смотри, смотри, поп-расстрига! Патлы обстричь не умеет. Патлатый. Идиот!"

Мандельштам не обращает внимания на происходящее на эстраде и мешает лектору Замятину и слушателям своим звонким шепотом. Но ни я, ни кто другой не смеет "призвать его к порядку". Так он и продолжает говорить до той минуты, когда Замятин встает и под аплодисменты — Мандельштам аплодирует особенно громко — почти так же, как и я, считающаяся "мэтром клаки" за особое умение хлопать и заставлять хлопать слушателей, — уходит, послав отдельную улыбку и поклон Мандельштаму.

"Среда" кончена. Надо и мне уходить. А Мандельштам еще многого не успел рассказать. Раз начав, ему трудно остановиться, не доведя воспоминаний до конца. И он неожиданно принимает героическое решение.

— Я пойду вас проводить до угла.

— До какого угла? Ведь Дом Искусств — на углу.

— На углу Мойки и Невского, — резонно замечает Гумилев.

— Ну, все равно. До первого незажженного фонаря, до второго угла — несколько шагов.

Мы выходим гурьбой из подъезда — Гумилев, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому.

— Подумай только, Николай Степанович, — беря Гумилева под руку, говорит Мандельштам, — меня объявили двойным агентом и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел. Да! Да! Поверить трудно. Не раз сидел!

И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным, звенящим смехом.

— Меня обвинили и в спекуляции! Арестовали как злостного спекулянта — за яйцо! — кончает он, весь исходя от смеха. — За одно яйцо! Было это в Киеве.

И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось гоголь-моголя. "От сытости, конечно, когда голоден — мечтаешь о корке хлеба". Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был, и значит, все в порядке и можно вернуться домой.

Но по дороге, тут же рядом, на рынке бородатый мужик продавал шоколад Эйнем "Золотой Ярлык", любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про гоголь-моголь. Ему "до зареза" захотелось шоколаду.

— Сколько стоит?

— Сорок карбованцев.

Мандельштам пересчитал свои гроши. У него только тридцать два карбованца. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль — отдать за нехватящие карбованцы только что купленное яйцо.

— Вот, — предложил он мужику-торговцу, — вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и тридцать два карбованца за шоколад, себе в убыток.

Но тут, не дожидаясь ответа торговца, со своего места с криком сорвалась торговка.

— Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня за семь карбованцев купил яйцо, а сам за восемь перепродает. Держите его! Милиционер! Где милиционер?

Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крики и милиционер.

Баба надрывалась:

— За семь купил, за восемь перепродает. Спекулянт проклятый!

Мандельштама арестовали, и он до вечера просидел в участке.

Во время ареста раздавили яйцо и кто-то украл у "спекулянта проклятого" его тридцать два карбованца.

Смеется Гумилев, смеюсь я, смеются студисты.

Мы прошли уже почти весь Невский, и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Литейного доходим

только мы трое — Гумилев, Манделъштам и я.

Манделъштам продолжает нестись по волнам воспоминаний.

— А были и сказочные удачи. Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил десятифунтовую банку варенья. Я зашел к нему, он меня чаем угостил. А потом я ему прочел "На каменных отрогах" — я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья, протягивает ее мне — это вам! Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его. Надел свою шубу, схватил банку и наутек. Чтобы он не опомнился, не передумал, не отнял бы! Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа, как в лихорадке. Ведь гололедица. Того и гляди поскользнешься — и прощай священный дар! Ничего. Донес. Только весь до нитки вспотел, несмотря на холод, — от волнения. Зато такое наслаждение! Какое высокое художественное наслаждение! Я двое суток не выходил из дому — все наслаждался.

Как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера, и одарившего его поэта, рассказывает Манделъштам! Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-манделъштамовски очаровательно. Но, конечно, банка варенья была не десятифунтовой, а фунтовой. Если она существовала не только в фантазии Манделъштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка.

И только много лет спустя, уже потом, в Париже, я убедилась, что в рассказе Манделъштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно десятифунтовой, подаренной Манделъштаму в минуту восторга, "когда душа жаждет жертв", проживавшим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж, Юрием Терапиано. Подарена после настолько потрясшего молодого поэта чтения "На каменных отрогах", что он безрассудно поделился с Манделъштамом своим запасом варенья. И никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история "спекуляции с яйцом", несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда.

Мы уже давно идем по бесконечно длинной Бассейной. Темно. Снег кружится и скрипит под ногами.

— А в Тифлисе...

Но Гумилев перебивает его:

— Это все очень забавно и поучительно. Но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи. Ведь тебе до Мойки...

— Как до Мойки? — Манделъштам растерянно останавливается. — Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал... — Он оборачивает ко мне испуганное лицо. — Я был уверен, что вы пустите к себе ночевать. Ведь у вас, я слышал, очень большая квартира. И, значит, место найдется и для меня, хоть на кухне.

— Нет, не найдется, — отрезает Гумилев. — Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом. Даже на площадку перед дверью.

Я растеряна не меньше самого Мандельштама. Но Гумилев прав — пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной такой несчастный, потерянный. Как бездомная собака.

— Я замерзну. Я не дойду один.

— Идите ночевать к Николаю Степановичу. На клеенчатом диване в прихожей, — с решимостью отчаяния говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится. Мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице.

Но Гумилев не сердится, а смеется.

— Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пушу тебя ночевать к себе. И чаем с паточкой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке! Я только попугать тебя хотел. Но какой же ты, Осип, легкомысленный! Я перед тобой — образец осторожности и благоразумия.

Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление:

— Это я-то легкомысленный? Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека.

Он подсакивает, по-петушину задирая голову.

— Знаю, знаю, — успокаивает его Гумилев, — не кипятись. Ты отчаянный трус. Из породы легкомысленнейших трусов. Действительно очень редкая порода.

”Трус” — оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится.

Но Мандельштам повторяет:

— Из породы легкомысленнейших трусов! Надо запомнить. До чего правильно!

Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с паточкой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные вдохновенно-задушевные ночные разговоры — до утра. А завтра новый день. Безумный и веселый. Веселый, очень веселый. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920 — 1921 года, и веселье их действительно было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе, где

Прозрачная весна над черною Невой

Сломалась, воск бессмертья тает...

О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,

Твой брат, Петрополь, умирает!

Как-то уже в декабре, когда Мандельштам успел "прижиться" в Петербурге и снова "обрасти привычками", как будто он никогда из него и не уезжал, мы с ним зашли за Гумилевым во "Всемирную литературу" на Моховой, чтобы вместе идти на какую-то публичную лекцию. Но у подъезда Мандельштам вдруг стал топтаться на снегу, не решаясь войти во "Всемирную литературу".

— Я лучше вас здесь на улице подожду. Только вы скорей, пожалуйста.

Был мороз, и я удивилась.

— Отчего вы не хотите войти отогреться? Разве вам не холодно?

Он подул на свои посиневшие руки без перчаток.

— Еще бы не холодно! Но там наверху сейчас, наверно, Роза. Увидит меня — поднимет крик. А это хуже холода. Этого я совсем перенести не могу.

Я все же уговорила его войти и спрятаться у стены за шубами и пальто. А сама пошла на разведку. Розы, слава Богу, не оказалось, и Мандельштам благополучно поднялся наверх — пронесло на сегодня!

Роза была одной из привлекательных достопримечательностей "Всемирной литературы". Она, с разрешения Горького и Тихонова, устроила в зале около лестницы, направо от входа, "напротив кассы" подобие продовольственной лавочки и отпускала писателям за наличные, а чаще в кредит, сахар, масло, патоку, сало и прочие лакомства. Толстая, старая, похожая на усатую жабу, она безбожно обвешивала и обсчитывала, но зато никого не торопила с уплатой долга. Никого, кроме Мандельштама. При виде его она начинала гудеть густым, грохочущим басом.

— Господин Мандельштам, отдайте мне мои деньги! Не то пожалее! Я приму меры... — Но Мандельштам уже несся по лестнице, спасаясь от ее угроз. А она, оборвав их на полуслове, как ни в чем не бывало, сладко улыбалась Кузмину.

— Какую я вам коврижку достала, Михаил Алексеевич! Медовую. Пальчики оближете. Никому другому не уступлю. Вам одному. Себе в убыток. Верьте.

Эта Роза была одарена не только коммерческими способностями, но и умна и дальновидна. Она умела извлекать из своего привилегированного положения "всемирной маркитанки" всяческие выгоды. Так, она завела альбом в черном кожаном переплете, куда заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей "какой-нибудь хорошенький стишок на память". И все со смехом соглашались и превозносили Розу в стихах и в прозе. Роза благодарила и любезно объясняла:

— Ох, даже и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете. Я его завещаю своему внуку.

Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет! И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузмин, и Ремизов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создается целая легенда о прекрасной Розе. И будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками.

...На что нам бывшая свобода?
На что нам Берлин и Париж,
Когда ты направо от входа
Насупротив кассы сидишь?..

патетически спрашивал ее поэт Зоргенфрей.

Роза принимала восторги и мадригалы как должное. Все же "стишок" Георгия Иванова тронул ее до слез:

Печален мир. Все суета и проза,
Лишь женщины нас тешат да цветы,
Но двух чудес соединенье ты.
Ты – женщина. Ты – Роза.

Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредит и сахар, и варенье, – "поэт стоящий", она протянула и ему свой альбом. И должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность и вдохновение, напоминала ему кокетливо:

– Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны. Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста.

Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь, написал:

Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

И подписался с несвойственным ему дерзко-улетающим росчерком.

Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая "хорошенький стишок", но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, о прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать свертки. Она дрожащей рукой вырвала "гнусную страницу" и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком:

– Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!
С того дня она и начала преследовать его.

Одиннадцать тысяч в те времена была довольно ничтожная сумма. Ее легко можно было выплатить хотя бы по частям. Тогда Роза не только бы оставила Мандельштама в покое, но и — по всей вероятности — возобновила ему кредит. Я сказала ему об этом. Он посмотрел на меня с таким видом, будто я предлагаю ему что-то чудовищное.

— Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете, — с возмущением и обидой повторил он. — Чтобы я платил долги?

Да, я действительно "ничего не понимала" или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами — особенно перед матросами в кожаных куртках, — какого-то мистического, иступленного страха. Он, заявивший в стихах:

Мне не надо пропуска ночного,
Я милиционеров не боюсь —

смертельно боялся милиционеров. Впрочем, в печати для цензурности "милиционеры" были переделаны в "часовых" — "часовых я не боюсь", — и не вполне удачно переделаны. Ведь часовые обыкновенно охраняют какой-нибудь дворец или учреждение и ровно никому не внушают страха. Не то что милиционеры. Но у Мандельштама не было никаких оснований бояться и милиционеров. Бумаги у него были в порядке, ни в каких "заговорах" он никогда участия не принимал и даже в разговорах избегал осуждать "правительство". И все же, увидев шагавших куда-то матросов или стоящего на углу милиционера, Мандельштам весь съеживался, стараясь спрятаться за меня или даже юркнуть в подворотню, пока не скроется проходящий отряд матросов.

— Ух, на этот раз пронесло! — неизменно говорил он и, вздохнув облегченно, плотно запахивал полы своего легкого пальто, заменявшего ему киевскую профессорскую шубу.

— Что пронесло? — подпытывалась я.

— Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете.

Да, понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же невероятная смелость? Ведь нам всем было известно, что он не побоялся выхватить из рук чекиста Блюмкина пачку "ордеров на расстрел" и разорвать их. Кто бы, кроме Мандельштама, мог решиться на такое геройство или безумие? Как же так? Труслив, как кролик, и в то же время смел, как барс.

— А очень просто, — любезно разрешил мое недоумение Лозинский, — Осип Эмильевич помесь кролика с барсом. Кролико-барс или барсо-кролик. Удивляться тут вовсе нечему.

Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме, например его нежеланию хоть на какой-нибудь час остаться одному. Одиночества он не переносил.

— Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жид, — повторял он часто. — Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я, как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. — И он продолжал: — Это действительно страшно. Я сижу один в комнате, и мне кажется, что кто-то входит. Кто-то стоит за спиной. И я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает.

Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит.

— Чего же вы боитесь?

Он разводит руками.

— Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь — и все тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То, что французы называют *angoisse**. На людях он исчезает. И когда пишу стихи — тоже.

Не знаю, из-за этого ли страха или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев шутя говорил, что Мандельштаму вместе с "чудесным песенным даром" дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском острове и в Доме литераторов. И даже уверял, что напишет стихи — о вездесущем Златозубе.

Мандельштама, действительно, можно было видеть всюду, в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады. А там, наверно, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже и сговорился следовать за ним повсюду до самого вечера, и перебежал от него к какому-нибудь более близкому другу, наскоро объяснив:

— Вот идет Георгий Иванов, а он мне как раз нужен. До резу. Ну, прощайте...

Но случалось, что Мандельштам исчезал на несколько дней. И тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому и в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь был грипп.

Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку — спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату.

В писательском коридоре отапливались печками — "буржуй-

* Беспричинный страх (*фр.*).

ками". Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка.

Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка, и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою "буржуйку".

— Это не моего ума дело, — говорил он.

"Дело" это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть. Их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и поднимали чад. На "борьбу с огнем" Мандельштам решался только в дни, когда к нему "слетало вдохновение". Сочинять стихи в ледяной комнате было немыслимо. Ноги коченели, и руки отказывались писать. Мандельштам с решимостью отчаяния набивал "буржуйку" поленьями, скомканными страницами "Правды" и, плеснув в "буржуйку" стакан — всегда последний стакан керосина, став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с "буржуйкой", Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери.

— Помогите, помогите! Я не умею топить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!

Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще и с чужой печкой. Все они тоже не были "кочегарами и истопниками" и с большим трудом справлялись с "самоотоплением".

Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь.

— Ну зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это петушье восклицанье, пока огонь в Акрополе горит — или, вернее, не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать, — мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался.

— У меня дым валит из печки! Чад — ад! Я могу угореть. Я могу умереть!

Лозинский благосклонно кивал:

— Не смею спорить. Конечно:

Мы все сойдем под вечны своды,
И чей-нибудь уж близок час.

Надеюсь все же, что не наш с вами. А потому позвольте мне вернуться к Еврипиду, — и он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть Дома

Искусств, где царил тепло центрального отопления, — в бывшие хоромы Елисеевых.

Но здесь было нелегко найти уединенный и тихий уголок. В Доме Искусств, или, как его называли сокращенно, в Диске, всегда было шумно и многолюдно. Сюда заходили все жившие поблизости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры, в приступе молодого буйного веселья носясь с визгом и хохотом по залам.

Но я в этот день пришла в Диск не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в Диск привезли из какого-то особняка много французских и английских книг и их пока что свалили в предбаннике.

— Пойдите поищите, — посоветовал он мне. — Может быть, найдется что-нибудь интересное для вас.

В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена "Поцелуй", в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей елисеевских хором за "непристойность" и так и забытая здесь новыми хозяевами.

В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 1921 года с приехавшей к нему женой.

Но теперь еще зима, и Гумилев по-прежнему живет один на Преображенской, 5, а жена его, Аня, скучает и томится в Бежецке и напрасно умоляет мужа взять ее к себе.

— Чего ей недостает? — недоумевает Гумилев. — Живет у моей матери вместе с нашей дочкой Леночкой как у Христа за пазухой. Мой Левушка такой умный, забавный мальчик. И я каждый месяц езжу их навещать. Другая бы на ее месте... А она все жалуется.

Мне кажется, хотя я и не говорю этого ему, что и другая на ее месте жаловалась бы — слишком уж девическая мечта о небесном счастье брака с поэтом не соответствует действительности.

Я прохожу через ярко освещенную столовую Диска. Здесь не те правила, что в Доме литераторов, и никого, даже обитателей Диска, не кормят даром. За длиннейшим столом Добужинский и молодой художник Милашевский, приобретший громкую известность своими гусарскими чикчирами-рейтузами, лакомятся коронным блюдом дисковой кухни — заячьими котлетами. Так для меня и осталось тайной, почему эти котлеты назывались "заячьими". Ни вкусом, ни видом они зайца не напоминали.

Милашевский оживленно рассказывает:

— Чудесно вчера вечер провел. Надрался до чертиков. Ух, как надрались! Божественно!

Добужинский, стараясь казаться заинтересованным, улыбается:

– У вас, наверно, *vin gai*, а не *vin triste**, – говорит он.

Милашевский багровеет от смущения:

– Помилуйте! Мы без этого...

Я останавливаюсь на пороге предбанника. Тихо. Пусто. Никого нет. Уже сумерки. У окна матово белеют книги, сваленные на полу. Их еще не успели разобрать. Я пришла посмотреть, не найдется ли среди них “*Une saison en enfer*”** Рембо.

И вдруг я слышу легкое жужжание. Что это? Неужели книги жужжат? Разговаривают между собой. Я оглядываюсь. Нет, я ошиблась. Я тут не одна. В темном углу, у самой статуи Родена перед ночным столиком, неизвестно зачем сюда поставленным, сидит Мандельштам. Я вглядываюсь в него. Как он бледен. Или это кажется от сумерек? Голова его запрокинута назад, лицо неподвижно. Я никогда не видела лунатиков, но, должно быть, у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный взгляд.

Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром – вверх, вниз, направо, налево. Еще и еще. Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе. Он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое ритмичное жужжание. Я не шевелюсь. Я сознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею права присутствовать при нем.

Так вот как это происходит. А я и не знала. Не догадывалась. Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было. И я не испытывала волнения, охватившего меня сейчас. Волнения и смутного страха, как перед чем-то сверхъестественным.

Сумерки все более сгущаются. Теперь бледное лицо Мандельштама превратилось в белое пятно и стало похожим на луну. Он уже не лунатик, а луна. И теперь уже я, как лунатик, не могу оторвать глаз от его лица. Мне начинает казаться, что от его лица исходит свет, что оно окружено сияющим ореолом.

Тихо. Даже жужжание прекратилось. Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца.

Я не знаю, как мне уйти отсюда. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности. Надо открыть дверь. Но если она скрипнет, я пропала.

И вдруг в этой напряженной магической тишине раздается крик:

– Что же вы? Зажгите же электричество! Ведь совсем темно. Это так неожиданно, что я, как разбуженный лунатик, ис-

* Веселое опьянение ... грустное опьянение (*фр.*).

**“Одно лето в аду” (*фр.*).

пуганно прислоняюсь к стене, чтобы не упасть.

— Что вы там делаете? Да зажгите же наконец!

Я щелкаю выключателем и растерянно мигаю. Значит, он видел меня, знал, что я тут. Что же теперь будет? А он собирает со стола скомканные листки и сует их в карман пиджака. Совсем спокойно.

— У меня в комнате опять чад. Пришлось сюда спастись. С самого утра. — Он встает, отодвигает стул и потягивается. — Который теперь час? Неужели уже четыре? — голос буднично-глухой, усталый. И весь он совсем не похож на того, от лица которого шло сияние. — Хотите послушать новые стихи?

Конечно! И как еще хочу. Но он не дает мне времени ответить и уже запекает:

Я слово позабыл, что я хотел сказать.

Слепая ласточка в чертог теней вернется

На крыльях срезанных, с прозрачными играть.

В беспамятстве ночная песнь поется...

Я слушаю, затаив дыхание. Да, такая "песнь" не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,

И выпуклую радость узнаванья.

Я так боюсь рыданья Аонид...

И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает:

— А кто такие аониды?

Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня. Уже настойчиво и нетерпеливо:

— Кто такие аониды? Знаете?

Я качаю головой:

— Не знаю. Никогда не слыхала. Вот данаиды...

Но он прерывает меня:

— К черту данаид! Помните у Пушкина: "Рыдание безумных аонид"? Мне аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их, что ли?

Я уже пришла в себя. Я даже решаюсь предложить:

— А нельзя ли заменить аонид данаидами? Ведь ритмически подходит, и данаиды, вероятно, тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.

Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой:

— Нет. Невозможно. "Данаиды" звучит плохо... нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее "ао". Разве вы не слышите — аониды? Но кто они,

эти проклятые аониды?

Он задумывается на минуту.

— А может быть, они вообще не существовали? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин? И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину?

С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он, успокоившись, снова начинает, закинув голову:

Я слово позабыл, что я хотел сказать...

И я снова стою перед ним, очарованная, заколдованная. Я снова чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным.

Только он один умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии — "Богом в святых мечтах земли".

И теперь, через столько лет, когда вспоминаю его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне...

...И если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает, остается
Пространство, звезды и певец.

Да, когда Мандельштам пел свои стихи, все действительно исчезало. Ничего не оставалось, кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов.

Теперь, оглядываясь назад, мне трудно поверить, что мои встречи с Мандельштамом продолжались только несколько месяцев. Мне кажется, что они длились годы и годы — столько у меня (и самых разнообразных) воспоминаний о нем.

Конечно, я знаю, что время в ранней молодости длится гораздо дольше. Или, вернее, летит с головокружительной быстротой и вместе с тем почти как бы не движется. Дни тогда были огромные, глубокие, поместительные. Ежедневно происходило невероятное количество внешних и внутренних событий. И ощущение времени было совсем особенное. Как в романах Достоевского — у него тоже события одного дня вряд ли уместились бы в месяц реальной жизни.

Но этим все же трудно объяснить не только количество моих воспоминаний о Мандельштаме, но и их живость и яркость. Они как будто и сейчас еще не хотят укладываться на дно памяти и становиться далеким прошлым. Будто я вчера рассталась с ним. Дело тут, я думаю, не во мне, а в нем, в Мандельштаме. В его необычности, в его неповторимости. Каждая встреча с

ним — а встречались мы почти ежедневно — чем-нибудь поражала и навсегда запоминалась.

Входя в Дом литераторов или в Диск, я всегда чувствовала, что он здесь, прежде чем видела его. И на публичной лекции среди множества слушателей безошибочно находила его, как будто над ним реял

Какой-то особенный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

Но у этого пламени было имя — благодать поэзии. Никогда — ни тогда, ни потом — я не встречала поэта, которого пламя благодати и поэзии так пронизывало бы, который сам как на костре горел, не сгорая в этом пламени. Мне кажется, что это пламя и сейчас освещает воспоминания о нем. И я, снова переживая их, не знаю, которое из них выбрать, все, что касается Мандельштама, мне одинаково дорого.

Вот взятое почти наугад, наудачу, одно из воспоминаний.

Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника — чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекций в Диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой.

— Ничего нет приятнее "нежданной радости" случайной встречи, — говорит Гумилев.

Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, "нежданная радость". Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду.

— Есть у кого-нибудь папироса? — задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму.

— Скорей, скорей закуривай. А то вся сера выйдет.

Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным задыхающимся клеткотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз.

— Удалось! Опять удалось, — торжествует Гумилев. — В который раз. Без промаха.

Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу:

Спички шведские,
Головки советские,
Пять минут вонь,
Потом огонь!

Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Манделъштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и "природной жадности", по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает. К общему веселью.

— А я вам сейчас прочту свои новые стихи, — говорит Георгий Иванов.

Это меня удивляет. Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи. И, написав их, не носит их с собой, не в пример Гумилеву и Манделъштаму, готовым читать свои новые стихи хоть десять раз подряд.

— "Баллада о дуэли", — громко, важным, несвойственным ему тоном начинает Георгий Иванов.

И сразу становится ясно, что стихи шуточные. В них Георгий Иванов "великий маг и волшебник", по определению Лозинского.

Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет. Существовала и особая разновидность их — "античная глупость". Никогда, впрочем, к недоумению Гумилева, восхищавшегося ею, не смешившая меня. Приведу три примера из нее:

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
"Скифам любезно вино, мне же любезны друзья".

Соль этого двустишья заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством. Или:

— Делия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!

И:

Пепли плечо и молчи,
Вот твой удел, Златозуб! —

отмечающее привычку Манделъштама засыпать пеплом папиросы свое левое плечо, когда он сбрасывает пепел за спину. Предложение молчать подчеркивало его несмолкаемую разговорчивость.

— "Баллада о дуэли", — повторяет Георгий Иванов и кидает насмешливый взгляд в мою сторону. Я краснею от смущения и удовольствия. "Баллада" значит подражание мне — и это мне очень лестно.

Георгий Иванов с напыщенной серьезностью читает о том, как в дуэли сошлись Гумилев и юный грузин Манделъштам.

...Зачем Гумилев головою поник,
Что мог Манделъштам совершить?
Он в спальню красавицы тайно проник
И вымолвил слово "любить".

Взрыв смеха прерывает Иванова. Это Манделъштам, напрасно старавшийся сдержаться, не выдерживает:

— Ох, Жорж, Жорж, не могу! Ох, умру! "Вымолвил слово "любить"!"

Только на прошлой неделе Манделъштам написал свои прославившиеся стихи: "Сестры тяжесть и нежность...". В первом варианте вместо "Легче камень поднять, чем имя твое повторить" было: "Чем вымолвить слово "любить"

И Манделъштам уверял, что это очень хорошо как пример "русской латыни", и долго не соглашался переделать эту строчку, заменить ее другой: "Чем имя твое повторить", придуманной Гумилевым.

Мы выходим на тихую, пустую улицу. Ветер улегся. Все небо в звездах, и большие снежные сугробы сияют в полутьме. Манделъштам молча идет рядом со мной и, закинув голову, глядит на звезды не отрываясь. Я начинаю скандировать:

Я ненавижу бред
Однообразных звезд.

И, оборвав, перескакиваю на другое стихотворение, меняя ритм шагов:

Что, если над модной лавкой,
Сияющая всегда,
Мне в сердце длинной булавкой
Опустится вдруг звезда?

Манделъштам всегда с нескрываемым удовольствием слушает цитаты из своих стихов. Но сейчас он не обращает внимания и продолжает молчать. О чем он думает? И вдруг он говорит приглушенным грустным голосом, как будто обращаясь не ко мне, а к звездам:

— А ведь они не любят меня. Не любят.

От неожиданности я останавливаюсь.

— Да что вы, Осип Эмильевич? Никого другого так не любят, как вас!

Он тоже останавливается. Теперь он смотрит прямо мне в лицо широко открытыми глазами, и мне кажется, что в них отражаются звезды.

— Нет. Не спорьте. Не любят. Вечно издеваются. Вот и сегодня эта баллада!

— Но ведь это лестно, — убеждаю я.

— Про Гумилева никто не посмеет.

— Как не посмеет? Разве не про него "откушенный нос"? Это же нос Гумилева. Ваш зуб, а его нос.

Мандельштам качает головой.

— И все-таки больше всего смеются надо мной. Я и Златозуб, и "юный грузин". Неужели я уж такой шут гороховый, что надо мной нельзя не издеваться? Скажите, только правду, я вам тоже кажусь очень смешным?

— Нет, совсем нет. Напротив, — с полной искренностью почти кричу я: — Я восхищаюсь вами, Осип Эмильевич!

Он недоумевающе разводит руками.

— Неужели? Ну, спасибо вам, если это правда. Спасибо. Не ожидал от вас. — Он берет меня под руку. — Но знаете, — продолжает он доверчиво, — они действительно не любят меня. Прежде любили, а теперь нет. В особенности Гумилев. И Жорж тоже разлюбил меня. А как мы с ним прежде дружили. Просто не разлучались. Я приходил с утра. Он всегда вставал поздно. Вместе у него пили чай и отправлялись вместе на целый день. Всюду — в "Аполлон", и в гости, и на вернисажи, и в "Бродячую собаку". Если поздно возвращались, я у него ночевал на диване. Ни с кем в Петербурге мне так хорошо не было, как с ним. Он замечательный. Я его совсем не за его стихи ценил, нет. За него самого. А теперь внешне все как будто почти по-прежнему, но настоящей дружбы уже и в помине нет. Они все очень изменились.

Я пытаюсь найти объяснение.

— Может быть, не только они, но и вы изменились за это время? Я сама совсем другая, чем два года тому назад.

Но он не слушает меня. Какое ему дело до того, какая я была прежде?

Он вдруг неожиданно начинает смеяться.

— У Жоржа была прислуга. Она меня терпеть не могла. Меня почему-то все прислуги не выносят, как собаки почтальонов. Жорж как-то повесил у себя над диваном портрет Пушкина. А прислуга возмутилась: "Эх, мало вам, что ваш Осип тут с утра торчит. Еще, чтобы любоваться, его богомерзкую морду на стенку повесили". И так и не поверила, что это не моя богомерзкая морда. Все же хоть и душой-бабой, а лестно быть принятым за Пушкина.

— Конечно, лестно.

— А вот в Киеве, — продолжает он, оживляясь, — там меня действительно любили. И еще как! Нигде мне так приятно не жилось, как в Киеве. Сначала приняли сдержанно и даже холодно. Киевляне народ гордый. Перед петербуржцами не низкопоклонничают. Пригласили меня в какой-то поэтический кружок. Я пошел. Квартира барственная. Даже чересчур. И ужин соответствующий. Все чинно и чопорно. И я стараюсь держаться важно и надменно. Смотрю поверх их голов и делаю вид, что не замечаю со-

седей за столом. Будто здесь пустые стулья. И отвечаю нарочно невпопад. Перешли в гостиную пить кофе. Хозяин просит меня почитать стихи. А у меня от смущения и застенчивости — я ведь очень застенчив — все из головы вылетело. Дыра в мозгу. И чтобы не потерять лицо, я заявляю: "Я сегодня не расположен читать". И вдруг один молодой человек робко спрашивает меня: "Тогда, может быть, позвольте нам за вас?" И начал читать наизусть: "Дано мне тело..." и потом "Есть целомудренные чары...". А за ним другой уже успевает без передышки: "Сегодня дурной день...". И так по очереди они весь "Камень" наизусть отхватили, ничего не пропустив, ни разу не споткнувшись. Я просто своим ушам не верил. Сижу, обалдев, красный, еле сдерживаю слезы. Когда кончили, стали меня обнимать и признаваться в любви. С этого вечера и началась у нас теснейшая дружба. Как они обо мне все заботились! Мы ежедневно встречались в кафе на Николаевской улице, и каждый приносил мне подарок. Про банку варенья вы уже знаете. Да, там мне жилось отлично. Там я в первый раз почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым. И никто не смел со мной спорить. Тамошний мэтр Бенедикт Лившиц совсем завял при мне. Должно быть, люто мне завидовал, но вида не подавал.

И Мандельштам неожиданно заканчивает:

— А может быть, вы и правы. Я там изменился. Хлебнул славы и поклонения. Отвык от насмешек. Я в Киеве княжил, а тут Гумилев верховодит. И не совсем, сознайтесь, по праву. Вот мне иногда и обидно.

Мы дошли до моего дома.

— Спокойной ночи, Осип Эмильевич.

Мандельштам торопливо прощается:

— Спокойной ночи. Побегу, а то они без меня все морковные лепешки съедят.

И он действительно пускается бегом не по тротуару, а по середине улицы, увязая в рыхлом снегу.

Я вхожу в подъезд, ощупью добираюсь до лестницы и в темноте, держась за перила, медленно поднимаюсь. Как я устала! Как мне грустно! Мне жаль Мандельштама. До боли. До слез. Бедный, бедный! Я не сумела утешить его. "Вздор! — уговариваю я себя. — Он не нуждается в моем утешении. И что я могла ему сказать?" Но сердце продолжает ныть. Нет, никакого предчувствия его страшного конца у меня, конечно, не было ни тогда, ни потом.

Не только у меня, но и у него самого не было. Скорее напротив. Ему казалось, что он всех должен пережить, что другие умрут раньше его. Так, он писал о Георгии Иванове:

...Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

А о себе:

Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?

Я как-то, еще в самом начале знакомства, спросила его:

— Осип Эмильевич, неужели вы правда не верите, что умрете?

И он совершенно серьезно ответил:

— Не то что не верю. Просто я не уверен в том, что умру. Я сомневаюсь в своей смерти. Не могу себе представить. Фантазии не хватает.

Нет, это не было предчувствие. Но жалость к Мандельштаму осталась навсегда.

Через несколько дней я решила сказать Гумилеву:

— Николай Степанович, знаете, мне кажется, Мандельштаму обидно, что его называют Златозуб и постоянно высмеивают.

Но Гумилев сразу осадил меня:

— Экая правозаступница нашлась! С каких это пор цыплята петухов защищают? И ничего вы не понимаете. Мандельштаму, по-вашему, обидно, что над ним смеются? Но если бы о нем не писали шуточных стихов, не давали бы ему смешных прозвищ, ему было бы, поверьте, еще обиднее. Ему ведь необходимо, чтобы им все всегда занимались.

Я не стала спорить, и Гумилев добавил примирительно:

— Его не только любят и ценят, но даже часто переоценивают. И как не смеяться над тем, что смешно? Ведь Мандельштам — ходячий анекдот. И сам старается подчеркнуть свою анекдотичность. При этом он по-женски чувствителен и чуток. Он прекрасно раскусил вас. И разыгрывает перед вашей жалостливой душой униженного и оскорбленного. Что же, жалейте его, жалейте! Зла от этого не будет ни ему, ни вам...

И вот еще одно воспоминание. Трагикомическое воспоминание. Мандельштам был чрезвычайно добр. Он был готов не только поделиться последним, но и отдать последнее, если его об этом попросят. Но он был по-детски эгоистичен и по-детски же не делал разницы между моим и твоим.

Это была очень голодная зима. Хотя я и научилась голодать за революционные годы, все же так я еще не голодала. Но делала я это весело, легко и для окружающих малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире — в Петербурге квартирному кризису тогда не было и никого не "уплотняли" еще. Я была всегда очень хорошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, "вдохновенно". Мне действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, что это от голода

...Так близко подходит чудесное
К покосившимся грязным домам.

Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что и небо, и стены домов, и снег под ногами — все дышит вдохновением и что я сама растворяюсь в этом общем вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинающее звучать в моей голове.

В один из таких моих особенно "вдохновенных" дней, когда вечером предстояло собрание Цеха, я по пути в Диск, где заседал Цех, зашла в Дом литераторов за своей кашей, составлявшей для меня сразу и завтрак, и обед, и ужин. Я решила, что перед Цехом необходимо поесть попозже. В вестибюле Дома литераторов меня встретил Ирецкий.

— Вас-то мне и надо! — приветствовал он меня. — Пойдемте ко мне в кабинет, решим, когда вы будете выступать на следующем вечере. В первом или втором отделении?

Мне так захотелось есть, что я стала отказываться, ссылаясь на необходимость идти скорее в Цех.

— Завтра решим. А сейчас мне надо стать в хвост за кашей. Я ужасно тороплюсь.

Но Ирецкий настаивал:

— Успеете. Вот и Осип Эмильевич еще здесь. Он, пока мы будем с вами разговаривать, похвостится за вашей кашей. Ведь свою он уже съел. Вы не потеряете ни минуты. Идемте!

Мандельштам с полной готовностью согласился "похвоститься" за меня. А я пошла с Ирецким.

Он действительно не задержал меня. Я торопливо вошла в полукруглую комнату с окнами в сад, где перед столом с огромным котлом выстроилась длинная очередь. Мандельштама в ней не было. Я облегченно вздохнула: "Значит, уже получил и ждет меня в столовой".

Мандельштам действительно уже сидел в столовой. Но перед ним вместо моей каши стояла пустая тарелка.

— Отчего же вы не взяли каши, ведь вы обещали? — начала я еще издали с упреком.

— Обещал и взял, — ответил он.

— Так где же она? — недоумевала я.

Он сладко, по-кошачьи зажмурился и погладил себя по животу.

— Тут. И превкусная кашка была. С моржевятиной.

Но я не верила. Мне казалось, что он шутит. Не может быть!

— Где моя каша? Где?

— Я же вам объясняю, что съел ее. Понимаете, съел. Умял. Слопал.

— Как? Съели мою кашу?!

Должно быть, в моем голосе прозвучало отчаяние. Он покраснел, вскочил со стула и растерянно уставился на меня.

— Вы? Вы правда хотели ее съесть? Вы правда голодны?

Вы не так, только для порядка, чтобы не пропадало, хотели ее взять? — сбивчиво забормотал он, дергая меня за рукав. — Вы голодны? Голодны? Да?..

Я чувствую, что у меня начинает щекотать в носу. О Господи, какой скандал: я — Одоевцева, я — член Цеха и плачу оттого, что съели мою кашу!

— Скажите, вы правда голодны? — не унимался Мандельштам. — Но ведь это тогда было бы преступлением! Хуже преступления — предательством. Я оказался бы последним мерзавцем, — все больше волнуясь, кричал он, возмущенно теребя меня за рукав.

Я уже кое-как успела справиться с собой. Нет, я не заплакала.

— Успокойтесь. Я шучу. Я хотела вас поугаать. Я только что дома ела щи с мясом и жаренную на сале картошку.

И — что бы еще придумать особенно вкусного?

— И селедку! И варенье!

— Правда? Не сочиняете? Я ведь знаю, вы буржуазно живете и не можете быть голодны. А все-таки я готов пойти и сознаться, что я утянул вашу кашу. Пусть меня хоть из членов Дома литераторов исключат. Пусть!

Но я уже смеюсь.

— За это вас вряд ли исключили бы. Но говорить ничего не надо. Пойдемте, а то мы опоздаем в Цех. И это уже будет настоящим преступлением. Не то что кашу съесть.

Всю дорогу в Цех Мандельштам продолжает переживать эпизод с кашей, обвиняя не только себя, но и меня.

— Как вы меня испугали. Разве можно так шутить? Я бы никогда не простил себе, если бы вы правда были голодны. Я страшно боюсь голода, страшно.

В эту ночь, засыпая, я подумала, что я сегодня совершила хороший поступок и за него мне, наверное, отпустится какой-нибудь грех, очень тяжелый грех.

Правда, ни одного хорошего поступка по отношению к Мандельштаму мне больше, к сожалению, совершить не удалось.

Костюмированный бал в Доме Искусств в январе 1921 года — "гвоздь петербургского зимнего сезона", как его насмешливо называют.

Мандельштам почему-то решил, что появится на нем немецким романтиком, и это решение принесло ему немало хлопот. Костюм раздобыть нелегко. Но Мандельштам с несвойственной ему энергией победил все трудности и принес откуда-то большой пакет, завернутый в простыню.

— Не понимаю, — говорит Гумилев, пожимая плечами, — чего это Златозуб суетится. Я просто надену мой фрак.

"Просто". Но для того, чтобы надеть "мой фрак," ему требуется длительная и сложная подготовка в виде утюжки, стирки и наведения предельного блеска на башмаки — лакированных

туфель у него нет. Все это совсем не просто. А в облаченном в "мой фрак" Гумилеве и подавно ничего простого нет. Напротив. Он еще важнее, чем обыкновенно.

— Всегда вспоминаю пословицу "L'habit fait le moine"* как погляжу на тебя офраченного, Николай Степанович, — говорит Лозинский. — Только тебя habit не монахом делает, а монархом. Ты во фраке ни дать ни взять — коронованная особа, да и только.

Гумилев притворно сердито отмахивается от него.

— Без острология ты уж не можешь, Михаил Леонидович!..

Но я по глазам его вижу, что сходство с коронованной особой ему очень приятно.

Я надела одно из бальных платьев моей матери: золотисто-парчовое, длинное-предлинное, с глубоким вырезом, сама как умела ушив его. На голове вместо банта райская птица широко раскинула крылья. На руках лайковые перчатки до плеч, в руках веер из слоновой кости и бело-розовых страусовых перьев, с незапамятных лет спавший в шкатулке.

Я постоянно закрываю, открываю его и обмахиваюсь им. Я в восторге от него и еще дома, одеваясь, сочинила о нем строфу:

Мой белый веер
Так нежно веет,
Нежней жасминовых ветвей,
Мой белый веер, волшебный веер,
Который стал душой моей.

Нет, я не прочту ее Гумилеву. Мне, эпическому поэту, автору баллад, она совсем не идет. Она из цикла жеманно-женственных стихов, тех, что Гумилев называет: "Я не такая, я иная" — и "до кровотоомщения" ненавидит.

В этом необычайном наряде я очень нравлюсь себе — что со мной бывает крайне редко — и уверена, что должна всем нравиться. Я останавливаюсь перед каждым зеркалом, любуюсь собой, и не могу на себя наглядеться.

Костюмированных на балу — кроме пасторальной пары Олечки Арбениной и Юрочки Юркуна, пастушки и пастушка, Ларисы Рейснер, Нины из "Маскарада" Лермонтова и романтика Мандельштама — почти нет.

Поздоровавшись с Мандельштамом, я, даже не осведомившись у него, кого именно из немецких романтиков он собой представляет, спрашиваю:

— А где ваша жаба?

О жабе я узнала от Гумилева, когда мы с ним шли на бал. Не ехали на бал в карете или в автомобиле, а шли пешком по

* Одежда делает монаха (фр.).

темным, снежным улицам.

— У Мандельштама завелась жаба!

И Гумилев рассказывает, что они с Георгием Ивановым встретились сегодня перед обедом в Доме Искусств. Ефим, всеми уважаемый местный "товарищ служающий", отлично осведомленный о взаимоотношениях посетителей и обитателей Дома, доложил им, что "Михаил Леонидович вышли, господин Ходасевич в парикмахерской бреются, Осип Эмильевич на кухне жабу гладят".

— Жабу? — переспрашивает Жоржик.

— Так точно. Жабу. К балу готовятся.

— Я-то сразу смекнул, в чем дело. Жабу гладит — магнетические пассы ей делает.

Гумилев многозначительно смотрит на меня из-под оленьей шапки и продолжает, еле сдерживая смех:

— Чернокнижием, чертовщиной занимаемся. Жабу гладит — хочет Олечку приворожить. Только где ему жабу раздобыть удалось? Мы с Жоржиком решили молчать до бала о жабе.

Так жаба, по воле Гумилева и Георгия Иванова, материализовалась и стала реальной. А став реальной и зажив своей жабьей жизнью, не могла остаться невospетой.

И вот мы с Гумилевым, хохоча и проваливаясь в снежные сугробы, уже сочинили начало "Песни о жабе и колдуне".

Слух о том, что у Мандельштама завелась жаба и он ее гладит, молниеносно разнесся по залам и гостиным. Жабой все заинтересовались.

Мандельштам в коротком коричневом сюртуке, оранжевом атласном жилете, густо напудренный, с подведенными глазами, давась от смеха, объясняет, тыкая пальцем в свою батисто-кружевную грудь:

— Жабо, вот это самое жабо на кухне гладил. Жабо, а не жабу.

Ему никто не хочет верить.

— С сегодняшнего дня, — торжественно объявляет ему Гумилев, — тебе присваивается чин Гладящий жабу. И уже разрабатывается проект Ордена жабы. Шейного, на коричневой ленте. Поздравляю тебя! Жаба тебя прославит. О ней уже складывают песню. Слушай!

И Гумилев с пафосом читает сочиненное нами по дороге сюда начало "Песни о жабе и колдуне":

Маг и колдун Мандельштам

Жабу гладит на кухне.

Блох, тараканов и мух не

Мало водится там.

— Слопай их, жаба, распухни

И разорвись пополам!..

Все смеются, не исключая и самого "мага и колдуна". Но смех его не так безудержен и заразителен, как всегда. Неужели он обиделся?

А приставанья и расспросы о жабе продолжают беспрерывно и назойливо.

— Брось, Осип! Не лукавь, признавайся, — убеждает его Георгий Иванов. — Я ведь давным-давно догадался, что ты занимаешься магией, чернокнижием и всякой чертовщиной — по твоим стихам догадался.

Я очень люблю танцевать, но ни Гумилев, ни Мандельштам, ни Георгий Иванов не танцуют — из поэтов танцует один Оцуп. Но танцоров на балу все-таки сколько угодно.

Между двумя тустепами я слышу все те же разговоры о жабе. Мандельштам продолжает отшучиваться, но уже начинает нервничать и раздражаться.

— Я на твоём месте отдавал бы жабу напрокат, внаём, — говорит Гумилев. — Я сам с удовольствием возьму ее на неделю-другую для вдохновения — никак не могу своего "Дракона" кончить. Я хорошо заплачу. Не торгуясь заплачу и в придачу привезу тебе из Бежецка банку варенья. Идет? По рукам? Даешь жабу?..

Мандельштам морщится:

— Брось. Довольно. Надоело, Николай Степанович!

Но когда сам Лозинский — образец такта и корректности — осведомляется у него о драгоценном здоровье Жабы Осиповны и просит передать ей почтительный привет, Мандельштам не выдерживает:

— Сдохла жаба! Сдохла! — кричит он, побагровев. — Лопнула! И терпение мое лопнуло. Отстаньте от меня. Оставьте меня в покое! — И он, расталкивая танцующих, бежит через зал и дальше, через столовую и коридор, к себе, в свою комнату.

Лозинский разводит недоумевающе руками и, глядя ему вслед:

— Гарун бежал быстрее лани. Что же это с юным грузином стало? Обиделся?

Но мы смущены. Мы понимаем, что перетянули нитку, не почувствовали границы *jusqu'ou on peut aller trop loin** и безнаказанно перемахнули через нее.

Спешно снаряжается делегация. Она должна принести Мандельштаму самые пламенные, самые униженные извинения и во что бы то ни стало, непременно привести его.

После долгих стуков в запертую дверь, после долгих бесплодных просьб и уговоров Мандельштам наконец сдается — с тем, "чтобы о проклятой жабе ни полслова".

Его возвращение превращается в триумф. Его встречают овацией.

*Зайти слишком далеко. (фр.).

— Не вернись ты, Осип, — Гумилев обнимает его за плечи, — бал превратился бы в катастрофу.

— А теперь, — громко заявляю я, — так весело, так весело, как еще никогда в жизни не было!

— Неужели? — спрашивает меня Лозинский. — Сколько уж раз мне приходилось слышать от вас это самое: "Сегодня так весело, как еще никогда в жизни" — и всегда с полной убежденностью и искренностью. Объясните, пожалуйста, как это возможно?

За меня отвечает Гумилев:

— Потому что это всегда правда, сущая правда. Как и кузминское:

И снова я влюблен впервые,
Навеки снова я влюблен, —

сущая правда. Это каждый из нас сам, по своему личному опыту знает.

И все опять смеются.

Так веселились поэты. Так по-детски, бесхитростно, простодушно. Смеялись до слез над тем, что со стороны, пожалуй, даже и смешным не казалось.

А "Песня о колдуне и жабе" осталась незаконченной. Ведь мы обещали Мандельштаму — "о проклятой жабе ни полслова".

А жаль!

Мандельштам относился к занятиям в литературной студии "без должного уважения", как он сам признавался.

— Научить писать стихи нельзя. Вся эта "поэтическая учеба" в общем ни к чему. Я уже печатался в "Аполлоне", и с успехом, — рассказывал он, — когда мне впервые пришлось побывать на "Башне" у Вячеслава Иванова по его личному приглашению. Он очень хвалил мои стихи: "Прекрасно, прекрасно. Изумительная у вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать ваши анапесты или амфибрахий". А я смотрю на него, выпучив глаза, и не знаю, что за звери такие анапесты и амфибрахий. Ведь я писал по слуху и не задумывался над тем, ямбы это или что другое. Когда я сказал об этом Вячеславу Иванову, он мне не поверил. И убедить его мне так и не удалось. Решил, что я "вундеркиндствую", и охладел ко мне. Впрочем, вскоре на меня насел Гумилев. Просветил меня, посвятил во все тайны. Я ведь даже удостоился чести быть объявленным акмеистом. Сами понимаете, какой я акмеист? Но по слабости характера я позволил наклеить себе на лоб ярлык и даже усердно старался писать по-акмеистически — хотя бы это, помните?

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.

О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст — одна стрела.

И ласточки когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.

Гумилев просто в восторге от него был. За акмеистическую точность — "от вторника и до субботы", "семь тысяч верст", "четыре дня" — устроил мне в Цехе всенародный триумф. Трудно, очень трудно мне было освободиться от его менторства, но все же удалось. Выкарабкался и теперь в "разноголосице девического хора пою на голос свой". Ведь Гумилев, сами знаете, такой убедительный, прирожденный Учитель с большой буквы. И до чего авторитетен. И до чего любит заводить литературные споры и всегда быть правым.

Мандельштам не любил литературных споров, не щеголял своими знаниями, не приводил ученых цитат, как это делал Гумилев. Мандельштам — в этом он был похож на Кузмина — как будто даже стеснялся своей "чрезмерной эрудиции" и без особой необходимости не обнаруживал ее, принимая кредо Кузмина:

Дважды два четыре.
Два и три — пять.
Это все, что знаем,
Что нам надо знать.

Но разница между Кузминым и Мандельштамом была в том, что Кузмин действительно был легкомыслен, тогда как Мандельштам только притворялся и под легкомыслием старался скрыть от всех — а главное, от себя — свое глубоко трагическое мироощущение, отгораживаясь от него смехом и веселостью. Чтобы не было слишком страшно жить.

Меньше всего Мандельштам хотел выступать в роли учителя. И все же, очень скоро поняв, что меня, как он выражался, "мучит неутолимая жажда знаний", без всякой просьбы с моей стороны взял на себя эту несвойственную ему роль. И стал меня — когда мы оставались с глазу на глаз — полегоньку подучивать. Делал он это как-то совсем ненарочито, будто случайно, заводя разговор то о Рильке, то о Леопарди, то о Жераре де Нервале, то о Гриммельсхаузене, о котором я до него понятия не имела. От него я узнала очень многое, что запомнила на всю жизнь.

Так, это он открыл мне, что последние строки "Горя от ума" — перевод последних строк "Мизантропа". И что в "Мизантропе" были в первом издании еще две строки, свидетельство-

вавшие о том, что Алцест не так уж решительно и навсегда по-рывает со "светом". В правильности его слов мне удалось убедить только в Париже. Как это ни странно, сам великий лит-спец (слова "литературовед" тогда еще не существовало) Лозинский спорил со мной, что или я не так поняла, или Мандельштам просто разыграл меня. Оказалось, что две последние строчки "Мизантропа" действительно были отброшены за "несценичность" и в книгах и в театре.

От Мандельштама же я узнала, что лозунг "Мир хижинам, война дворцам" принадлежит Шамфору. И еще много других разнообразных сведений получила я от него во время бесконечных хождений по Петербургу.

— Только не рассказывайте Гумилеву о наших разговорах. А то он рассердится и на меня, и на вас. Ведь это его прерогатива — учить вас уму-разуму. Вообразит еще, что я на нее посягаю. А ведь я толком ничего не знаю. И никого ничему научить не могу. Я, слава Богу, аутодидакт и горжусь этим.

Была весна, и наступили белые ночи. Белые, сияющие, прозрачные. В одну из таких ночей мы возвращались по Дворцовой набережной после концерта. Мандельштам был бледен и взволнован.

— Знаете, я с детства полюбил Чайковского, на всю жизнь полюбил, до болезненного иступления. Мы летом жили на даче, и я ловил музыку из-за колючей изгороди. Я часто рвал свою матроску и расцарапывал руку, пробираясь зайцем к раковине оркестра. Это там, на Рижском взморье, в Дуббельне, для меня впервые оркестр захлебывался Патетической симфонией Чайковского, и я тонул в ней, как в Балтийском заливе. А потом уже появился для меня как центр мира Павловский вокзал. В него я стремился, как в некий Элизиум. Помните у Тютчева: "Моя душа — Элизиум теней..."? Но это был Элизиум звуков и душ, в котором царили Чайковский и Рубинштейн. Я с тех пор почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь. Незаконно. Когда, как сегодня, я слушаю и потрясаюсь до наслаждения, вернее, наслаждаюсь до потрясения, мне вдруг делается страшно: вот сейчас все кончится ужасным скандалом, меня позорно выведут. Возьмут под руки и — из концертной залы, из салона меценатки — в шею, кубарем по лестнице. Опозорят. Погубят. И так страшно, что я пьянею от страха. Скажите, разве это можно назвать любовью к музыке?

Я растерянно молчу, но ведь он и не ждет ответа. Но продолжает:

— А для Гумилева, как, впрочем, и для обожаемого им Теофиля Готье, и Виктора Гюго, "музыка — самый неприятный из всех видов шума". И поэтому ему, конечно, несравненно легче жить. Ведь музыка не окрыляет, а отравляет жизнь.

Он вдруг перескакивает на совсем другую тему:

— А ваш "Извозчик" мне симпатичен, хорошо, что вы о нем написали балладу.

Он продолжает:

— Петербургский извозчик всегда был мифом. А советский уж и подавно. Его нужно пускать по меридиану. А вы его — и отлично сделали — в рай впустили. И ведь сознайтесь, вы об оселе Жамма ничего не слыхали? А?

Я качаю головой.

— Не слыхала. Что это за осел такой?

— Двоюродный брат вашей лошади. Тоже райский. В рай попал. Но и мы с вами сейчас в гранитном раю.

Он замолкает и наклоняет голову набок, будто прислушивается к чему-то.

Дворцы, мосты и небо — все сияет и все бело и призрачно. Кажется, еще минута, и этот "гранитный рай" растает и растворится в белом сиянии. Останется только белое небо и белые воды Невы.

— Слышите, как они поют? — Мандельштам указывает рукой на дворцы, тянущиеся длинным рядом по Набережной. — Неужели не слышите? Странно. Ведь у них у каждого свой собственный голос. И собственная мелодия. Да, лицо. Некоторые похожи на сборник стихов. Другие на женские портреты, на античные статуи. Ведь архитектура ближе всего поэзии. И дополняет, воплощает ее. Неужели вы и этого не видите? И ничего не слышите?

Я снова качаю головой.

— Нет, решительно ничего не слышу. И не вижу ни статуй, ни портретов, ни книг. Одни дворцы.

Он разводит руками.

— Жаль. А я иногда выхожу сюда ночью. Слушаю и смотрю. Нигде не чувствую столько поэзии, такого восхитительного, такого щемящего одиночества, как ночью здесь.

Я не выдерживаю!

— Но вы всегда говорите, что ненавидите, боитесь одиночества.

— Мало ли, что я говорю, — прерывает он меня, — всему верить не стоит. Впрочем, я всегда искренен. Но я ношу в себе, как всякий поэт, спасительный яд противоречий. Это не я, а Блок сказал. И это очень умно, очень глубоко. И правильно. Конечно, я ненавижу одиночество. И люблю его. — И, помолчав, прибавляет: — Страстно люблю... Люблю и ненавижу, как женщину, изменяющую мне.

Мандельштам исчез из Петербурга так же неожиданно, как и появился в нем.

В один прекрасный день он просто исчез. Я даже не могу назвать дату его исчезновения. Знаю только, что это было в начале лета 1921 года.

Мне не пришлось с ним ни прощаться, ни провожать его. У меня с ним не было последней встречи. Той грустной встречи, к которой готовишься заранее тревожной мыслью: а вдруг мы больше никогда не увидимся?

Мы расстались весело, уверенные, что через неделю снова встретимся. Я уезжала на неделю в Москву. И это никак не могло считаться разлукой. "Разлукой — сестрой смерти", по его определению. Но неделя в Москве превратилась в месяцы, и, когда я наконец вернулась в Петербург, Манделъштама в нем уже не было.

На расспросы, куда он уехал, я не получила ответа. Никто не знал куда. Уехал в неизвестном направлении. Исчез. Растворился, как дым. Впрочем, загадкой исчезновения Манделъштама занимались мало, ведь это была трагическая осень смерти Блока и расстрела Гумилева. Я и сейчас не знаю, куда из Петербурга уехал Манделъштам и почему он никого не предупредил о своем отъезде.

В Москве — в те два месяца, что я провела в ней, — его, во всяком случае, не было. Он бы, конечно, разыскал меня и, конечно, присутствовал бы на встрече Гумилева, остановившегося проездом на сутки в Москве после своего крымского плавания с Неймищем.

Да. Манделъштам исчез. "И вести не шлет. И не пишет". Это, впрочем, никого не удивляло. Перепиской из нас никто не занимался. Почте перестали доверять. Письма, и то очень редко, пересылали, как в старину, с оказией. Эпистолярное искусство почти заглохло в те дни. И вдруг — уже весной 1922 года, до Петербурга долетел слух: Манделъштам в Москве. И он женат. Слуху этому плохо верили. Не может быть. Вздор. Женатого Манделъштама никто не мог себе представить.

— Это было бы просто чудовищно, — веско заявил Лозинский. — "Чудовищно" от слова "чудо", впрочем, не без некоторого участия и чудовища.

Но побывавший в Москве Корней Чуковский, вернувшись, подтвердил правильность этого "чудовищного" слуха. Он, как всегда "почтительно ломаясь пополам" и улыбаясь, заявил:

— Сущя правда! Женат.

И на вопрос: на ком? — волнообразно разведя свои длинные, гибкие, похожие на щупальца спрута руки, с недоумением отвечил:

— Представьте, на женщине.

Потом стало известно, что со своей женой Надеждой Хазинной Манделъштам познакомился еще в Киеве. Возможно, что у него уже тогда возникло желание жениться на ней.

Но как могло случиться, что он, такой безудержно болтливый, скрыл это от всех? Ведь, приехав в Петербург, он ни разу даже не упомянул имени своей будущей жены, зато не переставал говорить об Адалис, тогдашней полуофициальной подруге

Брюсова. И всем казалось, что он увлечен ею не на шутку.

Георгий Иванов даже сочинил обращение Мандельштама к Адалис. Чтобы понять его, следует знать, что многие литовские фамилии кончаются на "ис".

Страстной влюбленности отданный
Вас я молю, как в огне:
Станьте литовскою подданной
По отношению ко мне.

Но в Петербурге Мандельштам недолго помнил об Адалис и вскоре увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было "катастрофически губительное", заранее обреченное на неудачу и доставило ему немало огорчений. Оно, впрочем, прошло быстро и сравнительно легко, успев все же обогатить русскую поэзию двумя стихотворениями: "Мне жалко, что теперь зима..." и "Я наравне с другими...".

Помню, как я спросила у Мандельштама, что значат и как понять строки, смешившие всех:

И сам себя несу я,
Как жертва палачу?

Я недоумевала. Чем эта добродушная, легкомысленная и нежная девушка походит на палача? Но он даже замахал на меня рукой.

— И ничуть не похожа. Ничем. Она тут вовсе ни при чем. Неужели вы не понимаете? Дело не в ней, а в любви. Любовь всегда требует жертв. Помните, у Платона: любовь одна из трех губительных страстей, что боги посылают смертным в наказание. Любовь — это дыба, на которой хрустят кости; омут, в котором тонешь; костер, на котором горишь.

— Неужели, Осип Эмильевич, вы действительно так понимаете любовь?

Он решительно закинул голову и выпрямился.

— Конечно. Иначе это просто гадость. И даже свинство, — гордо прибавил он.

— Но вы ведь не в первый раз влюблены? Как же? — не сдавалась я. — Или вы по Кузмину каждый раз:

И снова я влюблен впервые,
Навеки снова я влюблен.

Он кивает, не замечая насмешки в моем голосе:

— Да, всегда в первый раз. И всегда надеюсь, что навсегда, что до самой смерти. А то, прежде, — ошибка. — Он вздыхает. —

Но сколько ошибок уже было. Неужели я так никогда и не буду счастлив в любви. Как вам кажется?

Я ничего не отвечаю. Тогда мне казалось, что никогда он не будет счастлив в любви.

Я помню еще случай, очень характерный для его романтически рыцарского отношения к женщине. О нем мне рассказал Гумилев.

Как-то после литературного вечера в Диске затеяли по инициативе одной очаровательной светской молодой дамы, дружившей с поэтами и, что еще увеличивало для поэтов ее очарование, не писавшей стихов, довольно странную и рискованную игру. Она уселась посреди комнаты и предложила всем присутствующим поэтам подходить к ней и на ухо сообщать ей о своем самом тайном, самом сокровенном желании. О том, что невозможно громко сказать. Поэты подходили по очереди, и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком.

Вот подошел Николай Оцуп, и она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: "Нахал!" За ним, смущаясь, к ней приблизился Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуту, будто не решаясь, потом нежно коснулся завитка над ее ухом, прошептал: "Милая..." — и сразу отошел в сторону.

Соблюдая очередь, уже надвигался Нельдихен, но она вскочила вся красная, оттолкнув его.

— Не хочу! Довольно! Вы все мерзкие, грязные! — крикнула она. — Он один хороший, чистый! Вы все недостойны его! — Она схватила Мандельштама под руку. — Уйдем от них, Осип Эмильевич! Уйдем отсюда!

Но Мандельштам, покраснев еще сильнее, чем она, вырвал свою руку и опрометью бросился бежать от нее, по дороге чуть не сбив с ног Лозинского.

За ним образовалась погоня.

— Постой, постой, Осип! Куда же ты? Ведь ты выиграл! Ты всех победил! Постой! — кричал Гумилев.

Но Мандельштам уже летел по писательскому коридору. Дверь хлопнула. Щелкнул замок. Мандельштам заперся в своей комнате, не отвечая ни на стуки, ни на уговоры.

И так больше и не показался в тот вечер.

— Только вы и виду не подавайте, что я рассказал вам. Ведь он чувствует себя опозоренным оттого, что его называли "чистый", и не знает, куда деваться от стыда, — заканчивает Гумилев и добавляет: — Какой смешной, какой трогательный. Такого и не выдумаешь нарочно.

И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически губельно. Иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен. Бедный, бедный!..

То, что его брак может оказаться счастливым, никому не

приходило в голову. Наверно, скоро разведется, если еще не развелся. Нет в мире женщины, которая могла бы с ним ужиться. Нет такой женщины. И быть не может.

В начале августа 1922 года Георгию Иванову пришлось побывать в Москве по делу своего выезда за границу. Уезжал он вполне легально, "посланный в Берлин и в Париж для составления репертуара государственных театров". То, что командировка не оплачивалась, а шла за счет самого командидуемого, слегка убавляло ее важность. Все же она звучала вполне убедительно и почтенно, хотя и была липовой.

Георгий Иванов провел в Москве всего день — от поезда до поезда. Но, конечно, разыскал Мандельштама. И часто мне потом рассказывал об этой их встрече.

Мандельштам жил тогда — если не ошибаюсь — в Доме писателей. На седьмом этаже. В огромной, низкой комнате, залитой солнцем. Солнце проникало в нее не только в окно, но и в большую квадратную дыру в потолке.

Мандельштам бурно обрадовался Георгию Иванову.

— А я уже думал, никогда не увидимся больше. Что тебя пришьют к делу Гумилева и — фьють — на Соловки или еще подальше. Ну, слава Богу, слава Богу. Я и за себя страшно боялся. Сколько ночей не спал. Все ждал: спохватятся, разыщут, арестуют. Только здесь, в Москве, успокоился. Неужели ты даже в тюрьме не сидел? И не допрашивали? Чудеса, право. Ну, как я рад, как рад!

Но радость его быстро перешла в испуг, когда он узнал о командировке за границу.

— Откажись! Умоляю тебя, откажись. Ведь это ловушка. Тебя на границе арестуют. Сошлют. Расстреляют.

Но Георгий Иванов только отшучивался, не сдаваясь ни на какие убеждения и просьбы.

И Мандельштам махнул на него рукой.

— Что ж? Не ты первый, не ты последний... Но чтобы самому лезть в пасть льва? Вспомнишь мои слова, да поздно будет.

— А пока еще не поздно, расскажи лучше о себе, Осип. Как ты — счастлив?

Мандельштам не сразу ответил.

— Так счастлив, что и в раю лучше быть не может. Да и какое глупое сравнение — рай. Я счастлив, счастлив, счастлив, — трижды, как заклинанье, громко произнес он и вдруг испуганно оглянулся через плечо в угол комнаты: — Знаешь, Жорж, я так счастлив, что за это, боюсь, придется заплатить. И дорого.

— Вздор, Осип. Ты уже заплатил сполна, и даже с процентами вперед. Довольно помучился. Теперь можешь до самой смерти наслаждаться. Верь мне.

— Ах, если бы! А то я часто боюсь. Ну, а ты как? Вы оба как?..

Оба — это значило Георгий Иванов и я. В сентябре 1921 года я вышла замуж за Георгия Иванова. Естественно, расспросам не было конца — расспросам о нас и рассказам о них с Надей... Надя... Надей... о Наде...

И вдруг, перебив себя, Мандельштам устался на Георгия Иванова.

— Ну, что ты можешь мне предложить в Петербурге? Здесь я прекрасно устроился. — Он с явным удовольствием огляделся кругом. — Отличная комната. Большая, удобная. Полный комфорт.

— Отличная, — кивает Георгий Иванов, — в особенности ночью, когда

Все исчезает, остается

Пространство, звезды и певец, —

полный комфорт — лежишь в кровати и смотришь на звезды над головой. А когда дождь идет, можно бесплатно душ принимать. Чего же удобнее?

— Вздор, — Мандельштам недовольно морщится. — К зиме потолок починят или переведут нас с Надей в другую комнату. Я серьезно спрашиваю тебя, что ты можешь лучшего предложить мне в Петербурге?

Георгий Иванов пожимает плечами.

— Да ничего не могу предоставить тебе. Тем более, что через неделю сам уезжаю. И наверно — надолго.

— Не надолго, а навсегда, — снова начинает клокотать Мандельштам. — Если не одумаешься, не останешься — никогда не вернешься. Пропадешь.

Шаги на лестнице. Мандельштам вытягивает шею и прислушивается с блаженно недоумевающим видом.

— Это Надя. Она ходила за покупками, — говорит он изменившимся, потеплевшим голосом. — Ты ее сейчас увидишь. И поймешь меня.

Дверь открывается. Но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек. В коричневом костюме. Коротко стриженный. С папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Георгию Иванову и протягивает ему руку.

— Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал — блестящий санктпетербуржец.

Георгий Иванов смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку.

Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. В те дни это было совершенно немыслимо. Только через много лет Марлен Дитрих ввела моду на мужские костюмы. Но, оказывается, первой женщиной в штанах была не она, а жена Мандельштама. Не Марлен Дитрих, а Надежда Мандельштам произвела революцию в женском гардеробе. Но, не в пример Марлен Дит-

рих, славы это ей не принесло. Ее смелое новаторство не было оценено ни Москвой, ни даже собственным мужем.

— Опять ты, Надя, мой костюм надела. Ведь я не ржусь в твои платья? На что ты похожа? Стыд, позор, — набрасывается он на нее. И поворачивается к Георгию Иванову, ища у него поддержки. — Хоть бы ты, Жорж, убедил ее, что неприлично. Меня она не слушает. И снашивает мои костюмы.

Она нетерпеливо дергает плечом.

— Перестань, Ося, не устраивай супружеских сцен. А то Жорж подумает, что мы с тобой живем, как кошка с собакой. А ведь мы воркуем, как голубки — как "глиняные голубки".

Она кладет на стол сетку со всевозможными свертками. Нэп. И купить можно все что угодно. Были бы деньги.

— Ну, вы тут наслаждайтесь дружеской встречей, а я пока обед приготовлю.

Жена Мандельштама, несмотря на обманчивую внешность, оказалась прекрасной и хлебосольной хозяйкой. За борщом и жарким последовал кофе со сладкими пирожками и домашним вареньем.

— Это Надя все сама. Кто бы мог думать? — Он умиленно смотрит на жену. — Она все умеет. И такая аккуратная. Экономная. Я бы без нее пропал. Ах, как я ее люблю.

Надя смущенно улыбается, накладывая ему варенья.

— Брось, Ося, семейные восторги не интереснее супружеских сцен. Если бы мы не любили друг друга — не поженились бы. Ясно.

Но Мандельштам и сам уже перескочил на другую тему:

— До чего мне не хватает Гумилева. Ведь он был замечательный человек, я только теперь понял. При его жизни он как-то мне мешал дышать, давил меня. Я был несправедлив к нему. Не к его стихам, а к нему самому. Он был гораздо больше и значительней своих стихов. Только после смерти узнаешь человека. Когда уже поздно.

Он задумывается и сыплет пепел прямо на скатерть мимо пепельницы. Жена смотрит на него, нежно улыбаясь, и не делает ему замечания. Потом так же молча сбрасывает пепел на пол.

— Но лучшей смерти для Гумилева и придумать нельзя было, — взволнованно продолжает Мандельштам. — Он хотел быть героем и стал им. Хотел славы и, конечно, получит ее. Даже больше, чем ему полагалось. А Блок, тот не выиграл от ранней смерти. И говорят, был безобразным в гробу. А ведь он всегда был красив. Знаешь, мне его еще больше жаль, чем Николая Степановича. Я по нем, когда узнал, что он умер, плакал, как по родному. Никогда с ним близок не был. Но всегда надеялся, что когда-нибудь потом... А теперь поздно. И как это больно. И сейчас еще как больно. Блок, Гумилев...

Уже поздно. Георгию Иванову пора на вокзал. Мандельштам едет его провожать. На перроне он вдруг снова начинает угова-

ривать Георгия Иванова бросить безумную мысль, разорвать командировку и остаться в Петербурге.

— Если ты останешься, мы с Надей тоже переберемся в Петербург. Честное слово, переберемся.

И Георгию Иванову вдруг становится ясно, что Мандельштаму не так уж сладко в Москве, что он хотел бы вернуться в Петербург. Хотя, может быть, сам не сознает этого.

Поезд подошел, и Георгий Иванов отыскивает с помощью проводника свое место в спальном вагоне. Ведь теперь, при нэпе, снова появились спальные вагоны и услужливые проводники.

— Ты все-таки едешь? Тогда вряд ли увидимся. А может быть, одумаешься? А?

— До свидания, Осип! — Георгий Иванов обнимает его крепко. И целует.

— Не до свидания, а прощай, если уедешь. Прощай, Жорж.

У Мандельштама глаза полны слез.

— Полно, Осип. Скоро все кончится, все переменится. Я вернусь, и мы с тобой снова заживем в Петербурге.

Но Мандельштам грустно вздыхает:

— Ты никогда не вернешься.

Георгий Иванов во что бы то ни стало хочет отвлечь его от черных мыслей, рассмешить его.

— А почему ты так уверен, что никогда? Разве не ты сам писал, — и он напевает торжественно под мелодичную сурдинку, подражая Мандельштаму:

Кто может знать при слове "расставанье",

Какая нам разлука предстоит,

Что нам сулит петушьё восклицанье,

Когда в Москве локомотив свистит?

Конечно, он хотел рассмешить Мандельштама, но такого результата он не ожидал. Мандельштам хохочет звонко и громко на весь перрон. Уезжающие и провожающие испуганно шарахаются от него.

— Как? Как, повтори! "Пока в Москве локомотив свистит?" Ой, не могу! Лопну! — И снова заливается смехом.

А локомотив действительно свистит. И уже третий звонок. Георгий Иванов в последний раз обнимает хохочущего Мандельштама и вскакивает в поезд.

— До свидания, Осип. До свидания.

Поезд трогается. Георгий Иванов машет платком из окна.

Мандельштам все еще трясется от смеха, кричит что-то. Но колеса стучат, и слов уже не разобрать... (...)

МОИ ВСТРЕЧИ...

(...) Этот подвальчик на Михайловской площади, с росписью Судейкина на стенах, вошел в легенду благодаря бесчисленным рассказам и воспоминаниям. Ахматова посвятила ему два стихотворения: "Все мы бражники здесь, блудницы" и "Да, я любила их, те сборища ночные". Сборища действительно были ночные: приезжали в "Бродячую собаку" после театра, после какого-нибудь вечера или диспута, расходились чуть ли не на рассвете. Хозяин, директор Борис Пронин, безжалостно выпроваживал тех, в ком острым своим чутьем угадывал "фармацевтов", то есть людей, ни к литературе, ни к искусству отношения не имевших. Впрочем, все зависело от его настроения: случилось, что и явным фармацевтам оказывался прием самый радушный, ничего предвидеть было нельзя. Было очень тесно, очень душно, очень шумно и не то чтобы весело: нет, точное слово для определения царившей в "Собаке" атмосферы найти мне было бы трудно. Не случайно, однако, никто из бывавших там до сих пор ее не забыл.

Бывали именитые иностранные гости: Маринетти, бойкий, румяный, до смешного похожий на "человека из ресторана" — не хватало только сложенной, белоснежной салфетки на руке, — Поль Фор, многолетний "король" французских поэтов, Верхарн, Рихард Штраус и другие. Для Штрауса, по настойчивому требованию Пронина, Артур Лурье, считавшийся в нашем кругу восходящей музыкальной звездой, сыграл гавот Глюка в своей модернистической аранжировке, после чего Штраус встал и, подойдя к роялю, сказал по адресу Лурье несколько чрезвычайно лестных слов, но сам играть наотрез отказался. Бывали все петербургские поэты, символисты, акмеисты, футуристы, еще делившиеся на "кубо", во главе с Маяковским в желтой кофте и Хлебниковым, и "эго", последователей Игоря Северянина, которых полагалось сторониться и слегка презирать. Хлебников уже и тогда казался загадкой. Сидел он молча, опустив голову, никого не замечая, весь погруженный в свои таинственные размышления или сны. Присутствие его излучало какую-то значительность, столь же непонятную, как и несомненную. Помню, Манделштам, по природе веселый и общительный, о чем-то оживленно говорил, говорил и вдруг, оглянувшись, будто ища кого-то, осекся и сказал:

— Нет, я не могу говорить, когда там молчит Хлебников!

А Хлебников находился даже не поблизости, а за стеной, раз-

делявшей подвал на два отделения — второе полутемное, без эстрады и столиков, так сказать "интимное".

...Круговое чтение стихов часто устраивалось и вне Цеха, то в Царском Селе, у Гумилевых, а иногда и у меня дома, где в отсутствие моей матери, недолюбливавшей этих чуждых ей гостей и уезжавшей в театр или к друзьям, хозяйкой была моя младшая сестра. За ней усиленно ухаживал Гумилев, посвятивший ей сборник "Колчан". Ахматова относилась к сестре вполне дружелюбно.

За каждым прочитанным стихотворением следовало его обсуждение. Гумилев требовал при этом "придаточных предложений", как любил выражаться: то есть не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и большей частью безошибочно верный. У него был исключительный слух к стихам, исключительное чутье к их словесной ткани, но каюсь, мне и тогда казалось, что он несравненно проницательнее к чужим стихам, чем к своим собственным. Некоторой пресности, декоративной красоты своего творчества, с ослабленно-парнасскими откликами, он как будто не замечал, не ощущал. Анна Андреевна говорила мало и оживлялась, в сущности, только тогда, когда стихи читал Мандельштам. Не раз она признавалась, что с Мандельштамом, по ее мнению, никого сравнивать нельзя, а однажды даже сказала фразу — это было после собрания Цеха, у Сергея Городецкого, — меня поразившую:

— Мандельштам, конечно, наш первый поэт...

Что значило это "наш"? Был ли для нее Мандельштам выше, дороже Блока? Не думаю. Царственное первенство Блока, пусть и расходясь с его поэтикой, мы все признавали без споров, без колебаний, без оговорок, и Ахматова исключением в этом смысле не была. Но под непосредственным воздействием каких-нибудь только что прослушанных мандельштамовских строф и строк, лившихся как густое, расплавленное золото, она могла о Блоке и забыть.

Мандельштам ею восхищался: не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, ее внешностью, — и ранней данью этого восхищения, длившегося всю его жизнь, осталось восьмистишие о Рашели-Федре. Вспоминаю забавную мелочь, едва ли кому-нибудь теперь известную: предпоследней строчкой этого стихотворения сначала была не "так негодующая Федра", а "так отравительница Федра". Кто-то, если не ошибаюсь Валериан Чудовский, спросил поэта:

— Осип Эмильевич, почему "отравительница Федра"? Уверю вас, Федра никого не отравляла, ни у Еврипида, ни у Расина.

Мандельштам растерялся, не мог ничего ответить: в самом деле, Федра отравительницей не была! Он упустил это из виду,

напутал, очевидно, по рассеянности, так как Расина он, во всяком случае, знал. На следующий же день "отравительница Федра" превратилась в "негодующую Федру". (В двухтомном эмигрантском издании 1964 года я с удивлением прочел в том же стихотворении такие строчки:

Зловещий голос — горький хмель —
Душа расковывает недра...

Не знаю, воспроизведен ли этот текст по одному из прежних изданий. Но слышал я эти стихи в чтении автора много раз, и в памяти моей твердо запечатлелось "зовущий голос", а не "зловещий". Да и ничего зловещего в голосе Ахматовой не было, и не мог бы Манделъштам этого о ней сказать. Кроме того, не "Душа расковывает недра", а, конечно, "Души расковывает недра".)

После революции все в нашем быту изменилось. Правда, не сразу. Сначала казалось, что политический переворот на частной жизни отразиться не должен, но длились эти иллюзии недолго. Впрочем, все это достаточно известно, и рассказывать об этом не к чему. Ахматова с Гумилевым развелась, существование Первого Цеха поэтов прекратилось, "Бродячая собака" была закрыта, и на смену ей, хотя и не заметив ее, возник "Привал комедиантов" в доме Добычиной на Марсовом поле, где сначала бывал Савинков, военный губернатор столицы, а потом зачастил Луначарский, другая высокая особа. Умер Блок, был арестован и расстрелян Гумилев. Времена настали трудные, темные, голодные. Моя семья по каким-то фантастическим латвийским паспортам уехала за границу, а я провел почти два года в Новоржеве...

1967

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Есть небольшой, тесный круг людей, которые знают — не думают, не считают, а именно знают, — что Осип Манделъштам — замечательный поэт. Дождется ли он, однако, когда-нибудь широкое признание, как дождался его в наше столетие Тютчев, или хотя бы Анненский, о сколько-нибудь "широком" признании которого говорить, правда, не приходится, но к которому тянутся, и все настойчивее тянутся, нити какого-то особого, ревнивого восхищения, будто в его прерывистом, "мучительном" шепоте иные любители поэзии уловили нечто именно к ним обращенное, им завещанное, такое, чего не нашли они у других русских лириков. Будущее Манделъштама не ясно. Он может надолго, и даже, пожалуй, навсегда, остаться поэтом "для немногих",

хотя, надо надеяться, эти "немногие" не дадут себя смутить или переубедить скептическим недоумением так называемой "толпы".

Что, в конце концов, определяет общее значение и ценность поэтического творчества? Не только самый состав слов, органичность ритма, прелесть отдельных строк, острота или меткость образов, но и то целое, что творчество безотчетно выразило. Качество стихотворной ткани — на первом месте, при низком ее качестве все другое превращается в жалкие претензии, но не все им исчерпывается. В этом смысле два величайших русских поэтических имени — Пушкин и Блок, и как бы ни поблекло кое-что из блоковского наследия, казавшееся когда-то головокружительно-прекрасным, — в частности, "Двенадцать", — Блок один в наш век Пушкину противостоит и до известной степени ему отвечает и его продолжает. Добавлю, что многие стихи Блока — из "Земли в снегу", из "Ночных часов", из "Седого утра" — дают ему на это и сами по себе, т.е. как стихи, неоспоримое право: поэта надо судить не по срывам, и даже не по среднему его уровню, а по лучшему, что он дал, — и тут Блок за себя постоит. Несравненны у него интонации — в "Поздней осенью из гавани...", например! Блок был гением интонации, как до него Лермонтов, и забываемы у него эти его вопросы, почти дословно повторяющиеся, "за сердце хватающие", будто проникнутые чувством круговой поруки перед тем, что может с человеком случиться. "В самом чистом, самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?", "Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?"...

Блок — это Россия, судьба и лицо России, как судьбой и лицом России был Пушкин. Именно в этом их особенность, то, что их обоих выделяет и возвышает. Можно ли сказать, что пушкинские стихи, насильственно выхваченные из общего понятия "Пушкин", лучше тючевских? Нет, едва ли. Ответ самый правильный в том, что под непосредственным впечатлением некоторых пушкинских стихотворений кажется, что именно они в нашей литературе — лучшие, а под непосредственным впечатлением от Тютчева тоже кажется, что никто ни до, ни после него так по-русски не писал. "Эти бедные селенья..." — одна из самых удивительных и сияющих драгоценностей нашей поэзии, как и "Последняя любовь", как и другое у Тютчева, — но так же, как и "Жил на свете..."

...Есть блоковский мир, как есть пушкинский мир. Есть царство Блока, и, сознают они это или нет, все новейшие русские поэты — его подданные, даже если иные среди них и становятся подданными-бунтовщиками и подданными-отступниками.

Но нет мира мандельштамовского...

Невольно останавливаюсь и спрашиваю себя: что же есть? Мира нет, что же есть? Есть скорей "разные стихотворения", чем поэзия, как образ бытия, как момент в истории народа и страны, есть только разные, разрозненные стихотворения, — но

такие, что при мысли о том, что их, может быть, удалось бы объединить и связать, кружится голова. Есть куски поэзии, осколки, тяжелые обломки ее, похожие на куски золота, есть отдельные строчки, — но такие, каких в наш век не было ни у одного из русских поэтов, ни у Блока, ни у Анненского. "Бессонница, Гомер, тугие паруса..." — такой музыки не было ни у кого, едва ли не со времени Тютчева, и что ни вспомнишь, все рядом кажется жидковатым. Когда-то, помню, Ахматова говорила после одного из собраний "Цеха": "...сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмильевич!"

У меня лично был другой опыт, и я хочу им поделиться: может быть, кто-нибудь повторит и проверит его. Был в Париже литературный вечер, на котором мне пришлось говорить сначала о Мандельштаме, потом о Пастернаке, с соответствующими иллюстрациями, т.е. чтением их стихов.

Не могу сказать по совести, чтобы я очень любил поэзию Пастернака, но что это поэт природный, чрезвычайно даровитый и в своей даровитости, в своем творческом богатстве подкупающе-расточительный, этого отрицать нельзя (Вяч. Иванов заметил об Анненском, или точнее — о его последователях, — "скупая нищета", жестоко, но верно. Но именно из этой "скупой нищеты" ведь и вышли все эти перебои, замедления, мерцания, скрипы, вздохи, все то, что создало единственный в своем роде, неповторимый "комплекс" поэзии Анненского: полная противоположность Крезу-Пастернаку, однако не только Крезу, а и дитяти Пастернаку, "учащейся молодежи" Пастернаку, "вечному студенту" Пастернаку)!

Был в Париже литературный вечер, и после стихов Мандельштама пришлось мне читать стихи Пастернака. Признаюсь, я не ждал, что переход окажется настолько тягостен, и старался поскорее оборвать чтение: сухой, короткий, деревянный звук, удручающе-плоский после мандельштамовской виолончели, после царственно-величавого его бархата! Да, словесный напор у Пастернака гораздо сильнее, метафорическая его фантазия неистощима, он будто гонится за словами, а потом слова бегут и гонятся за ним, и не то он ими владеет, не то они им, да, все это взвивается и падает какими-то словесными фейерверками или фонтанами, рассыпается многоцветными, радужными брызгами, да, если мне скажут, что Пастернак талантливее Мандельштама, я отвечу: может быть, не знаю, может быть... Но в поэзии ждешь последнего, крайнего, незаменимого — иначе какой в ней толк? После таинственного, короткого счастья, промелькнувшего с Мандельштамом, на что мне блестящие метафоры? Маяковский назвал гениальным четверостишие Пастернака, где рифмуется "шекспирово" и "репетировал". Это действительно блестящее четверостишие, на редкость находчивое, и в этой плоскости Ман-

дельштаму до Пастернака далеко. Но попробуйте прочесть вслух "Бессонницу" или "В Петербурге мы сойдемся снова...", а вслед за тем любое стихотворение Пастернака, — неужели не станет ошеломляюще ясно, что все эти фейерверки немножко "ни к чему", если из словосочетаний сравнительно с ними простых может возникнуть такая музыка, неужели люди, действительно понимающие поэзию, чувствующие стихи, не согласятся, что это так?

Поэтов не надо сравнивать: это верно. Каждый сам по себе, как в природе: тополь, дуб, ландыш, репейник, папоротник, — все живет по-своему, и нет никаких "лучше" и "хуже". Но это в теории, а на практике, пока стоит мир, люди сравнивать будут, пусть и сознавая, что сравнения никуда не ведут. Пушкин или Лермонтов? Об этом спорят гимназисты, но и Бунин в самые последние свои дни настойчиво говорил о том же, — говорил и удивлялся, что начинает клониться к Лермонтову. "И корни мои омывает холодное море..." — все повторял он с каким-то чувственным наслаждением лермонтовскую строчку, особенно его прельстившую, — и как же было его не понять, даже с ним, может быть, и не соглашаясь? Нельзя жить беспристрастно, а тем более нельзя любить беспристрастно. Мое риторическое "неужели", только что в связи с Пастернаком и Мандельштамом у меня вырвавшееся, ничего другого не выражает, кроме стремления пристрастие свое оправдать.

Отдельные строчки, куски чистейшего золота... Едва ли правильно было бы отнести к лучшему в мандельштамовском наследии его стихи законченные, чуть-чуть ложно-классические, не без державинских и даже ломоносовских отзвуков. Некоторые из них, правда, очень хороши, как, например, пятистопный ямбический отрывок о театре Расина: "Вновь шелестят истлевшие афиши и слабо пахнет апельсиновой коркой..." Но это исключение. Большой же частью его длинные, композиционно-стройные стихи напоминают громоздкие полотна, когда-то представлявшиеся вершинами искусства, вроде брюлловского "Последнего дня Помпей". У него, вместе с глубоким внутренним патетизмом, было расположение к внешней торжественности, к звону, к "кимвалу бряцающему", ему нравился Расин, но нравился и Озоров, и, по-видимому, понятие творческого "совершенства", в противоположность тому, что безотчетно одушевляло его, казалось ему предпочтительнее понятия "чуда". Может быть, сказывалось влияние Гумилева. Мандельштам очень дружил с ним, любил его, прислушивался к его суждениям, хотя и не в силах был преодолеть безразличия к тому, что тот писал. Помню точно, дословно, одно его замечание о стихах Гумилева: "Он пришел на такую опушку, где и леса больше не осталось". Гумилевское чисто пластическое и несколько пресное "совершенство", в лучшем случае восходящее к Теофилю Готье, явно казалось ему недостаточным, слишком легкой ценой купленным.

У Блока есть строчка, которая, пожалуй, вернее всего определяет самую сущность мандельштамовской поэзии, хотя у Блока она относится к женщине: "Бормотаний твоих жемчуга..." Мандельштам поднимается до высот своих именно там, где бормочет, будто чувствуя, что в логически-внятных стихах он сам себя обкрадывает и говорит не то, что сказать должен бы, — чувствуя это и в то же время не имея сил бормотание до логики довести.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка — Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.

И дальше:

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе...

Это действительно — "высокое косноязычие", по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить? Едва ли. Иногда случается думать, что человеческая душа была бы беднее, если бы не отзывалась она на то, что скорей смутно и сладостно ей что-то напоминает, чем ее чему-либо учит или что-то ей рассказывает. В конце концов, это — "звуки небес", "по небу полуночи": не объяснение, конечно, но верный ключ к тому, что такое поэзия, а что лишь беспомощно хочет поэзией стать.

А Есенин в Москве кричал Мандельштаму: "Вы не поэт, у вас глагольные рифмы!" Не могу и через сорок лет вспомнить об этом без неудержимо-вздымающейся ярости, в сущности даже не лично к Есенину относящейся, не к нему, "блудному сыну" русской поэзии, которому сидеть бы в своей тихой Рязани и слагать бы свои песни, порой пронзительно-прелестные, в особенности под конец, когда он сам себя оплакивал и сводил с жизнью счеты. В Москве, в каком-то богемно-революционном "Стойле", в чаду успехов и скандалов, в окружении всяческих имажинистов, конструктивистов и орнаменталистов, — что с него было спрашивать? Но Есенин — Мандельштаму! Кольцов — Тютчеву! И о чем, о глагольных рифмах, — не зная или забывая, какой выразительности можно иногда благодаря им достичь! (Вспомнил бы хотя бы:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется...)

Думаю, незачем объяснять, почему мне хотелось бы поставить тут не один, а целых три или десять восклицательных знаков.

* * *

В течение нескольких лет, от 1912 до 1918 или 1919 года, когда он уехал из Петербурга, я довольно часто с ним встречался — в университете, где романо-германский семинарий еще оставался лабораторией и штаб-квартирой акмеизма, в "Бродячей собаке", в частных домах. Он бывал у меня, хотя никогда не звал меня к себе — и насколько помню, не бывал у него на дому никто. Вероятно, были условия, этому препятствовавшие.

Несмотря на сравнительно небольшую разницу в возрасте, я никак не могу сказать, что был действительно его "товарищем". Никогда я не перешел с ним на "ты". Он с первой встречи показался мне человеком настолько редким, да и престиж его, как поэта, был в нашей тогдашней среде настолько высок, что быть с ним "на дружеской ноге", как Хлестаков с Пушкиным, я не решался и, должен сказать откровенно, слегка стеснялся его, чуть-чуть робел в его присутствии, особенно в начале знакомства, хотя оснований к этому он не давал ни малейших: в самом деле, трудно было бы назвать человека, который менее "важничал" бы и держался бы с большей простотой, естественностью и непринужденностью.

Разговаривать с ним бывало не всегда легко, и разговор сколько-нибудь длительный превращался в своего рода умственное испытание, — потому что следить за ходом его мысли нельзя было без усилия.

Обыкновенно люди говорят, соблюдая связь логических посылок с заключениями, обосновывая выводы, постепенно переходя от одного суждения к другому — и переводя за собой слушателей. Манделштам в разговоре логику отнюдь не отбрасывал, но ему казалось, что звенья между высказываемыми положениями ясны собеседнику так же, как ему самому, и он их пропускал. Он оказывал собеседнику доверие, поднимая его до себя, считая, что всякого рода "значит", "ибо", "следовательно" лишь загромождают речь и что без них можно обойтись: не "а есть б, б есть с, следовательно, а есть с", а прямо "а есть с", как нечто самоочевидное. Но не всегда это бывало очевидно тому, к кому он обращался, во всяком случае, не так мгновенно-очевидно, как ему самому, и потому разговор с Манделштамом с глазу на глаз неизменно требовал напряжения, тем более что шутки, остроты, пародии, экспромты, смешки, прочно в

мандельштамовской посмертной "легенде" утвердившиеся, — все это расцветало пышным цветом лишь на людях или хотя бы в обществе двух-трех приятелей. Вдвоем, с глазу на глаз, шутить как-то неловко, даже глупо: всякий, вероятно, это испытал и знает это по опыту. И при встречах одиночных от Манделъштама, будто бы всегда "давившегося смехом", не оставалось ничего.

Не колеблясь я скажу, что от этих встреч осталось у меня воспоминание неизгладимое, ослепительное и что по умственному блеску и умственной оригинальности, по качеству, по уровню этой оригинальности Манделъштам был одним из двух самых исключительных поэтических натур, каких пришлось мне знать. Вторым был Борис Поплавский, метеор эмигрантской литературы, несчастный, гениально вдохновенный русский мальчик, наш Рембо. Одаренность Поплавского была, пожалуй, даже щедрее мандельштамовской, хотя у него отсутствовала мандельштамовская игольчатая острота и точность в суждениях. Она неслась потоком, захлестывала, увлекала, она то приводила к легковесным, наспех выдуманным декларациям, то к догадкам, которые действительно, взвешивая слова, хотелось определить как прозрения. Поплавский был противоречивее, сложнее Манделъштама, было в нем что-то порочное, было, кажется, и двуличие, которое порой от него отталкивало — но не оттолкнуло бы, нет, если бы предвидеть, как рано оборвется его жизнь! Он не дал и десятой доли того, что в силах был дать, и даже стихи его, при всем их очаровании, все-таки не совсем устоялись, не утряслись, как будто не "просохли". Но до чего это "Божией милостью стихи"! Да и проза тоже — помнит ли кто-нибудь, например, удивительный рассказ его "Бал", помещенный в "Числах"?

Двуличия в Манделъштаме не было и следа. Наоборот, он привлекал искренностью, непосредственностью. Одно воспоминание, с ним связанное, осталось мне дорого навсегда — и вовсе не в литературном, не в поэтическом плане, а гораздо шире и больше: в качестве примера, как надо жить, что такое человек.

Было это в первый год после Октябрьской революции. Времена были трудные, голодные. У нескольких молодых литераторов явилась мысль о небольшой сделке — покупке и продаже каких-то книг, — которая могла оказаться довольно прибыльной: подробности я забыл, да они и не имеют значения, помню только, что требовалось разрешение Луначарского. А к Луначарскому у нас был доступ через одного из его секретарей, общего милейшего нашего приятеля, поэта Рюрика Ивнева ("Хорошо, что я не семейный, хорошо, что люблю я Русь...").

Хлопоты тянулись долго. В конце концов стало известно, что ничего добиться нельзя, Луначарский разрешения не дает. Не дает так не дает, проживем как-нибудь и без него!

Однажды, вскоре после этого, я пришел вечером в "Привал комедиантов", где собирались бывшие завсегдатаи "Бродячей собаки", в те годы уже закрытой. Пришел, очевидно, рано, по-

тому что было пусто — никого, кроме Манделъштама. Мы сели у огромного, но холодного, безнадежно-черного камина, стали разговаривать — о стихах вообще, а потом о Пушкине. Разговор был восклицательный: помните это? а как хорошо то! — и так далее. Вдруг Манделъштам встал, нервно провел рукой по лбу и сказал:

— Нет, это невозможно... Мы с вами говорим о Пушкине, а я вас обманываю!.. Я должен вам это сказать: я вас обманываю!

Оказалось, Луначарский разрешение дал, дело давно сделано, доход — какие-то гроши — поделен. Но зачем делить на пять, если можно разделить на четыре? Этот убедительный арифметический расчет и был причиной того, что мне сообщили о неудаче предприятия.

Повторяю, для меня это осталось одним из самых дорогих воспоминаний о Манделъштаме. Обманывать, конечно, нехорошо, но кто из нас живет, делая только то, что хорошо? Проверяя себя, вполне допускаю, что, если бы "в компанию" взяли меня, а исключили другого, я бы поддался уговорам и согласился. Но тогда не надо говорить о Пушкине, говорить в том тоне и духе, как говорили мы в тот вечер, — и конечно, не о Пушкине только, а ни о чем, что любишь, чему ищешь ответного отклика: иначе — все ложь, лицемерие, мерзость, нет никакой поэзии, не зачем быть поэзии, и Манделъштам это почувствовал! По Державину — "всякий человек есть ложь". Может быть. Но истинный образ человеческий проявляется в потребности преодоления лжи, и за одну минуту такого преодоления можно человеку простить обман в тысячу раз худший, чем тот, случайный и ничтожный, которого не вынес Манделъштам.

* * *

Перечитываю "Шум времени", "Египетскую марку" и тщетно стараюсь найти в прозе Манделъштама то, что так неотразимо в его стихах. Нет, книгу лучше отложить. Цветисто и чопорно.

Проза поэта? Едва ли существует определение более двусмысленное, легче поддающееся разным толкованиям. Если язык поэта должен быть строже и опрятнее того обезличенного, среднеинтеллигентского языка, который процветает в газетных передовых статьях, то разве Толстой или Гоголь не дали образцов именно такого, подлинно творческого отношения к слову? Если язык поэта, по сравнению с языком великих романистов, должен оказаться несколько скуп, подсушен, сдержан, то разве восхитительная — согласно Гоголю, "благоуханная" — проза Лермонтова не растекается по страницам "Героя нашего времени" с совершенной свободой? Что значит "проза поэта" — неизвестно. Неизвестно даже, похвала это или упрек.

В прозе своей Манделъштам как будто теряется, — теряется, потеряв музыку. Остается его ложноклассицизм, остается стрем-

ление к латыни, оснащенное модой 20-х годов, когда считалось — и с высоты студийных кафедр проповедовалось, — что метафорическая образность есть основное условие художественности и что тот, кто пишет "пошел дождь" или "взошло солнце", права на звание художника не имеет. К латыни же Мандельштам расположен был всегда, и порой в его "бормотания" она вклинивается с огромной силой (например, "Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить..." — удивительная, действительно "тацитовская" строчка, где самое звуковое насилие над первым "чтобы", втиснутым в размер, как слово ямбическое, увеличивает выразительность стиха, подчеркивает соответствие ритма смыслу: рабов заставляют молчать, рабы угрожают восстанием... Вот мастерство поэта, в данном случае, может быть, и безотчетное, как часто бывает у мастеров подлинных!). Но в прозе Мандельштам не дает передышки. Как мог он этого не почувствовать?

В качестве возможного объяснения, по аналогии, вспоминаю "Доктора Живаго". В конце своего романа Пастернак от имени героя говорит о литературе, и говорит так верно, так пронизательно и убедительно, что многим нашим беллетристам следовало бы заучить эту страницу наизусть: именно о тщете картинности, образности, о необходимости стремиться к искусству, которое осталось бы искусством неизвестно как и в силу чего. Но самый роман написан совсем по-другому: в назойливой своей "художественности" написан неизмеримо наивнее! С Мандельштамом случилось что-то довольно схожее. При своем уме и чутье он не мог не сознавать, что "Шум времени" увянет быстро и безвозвратно. Но какие-то посторонние соображения, какие-то посторонние воздействия отвлекли его от пренебрежения к тем "vains ornements", о которых говорит расиновская Федра в любимом его, вступительном стихе, дважды им переложеном в строчки русские.

Каковы его последние стихи, до сих пор в печати не появлявшиеся? Кое-что из них я знаю и, судя по тому немногому, что знаю, уверен, что в поэзии он остался на прежнем своем уровне. Или даже вырос. Но как-то трудно и страшно представить его себе — практически и житейски всегда беспомощного, ни в малейшей степени не обладавшего даром "приспосабливаться" — в трагической, беспощадной обстановке тех лет. Отчего умер он на Дальнем Востоке? Как забросило его туда, что ждало его там, останься он жив? Ничего, кроме смутных и противоречивых слухов, до нас не дошло.

В памяти моей образ Мандельштама неразрывно связан с воспоминанием об Анне Ахматовой. Их имена должны бы войти рядом в историю русской поэзии. Он ценил ее не меньше, чем она его, — и если бы все это не было давним прошлым, я мог бы многое привести из его суждений и отзывов об ахматовских стихах. Помню собрание "Цеха", на котором Ахматова прочла только что ею написанное стихотворение "Бесшумно бродили по до-

му...”, вызвав лихорадочно-восторженный монолог Мандельштама в ответ — к удивлению Ахматовой, признававшейся потом, что вовсе не считает эти стихи особенно ей удавшимися. Помню обстоятельнее и тверже то, что он говорил о действительно чудесном ахматовском восьмистишии:

Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха...

Но это было не в “Цехе”, а в бесконечном, верстой в длину, университетском коридоре. Он ходил взад и вперед, то и дело закидывал голову и все нараспев повторял эти строчки, особенно восхищаясь расстановкой слов, спондеической тяжестью словосочетания “весть поздняя”...

Все это было очень давно, “иных уж нет, а те далече”. Но если бы Anne Андреевне попало когда-нибудь на глаза то, что я сейчас пишу, надеюсь, она уловила бы между этими строками низкий поклон ей — издалека и без надежды на встречу.

1961

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

(...) Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Иногда он приходил ко мне поздно вечером, и по тому, что он быстрее обычного бегал по комнате, ероша волосы и улыбаясь, но ничего не говоря, и по особенному блеску его глаз я догадывался, что с ним произошло что-нибудь "музыкальное". На мои расспросы он сперва не отвечал, но под конец признавался, что был в концерте. Дальше этого признания Мандельштам на эту тему не распространялся. Потом неожиданно появлялись его стихи, насыщенные музыкальным вдохновением.

За время моей дружбы с Мандельштамом я привык к тому, что он бормотал стихи, сочиняя их на ходу и разговаривая при этом на совершенно посторонние темы; одно не мешало другому. "Ода Бетховену" сочинялась Мандельштамом довольно долго; я часто слышал, как он выборматывал отдельные строчки и потом строфы во время наших прогулок, причем строчки передвигались то вверх, то вниз, то в середину, пока наконец "Ода" не приняла окончательную форму.

Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение: живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию.(...)

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

(фрагмент)

(...) В консерватории из одной комнаты слышна флейта, из другой — рояль, из третьей — виолончель, все этажи звучат, как разом играющие десятки музыкальных табакерок. Все пронизано музыкой, и даже немусыкант, попадая в консерваторию, переходит на какую-то новую, удивительную волну, она захватывает его и несет. В Доме Искусств этой волной была поэзия. Все было непередаваемо проникнуто ею, она жила и в прозе, и в разговорах, и в быту. Она изгоняла дух Елисеева, бывшего владельца дома, заражен ею был и единственный из елисеевских слуг, оставшийся в доме, немногоречивый Ефим Егорович, с желтой бородкой на худом лице. Он близко принимал к сердцу интересы новых жильцов, ходил на литературные вечера и выставки картин, не забывая, впрочем, о печках и прочих необходимых в хозяйстве вещах. Он хорошо чинил модные в ту пору "буржуйки" — железные печки с трубой в окно.

Вот он, завершив последний свой обход дома, удаляется к себе. Его шаги смолкают. Тишина. И вдруг в час ночи отворяется дверь моей комнаты, и я слышу сквозь сон: "Я слово позабыл, что я хотел сказать... Слепая ласточка в чертог теней вернется..." Это Осип Мандельштам сочиняет стихи. Исчезает. Проходит то ли минута, то ли час, и вновь он появляется: "В беспмятстве ночная песнь поется..." Моя комната попала, очевидно, в орбиту кругов поэта. Я опять засыпаю. Через какой-то период времени уверенный, окрепший голос Мандельштама вновь будит меня: "А смертным власть дана любить и узнавать!"

Уже под утро Мандельштам присел к столу и записал все стихотворение от начала до конца. Голосом торжественным и певучим, гордо вздергивая подбородок, поэт прочел вслух свое новое произведение. Небольшого роста, худенький, остролицый, преисполненный вдохновения и радости. Оставил листок, промолвив:

— Передайте куда-нибудь, пожалуйста.

Стихотворение это было напечатано в журнале Дома Искусств.

На следующий день он, не доспав, мчался по лестнице, торопясь на курсы Балтфлота — читать матросам лекцию. Дом Искусств вообще днем пустел — обитатели расходились по работам и службам.

О том, что поэзия вернулась со служб домой, оповещал обычно громкий, модулирующий голос Пяста: "Грозою дышащий июль!.." С этой же фразы начиналось также и утро, она раз-

носились, как звон будильника. Всегда одна и та же: "Грозою дышащий июль!.." Пяст прочищал ему горло и настраивал себя на работу. Он, запомнившийся мне участник вечера футуристов, оказался теперь тоже жильцом Дома Искусств.

Из всех жильцов Дома Искусств Мандельштам был самый бесприютный и самый внебытовой. Вспоминаю, как однажды он, получив большое полено хлеба — совершеннейшее сокровище тех времен, выданное ему в Балтфлоте, — забегал ко мне и попросил разрешения оставить это богатство у меня на часок-другой, это представившееся мне огромным — не полено, а бревно хлеба. Он оставил и убежал. Я положил его драгоценность за окно и прикрыл номером "Вавилонской башни".

Затем Мандельштам исчез. Несколько дней подряд я испытывал все муки Тантала. Я спрашивал о Мандельштаме, но его не было. Его комната пустовала. И вдруг он вбежал ко мне:

— Михаил Леонидович, дайте, пожалуйста, хоть что-нибудь, может быть, корку...

Я подскочил к окну, вынул полено хлеба и протянул ему. А он, не давая мне слова сказать, торопился:

— Вы потенциально богатый... Если у вас я сегодня возьму, то уже к вечеру... Мне не нужно так много...

— Это ваш хлеб! Ваш собственный, заработанный! Весь! Целиком ваш! Вы его получили в Балтфлоте и оставили у меня! Я вам возвращаю ваш собственный хлеб!

Редко мне приходилось видеть столь изумленного человека, каким был в тот момент Осип Эмильевич. Он обо всем забыл.

Он любил матросов Балтфлота, и матросы Балтфлота любили его.

В дни кронштадтского мятежа он, встретившись со мной, схватил меня за локоть:

— Они не придут? Они не могут, не должны прийти! Они не придут!

Он весь дрожал от возбуждения. Он горел, заклинал, верил, этот поэт, впоследствии оклеветанный и погибший.

"Они", белогвардейцы, не пришли. Конечно, не пришли. Матросы Балтфлота сказали им свое весьма увесистое и грохочущее слово. (...)

МАСТЕР

Почти все мемуаристы изображают Осипа Манделъштама тщедушным и хилым. Впалая грудь, изможденные щеки. Таким и был он в последние годы. Но мне вспоминается другой Манделъштам — сильный, красивый и стройный. Его молодая привычка выпячивать грудь и гордо вскидывать кудрявую голову подбородком вперед делала его похожим на драчливую птицу, готовую в любую минуту ринуться в бой на врага.

Помню, в предосеннюю пору мы вышли с ним и с другими друзьями на пустынный куоккальский пляж.

День был мрачный и ветреный, купальщиков не было. И вдруг Осип Эмильевич молча сбросил с себя легкую одежду, и не успели мы удивиться, как он оказался в воде и быстро поплыл по направлению к Кронштадту. Плыл он саженками, его сильные руки, казавшиеся белыми на тусклом фоне свинцового моря, ритмически взлетали над водой против ветра.

Не помню, кто был тогда с нами, — кажется, Борис Григорьев, Николай Кульбин, Юрий Анненков. Мы подошли к Манделъштаму, едва только он воротился. Я хотел принести полотенце и теплую куртку (дом был недалеко, в двух шагах), но Манделъштам, не сказав ни слова, стал бегать по холодному пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал он долго — без усталости. И оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело. Мы поспешили на станцию.

В ту пору он был отличный ходок. Прошагать из Коктебеля в Феодосию и обратно не составляло для него никакого труда.

Летом 1914 года он написал мне в Чукоккалу такие стихи:

Нет, не луна, а светлый
циферблат
Сияет мне — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю
млечность?

И Батюшкова мне противна
спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным:
вечность!

О. Манделъштам

1914. 15 июля

Кажется, Анна Ахматова (которую он чтит и любил) нашла во всем его облике сходство с задорным щеглом — по крайней мере я впервые услышал это сравнение от нее.

Впоследствии, через много лет, он прислал мне из Воронежа стихи, в которых изображался щегол:

Хвостик лодкой, перья — черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли — до чего, щегол ты,
До чего ты щеголовит?..

Смолоду Осип Эмильевич был и сам довольно "щеголовит". Птичий хохолок надо лбом, закинутая назад голова на верткой щеглиной шее и, словно перья на щеках, бакенбарды (молодые и потому привлекательные). И модный, щеголеватый, хотя немного потертый костюм.

Сохранился фотоснимок, относящийся к тому давнему времени, к 1914 году, к самому началу войны. На этом снимке мы четверо сняты рядом на длинной скамье: Манделыштам, я, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков. На снимке запечатлен Манделыштам первых лет своей писательской славы, бодро и беззаботно глядящий вперед.

Странное дело: в то время я так часто видел его бурно веселым, смеющимся, что таким он сейчас и встает в моей памяти: эпиграммист, остроумец, сочинитель смешных каламбуров, счастливец (не только по судьбе, но и по принципу, так как исповедуемый им акмеизм предписывал ему жизнелюбие и счастье). Помню, я был очень удивлен, когда узнал от него, что он хочет назвать свою вторую книгу "Tristia" (то есть, по Овидию, "Скорбные песни").

После первой же книги стихов Манделыштам стал знаменитостью в литературных кругах Петербурга. Мы полюбили твердить наизусть его классически четкие строки: "Над желтизной правительственных зданий...", "Я не слышал рассказов Оссиана...", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "Летают Валькирии, поют смычки...".

Наряду со стихами торжественными в книге было немало стихов, посвященных тривиальной повседневности, образы которой были близки и милы ему. И когда он писал, например:

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами,

чувствовалось, что ему весело видеть и этот снег, и эти лопаты, и эти "спокойные пригороды".

С такой же приветливостью писал он о долгожданном мороженщике, прибывшем в пригород летней порой:

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают — что он возьмет...

Видеть "предметы предметного мира", птиц, животных,
горы, моря и дома было для него истинным счастьем:

Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!..

Если эти "я люблю", "я доволен" не всегда были сказаны
вслух, все же они чувствовались в той ласковой и веселой манере,
с которой поэт рисовал свои образы. Светлое приятие мира —
лирический подтекст его ранних стихов.

Да, жизнь часто бывает трагична, тяжела и бессмысленна,
но все же какое это счастье — быть живым. Пусть я живу лишь
мгновение, но в этом мгновении — вечность:

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?..

.....
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

.....
Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

Это — одно из самых оптимистических стихотворений
русской поэзии. Оптимизм выстраданный, прошедший сквозь
отчаяние, слезы и смерть. Но да будут благословенны все мгнов-
енные приманки и очарования жизни:

Поедем в Царское Село...

.....
Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов...

.....
Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно

И тонкий луч на скатерти измятой;

.....
Люблю следить за чайкою крылатой!

Но больше всех чаек и ласточек, больше духанов и царско-сельских аллей любил он — до умиления, до страсти — музыкальную стихию русской речи, и эта стихия влекла его к себе как магнитом. Какая-то новая — горьковатая — сладость зазвучала в его лучших стихах, где было с особой нежностью облелеяно каждое слово. Именно облелеяно какой-то благоговейной нежностью.

Этим благоговением заражал он и нас — и я помню, какой драгоценностью ощущали мы каждое слово в его знаменитых стихах: "Чуть мерцает призрачная сцена...", "Я изучил науку расставанья...", "Золотистого меда струя...", "Я слово позабыл, что я хотел сказать...", "Где милая Троя, где царский, где девичий дом?..".

Чувствовалось, что мастер был счастлив работать над таким податливым и гибким материалом, как русский язык.

"Радость тихая дышать и жить" долго не покидала его. Она виделась и в его искрящихся, веселых глазах, и в стремительной, почти мальчишеской походке.

Чаще всего я встречал его в то время у Анны Ахматовой. Уже по тому, как сильно он дергал у дверей колокольчик, она узнавала: Осип. Сразу же в маленькой комнатке начиналось целое пиршество смеха. Было похоже, что он пришел сюда специально затем, чтобы нахохотаться на весь месяц вперед. Оба они очень затейливо и тонко злословили, сочиняли едкие стихи о друзьях и знакомых. Если здесь же присутствовал их общий приятель поэт Михаил Лозинский (впоследствии переводчик Шекспира и Данте), смех допоздна не умолкал ни на миг. Шутки были сплошь литературные — шаржи, псевдоцитаты, пародии, и, хотя все трое были наделены изощренным чувством сарказма и юмора, первая скрипка в этом своеобразном оркестре всегда принадлежала Мандельштаму.

— Мне ни с кем так хорошо не смеялось, как с ним! — вспоминала Анна Андреевна.

Смешные экспромты Осип Мандельштам чаще всего сочинял в античном, ложноклассическом стиле, придавая им форму пентаметра — того самого, которым Овидий писал свои "Tristia". Из них мне запомнилось такое двустишие:

— Делия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.

— Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!

Тот же древний классический стиль соблюден Мандельштамом в стихах, посвященных ассирологу Владимиру Казимировичу Шилейке. Шилейко был человек феноменальной начитанности, полиглот, первоклассный ученый, но жил очень бедно и

неприкаянно, особенно тогда, когда стал мужем Анны Ахматовой. И вдруг ему посчастливилось на короткое время поселиться в комфортабельной квартире (может быть, я ошибаюсь, но мне смутно помнится, что то была квартира его близких друзей, которые уехали куда-то на юг). Видеть этого неприхотливого бедняка в обстановке, столь не соответствующей его обиходу, было очень странно и дико. Отсюда прелестные стихи Мандельштама:

– Путник, откуда идешь? – Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек, смотришь – не веришь очам:
В бархатном кресле сидит, за обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой – сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник, молю, расскажи, – кто же живет на Шестой?

Думаю, сам Козьма Прутков был бы не прочь подписаться под этим шедевром, написанным в духе тех эпиграмм, в которых ядовитый Козьма так беспощадно высмеивал поэта-эллиниста Николая Щербину.

Очень хороша в этих стихах о Шилейке наигранная наивность их автора, притворившегося, будто он твердо уверен, что на нумерованных Рождественских (ныне Советских) улицах жители распределены в самой строгой зависимости от той цифры, которой обозначена каждая: на Шестой Рождественской они живут роскошнее, чем на Четвертой, а на Десятой – роскошнее, чем на Шестой. И такое дикарское изумление перед электрической лампочкой, которой автор якобы никогда не видал до тех пор.

Еще запомнилась мне одна очень несправедливая эпиграмма, где Мандельштам уличает своего редкостно радушного и щедрого друга Михаила Лозинского – в скупости:

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
"Скифам любезно вино, мне же любезны друзья".

Словом, в те давние годы было никак не возможно назвать Мандельштама сумрачным или печальным поэтом. "Радость тихая дышать и жить" чувствовалась во всем его творчестве. У него был особый дар ласково, благодарно, улыбочиво живописать окружающий мир.

Именно так, с сердечной и нежной любовью, приветствовал он Невский проспект в одном стихотворении, написанном им после "Tristia".

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома.
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

Каждому образу в этих стихах он говорит свое "здравствуй". Уютными, добрыми, милыми встают перед ним эти дома и смотрят на него с той же доверчивой радостью, с какой он смотрит на них.

Незадолго до 1917 года в витринах продовольственных лавок на Невском завертелись в качестве приманок большие колеса кофейных электрических мельниц. Даже эти мельницы воспринимал Манделштам как источник уюта и радости.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрической мельницей смолот мокко золотой.

Теперь уже мало кто помнит, что осенью в Питер с далекого севера приезжала в те годы флотилия лодок с глиняными горшками и мисками и, причалив к берегу Невы, предлагала их столычным покупателям.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар.
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Товар — "добросовестный", зима — "несуровая", мокко — "золотой", — нет, этот человек и в самом деле смотрел на жизнь светло и приветливо.

И светлая кульминация этих счастливых стихов:

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И кто из нас, поселившись в его любимом Крыму и глядя на сбегающие с холмов виноградники, не повторял вслед за ним его удивительно точных — и опять-таки светлых стихов:

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, — идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

.....
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена — другая, — как долго она вышивала?..

Поэт нигде не говорит, как счастлив он видеть сторожей и собак и как милы ему "золотых десятинок благородные, ржавые грядки", но каждая строка этих классически спокойных анапестов насыщена светлым счастьем художнического восхищения.

1966

СОПКА МАИРА

Вы не правы, милый мой зарубежный друг, грусть совсем не соответствует моему нынешнему душевному состоянию, но когда я пишу (...), мне становится грустно: неужели мы с Вами никогда не увидимся? И как досадно думать, что я не могу настаивать на Вашем приезде сюда исключительно по невозможности достать для Вас в Москве сносное жилище: на литературном заработке это сделать нельзя, я сам, уже хорошо приспособленный, сытый, живу в такой сырой комнатке, что редкий день не болит голова. Но вообще я, здоровый, мирюсь со всем ради того, что в России я имею квартиру для своей души: леса наши мало-помалу очищаются от лома первых разрушительных годов революции, на горях принимается буйная заросль, возле дорог открываются мирные пешеходные тропинки, по которым можно совершенно спокойно ходить. Не стыжусь сознаться вам и в том, что после голода и занятия не своим делом радость бытия, как было принято у нас говорить, "животная", вытесняет у меня всякую грусть. Поешь — хорошо, удастся выпустить, хотя и с большими опечатками, книгу — и думаешь: "Заслужил отдых, заслужил"; раньше бывало как-то иначе, выпустишь книгу — и не глядишь на нее, поешь — и загрустишь. Опишу Вам, как началось во мне это оправдание бытия и как вообще снова стал заниматься своим делом.

Немного больше года тому назад в глухую деревню, где я был учителем и кормился исключительно тем, что подадут родители моих учеников, приехал первый торговец, и купил я у него зажигалку с бензином. До этого я высекал искру из своей яшмовой печати куском старого напильника, затлевший кусок трута клал на угли и дул, пока не вспыхнет тонкая лучинка, от этого дела во рту у меня всегда пахло копченым сигом и при недостатке питания позывало на сига. И вдруг, зажигалка, — чик-чик! и готово; первую ночь я, как ребенок, спал с зажатою в кулак зажигалкой. Потом вместо лучины появился керосин, тоже огромная радость. В марте прошлого года я собрался с духом и отправился в Москву на разведку. Какую тут животную радость я испытал при виде открытых продовольственных магазинов и книжных лавок — не пересказать. Помню, первые прочитанные мною в книжной лавке слова были Андрея Белого, что Россия — гнилой, смердящий труп и все это гнилое, смердящее *воскресло*, причем это "воскресло" было спущено вниз пирамидкой, как в старинных рукописях. Из книжной лавки я перешел к витрине

магазина Елисеева, смотрел на балыки, икру, на двинскую семгу, все время повторяя про себя:

и все это
воскрес-
ло.

Обычный в то время припев обывателей о недоступности товаров для бедного человека меня нисколько не смущал; мне бы только воскресло, а голова моя так счастливо устроена, что воскресшее непременно попадет ко мне в рот.

Тут же, на Тверской, некто, делающий карьеру редактора, узнал во мне старого писателя, попросил меня написать, указал тему, материалы и дал, как говорили, пустяковый аванс. Но с этим авансом я приехал в деревню и купил пять пудов хлеба — по-деревенски целое состояние. В этот момент я понял, что власть пуда хлеба надо мной кончилась, что я выхожу теперь в свет опять на свой почин, на свой загад. Признаюсь Вам, что я с юности боялся этой силы пуда хлеба, добываемого из земли при условиях труда нашего общинного хлебопашца. Замечательно, что и крестьяне того уезда, где я жил, понимали хорошо тягость этого общинного пуда хлеба и массами стали переходить на хутора. Наша деревня вся в одну неделю разбрелась по участкам, я переехал тоже со своим хозяином куда-то в кусты на горушку и назвал этот хутор именем одного моего рассказа, "Сопка Маира". Тут, на этой Сопке Маира, в августе месяце прошлого года я поселил свою семью и отправился в Москву делать литературную карьеру.

Милый друг, мы с Вами воспитались в такой общественной среде, где непременным условием было при всяком выступлении признание какой-нибудь платформы или позиции. Помню, даже при вступлении в члены религиозно-философского общества Вячеслав Иванов меня спросил: "Вы на какой стоите платформе?" А когда я удивленно расширил глаза, пояснил: "На христианской или языческой?" Может быть, и Вы теперь спросите меня, на какой позиции я стоял, отправляясь в Москву на литературное поприще.

Скажу Вам на это пару слов о добродетели. Мне кажется, добродетель вообще склонна к покою, а из этого покоя рождается лень — мать всех пороков, всякого зла; напротив, зло всегда деятельно, у него множество агитаторов, оно заражает, и действие, видимо, — такая же добродетель зла, как лень есть зло добродетели. Где было нам, голодным, жаждущим жизни корневым мочкам, разбираться в добре и в зле, в позициях и платформах. Я стал непостыдно равнодушен к словам о добре и зле: лишь бы только выбиться на свою дорогу. И такими стали решительно все в обществе, начиная от интеллигентного горожанина, кончая неграмотным крестьянином.

В Москве я поселился в такой маленькой и сырой комнате — хуже только разве в окопе! Мебелью была одна лавка, и на ней вместо матраца енотовая, съеденная молью шуба поэта Манделъш-

тама. Сам поэт Мандельштам с женой лежал напротив во флигеле на столе. Вот он козлик-козлик, небритый и все-таки гордо запрокинув назад голову, бежит ко мне через двор Союза писателей от дерева к дереву, так странно, будто приближается пудель из "Фауста". "Не за шубой ли?" — в страхе думаю я. Слава богу, за папироской и нет ли у меня одного только листа писчей бумаги.

Вы спросите, дорогой друг, как это выходит, что описание литературной карьеры начинается у меня с лавки, комнаты и шубы, — потерпите немного. Вы скоро увидите, что все это необходимо. Вот еще баранина, мука, масло, которые назначил мне КУБУ (комитет улучшения быта ученых). Мандельштам из-за этого поднял было настоящий бунт: он, как поэт, оказался ниже какого-то ничтожества, получает баранину по второй категории. К Мандельштаму примкнуло множество обездоленных и в высшей степени талантливых поэтов и писателей. Я сам попал ниже одной ступенью Бориса Зайцева, двумя ступенями ниже Вересаева и тремя ниже Горького (впрочем, категория Горького необидная, он в ней один).

Мы уже начали было вырабатывать ядовитую мотивировку коллективного отказа от академического пайка, и вдруг оказывается, что баранина, мука, чай и все прочее выдается всем категориям совершенно в одинаковом количестве и только денежное обеспечение разное, но в сущности то же, ввиду незначительной суммы и падения курса все сводится больше к арифметике. Принципиально, конечно, обидно, но за принцип стоял один Мандельштам, и он, увидав себя одиноким, тоже пошел получать.

Стояла жаркая осень, ледника у нас не было, спрашивается, куда девать мне два целых барана? Продавались очень дешевые примусы кустарной работы, я купил себе аппарат и решил зажарить баранину сразу и поскорее есть. Но только я поднес спичку к новой машине, вдруг все вспыхнуло. Счастье, в то время я еще ничего не написал и вообще у меня ничего не было, сгорела только шуба Мандельштама. Вот он, гордо запрокинув голову, козлик, перебегает ко мне от дерева к дереву. На пепелище своей собственной шубы он опять ставит принципиальный вопрос: Америка выдает помощь писателям, но требует подписи: "благодарю" — не обидно ли так получить помощь русскому поэту? не поднять ли этот вопрос в Союзе писателей?

— А что выдают? — спросил я.

— Восхитительные вещи: по двадцать фунтов белоснежного рису, какао, сахар, чай...

— Вот что, — сказал я, — напишем благодарность по-грузински: шени чириме, сульши чириме, гульши чириме...

— Что это значит?

— Так благодарят грузины, это значит: беру твои болезни себе, болезни сердца, болезни души... все болезни беру себе, и войну, и голод, и тиф — все себе, а вы будьте богаты и счастливы.

На этом и порешили (...), а тут еще вскоре подospel чехословацкий паек, хотя и скромный, но зато без проверки документов и обязательной благодарности. Так у меня скопилось много добра, и, выбрав день, я повез мешки небывалых у нас продуктов к себе на Сопку Маира. Вот где было удивление, радость и какая-то окончательная реализация моей юношеской мечты о прелестях свободной профессии.

Я не шучу, милый друг, я это испытывал в легкой степени при получении первого гонорара; воплощение моей мечты, золотой тогда, мне казалось маленьким чудом, после я развратился и стал принимать деньги за писание, как все. Но теперь юность вернулась: на столе гора белоснежного риса с тающим маслом на вершине, потом сладкое какао и дети, повторяющие: "Ну, спасибо же этим американцам, спасибо!" Как грустно все-таки думать, что заокеанские благодетели не понимают заключенной в самом рисе солнечной энергии, которая при соприкосновении с голодным желудком без наших забот непременно превращается в человеческий свет: благодарность. Итак, поблагодарив с детьми на Сопке Маира американцев, чехословаков и наш КУБУ, я отправляюсь в Москву к новым литературным достижениям.

Вы теперь понимаете, почему я так долго останавливаюсь на как будто бы посторонних самой литературе вещах: после всех испытаний мечта и вещь неразрывно соединились в моем существе; исчезла тоже и усвоенная в сытое время черта между добром и злом, и то и другое слилось, вернувшись к первоисточнику своему: священной животной или растительной жизни.

Не обрывайте, милый друг, настроение, полученное Вами от моего описания горы белого риса с тающим на ней маслом, и прямо получайте сюрприз: я продаю издательству "Круг" свою книгу "Сопка Маира" и покупаю своей семье ДВУХ КОРОВ. Поймите, что это значит: в начале письма я Вам сказал, что все Ваше счастье теперь зависит от квартиры в Москве, как только будет квартира, Одиссей смело может возвращаться в свою Итаку. А у нас в деревне все от коровы, с одной коровой я человек, с двумя — я богатый человек. Правда, одна корова моя, Бурьшка, очень маленькая, но зато она так огулялась, что молоко у нее будет, когда его в деревне ничем не достать, в зимние месяцы. Другая моя корова, Рыжка, красавица, священное египетское животное, о котором Розанов говорил, что уж если нельзя к обедне сходить, так сососу хоть вымя коровье. Вот сейчас подходит золотое время, Егорьев день, егорьевская роса пуще овса, вернется моя Рыжка с поля и легонько так замычит, как-то особенно музыкально, и польется благодатная струя в подойники.

И все бы хорошо, но вот какое маленькое обстоятельство неожиданно возмутило мое совершенное счастье. Пока я возился на Сопке Маира, книга моя, тоже "Сопка Маира", набиралась. Я не заботился о корректурах, во-первых, потому, что эта, уже когда-то напечатанная книга теперь набиралась по-печатному,

во-вторых, новое издательство придумало необыкновенный способ гарантии себя от небрежности сотрудников, оно решило против шмуцтитула с именем автора печатать и имена всех работавших над книгой наборщиков, брошюровщиков, метранпажа, корректора и т.д.

При обсуждении этого вопроса я имел свое отдельное мнение. Я говорил, что так называемое имя автора, печатаемое на обложке, вовсе не есть его ИМЯ, а только плакат, необходимый в борьбе за существование, что самое имя свое автор таит, строя на нем загадку не только для читателя, но и для самого себя. Я говорил, что для всякого настоящего писателя плакат его имени есть проклятие, что Толстой бежал от плаката в мир бесплатных рабочих, но по пути был изловлен и умер страшную смертью среди корреспондентов всего мира. Еще я указывал издательству, что наши русские рабочие устроят из этой выдумки смех и во всяком случае будет если не хуже, то и не лучше.

— Россия вам не Америка! — сказал я в заключение.

Мне ответили:

— Вы слишком много придаете значения идеологии нашего прошлого, да еще с уклоном в мистику имени.

Милый друг, многое вижу я в жизни ясно, а когда навалится на меня публика, отхожу и думаю: "Кто там разберет, наверно, и у них есть своя правда". Так я успокоился за книгу и возился в деревне с коровами. Приезжаю в город, нахожу свою книгу и сначала как-то ничего не заметил, издано по нашему времени богато, имена всех наборщиков, метранпажа, корректора набраны круто, все хорошо. И вдруг открытие: заглавие напечатано не "Сопка Маира", а, будь ему трижды неладно, "С(т)опка Маира", какой-то "стоп" выходит из всей затеи.

Будь это в мои ранние писательские годы, так я бы с ума спятил, а теперь покачал головой и подумал: "Ничего, умный разберет, дурак не заметит, а рабочие наши все-таки молодцы, не американцы, расписались себе, как мы с Мандельштамом по-грузински, и хохочут себе, показывая свои замечательные имена на "Стопке Маира".

1922—1923

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Пока не требует поэта...

I

На стене моего кабинета один над другим — два силуэта работы художницы Кругликовой. Наверху — Марины Цветаевой, внизу — Осипа Мандельштама.

Мандельштам на этом портрете мало похож на того, с которым я познакомился в Феодосии летом 1919 года и потом встречался в Москве, Ленинграде и снова в Москве на протяжении многих лет. Это еще петербургский, или, вернее, петроградский, недавно ставший известным поэт Осип Мандельштам, автор книги стихов "Камень" в обложке кирпичного цвета, изданной акмеистическим издательством "Гиперборей". Это силуэт сидящего в кресле, респектабельно одетого молодого человека с уайльдовской шевелюрой, в очень высоком крахмальном воротничке, с пышным галстуком, с тонким крупным горбатым носом и очень независимо, почти вызывающе гордо поднятой головой. А может быть, твердый высокий воротничок заставляет его так вызывающе независимо, почти с аристократическим высокомерием задираТЬ голову кверху?

Но когда я увидел его в Феодосии, он был вовсе без воротничка и раскаленная грудь его была открыта за распахнутой рубашкой под черным суконным пиджаком, слишком теплым для феодосийского лета. И выцветшая тубетейка на его голове отнюдь не выглядела аристократически. И все же голова его была поднята гордо. Он словно нес ее не на своих узких плечах, а за плечами — глаза смотрели поверх людских голов и поверх солнцем нагретых крыш.

Первое, что привлекало внимание к его быстрой в движениях, остроугольной фигуре, — это его неправдоподобно задранная кверху голова в выцветшей тубетейке. Казалось, физически неудобно так нести свою голову. Но он нес ее именно так всю свою жизнь. Он нес ее — необыкновенно гордо поднятой кверху, смотря в небо и даже смотря поверх тех, кто причинял ему страдания физические и душевные — в трагические, последние годы жизни поэта. Не гордость, не пустословный аристократизм, не смешное высокомерие, а высокое сознание собственной правоты — и одно лишь оно! — способно помочь человеку, как бы ни было ему трудно, держать голову кверху так, как держал ее Мандельштам. Это он написал однажды в своей небольшой статье "О со-

беседнике”: ”Поэзия есть сознание своей правоты”.

Но даже не гордая посадка головы на узких плечах в портрете, написанном Кругликовой, напоминает мне хорошо знакомого Осипа Манделъштама, а отчетливо видимая на этом портрете нижняя, чуть оттопыренная губа. Когда я смотрю на портрет, я прежде всего вижу оттопыренную, словно дрожащую губу. Она дрожит, как натянутая струна под сухими пальцами воспетого Манделъштамом Терпандра, того, кто вырезал лиру из панциря черепахи и, натянув струны из воловьих жил, скандировал эллинские стихи...

Манделъштам, читая стихи, скандировал. Он их пел, задирая голову выше обычного, пел, иногда даже закрывая глаза. Опущенные веки его дрожали. Влажная оттопыренная нижняя губа, выражавшая в одно и то же время высокомерие и обиду, дрожала. И не всегда можно было отличить, читает ли он стихи — все равно чьи: свои, Овидия, Кузмина или Тютчева, — или просто говорит о том, что блины без масла не годятся. Он скандировал, даже когда просил деньги взаймы.

Вот это и производило магическое впечатление на его меценатов — феодосийских экзотических негоциантов, но, заметьте, коренных феодосийских, отнюдь не беженцев с севера. Любители поэзии из богатеев между делом, выгодно купив или продав партию дефицитных товаров, усаживались в глубокие кресла и услаждали себя чтением в подлинниках кто персидских, а кто греческих или итальянских поэтов. И самое любопытное, что и караимы, и евреи, и греки, и выходцы из Италии — все в равной мере считали Манделъштама своим национальным поэтом, давали ему малые толики денег и почтительно слушали, как он скандирует, но ничуть не любили его стихи и, конечно, не понимали их. Наверное, думали, что так и надо, чтоб настоящая поэзия была непонятна!

Манделъштам когда-то писал в своих ”Заметках о поэзии”:

”Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственно трезвая, единственно проснувшаяся из всего, что есть в мире”.

Он сам был похож на ”блаженно очумелого” и, вероятно, именно этим и убеждал своих смуглолицых и плохо говоривших по-русски покровителей.

Русских покровителей поэзии среди феодосийских негоциантов в то время не было. И только Максимилиан Волошин говорил, что Осип Манделъштам — большой русский поэт.

Волошин любил повторять, что ”Манделъштам нелеп, как настоящий поэт”.

Манделъштам, в своем черном пиджаке и распахнутой на голой груди рубашке, в тубетейке, казался куда более нелепым, чем Волошин, в его лиловом хитоне или бело-золотистом костюме испанского гранда, с голыми икрами.

Но Осип Манделъштам — ”настоящий”, большой поэт прежде

всего потому, что все его мышление образно. И не только в стихах, но и в его повседневных и будничных диалогах в общении с окружающими его людьми. О его поэзии можно говорить как о философской образной системе, не переводимой на язык понятий. Для него понятие — образ и образ — это понятие. Весь его поэтический мир понятий — это мир воображаемо зримых образов, плотных — осязаемость их почти доступна на ощупь. Недаром он сам сказал: "Русский язык стал звучащей и говорящей *плотью*".

Великолепные "Тристи", "Печали", — первое стихотворение Мандельштама, которое я прочитал. Это было в 1918 году в Александровске, нынешнем Запорожье. "Камень" Осипа Мандельштама тогда еще не дошел до нашего городка, где власти, эпохи и общественные строи менялись с калейдоскопической быстротой.

Из Харькова привезли альманах, не помню его названия. Впервые я встретил в нем имена людей, с которыми впоследствии пришлось быть в добрых отношениях на протяжении десятков лет. Я помню в нем чьей-то работы портрет Евгения Ланна, стихи Георгия Шенгеля и Александра Гатова и даже по сей день запомнил строки стихотворения милого Измаила Уразова, с которым в Москве много лет был связан общей работой в редакциях различных журналов:

Мне двадцать два: как терпка радость
Смотреть на землю не спеша.

Но поразили меня "Тристи" Мандельштама. Я был вне себя от волнения, дни и ночи повторял:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.

Я чуть не плакал от восхищения над строками, которые казались мне настоящим чудом поэзии:

И женский плач мешался с пеньем муз...

Ошеломленный "Тристиями", я не предполагал, что очень скоро познакомлюсь с их автором. Уезжая в 1919 году в Феодосию, я знал, что увижу там Максимилиана Волошина, но что там же, в Феодосии, живет написавший "Тристи" Мандельштам, я не знал. Для меня было неожиданным знакомство на песке феодосийского пляжа с горбоносым молодым человеком, читавшим на солнце "Давида Копперфильда" и курившим трубку. Фамилия его была Мандельштам, и в первый момент я принял его за поэта, но он оказался его младшим братом — Александром. Нас познакомил лежавший рядом мой недавний знакомец — студент.

Этот студент, как обнаружилось уже после прихода Красной Армии в Крым, был коммунист, подпольщик и после освобождения Крыма заведовал в Джанкое отделом народного образования. Мы были дружны с ним в период белых в Крыму и тем более после освобождения Крыма. Во время своего вторичного путешествия из Феодосии в Москву я ночевал у него в Джанкое, и в то очень голодное время он даже снабдил меня на дорогу несколькими котлетами и буханкой хлеба. По тем временам это было актом исключительной щедрости. Знакомство мы свели на феодосийском пляже, когда он был подпольщиком-коммунистом, а я девятнадцатилетним начинающим литератором, мечтавшим из Крыма проехать в Грузию, а оттуда — в Москву.

Александр Мандельштам ждал на пляже своего брата. Я тоже ждал его с нетерпением. Но Осип Эмильевич не пришел. Зато в тот же день или на следующий я увидел его на площади у "Фонтанчика". Он шел с задранной кверху головой, краснолицый от солнца, в тубетейке и в черном пиджаке, весь остроугольный, очень быстрый в движениях. Они с братом так были похожи друг на друга, что я сразу догадался, кто он. Признаться, облик его разочаровал меня. Человек, написавший "Тристии", скорее должен был походить на Волошина. У Мандельштама был вид слишком будничный. В нем не было ничего живописного. И только невероятно задранная кверху голова — высокомерие, вызов во всей его нищей фигуре, царственность, с которой он нес на голове свою бедную тубетейку, нес ее как корону или лавровый венок, — вот что выделяло его из пестрой, суетливой, многоязычной толпы на площади у "Фонтанчика"!

II

Мы познакомились в подвале "Флака". Беря за пуговицу или под руку, он уводил собеседника в угол и, смотря в упор влажными сияющими глазами, выпячивал нижнюю губу и читал нараспев:

На каменных отрогах Пиэрии
Справляли музы первый хоровод...

Иногда мы расхаживали с ним по еще пустому подвальному залу (на половине, свободной от столиков), и, держась за меня, он читал, полузакрыв глаза.

Если слушатель стоял или сидел перед ним, Мандельштам читал стихи, глядя на него в упор. Если же читал на эстраде — он пел, опуская веки. Он задавал немало труда своему слушателю, когда читал стихи, вышагивая рядом на улице. Тогда он шел медленно, с опущенными веками либо глядя поверх голов и кровель, и поминутно наталкивался на встречных, как пьяный или слепой.

Читал он всегда. Не всегда можно было понять, читает ли он что-то уже завершённое, готовое, или только ещё творит. Вдруг в будничный деловой разговор, в просьбу о деньгах или жалобу на кого-нибудь врывается ещё в испуге дрожащая новорожденная строка...

У него бывали мечты о Золотом Роге, о путешествии. Однажды даже всерьёз говорил, что скоро у него будет много денег и мы съездим с ним на Босфор или к греческим островам... О, разумеется, это был все тот же эллинский остров Саламин или Лесбос... эллинские цикады... И он верил, что деньги будут. Кто-то из его экзотических меценатов, чтоб не унижать его прозой подачки, предложил ему какое-то "дело". И разумеется, Манделъштам не разобрал, какое именно дело — кофе или пшеница, апельсины из Яффы или греческие маслины. Одним словом, что-то напоминающее о скрипе мачты бегущего по волнам, и, конечно (как же иначе?), парусного, судна! И вдруг этот рассказ о прибыльном коммерческом деле перебивался певучей новорожденной строкой...

Ах да! Так вот — это дело. Манделъштаму надо сходить к дельцу такому-то (но, впрочем, можно и не ходить — именно так и сказал меценат: можно и не ходить!) и передать ему от имени мецената то-то и то-то. Но можно и не передавать — так сказал меценат! И за то, что он, Манделъштам, пойдёт (или не пойдёт, это не имеет значения) и передаст то-то и то-то (или даже не передаст, это решительно все равно!), меценат вознаградит Манделъштама за оказанную услугу. И даст еще и еще, когда "дело", которому так помог Манделъштам, сладится к удовольствию и прибыли мецената!

Он верил, что перехитрил презираемых им торговцев. Разве эти денежные тузы, торгующие пшеницей и кофе, инжиром и апельсинами, не обязаны платить дань поэзии! Тем более что сами они пишут невыносимо, отталкивающе плохие стихи и, что хуже всего, заставляют бедного Манделъштама выслушивать их, а потом сами с покорностью и трепеща выслушивают его гневное осуждение!

Он был для них чем-то вроде блаженного. Из суеверия, чтобы ладились их коммерческие дела и чтобы блаженный поэт замолил перед богом их грехи своими стихотворными строками, они подавали ему... на поэзию!

По-моему, больше всего он импонировал им тем, что они не понимали его. Магия поэтической "бессмысленки" внушала им мистический страх. Манделъштам был для них чем-то вроде дервиша, рука которого да не протянется впустую во имя Аллаха!

За блаженное, бессмысленное слово

Я в ночи январской помолюсь...

Дервиш с гранитных набережных холодного Санкт-Петербурга!

Во имя Аллаха, подайте гордому петербуржцу, заброшенному в тень генуэзской башни и сочиняющему стихи за столиком феодосийского кафе "Фонтанчик"!

Тень генуэзской башни не достигала "Фонтанчика". Она существовала в воображении только лишь потому, что генуэзская башня существовала в действительности...

На солнцепеке, у ограды лишенного кровли или навеса кафе, за крошечной чашечкой турецкого кофе он часами просиживал, сочиняя стихи, высокомерно смотря на окружающую толпу и зная наверняка, что кто-нибудь рано или поздно подсядет к нему и заплатит за выпитую им чашечку кофе.

Сидя за столиком в кафе в центре площади и завидя знакомого, достойного слушать его стихи, он молча указывал на рядом стоявший стул и без всякого предварения принимался читать, нет — петь громко, на весь "Фонтанчик", скандируя.

Турки — тогда еще в не отмененных Кемалем красных фесках, — привезшие на своих феллуках из Константинополя апельсины или инжир, попивали за соседними столиками черный как смоль кофе и не удивлялись поэту. У них были свои заботы. Кемаль, будущий Ататюрк, уже подходил к Константинополю. Турция их волнует. А ночью им плыть назад к своему Босфору...

Этот блаженный, поющий стихи за неоплаченной чашечкой кофе, был им понятнее, чем прочие люди, сбежавшиеся в приморский город — древнюю Каффу, богоданную Феодосию, со всех концов, по их мнению, сошедшей с ума России...

В этом кафе он читал мне, скандируя и отбивая ногой, "Сестры, тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...", может быть более, чем любое его стихотворение, объясняющее его поэзию.

Легче камень поднять, чем вымолвить слово "любить"...

Сначала он так и написал. В нашем феодосийском альманахе "Жовчег" так это было и напечатано. Но сейчас, когда я читаю эту строку в книге стихов Манделъштама издания 1928 года, я вижу ее измененной:

Легче камень поднять, чем имя твое повторить!..

Более 30 лет назад на страницах книги его стихов я сделал очень краткие — для себя — заметки карандашом на память о том, в какой обстановке они написаны или читаны Манделъштамом. Возле этого стихотворения стоит пометка, что, прочтя его мне, он говорил о нашей совместной поездке к Босфору. В то время такая поездка из Феодосии не представляла никакого труда — были бы деньги!

Так как у меня денег не было и в помине, то, стало быть, он всерьез верил, что разбудит их на двоих, и даже не на дво-

их, а на троих — для себя, брата Александра и для меня!

Чуть ли не на следующий день под окном моей комнаты со двора прозвучал его голос, звавший меня. Когда я спустился к нему во двор, уже не было больше разговоров о роскошном путешествии на Босфор. Речь шла о том, что ему необходимы ботинки — не в чем идти в Коктебель! Он пришел жаловаться на жирно живущего под крылом своего богатого влиятельного отца одесского поэта Александра Соколовского. Соколовский ничем не помог Мандельштаму, и возмущенный Осип Эмильевич пришел ко мне отвести душу. Жалобы еще не были излиты (мы уже шли с ним по улице), как в его жалобную речь вторглись стихотворные строки и разом изменили течение нашей беседы. Все было забыто, все обиды.

У Соколовского на дому, в одной из двух комнат, которые снимала его семья, состоявшая из матери, отца и их избалованного сына, Мандельштам читал нам свои стихи о Феодосии. Мы напечатали их потом в нашем "Ковчеге":

О горбоносых странников фигурки!
О средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.

Так вот чем была для него Феодосия — "средиземным радостным зверинцем", в котором и он сам казался диковинным зверем в клетке! А уж как он мечтал вырваться из этого зверинца, как рвался вон из него! Когда возникали слухи о продвижении Красной Армии к югу, он ходил возбужденный и говорил, что скоро белым конец и ему можно будет поехать в Киев к Наде Хазиной.

Тогда я впервые услышал от него имя его будущей жены.

III

Не могу вспомнить встречи с Мандельштамом, когда бы он не читал стихи. Он читал их и когда мы лежали на песке у моря, и когда входили в воду, подставляя себя набегавшим волнам. Чаще всего это не было чтением стихотворения от начала до конца. Это было всегда внезапное вспыхиванье какой-то строки или строфы, перебивавшей обыденный разговор. Глаза его влажнели и улыбались. Читая стихи, он добрел. Если он читал несколько строк вкряду, то не позже, чем со второй строфы, начинал дирижировать правой рукой, левую держа в пиджачном кармане (когда это не происходило на пляже), словно там, в кармане, хранились новые строки и он перебирал их пальцами, на ощупь отыскивая, какую извлечь на свет...

Как-то он долго отсутствовал. Недели две я не встречал его. И вдруг — встреча, и, разумеется, на площади у "Фонтанчика". На этот раз мы не сели за столик — перешли на другую сторону к генуэзской башне. Он только что из Отуз, почти багрово-красный, и бог знает в каком виде его пиджак, да и весь он, обросший густой черной щетиной... Они с братом работали на виноградниках Отузской долины, что-то удалось заработать... Он уже держит меня за пуговицу, уже уводит в тень башни. И уже влажно блестят глаза и начинает дрожать выпяченная нижняя губа, и уже струится первая, прозрачная, как хрусталь, строка...

Венецкой жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло...

Возвращаясь из Отуз, он с братом спускался с гор в Коктебель. Брат нес в кармане горстку заработанных на винограднике денег. Осип Манделштам уносил из Отузской долины одно из самых прекрасных своих стихотворений и самых странных, пожалуй. Где-то там, в Отузах, померещилась ему зеленая Адриатика. И не удивительно ли, что так сияет его лицо — восторженно, торжествующе, — когда он нараспев читает:

На театре и на праздном вече
Умирает человек...

В Отузах он проводил ночи на винограднике под каким-то навесом. Было далеко спускаться к морю по солнцепеку, и единственная рубашка давно почернела от пота. Кусок брынзы и кружка воды — вот и весь обед... И в то же время слагались стихи о пышности венецианской жизни:

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла...

Да он просто вознаграждал себя за неудобства жизни в Отузах — за отвердевшую от пота рубашку, за ночлег на земле, голод, труд, усталость... Все для того, чтобы примирительно сказать, прощаясь с Отузами:

Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

Поэзия для него была сознанием его правоты в мире. Работая на татарских виноградниках в Отузской долине, он мыслил образами "тяжелых уборов Венеции" совершенно так же, как

однажды в голодный для всех нас вечер стал читать свою задолго до того написанную "Соломинку":

Я научился вам, блаженные слова...

Однако он "выпевал" не только свои стихи. Помню его радость, когда до Феодосии дошел экземпляр "Вожатого" Михаила Кузмина и каким-то образом очутился в его руках. С книгой он обращался ужасно, держал ее в пиджачном кармане свернутой трубочкой, поминутно вынимал и читал стихи.

Особенно нравились ему стихи Кузмина "Дмитрий-царевич". Полузакрыв глаза от удовольствия, он шел по улице и, пошатываясь и толкая прохожих, читал нараспев:

Давно уж жаворонки прилетели,
Вернулись в гнезда громкие грачи,
Поскрипывают весело качели,
Еще не знойны майские лучи...

Он сравнивал эти стихи со стихотворениями Волошина "Дметриус-император" на ту же тему и говорил:

— А ведь у Кузмина лучше! И не сравнивать с Волошиным, так хорошо!

Чужие стихи для него всегда были праздником. Он говорил о них, словно гордился ими. Да он и впрямь гордился всеми хорошими стихами на свете, будто сам их все писал!

Он умел внимательно слушать и наши стихи — Соколовского, Томилина, Полуэктовой и мои. Майя стеснялась при нем читать. Слушая другого, он так же выпячивал нижнюю губу и, если стихи ему нравились, так же дирижировал правой рукой, как и тогда, когда читал свои.

Иногда он требовал от кого-либо из нас прочесть несколько строк Тютчева, Пушкина. Это была проверка. Прежде чем писать собственные стихи, покажи, в состоянии ли ты прочесть настоящие строки большого поэта так, как они написаны. Чувствуешь, слышишь ли, видишь ли ты вообще стихотворную строчку? Он утверждал, что Пушкин один из наименее доступных поэтов. Только немногим дано поэтически грамотно прочитать Пушкина. Позднее он писал в одной из своих статей (она вошла в сборник "О поэзии", изданный "Academia" в 1928 году):

"Легче провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности".

И дальше:

"Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, т.е. умением читать буквы, ни даже с

литературной начитанностью. Если литературная неграмотность в России велика, то поэтическая неграмотность чудовищна, и тем хуже, что ее смешивают с общей и всякий умеющий читать считается поэтически грамотным”.

Один молодой поэт при мне пожаловался Мандельштаму, что ”сочинение стихов мучительно для него”. Сочиняя, он, мол, страдает, дело доходит иногда до ощущений физической боли от напряжения.

Мандельштам соболезнующе посмотрел на поэта. Он тотчас стал уговаривать молодого человека бросить писать стихи — раз и навсегда расстаться с мыслью, что из него когда-нибудь выйдет настоящий поэт. Труд поэта — радостный труд! Он может быть напряжен, сложен — и все равно самое главное в нем то, что он радостен. Когда сочиняешь стихи — испытываешь счастье. И если этого ощущения счастья нет, значит, создать произведение поэзии тебе не дано. Если, пища стихи, ты испытываешь страдание, муки, лучше тебе не писать! Ты не поэт!

Последним стихотворением, написанным им в Феодосии, было ”Актер и рабочий”. Группа актеров под руководством Амурского открыла на теннисном корте у моря кафе-кабаре. Мандельштаму заказали стихотворение к этому торжеству. Для его настроений того периода примечателен выбор темы. Почти дерзостью было писать в самый разгар врангелевщины предназначенные для публичного исполнения такие стихи:

Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках!

.....

Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков!

И все-таки он написал. Стихи были прочитаны одним из актеров с эстрады только что открытого кафе-кабаре на теннисном корте в переполненной врангелевцами Феодосии незадолго до ареста Мандельштама.

Я уже рассказывал о его аресте и об истории освобождения Мандельштама из тюрьмы — рассказывал, вспоминая Максимилиана Волошина.

Я проходил мимо кафе ”Фонтанчик”, когда сидевший за столиком Мандельштам окликнул меня. В его руках дрожала исписанная бумажка, и на столике перед ним лежал карандаш. Я сел за его столик и приготовился слушать стихи. Правда, и карандаш и бумажка скорее могли удивить меня. Мандельштам никогда не читал стихи по бумажке. Оказалось, что на бумажке отнюдь не стихи. Это был черновик письма Мандельштама к Максимилиану Волошину. Он почти никогда не записывал начерно сложенные строки стихов — хранил их в памяти, пока

строки не складывались окончательно, и только тогда переносил их на бумагу. Но для письма Волошину ему потребовался черновик — и этот черновик свидетельствовал об изрядно напряженном сочинительстве. Сначала он только издали показал мне несчастную бумажку.

Мандельштам пояснил: это письмо он намерен сегодня же отправить Максимилиану Волошину в Коктебель. Между ним и Волошиным все кончено — навсегда! Вот что заставило его написать это письмо.

Мандельштам собирался ехать морем в Батум. Волошин узнал об этом, написал Александру Александровичу — начальнику Феодосийского порта, общему другу всех феодосийских — коктебельских поэтов. Да и сам начальник порта баловался стихами. Несколько лет спустя в своей книге "Шум времени" Мандельштам так характеризовал этого начальника порта: "Добрый меценат Александр Александрович, морской котенок в пробковом тропическом шлеме, человек, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечая на дерзкие ее выходы нежным мурлыканьем". В той же книге Мандельштам вспоминает: "Тогда, в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне, в качестве ночного убежища, управление порта".

Вот этот добрейший Александр Александрович передал Мандельштаму письмо Волошина, в котором Волошин жаловался, что Мандельштам не вернул ему итало-французское издание Данте. Он просил воздействовать на Мандельштама, когда тот будет брать в управлении пропуск на пароход. Но бездомный в Феодосии Мандельштам давным-давно потерял книгу Волошина...

Сидя в кафе "Фонтанчик", он сочинял необычайно резкий ответ Волошину. Я ужаснулся, услышав то, что он успел написать.

Мои уговоры и убеждения не отправлять это письмо только раззадорили Мандельштама. После набора насмешек над Волошиным, даже насмешек над его тучностью, над его эксцентричным одеянием, после упреков в том, что он позволил себе обратиться к начальнику порта по поводу невозвращенной книги, письмо заканчивалось словами: "И вообще быть с Вами знакомым — большое несчастье".

Письмо было переписано начисто и поспешно отправлено в Коктебель.

Все, что произошло затем, я уже описал, вспоминая о Максимилиане Волошине. О том, что по дороге в порт Мандельштам обратил на себя внимание белогвардейского патруля, был арестован и брошен в Феодосийскую тюрьму. Майя Кудашева и я пошли — вернее, побежали по горам в Коктебель просить Волошина помочь вызволить Мандельштама из тюрьмы, и удалось это не Майе, не мне, а Эренбургу...

Мандельштам был вскоре освобожден и уехал в Батум.

Встретились мы с ним уже в Москве в 1922 году...

Первая после Феодосии наша встреча произошла в московской редакции сменовеховской газеты "Накануне", выходившей в Берлине. О газете этой и о ее московской редакции, в которой я был секретарем и специальным корреспондентом, я еще расскажу в дальнейшем.

После неизбежных общих приветственных фраз и расспросов я, разумеется, попросил у него стихи для напечатания в "Накануне". В тот же день он принес мне исписанный лист бумаги и, вытащив его, стал читать, не заглядывая в написанное:

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы...

Стихотворение было слишком свежо в моей памяти. Совсем недавно я читал его в выпедшем в Баку альманахе, случайно попавшем в мои руки.

— Осип Эмильевич! Дорогой! Да ведь это стихотворение уже напечатано в бакинском альманахе.

Мандельштам рассмеялся:

— От вас никуда не скроешься!

И стал убеждать меня. Едва ли еще кому-нибудь в Москве известно, что это стихотворение уже печаталось где-то в Баку! Шутка сказать, где Баку, а где Москва! А ведь Берлин еще дальше от Баку, чем Москва!

Я взял у него и отправил в "Накануне" однажды уже напечатанное стихотворение. И верно, где Баку, а где Берлин! Но "Накануне" широко читалось в Москве, Ленинграде и других больших городах нашей страны. Газеты и все еженедельные приложения к ней — литературное, экономическое, кинематографическое и еще какое-то — продавались во всех московских газетных киосках.

Мандельштам пообещал в ближайшие дни принести для "Накануне" стихотворение, еще нигде не напечатанное.

Он стал частым посетителем нашей редакции и довольно много печатался в литературных приложениях к "Накануне".

В 1923 году я послал Ал. Н. Толстому в Берлин стихотворение Мандельштама, которое вскоре было напечатано в "Накануне" под названием "Европа".

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык...

В книге стихов, изданной в 1928 году, Мандельштам поместил это стихотворение без названия.

Время нужды далеко еще не прошло. На фоне блистающих, недоступных нам нэповских магазинов нужда молодых литераторов казалась еще острее, чем в героические годы голодных пайков. Мое положение секретаря московской редакции "Накануне" не давало мне решительно никаких материальных преимуществ перед другими сотрудниками газеты. Мой шеф, заведующий московской редакцией, с которым впоследствии меня связали десятилетия дружбы, Михаил Юльевич Левидов, талантливый и широко образованный журналист, заведовал московской редакцией берлинской газеты "по совместительству". Он только что вернулся из Лондона, где длительное время был корреспондентом ТАСС (тогда еще, кажется, РОСТА), а в Москве получил солидный пост заведующего иностранным отделом РОСТА (ИННОРОСТА). Редакцией "Накануне" он занимался между прочим, и вести всю редакционную работу фактически приходилось мне одному. Левидов лишь надзирал за ней. С некоторых пор он стал поваривать, что мой вид (брюки в заплатах, вельветовая толстовка) становится "компрометантным" для "Накануне". Но если не считать всегда элегантно одетых В.Лидина и Ю.Слезкина, да, пожалуй, еще Михаила Булгакова, все остальные постоянные сотрудники "Накануне", во всяком случае молодые, были одеты не лучше меня. Но я был в некотором роде лицом "официальным" — не только корреспондентом газеты, но и секретарем, принимающим авторов и бывающим в Наркоминделе!

Однако добиться у ворчливого заведующего конторой "Накануне" Семена Николаевича Калменса аванса для кого-либо из литературных сотрудников мне было куда легче, чем для себя самого. И жили мы все в значительной мере на авансы — литературные гонорары у большинства были слишком малы, зато жить приходилось "по коммерческим ценам". Где уж тут купить новые брюки!

Вот такой аванс в "Накануне", пользуясь своим положением секретаря редакции, я выхлопотал однажды для Мандельштама. Он взял деньги, пообещал вскорости принести стихи, но, увы, не принес. Он так долго не показывался в редакции, что наш "финансовый хозяин" Калменс пригрозил больше не выдавать аванса никому из сотрудников, пока не будет покрыт аванс Мандельштама. Угроза была серьезной.

Мандельштам жил на Тверском бульваре, 25, в писательском Доме Герцена, где и сейчас живут многие писатели во дворе Литературного института. В одном из флигелей ведавший Домом Герцена Алексей Иванович Свирский предоставил комнату и Мандельштаму с женой.

Я отправился к Осипу Эмильевичу с мольбой о новых стихах, рассказал об угрозе Калменса.

— Дайте хоть что-нибудь напечатанное в провинции!

Но Мандельштам только что закончил и раздумывал, кому

бы предложить свой "опыт пиндарической прозы" – "Нашедший подкову".

Ему не очень хотелось отдавать в "Накануне" "Нашедшего подкову". Он знал, что из гонорара будет вычтен выданный прежде аванс. Но я пообещал приложить все усилия, чтобы гонорар на этот раз был выше обычного.

Мандельштам тут же попросил жену переписать для меня "Нашедшего подкову" – эту необычную "пиндарическую прозу" в сотню строк... Но еще прежде, чем она взяла в руки перо, он стал возле меня, держа левую руку, как обычно, в пиджачном кармане, а правой уже приготовился дирижировать. Он прислонился боком к спинке моего стула, словно не был уверен, что устоит.

Сначала голос его зазвучал сдержанно и без дрожи. Он словно только набирал силы. Это было начало как бы спокойно-эпического повествования в прозе:

Глядим на лес и говорим:
– Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе...

Но вот все напряженнее, все туже паруса, вздутые ветром. Полупустая комната с крашеным дощатым полом наполняется глухими раскатами органа. Напряжение передается мне так, словно это не он, а я читаю:

Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой...

Замершая фигурка его жены за столом все отдаляется от меня, уменьшаясь, уходит все дальше, дальше в глубь бесконечной растянутой перспективы...

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы...

Я слушаю, вжав голову в плечи. Кажется, читая, он выпивает весь воздух комнаты. Никогда прежде я не видел Мандельштама таким. Лицо его бело, глаза сухи и словно испуганы. Даже всегда дрожащая при чтении стихов нижняя губа его не дрожит...

В его легких уже не хватает воздуха. Задыхаясь, он произносит последние строки:

Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого...

Будь еще хоть одна строка, он уже не сумел бы произнести ее.

Он замолкает. Некоторое время держится за спинку моего стула. Кровь постепенно приливает к его лицу, выпяченная губа слегка увлажняется. В глазах появляется улыбка. Мандельштам приходит в себя. Он доволен. Потом он опускается на край железной кровати и искренне удивляется, что Надя до сих пор не переписала для меня "Нашедшего подкову". Спроси его, он не скажет сейчас, сколько длилось его отсутствие.

V

В самом начале двадцатых годов в Доме Герцена в большом и тогда еще нарядном зале второго этажа два или три раза в неделю собирались литературные объединения. Кажется, по понедельникам "Литературный особняк", по средам "Литературное звено", которым руководил профессор Василий Львович Львов-Рогачевский, по четвергам, если не ошибаюсь, объединение "Литрический круг". В большинстве собирались одни и те же лица. Отважился и я читать свои стихи на этих собраниях, а однажды даже читал свою пьесу, написанную ритмической прозой.

Регулярно бывали на собраниях "Особняка" молодой Сельвинский, тогда еще в студенческой фуражке, Николай Адуев, К.Спасский, Сергей Клычков, Георгий Шенгели и другие. Бывал и Осип Мандельштам. Он не очень серьезно относился к этим собраниям. Да и вообще в литературной Москве, истый петербуржец, он, видимо, чувствовал себя одиноко.

На одном собрании "Литературного особняка", когда все сидели за громадным, покрытым синим сукном столом, Мандельштам скучал, слушая стихи какого-то очень неинтересного поэта. В руках у него была папироса. Он не столько курил, сколько вертел папиросу. Я сидел напротив него. Наши взгляды встретились. Мандельштам показал мне глазами на своего соседа. Это был Георгий Шенгели. Он держал на веревочке розовый воздушный шар — эти детские шары только появились тогда в Москве после многолетнего перерыва. Я не сразу понял, что хотел сказать мне Мандельштам своим взглядом. Его лицо в этот момент было полно торжественного покоя, словно он собирался священнодействовать. Он не спеша поднес зажженную папиросу к детскому воздушному шару в руках Шенгели. Раздался взрыв, мгновенный переполох. Шенгели в ужасе подскочил. Поэт, читавший стихи, так и не кончил их, обиделся, академически серьезный Шенгели очень рассердился на Мандельштама. Слово было предоставлено другому поэту. Мандельштам стал слушать его с большим вниманием.

Он продолжал появляться в редакции "Накануне". Однажды

пришел, жалуясь на то, что только что вернувшийся из-за границы Илья Эренбург назначил ему свидание в ресторане "Прага".

С Эренбургом у него было много общих воспоминаний, предстоящей встрече был рад — но почему непременно в ресторане?

Мандельштам был смущен своим костюмом и тем, что платить в ресторане будет, конечно, не он, а Эренбург. Он поварчивал:

— Москва — не Бухарест. Совсем не обязательно свидание в ресторане.

И еще встреча — в редакции "Огонька" в Благовещенском переулке. Мы оба ждем Михаила Кольцова. Мандельштам уводит меня в угол возле стеклянной стены. Мы усаживаемся на диван, и Мандельштам, улыбаясь и дирижуя правой рукой, читает написанный на днях "Концерт на вокзале":

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид...

Кончив, смотрит радостно-вопросительно. Он проверяет по лицу слушателя: услышал ли тот его стихи? Дошли они до слушателя так, как они написаны?

Мы с женой переехали на жительство в Ленинград — тогда еще в Петроград. Прожили там года полтора и возвратились в Москву. В петроградских редакциях, а нередко и на Невском проспекте я еще не раз встречался с Осипом Мандельштамом. Как-то гуляли втроем — Осип Мандельштам, Владимир Пяст и я.

Мандельштам говорил о своем возвращении в Петроград, о том, что не хочется снова в Москву. И все-таки через короткое время он уже был в Москве...

В 1930 году он писал о своем Ленинграде:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез...

А в середине тридцатых годов поселился в Москве, в Нащокинском переулке, переименованном в улицу Фурманова... Отсюда и уехал в Воронеж.

Прошло несколько лет. Он вернулся. Мы встретились с ним и с его женой в метро. Он оброс бородой, глаза его старчески и умиротворенно, светло улыбаются. В руках была палка.

Сидя в вагоне, легко постукивал палкой по полу вагона. И вдруг — одобрительно:

— Вот... без меня построили...

Он произнес это, как если бы хотел сказать, что построили уже *после* него. Он как бы вдруг увидел жизнь "после себя".

И старчески мудро улыбнулся ей.

О МАНДЕЛЫШТАМЕ

*Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири...*

О.Мандельштам

Не вспомню точно — была ли я в последнем классе гимназии или уже на Бестужевских курсах, когда на каком-то литературном концерте мне показали худощавого юношу среднего роста с острыми чертами лица, с недоверчивым быстрым взглядом из-под длинных ресниц. Подруги-стоекники пояснили:

— Мандельштам, тенишевец. Пишет стихи.

Тоже мне сенсация! Да какой же тенишевец в начале десятых годов не выступал со стихами?

Писал стихи мечтательный сероглазый Виктор Жирмунский, поклонник лирики Владимира Соловьева и знаток (уже в те годы) раннего немецкого романтизма. Он восклицал печально:

Не может быть, что нет тебя со мной,
Что я один остался в вихре бала.
Я все цветы отдам тебе одной
И все отдам, что только сердце знало.

Писал стихи начинающий критик Юрий Никольский — нескладный, сутулый, некрасивый, как гадкий утенок. И глаза у него загорались голубым огнем, когда он читал:

Все полно тихими снами,
Закат стал пурпурный,
И протянулся меж нами
Сказочный мостик ажурный,
Только неслышно дремали
Под мостиком темные воды.
Звали в какие-то дали,
Ждали какой-то свободы...

И длинноногий Миша Пергамент, "как денди лондонский одет", с тщательной укладкой гладких черных волос, небрежно грассировал с эстрады:

В тишине ночных полей ждет моя могила,
Принеси мне орхидей с Голубого Нила...

А мы слушали. И не спрашивали, цветут ли орхидеи в дельте Голубого Нила и зачем потребовалось Мише Пергаменту это редкое растение. Совершенно искренне мы принимали длинные упражнения за поэзию. В самом деле, рифма налицо, метр соблюдается — что же тут придирается?

И у многих, многих моих подруг братья родные и двоюродные, проходившие последние семестры Коммерческого училища княгини Тенишевой, писали стихи — то чуть получше этих, то чуть похуже, то совсем плохо. И вот еще этот остроглазый Мандельштам — тоже тенишевец и тоже пишет стихи. Подумаешь, удивил!

Только он действительно удивил — и очень скоро, и очень глубоко. Появилась книжка — тонкая, как революционная брошюра. Серо-зеленая обложка, и на ней прямые черные буквы: КАМЕНЬ. Обыкновенный камень, не самоцветный жемчуг-маргерит, не "кусочек сбереженного кварца", как у Бальмонта, как у Брюсова, — а просто-напросто камень — неотесанный, неграненый и, должно быть, тяжелый. Странное название для первого сборника молодого поэта...

Читаю страницу за страницей — и удивляюсь все больше. Кое-что из этих стихов мне уже встречалось в журналах. Но, собранные вместе, они бьют по сердцу с неведомою силой. Ничего изысканного. Никаких голубых орхидей и ажурных мостиков. Все слова — общеизвестные, все взяты в их прямом и строгом значении. До чего это просто, Боже мой, до чего это просто!

В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят...

Да, страшными, воистину страшными, хоть и игрушечные... Или еще: "Кинематограф. Три скамейки..." Точно — до прозаизма. А дальше — нарастающий гул урагана:

Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно...

Или это:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель...

Как непринужденно сменяются эти ясные образы! Нет, этот не будет звать в "какие-то дали", ждать "какой-то свободы". Он

точно знает — *какие* дали и *какая* свобода. Он безошибочно назовет их, если будет нужно. Но — будет ли?

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа...

Нет, после Пушкина нам еще не встречалось такого пристального, такого сильного зренья. И такого совершенства в определении, в назывании предмета. Каждое явление высмотрено, понято, уложено в памяти, отпечатано в сознании, —

Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко...

Казалось бы, после творческого акта — как не оглянуться, как не залюбоваться сотворенным, как не сказать себе, что "это хорошо"? Нет, *этому* оглядка не свойственна. Он сотворил, осознал, дал имя — и вот уже отошел, отвернулся.

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Он совсем не дорожит достигнутым. Он даже согласен, чтобы оно, увиденное, осознанное — снова стало небывшим:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...

И, углубляясь в его открытия мира, я удивляюсь все больше, все больше — и ему, и миру, и себе, — как это я до сих пор этого не знала.

Самое глубокое удивление, самое знаменательное открытие оказалось для меня связано со стихами:

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит...

Я знала пушкинские ямбы, знала блоковские паузники, а с *такой* мелодикой еще не встречалась. Обычно стихи я читала себе вслух. Но не искушенная в античных метрах — прочитала их не мудрствуя, как трехстопный ямб. Получилась бессмыслица: *так* эти стихи не существовали. Попробовала и так и эдак и набрела на догадку: подчеркивать голосом удары ритма, не

смущаясь тем, что два ударных слога приходится рядом. И стихи Мандельштама зазвучали! Зазвучали, как псалом, как торжественнейшая музыка!

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть
И яростный гимн грянь,
Бунтующих тайн медь!

Какой-то толчок в сознании, какая-то минута просветления — и мне стало ясно, что значит ритм как основа поэтической речи. И это было уже навсегда. А в мое восхищение стихом Мандельштама проник — и тоже навсегда — оттенок признательности за то, что он мне это открыл.

Познакомиться лично с поэтом было для меня неизбежно. Мы с ним принадлежали к одному поколению. Мы происходили из одного слоя петербургской русско-еврейской интеллигенции. У нас имелись общие друзья. Нас учили одни и те же учителя. Мы были одного поля ягоды. Мы непременно должны были встретиться.

Как нередко бывает в больших городах — первое знакомство состоялось по телефону. Вот как это случилось.

Стояла чудесная, солнечная, сверкающая весна 1916 года. Я задумала отпраздновать мой день ангела (21 мая) новым способом. Отменив обычную именинную вечеринку, я пригласила двух-трех моих близких подруг и несколько знакомых студентов провести целый день за городом, в Павловске. Мы сели в утренний поезд, запасшись большим тортом и надлежащим количеством конфет. В полдень добрались до дворцовой Павловской фермы; там, в ожидании кофе со сливками, кормили тортом великолепного павлина и читали хором стихи — преимущественно ранние гумилевские: "Орел летел все выше, все вперед...", "Он поклялся в строгом храме...", "Юный маг в пурпуровом хитоне...".

Нашим хором дирижировал очень милый юноша В.Г.Р. — у него тоже была неистощимая память на стихи; на строфах Блока и Гумилева и завязалась в те дни наша дружба. Может быть, для придания себе весу в девичьих глазах, а может быть, и от чистого сердца Р. не раз упоминал своего хорошего знакомого, молодого поэта Осипа Мандельштама, и даже вызвался пригласить его на наш пикник.

Много стихов было прочитано, много кофе выпито, и пышный торт заметно поубавился, когда я напомнила Р—у его намерение:

— А где ж ваши Мандельштам?

— Он как раз вчера приехал из Москвы. Я ему звонил, он хотел примкнуть к нам. Наверное, все забыл или перепутал.

Чудак рассеянный... вот будет жалеть.

Я сложила в коробку остатки торта.

— Передайте это ему. Чтоб еще больше жалел...

На другой день меня попросили к телефону. Я не узнала голоса, но узнала интонацию: где-то я слышала эту напевную, скандирующую речь.

— Говорит Манделыштам... Я вам благодарен. Я искренне тронут. Подумать только, мне было страшно открыть коробку. А вдруг там какой-нибудь ужас? Вдруг — лягушка? Вдруг — крыса? И что же я вижу? Роскошный торт! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

Напевные интонации переходят в патетические.

— Жалко — чего? — спрашиваю. — Что вам оставили мало торта?

— Ах нет! Что я не попал на ваш праздник! Нет, я не мог... Ах, я не мог! Но мы еще увидимся с вами...

Мы и вправду увиделись — и очень скоро. Еще не прошла сверкающая, залитая солнцем весна. На Елагином в молодой траве еще мелькали белые ветреницы, а на Невском уже продавали сирень. И курчавые летние облака уже разгуливали "на бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле...".

В такое лучезарное утро меня "вызвали" с Тучковой набережной в Саперный переулок к Анне Яковлевне Т. С этой чудесной женщиной я была связана по организации Детского городка. Это было нечто вроде клуба для детей воинов, ушедших на фронт, и вообще для безнадзорных детей городской бедноты. Мне там приходилось быть затейницей, сказительницей, экскурсоводом и лектором — все это, разумеется, в порядке чистого энтузиазма. Я с увлечением работала и сердечно привязалась к руководительнице и вдохновительнице этого дела.

Анна Яковлевна была примерно вдвое старше меня, "но как-то трогательно-больно моложавая". Неотразимо привлекали ее лучистые глаза, ее музыкальная, с легкой запинкой речь. Муж ее был видный адвокат с внушительной внешностью русского богатыря. У них подрастали две хорошенькие дочки. Несмотря на разницу лет и состояний, Анна Яковлевна держалась со мной как подруга. Вскоре приехала из Москвы ее младшая сестра Лиля и стремительно подружилась со мной. Красивая, темпераментная Елизавета Яковлевна была, видимо, причастна к революционному движению; похоже было, что кто-то близкий ей отбывал тюремное заключение; она все время хлопотала о передачах, писала письма в "Кресты" и с трогательным вниманием вкладывала в них то цветочный лепесток, то стрекозиное крылышко. Мне это все бесконечно нравилось. Мы с ней часами разговаривали о Блоке, с которым нам обоим страстно хотелось познакомиться, и о Максимилиане Волошине, с которым Елизавета Яковлевна была давно и дружески знакома. И конечно, потоком лились стихи. Случалось, что поздно вечером

Елизавета Яковлевна звонила мне: «Прочтите "Что же ты потупилась в смущеньи..."», — и я читала ей по телефону одно, другое, десятое — и вешала трубку далеко за полночь...

Обе сестры с нежностью говорили про своего брата Сережу. Часто упоминали его замечательную жену Марину, своеобразные стихи которой, наделенные неистовой силой, печатались в петроградских и московских журналах. Сестры рассказывали, как Сергей и Марина, встретившись у Волошина в Коктебеле, поженились, к изумлению и недовольству родных, хотя им было всего по 18 лет; как из-за этого раннего брака Сережа оставил гимназию и, женатый уже, сдавал экстерном на аттестат зрелости. Рассказывали и о том, как неумело и по-ребячьи беспомощно Сергей и Марина "рожали" свою первую девочку. Словом, я была уже заочно знакома с этой юной четой. Так что не удивилась, когда меня позвала по телефону Анна Яковлевна: "Сережа приехал. Приходите скорей". А Елизавета Яковлевна добавила: "И еще один его приятель сейчас придет. Погуляем все вместе. Вы смотрите, какое дивное утро!"

Утро дивное. И очарователен синеглазый стройный Сергей Эфрон, с отпечатком духовного изящества в каждом движении, в каждой черте. И как подкупает эта его сердечная манера, когда с первого слова человек вступает в ваш мир на правах старого друга. И весь он искрится шуткой, сверкает весельем. Так бывает лишь в начале жизни, только ante lucem, только в юности, неугнетенной и неискушенной...

А вот и приятель Сергея. Но ведь я видела уже — где-то уже видела я — этот задорный петушиный хохолок надо лбом и эту манеру — закинув голову, будто сверху вниз — разглядывать собеседника.

Сергей Эфрон называет своего друга:

— Это — Осип Эмильевич Мандельштам. Он вчера приехал из Москвы.

— Да? А мне еще на прошлой неделе говорили, что Осип Эмильевич вчера приехал из Москвы...

— Но ведь это хроническое состояние Мандельштама, что он вчера приехал из Москвы, — поясняет Эфрон. — Вы, видно, мало его знаете...

— Мало? Совсем не знаю. Мы только раз говорили по телефону.

Мгновенно Мандельштам впадает в пафос и, закинув голову, становится как будто выше ростом.

— Как, это вы? Ах, это вы! Как я рад! Это было так грустно!.. Так неудачно!..

— Что случилось? — недоумевает Эфрон. — О чем он скорбит?

— Он опоздал на празднество Елены, — подсказываю я.

— Да... да! Я опоздал на празднество Елены! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

— Опоздал? Это его второе хроническое состояние, — сообщает Сергей Яковлевич.

И хохочет, и по-мальчишески дразнит угрюмого Мандельштама. Но кто сказал, что Мандельштам угрюм? Он светел и добр, он смеется вместе со своим веселым другом. На них обоих играет золотой отблеск этого весеннего утра. Какое прелестное, воистину доброе утро! Какая прелестная, добрая юношеская дружба! Это чувства подлинные, это мир, очищенный от злобы, от гнева, от недоверия...

Елизавета Яковлевна тормошит нас и торопит:

— Одевайтесь! Одевайтесь! В такую погоду сидеть дома?! Грех, грех незамолимый!

Вчетвером шагаем по Невскому. Солнце, весенний воздух, торопливый поток прохожих, оживленных, нарядных, несмотря на то что идет уже второй год войны.

Заходим в кафе "Ампир". Занимаем уютный столик. Здесь, в кафе, все еще пытаются жить довоенным духом. Все так же крепко варится кофе, все так же сладки пирожные, услужливы официанты, элегантны дамы. И дамские шляпы так же огромны, и все так же колышутся на шляпах "траурные перья" — это донашиваются громоздкие моды последних предвоенных лет.

Но приметы времени проникли и сюда. С бодрым возгласом: "Он бросил на стол кипу ассигнаций!" — Эфрон оставляет у своего прибора чаевые: несколько миниатюрных синих чеков на плотной бумаге, с рисунком почтовой марки и со штампом на обороте: "Имеет хождение наравне с разменной монетой". Это "имеет хождение" настраивает нас на современную тему. Вспоминаем популярную формулу: "Прапорщик имеет хождение наравне с офицером", — и некоторое время разговор вертится около офицерских школ, прапорщиков и земгусаров. Я рассказываю услышанную накануне новость:

— Говорят, Блок ушел на войну добровольцем...

— Не может быть! — срывается Елизавета Яковлевна. — Это было бы ужасно!

— Почему ужасно? — вдруг помрачнев, возражает ее брат. — Быть может, нам всем следует идти на войну?

— Я не вижу, кому это следует. Мне — не следует! — Мандельштам закидывает голову; сходство его с молодым петушком увеличивается. — Мой камень не для этой пращи. Я не готовился питаться кровью. Я не готовил себя на пушечное мясо. Война ведется помимо меня.

— Война проигрывается, — зловеще шепчет Елизавета Яковлевна. — Идти сейчас на фронт — безумие, бессмыслица...

— Война проигрывается, — повторяет Сергей. — Тем больше оснований нам идти на фронт...

— Как, Сережа! Ты пойдешь защищать самодержавие?! — У Елизаветы Яковлевны даже слезы в голосе задрожали.

— Есть многое, помимо самодержавия, что я пойду защи-

щать. Еще есть. Быть может, скоро не будет.

— Неудачные войны всегда ведут к переворотам, — заявила непреклонно Елизавета Яковлевна.

Мы все знали, что она хочет сказать. Кто-то из нас вымолвил — или мы все сразу произнесли — слово "революция". Это слово жгло нам губы. Оно висело в воздухе. "Революция будет!" — говорили в госпиталях раненые солдаты. "Революция готовится", — рассказывали милосердные сестры, побывавшие на фронте... "Революция созревает!" — утверждали приехавшие в отпуск молодые офицеры — прапорщики из студентов. Да, она близилась, мы слышали ее голос и, словно блоковские мистики, окликали друг друга:

— Ты ждешь? — Я жду. — Уж близко прибытие...

Мы верили — оно близко. Мы не представляли и не предполагали, *как* оно произойдет и *что* — какие страшные конкретности, какие потоки огня и крови польются на нас вслед за этим. Мы знали одно: это неизбежно. Близится животворящая буря, не останется камня на камне от старого мира, привычного нам с рожденья. И мы радостно — да, радостно! — приветствовали ее, эту бурю, это великое преобразование жизни.

В то светлое утро мы четверо говорили о близости страшных событий, и речи наши были сдержанны, слова подобающе серьезны, а голоса помимо воли звенели восторгом — как будто в канун великого праздника. Потому что мы все были в таком расцвете юности, в таком победном и радостном состоянии духа, когда не пугает никакая катастрофа, никакой переворот не страшен. В это время пугает только ровный путь без катастроф, страшно только прожить жизнь без переворотов.

Никто не предвидит своего будущего. Какое счастье!

А днесь... О, если бы тебе тогда приснилось,
Что будущее для вас обоих берегла...

Могли ли мы подозревать, какие удары обрушатся на нас всех — и как скоро, и как беспощадно. И как мало, какие жалкие крохи дано будет нам уберечь от нашего душевного богатства, от нашей молодой искренности, от бескорыстия наших сердец.

Гоголь учит: "Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, забирайте с собою все человеческие движения, — не оставляйте их на дороге..." И я, пускаясь в долгие скитания, захватила с собой все светлые впечатления моих ранних лет. В ряду этих светлых впечатлений — солнечный день петербургской весны и освещенные душевным горением молодые лица Сергея Эфрона и Осипа Мандельштама.

Это я провожала мою последнюю девичью весну. Осенью 1916 года я вышла замуж. Мы с мужем одноклассники, оба студенты и оба филологи.

Мы встретили новый, 1917 год в "Привале комедиантов", в модном подвале у Марсова поля. В "Привале" былолюдно и шумно и очень красочно. Абстрактного искусства тогда еще не было, но самые видные из левых художников приложили руку к сводчатым стенам подвала, покрытым смелой и необычной живописью. На столиках вместо скатертей лежали деревенские цветные платки. Электрические лампочки загадочно струили свет сквозь глазные отверстия черных масок. Столики обслуживали арапчага в цветных шароварах. Подобно гению этого места, улыбалась гостям хозяйка — молодая брюнетка восточного типа, в эффектной одежде, сочетавшей белое, красное и золотое. Ее муж, директор подвала Б.К. Пронин, ходил между столиками, а за ним брела какая-то беспородная шавка, изображая или символизируя "Бродячую собаку", предшественницу "Привала комедиантов".

Мы с мужем заняли отдельный столик. Нам никого не было нужно, нам нравилось "одиночество вдвоем". У нас не хватило денег на вино, но мы опьянели от этой причудливой обстановки.

Поблизости от нас, между стриженной белокурой головкой Марии Левберг и темной высокой прической Маргариты Тумповской, обозначился острый профиль Мандельштама, его высокий лоб. Пронин наклонился к Мандельштаму, что-то ему прошептал. Мандельштам сердито закинул голову, его длинные густые ресницы дрогнули — он упорствовал, но обе соседки, справа и слева, взяли его под руки и заставили встать. Пронин своим приятным певучим голосом поздравил гостей с Новым годом и объявил, что сейчас мы услышим новые стихи Осипа Мандельштама.

И мы услышали их. В то время все поэты, читая стихи, более или менее соблюдали законы ритма, но чтение Мандельштама было больше, чем ритмично. Он не скандировал, не произносил стихи, он пел, как шаман, одержимый видениями.

Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскрикивал на ударах — и, вероятно, эти донельзя насыщенные, эти предельно эмоциональные стихи невозможно было бы донести до слушателей иными средствами. Прочитанные обветшавшим "выразительным" способом, эти стихи выглядели бы как пародия. У Мандельштама они звучали как заклинание. В ту новогоднюю ночь он пропел нам стихи о войне — о европейской войне, что длилась с ранней осени 1914 года и теперь готовилась захлестнуть 1917-й. Патриотический лексикон военных стихов того времени начисто отсутствовал. Не было в этих ямбах ни коварных тевтонов, ни наших непобедимых штыков и ядер, ни

даже сверхсовременных, не вполне еще освоенных дирижаблей и цеппелинов. Поэт пропел о том, как вступают в битву лев, петух, орел. Не лев из зоопарка, не петух из курятника, а существа мистической силы — ведущие начала европейской истории в гриме геральдических зверей. Стихи были фантастичны, страшны, неотразимы. Они, кажется, никогда не появились в печати. Было в "Tristia" нечто похожее ("Зверинец"), но не то. Впрочем, он не раз переделывал стихи до неузнаваемости; нередко возвращался и к прежним замыслам.

Он пропел до конца: горящие глаза погасли, темные ресницы почти сомкнулись. Экстаз кончился. Осип Эмильевич сел рядом со мной — уже будничным, уже не вдохновенным.

Я спросила, будут ли опубликованы эти стихи. Он ответил: — Во всяком случае, не теперь. Может быть — после войны. — И добавил: — Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия.

Я только повела на него изумленным взглядом. Ничего я не поняла. А над городом уже стояла голубая морозная полночь — первая ночь первого революционного года.

Мы расстались на несколько лет.

* * *

Новая веха жизни и новая встреча с Мандельштамом. И так причудливо получилось, что опять мы встретились в святочный вечер на переломе 1920 и 1921 годов.

Три года я провела в Поволжье, видела гражданскую войну, голод, разруху. В последний вечер 1920 года я, как из другого мира, возвратилась в Петроград. Поезда ходили вне графиков и расписаний, и никто не встретил меня. Извозчиков не было. На Московском вокзале нашелся бойкий гаврош с салазками. Я привезла родным неслыханный дар: три пуда муки. Мой мешок улегся на салазки, а я пошла за ними, направляясь к Летнему саду. Я шла, как оглушенная, едва узнавая пустые, неосвещенные улицы с их глухо запертыми парадными, с их сугробами снега до вторых этажей.

И вот я на родине — но в чужой квартире, в незнакомой обстановке. Неуверенно спрашиваю о людях мне дорогих — и безрадостно звучат ответы. Мало кто уцелел из моих гимназических подруг, из университетских друзей. Одни покинули Страну Советов, другие ушли из жизни. Страшные годы пронесли над Россией.

По приезде я разыскала Рождественских — Всеволода и Инну. Они жили на углу Невского и Мойки — в Доме Искусств (бывшее Благородное собрание — "Сумасшедший корабль" Ольги Форш).

Вечером в "Корабле" толпился народ. Туда запряталось все, что еще уцелело от литературы, и туда прибилося все новое,

что в ней зарождалось (за исключением, разумеется, искусства Пролеткульта). Анфилада гостиных сияла огнями. Женщины удивляли развязным тоном. Для меня были новостью густо накрашенные рты — они кроваво рдели, а поблекшие лица выдавали всю горечь, все напряжение голодных и трудных лет. В кипучем людском движении я различила элегантный облик Николая Оцупа, милое лицо Кати Малкиной, гордый профиль Анны Радловой, узнала Акима Волынского, Я.Н. Блоха и, наконец, Мандельштама. Все, все осунулись, все постарели, все смотрели беспокойно и невесело, и, глядя на каждого из них, я думала: "Живым, живым казаться должен он". ...Люди усердно старались казаться живыми, а я не могла отделаться от ощущения, что брожу среди призраков. Уж очень не совпадали мои поволжские впечатления с этими нарядами, с этими яркими губами, с этими псевдобеззаботными разговорами.

У меня завязалась тихая беседа с Мандельштамом. Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер. В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла, как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба. Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой невыносимый контраст.

Я что-то сказала Мандельштаму относительно этого контраста, этого страшного разрыва между социальными группами, между теми невероятными трудностями, с которыми борется русская провинция, русская деревня, и этим привилегированным, пресыщенным, беспечальным существованием.

Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

— Совсем недавно еще она была в нашем положении. И надо сознаться, что она его переносила неплохо. А теперь...

— А теперь она блистает в вашем кругу.

— Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает.

Подошли Рождественский, Оцуп: наш разговор снова прервался — надолго, надолго.

* * *

"В Петербурге мы сойдемся снова..."

Почти семь лет прошло в жизненных битвах. Только в конце 1927 года я обосновалась опять в моем родном городе, теперь уже принявшем имя Ленинграда. Литература стала моей профессией.

Конец двадцатых годов прошел у меня без встреч с Мандельштамом. Он был то в Москве, то на Кавказе; если приезжал в Ленинград, то ненадолго и без широкого общения с людьми.

Даже слухов о нем до меня не доходило. Или доходили самые невнятные.

Люди большой литературной культуры (Стенич) говорили о Мандельштаме, не боясь слова "гениальность"; называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели, которых в Доме печати было хоть пруд пруди, повторяли анекдоты насчет его заносчивости, неуживчивости и даже невменяемости. По-видимому, друзей у него было немного.

Тон в литературных организациях задавали вожаки РАППАа (у нас ЛАППАа). Возникли высочайшие салоны, династически и идеологически связанные с органами госбезопасности. На этой почве культивировалась литература — в небольших количествах, и авантюра — в количествах чрезвычайных. Возникли убийственные методы литературной полемики. Судя по всему, в одном из таких высоких московских салонов зародилась формулировка "внутренний эмигрант" применительно к Мандельштаму. Спущенная сверху, формулировка эта вскоре докатилась до литературных коридоров. В условиях культа личности писатель с таким штампом мог считать себя обреченным.

Имя Мандельштама из печати почти исчезло. В 1928 году вышел сборник "Tristia" — книга великой скорби и высокого мастерства, — и опять этот трагический голос умолк. Изредка на страницах журналов мелькали строфы, полные музыки, свежести и силы. Короткий праздник для тех, кто любил, кто лелеял Слово, — а потом снова глухое молчание. Только по рукам ходили шедевры: "За высокую доблесть грядущих веков...", "Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант...". Их потаенно переписывали и с тщательной оглядкой читали.

В 1932 году мы дожили до ликвидации РАППАа. То ли в порядке некоторой естественной оттепели, то ли по счастливому стечению обстоятельств, но в начале 1933 года стало известно, что ленинградский Дом печати предоставил свою трибуну для творческого выступления Мандельштама. Не было ни анонсов, ни афиш — никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в проходах, толпилась в дверях.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь, — как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, все так же непреклонно вздымались над крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мечтателя.

"Он постарел! — говорили в толпе. — Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод..."

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и в свете. Читал о своей юности: "И над лимонной Невою, под хруст сто-

рублевой, мне никогда, никогда не плясала цыганка”, — и казалось, что не слова сердечных признаний, а ступки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание, — и все росли, все усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергся публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушало с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? — Непреклонным, певучим голосом: — Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным, восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий...

* * *

Жизнь, как калейдоскоп, меняла свои стеклышки. Совершенно неожиданно я встретила Осипа Эмильевича на отчетном выступлении Гептахора.

Студия художественного движения Гептахор в тридцатых годах в Ленинграде имела хорошую репутацию. Работа Гептахора сливалась с ритмической школой Далькроза и со школой античного танца Айседоры Дункан. Ученики студии — преимущественно молодежь школьного возраста, — одетые в античные хитоны, с обнаженными руками и ногами, иллюстрировали вольными движениями классическую музыку. Это делалось с большим вкусом; детские тела, проникнутые музыкальными ритмами, выглядели очаровательно. Я была связана с Гептахором родственными отношениями — моя старшая дочь, которой в то время было лет 14—15, с увлечением, переходящим в энтузиазм, уже несколько лет участвовала в занятиях студии. К сегодняшнему концерту Гептахор хорошо подготовился; были показаны и сольные, и массовые, тщательно срепетированные этюды.

Возле меня оказался Мандельштам. В перерыве моя дочка подошла к нам радостная, возбужденная. "Хорошо?" — спрашивала она всем своим видом.

— Мило, приятно, — сказал Мандельштам, — но насколько

все же искусство классического балета сильнее и глубже...

На лице у девочки изобразился ужас.

— Вы — за классический балет? А Гептахор, по-вашему, не искусство?

У нее было свое *credo*. В студии "свободного музыкального движения" начисто отвергали классический балет, — отвергали с отвращением, с негодованием...

Осип Эмильевич стал объяснять:

— Я не говорю, что Гептахор чужд искусству. Но в искусстве танца, как и во всех искусствах, есть первая ступень изучения, есть азбука, алфавит. И вот если Гептахор усвоил пять-шесть первых знаков этого алфавита, то классический балет — и особенно русская школа балетного танца — знает все тридцать или тридцать пять знаков. Судите сами, кто же свободнее и за кем мне больше хочется идти.

Он посмотрел на девочку, на ее негодование, ее волнение, — и остановился.

— Кажется, вы обиделись? Тогда — простите меня. Простите меня, — повторил он бережно, мягко. — Я не хотел порочить то, что вы так любите. Но, видите ли, искусство не знает полуправды. А вы останетесь на второе отделение? — спросил он меня. — Я, к сожалению, должен идти.

Он сердечно простился с нами. Дочка смотрела ему вслед.

— Мама! — сказала она, обратив ко мне свои серьезные глаза. — Ты знаешь, он действительно большой человек.

* * *

Не все хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь.

В течение зимы 1932/33 года все чаще говорилось о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о вечных ссорах, вспыхивавших по пустяковому поводу, о преувеличенном болезненном раздражении с его стороны. Он держал себя как человек с глубоко пораженной психикой. Литературные деятели Москвы держались с ним как недруги, как чужие люди. К тому же в это время Мандельштам материально был очень стеснен. И вот пронесся слух, что московский писатель Саркис Амирджанов (Сергей Бородин) учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил Надежду Яковлевну — его "нежняночку", его драгоценного друга. Товарищеский суд под председательством А.Н. Толстого вынес какую-то очень двусмысленную резолюцию, вроде того, что Мандельштамы сами-де виноваты.

Приблизительно в середине 1934 года Мандельштам с женою опять посетили Ленинград. Я увиделась с ними у нашей общей приятельницы, Л.М.В. Добрая Л.М. обращалась с Мандельштамом как с больным ребенком. В силу этого разговор прошел сравнительно мирно. Но общий тон его беседы был невозможно тяжел. Чувствовалось, что желчь в нем клокочет, что каждый

нерв в нем напряжен до предела.

Мы расстались, условившись завтра утром встретиться в Издательстве писателей в Ленинграде. Оно тогда помещалось внутри Гостиного двора.

В назначенный час я приближалась к цели, когда внезапно дверь издательства распахнулась и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. Он промчался мимо; за ним Надежда Яковлевна. Через секунду они скрылись из виду. Несколько опомнившись от удивления, я вошла в издательство и оторопела вконец. То, что я увидела, напомнило последнюю сцену "Ревизора" по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А.Н. Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине за своим директорским столом застыл И.В. Хаскин с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин, как будто хотел выскочить из-за стола и замер, не dokonчив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич, как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и в разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления — все это действовало гипнотически. Прошло несколько полных секунд, пока я собралась с духом, чтобы спросить: "Что случилось?" Ответила З.А. Никитина, которая раньше всех вышла из оцепенения:

— Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича.

— Да что вы! Чем же он это объяснил? — спросила я (сознаюсь, не слишком находчиво).

Но уже со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первый овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере: "Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены".

Издательство наполнилось людьми. Откуда ни возьмись, появился М.Э. Казаков и со всех силенок накинулся на Толстого.

— Выдайте нам доверенность! — взывал он. — Формальную доверенность на ведение дела! Предоставьте это дело нам! Мы сами его поведем!

— Да что я — в суд на него, что ли, подам? — спросил Толстой, почти не меняя изумленного выражения.

— А как же? — кричал Казаков. — Безусловно, в суд! В народный суд! Разве это можно оставить без последствий?

— Миша, опомнись, бойся Бога! — увещевал его Стенич. — При чем тут народный суд? Разве это уголовное дело?

— Это дело строго литературное, — изрек своим тоном философа Гриша Сорокин. И с тихой ехидцей добавил: — На чисто психологической подкладке.

— Нет, я не буду подавать на него в суд, — объявил Толстой.

— Алексей Николаевич! Да что вы! Да разве можно?

Уже не один Казаков, а двое-трое товарищей бросились убеждать Алексея Николаевича. Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве.

Суд этот, насколько я знаю, не состоялся или кончился ничем. Мандельштама ожидали другие испытания. Он очутился в поле воздействия мрачных сил.

Дальнейшая жизнь его — это цепь репрессий. Осип Эмильевич прошел тяжелую ссылку в Чердынь, потом — несколько легче — ссылку в Воронеж.

Всюду, куда только было можно, его верная спутница Надежда Яковлевна следовала за ним.

Летом 1937 года они вдвоем заглянули ненадолго в Ленинград. Мандельштам приехал с тетрадкой стихов "Воронежского цикла", покорила друзей их взволнованной музыкой. По инициативе Стенича была сделана небольшая складчина — друзья собрали немного денег, белья, вещей, ибо Мандельштам был без копейки, он обносился, ходил чуть ли не босиком.

Настала минута прощанья. Несколько близких собрались на Московском вокзале. Мандельштам со своей "нежняночкой" спешили навстречу лишениям, навстречу, может быть, гибели. Имущество Осипа Эмильевича было увязано в неказистый узелок. В ожидательном зале возвышалась искусственная пальма трактирного типа. На ветвь этой пальмы Мандельштам повесил свой скудный узелок и, обратившись к Стеничу, сказал: "Странник в пустыне!" Друзья смеялись и плакали. Бедный узелок на пальме — в этом образе вдруг сконцентрировалась судьба поэта, его страннически неумолимая судьба. И как было тут не вспомнить вещи слова другого великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь.

В этом твое назначенье,

Радость-Страданье твое...

В скором времени в Ленинграде узнали, что Мандельштам находится в заключении. И вот слухи о нем прекратились.

Литературный быт трещал под ударами сталинских мероприятий. Уже гораздо больше друзей моих находилось по ту сторону решеток, чем по эту. Катастрофа приближалась, почва уходила из-под ног.

В марте 1938 года компетентные органы пристально мною занялись, а осенью 1939 года я была доставлена на берег Охотского моря.

Там, в лагпункте Балаганное, я встретила очень доброжелательную, но — не тем будь помянута! — очень путаную Е.М.Н.

Рассказывая мне свою страдальческую повесть, она упоминала, что в 1936 году работала в Чердынской тюремной больнице; в это время там содержался один писатель.

— Как его звали?

— Иосиф Мендельштам.

Я ухватилась за эту ниточку, стала разматывать. Приметы, в ее описании, как будто совпадали.

— Чем он болел?

— Абсолютным психозом.

— На какой почве?

— А на такой почве, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам начинал психовать. Забьется в угол, трясется весь, кричит, что сейчас его возьмут на расстрел. Ну — трахнутый абсолютно, что вы будете делать?

— А лечили его?

— Лечить было нечем. Просто переводили часы на два часа вперед. Он видит — восемь часов, а за ним никто не приходил. Посмотрит-посмотрит — и успокоится.

— Стихов он не писал?

Этого Е.М. не знала... Из Чердыни его куда-то увезли. Куда — неизвестно.

Такую сбивчивую информацию я получила в конце 1939 года. Летом 1943 года меня перевели в Магадан. Там я связалась с товарищем моей пушкиноведческой юности Ю.Г.О. Началась наша "переписка из двух углов". В первом же письме Ю.Г. упомянул о смерти О.Э. Манделъштама! Я не могла поверить, просила подтверждения. Ю.Г. ответил: "К несчастью, это верно. Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения, на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб не отравлен), и Вы сами понимаете, как на это реагировали блатары. Оборванный, грязный, длиннородый, М. до последней минуты слагал стихи; и в бараке, и в поле, и у костра он повторял свои гневные ямбы. Они остались незаписанными — он умер

За музыку сосен савойских,
За масло парижских картин”.

На этом кончалось письмо. В подслеповатом свете дежурной лампочки я разбирала кружевной почерк Ю.Г. Разобрать было нелегко: прежде чем дойти до меня, письмо побывало и в потных подмышках, и в грязных ботинках. Зловонный барак распирало от человеческих испарений. На двухэтажных нарах ”вагонной системы” копошились жалкие женщины, навязанные судьбой мне в подруги. Они вели свои бесконечные разговоры, в которых каждое второе слово было проклятие, каждое третье слово — непристойность.

А у меня из подспудной глубины сознания выступали бес-
смертные строки:

Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас суровая зима!

.....

Чтобы вечно ария звучала:
Ты вернешься на зеленые луга! —
И живая ласточка упала
На горячие снега.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Мандельштам неотделим от старого Петербурга. Там он родился, вырос, там стал поэтом. Многие не рождаются поэтами, а ими становятся. А Мандельштам родился поэтом. Никем другим он не мог стать.

Когда я познакомился с ним в 1913 году на одном из литературных вечеров, он сразу привлек мое внимание. Не все поэты, даже большие, нас привлекают. Но стихи, которые он тогда читал, производили впечатление. Как поэт я полюбил его сразу, но к общению с ним как с человеком меня не влекло. Первое время отпугивала его замкнутость. Мне казалось тогда, что он рисуется недоступностью. Не обладая привлекательной наружностью и хорошо сознавая это, он входил в салоны с высоко поднятой головой, как бы желая показать, что ему безразлично, какое впечатление он производит на публику. Он нес в аудиторию не свою красоту, а стихи, затмевая все внешние красоты и красоты, выделялся своеобразной манерой читать даже среди таких поэтов, как Николай Гумилев и Анна Ахматова.

Но публика никогда не состоит из одних ценителей прекрасного в поэзии, и чем ниже культура отдельных слушателей, тем больше внимания они обращали на его оттопыренные уши и карикатурно вздернутую голову.

Он не был салонным поэтом, очаровывающим публику прежде всего обаятельной улыбкой, а уже потом стихами, но Мандельштам пользовался успехом. Его стихи как бы отстраняли на второй план автора, говорили сами за себя.

Как поэт Мандельштам мне понятен и ясен с первых встреч в Петербурге. Как человека я узнал его ближе в 1919 году в Харькове, Киеве и в Москве — в тридцатые годы, когда бывал у него дома. Осип Эмильевич был простым, веселым, доброжелательным и удивительно обаятельным. Он любил острить, балагурить. А когда бывал в особо хорошем настроении — наминал расшалившегося ребенка. В нем не было и тени надменности, высокомерия и той глупой напыщенности, которая свойственна бездарностям и дуракам, случайно занявшим высокое положение. К людям этого рода он был беспощаден. Даже небольшой штрих пошлости или ходульности вызывал в нем брезгливую усмешку. Все фальшивое, неестественное, претенциозное отталкивало его и отвращало.

Он был очень скуп на улыбки и ласковые слова, но тем сильнее и теплее воспринимались они, ибо становилось ясно,

что это не привычная манера общения, как это часто бывает у хорошо воспитанных людей, а нечто более весомое, идущее из глубины души.

Жизнь Манделыштама складывалась так, что редко он мог спокойно работать и не думать о куске хлеба, но даже в самые черные дни не опускался до брюзжания. Когда судьба хватала его за горло, он волновался и негодовал. И гнев его всегда был великолепен.

Один раз я попытался ему объяснить, что бывают времена, когда поэты не могут существовать на одни гонорары и должны находить себе параллельные работы — чтение лекций, ведение литературных кружков или сотрудничество в журналах и газетах в качестве корреспондентов и рецензентов. Манделыштам воскликнул: "О работе не может быть и речи!" Я привожу дословно эту фразу Осипа Эмильевича, заранее уверенный, что читатель не поймет ее превратно, ибо Манделыштам работал как вол.

Над своими стихами он трудился без усталости, хотя у него была не менее интересная проза, оригинальные исследования. Он был полон замыслов. Но когда высокому творческому напряжению мешала нужда, им овладевал неистовый гнев. Осудить его за это могут только невежды.

О том, что происходило с поэтом в те периоды времени, когда мы находились в разных городах, я знаю по рассказам друзей и знакомых. Не буду всего пересказывать: во-первых, не видел своими глазами, а во-вторых, об этом написано и частично опубликовано в разных воспоминаниях. Эти отрезки времени можно назвать скитаниями Манделыштама в Харькове (1919) и Киеве. Пути наши пересеклись еще раз в Батуми (1922).

Известный по "Роману без вранья" Анатолия Мариенгофа Григорий Колобов, ездивший в двадцатые годы по всей нашей стране в служебном вагоне НКПС, оказался в Тифлисе в бытность мою там. Он предложил мне совершить поездку в его вагоне в Кутаиси, Батуми и Боржоми. Я согласился. И вот на вокзале в Батуми неожиданно встречаю Манделыштама, которого судьба забросила на время в этот чудесный город на берегу моря. Из моих расспросов выяснилось, что он страшно бедствует, так как по своему обыкновению приехал туда случайно и, само собой разумеется, никакой определенной работы не имеет. Узнав, что я приехал в служебном вагоне Колобова, он достал золотую цепочку и спросил, не купит ли ее Колобов. Я ответил, что сомневаюсь, так как он еще недавно жаловался на свое безденежье.

— Жаль, — ответил Манделыштам, — я ведь занялся здесь комиссионерством, другого выхода нет, иначе я бы умер с голоду.

Я не удивлялся — было бы нелепо измерять поступки Ман-

дельштама общими мерками. Я был тоже стеснен в средствах, но немного помог ему и посоветовал все же найти какую-нибудь временную работу.

— Здесь нет и не может быть ничего подходящего, — ответил он довольно спокойно.

Примирившись с этой участью, он на все махнул рукой. Что я мог ответить? Мне стало невыносимо грустно от сознания, что такой поэт оказался в столь тяжелом положении. А вскоре я встретил его в Тифлисе. К счастью, положение его на сей раз не было столь катастрофическим.

Нужно ли обо всем этом вспоминать? — подумал я сейчас и ответил самому себе: утаивать какой-нибудь нелепый и глупый случай из жизни поэта — значит не верить в него. Это во-первых. Во-вторых, "батумская эпопея" Мандельштама может скорее унижить всех нас, знавших и не знавших поэта, чем его самого, ибо мы допустили его до такой большой нужды. А ведь надо было кричать на всех углах, что Мандельштама надо спасти от бедности любой ценой, чтобы не приходилось потом краснеть и проклинать свое равнодушие.

Позволю себе один раз на протяжении всех моих воспоминаний изменить своему правилу описывать только то, что я видел своими глазами, и рассказать о случае, переданном мне одним из его друзей.

Как-то (не помню, в какой точно из приездов Мандельштама в Тифлис) он поссорился с руководством Союза писателей Грузии и покинул город, демонстративно пройдя пешком к вокзалу по всему проспекту Руставели с котомкой за плечами, еще выше, чем обыкновенно, подняв голову, в сопровождении своей Наденьки, державшей в руках нехитрый багаж. Публика удивленно провожала глазами их скорбное шествие, напоминающее уход пророка из нечестивого города. Со стороны это было смешно, а по-настоящему — бесконечно грустно и страшно.

Но жизнь есть жизнь. И Мандельштаму никто не мог помочь, даже друзья, которые его искренне ценили и верили в огромный поэтический талант.

Не помню точно, в какое время, очевидно в период, когда жил в наемных комнатах, он ожидал от горжилуправления обещанной ему квартиры. Утомленный вечными скитаниями, он был похож на ребенка, который ждет обещанного подарка. Бюрократический механизм работал медленно, и это приводило его в страшное возбуждение. Когда в ответ на посещение управления или на телефонный звонок ему пообещали что-то реальное и даже назвали определенный срок, он встретил меня радостно взволнованным.

— Ну вот, наконец я могу вас обрадовать. Через две недели мы вздохнем с Наденькой свободнее. У нас будет своя квартира. А сейчас Наденька приготовит чудесный плов, у нас много риса. Все идет хорошо. И вообще мы много недооцениваем:

так привыкли, что государство предоставляет нам совершенно бесплатно жилище, за которое за границей платят большие деньги, что не замечаем этого и требуем все больше и больше благ. Теперь я прочту вам мои стихи:

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о нежная чума!

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

Осипу Мандельштаму я посвятил свой сонет "Белая ночь":

Боюсь смотреть в окно. Дрожу, как в лихорадке.
Сквозь ткань тяжелую мне виден блеск лучей,
Такой пронзительный, как хмарь больных ночей...
И я лежу, томлюсь, прижавшись к кровати.

Минуты яростны, мучительны, не кратки.
А бледно-желтый свет, как отблеск от свечей,
Плывет и давит мозг... Сомкнуть не даст очей.
Беру из ящика бесцветные облатки.

И, будто сквозь туман, далекий, прошлый сон...
Луга зеленые напевных колоколен.
И чей-то милый зов, и чей-то тихий стон.

И взгляд очей моих молитвенно безволен...
Но ночь прошла уже. Я снова пробужден.
А может быть, все сон, а я тоскою болен?

В тот вечер я прочитал его Осипу Эмильевичу. И долго еще

звучали наши стихи, единственным слушателем которых была его Наденька. Это был один из лучших наших вечеров.

Через две недели прихожу к Мандельштаму и нахожу его расстроенным.

— Вы понимаете, что они творят с нами! Я только что вернулся оттуда. Вместо реальных ключей от квартиры получил тысячу словесных обещаний. Теперь они не называют даже срока. Это не только безобразие, это — издевательство! Я не могу так жить! Я напишу в Моссовет. Я не могу довольствоваться только небом, мне надо, чтобы над моей головой была крыша.

Я не знал, что мне ответить и как утешить его. Слов не было, но если бы они даже и нашлись, это вряд ли могло смягчить его гнев. Однако Наденька умела его успокаивать, и она это сделала. Судьба играла им, как кошка играет мышью, редко доставляя дни полного покоя и удовлетворенности, когда он мог не думать о куске хлеба. Нужда, по выражению Бориса Пастернака, протягивала пять пальцев костлявых рук к самым глазам, и, когда ему удавалось хоть немного отодвинуть эти пальцы, он бывал доволен, не мечтая о том, чтобы отодвинуть их окончательно. Это сравнение я применил к Мандельштаму, но образность его принадлежит Борису Пастернаку, когда он объяснял мне свое собственное материальное положение, осложненное тем, что, несмотря на большие гонорары, получаемые им от театров за шедшие в тот период пьесы Шекспира, которые он переводил, ему приходилось содержать большую часть многочисленной родни.

Рассказывают, будто Мандельштам, находясь в бедственном положении, пришел однажды в литфонд и начал выпрашивать у директора этого учреждения, какую сумму обычно ассигнуют на похороны писателя. Директор, чуя неладное, начал отшучиваться и наконец спросил Осипа Эмильевича, почему его это так интересует.

— Это же не секрет, — настаивал поэт, — назовите мне только сумму.

— Ну, раз вы так просите, — сдался наконец директор, — извольте... — И он назвал сумму.

Тогда Мандельштам якобы сказал:

— Тогда я вам пишу расписку, что в случае моей смерти не буду требовать денег, а эту сумму вы выдайте мне сейчас.

Может быть, Осип Эмильевич этого и не говорил, но это так похоже на него, что можно верить.

У Мандельштама не было ни мелких радостей, ни мелких бед. Ему предназначено было иное: высокое блаженство творчества и бездонная трагедия жизни. В нем была какая-то сверхъестественная чистота души и подсознательное стремление принести себя в жертву. Это неумолимо толкало его к трагическому концу.

Внешне Мандельштам мог казаться иногда неопрятным. Его

жена и верный спутник жизни Наденька, как вслед за ним называли ее все друзья Осипа Эмильевича, тщательно осматривала его костюм перед выходом из дому, вытряхивала пылинки табака из карманов, поправляла сползавший набок галстук, иногда обнаруживала даже крошки хлеба, прилипшие к жилету. Но, несмотря на это, он производил впечатление большей чистоплотности, чем все эти разутюженные и вылощенные крахмальные молодые люди и поэты, наводнявшие петербургские салоны.

В годы гражданской войны в Киеве, в вестибюле гостиницы "Континенталь", ко мне подошел Осип Мандельштам. В руках у него газета. Он жует бутерброд и радостно сообщает последнюю новость:

— Наши войска отвоевывают Крым. Дорога на курорты открыта. Идемте в кафе, обсудим поездку.

Зал переполнен. Кое-как устраиваемся на краю стола. Молодой человек, узнавший Мандельштама, шепчет что-то девушке, и они торопятся закончить свой завтрак, чтобы уступить нам место.

— В Крыму теперь хорошо, — улыбается Мандельштам. — В Киеве больше делать нечего.

Молодой человек обращается к поэту:

— Простите, Осип Эмильевич, но для въезда в Крым нужен пропуск военного коменданта Скрышника. И только его.

Мандельштам, откидывая голову, восклицает:

— Боже мой! Но ведь мы же не военные.

Молодой человек улыбается, вероятно представив Мандельштама в военной форме.

— И тем не менее пропуск выдается только Скрышником.

— Что же нам делать? — упавшим голосом спрашивает поэт.

— Обратиться к Скрышнику. Говорят, он любит литературу.

Мандельштам смотрит на него удивленно.

— Вы — поэт?

— Нет, но я не пропускал ни одного литературного вечера в Петрограде и видел всех поэтов.

Осип Эмильевич так занят мыслью о поездке на курорт, что не задерживает дальнейшими расспросами случайного собеседника.

— Тогда продумаем визит к Скрышнику.

— Надо поговорить с Георгием Шенгели, — посоветовал я, — он имеет очень солидный вид и красноречиво говорит.

— Да, да, Шенгели, — обрадовался Мандельштам... — Прекрасная идея — привлечь к поездке Георгия.

— Тем более что он мечтает поселиться в Крыму.

В тот же день мы повидались с Шенгели, и он обещал к завтрашнему дню подготовить докладную записку "План культурной работы в освобожденном Крыму". В ней говорилось, что мы на-

ладим эту работу. Мы и сами начали верить, что без нас красный Крым не может сделаться по-настоящему красным.

Через два дня мы были у военного коменданта.

Скрышник принял нас учтиво, но холодно. Шенгели долго излагал ему план будущей культработы в Крыму, подчеркивая важность этого мероприятия ввиду того, что Крым долгое время был оторван от Советской России. Там, особенно теперь, как воздух необходимы лекции и доклады по теории искусства, теории прозы и поэзии, а также театра и современной драматургии. Необходимо ознакомить рабочих и крестьян Крыма с классиками и современными поэтами России и Запада, с живописью, скульптурой, музыкой нашей родины и других стран.

Скрышник слушал внимательно, и это настораживало меня и Мандельштама, как прелюдия к вежливому отказу. Я на всякий случай взял с собой телеграмму А.В. Луначарского, пролонгирующую мою командировку в Крым. Наконец Шенгели умолкает. Наступает мертвая тишина. Я чувствую, как трещат швы нашей поездки. Вдруг лицо Скрышника преобразается. От холодной вежливости не остается и следа. Он смеется. Перед нами не комендант, а простой веселый парень. Шенгели ежится, чувствуя что-то неладное.

— Поэты захотели моря и загорелых баб, — говорит Скрышник. — Ну что же, поезжайте. — Он нажимает кнопку звонка. Входит адъютант.

Приказ коменданта лаконичен:

— Три пропуска в Крым. — Он приподнимается и жмет нам руки. В глазах его все еще не гаснут веселые искорки.

По дороге в "Континенталь" Мандельштам говорит Георгию Шенгели:

— Ваш доклад великолепен. Возьмите его с собой в Крым. Там он пригодится. Ведь не все же такие ценители литературы, как Скрышник.

При встречах с Мандельштамом мне всегда казалось, что его путеводная звезда находится не в небе, а в его сердце и оттуда испускает свои лучи, не всеми видимые, но ощущаемые. <...>

В своих публичных выступлениях Мандельштам всегда пользовался успехом. Он покорял аудиторию какой-то особой наэлектризованностью.

Читал он, сильно скандируя, с пафосом, который чрезвычайно шел ему. Как у Блока, Ахматовой, Есенина, Маяковского, у него была своя особенная манера чтения. Если бы он прочел свои стихи измененным голосом из другой комнаты, то и тогда можно было бы безошибочно определить, что это читает Мандельштам. В салонах он менее охотно, но все же иногда соглашался прочесть одно или два стихотворения. Но при случайной встрече среди малознакомых людей просьба кого-нибудь из присутствующих прочесть стихи вызывала у него гнев.

Однажды он так вскипел, что закричал:

— Поэзия — это профессия. Почему, если приходит в гости часовщик, его не просят исправлять часы, если приходит сапожник — ему не суют туфли, а портному не заказывают костюм? А когда в гости приходит поэт — обязательно просят читать!

При встречах с поэтами, которых он любил или находил заслуживающими внимания, и если он знал, что они сами любят и ценят его, то, не дожидаясь их просьбы, с большим удовольствием читал свои стихи. Так же охотно от читал их и не поэтам, а людям, любящим поэзию. Что касается чужих стихов, то у него была особенная манера. Если ему по-настоящему нравились чьи-нибудь стихи или хотя бы несколько строф или даже строк, он приходил в такой восторг, что видевшие его в первый раз могли даже усомниться в искренности этого восхищения, ибо такое восторженное отношение к чужим стихам не было частым у поэтов. Но те, кто знал Мандельштама хорошо, прекрасно понимали, что восторг этот искренний. В таких случаях он радовался так, будто сам написал эти стихи и очень ими доволен.

Единственным поэтом, у которого с Мандельштамом было что-то общее, был Велимир Хлебников: та же максимальная отдаленность от общепризнанности, те же внезапные порывы и решения, та же святая беспомощность. Оба они были не прилажены к любой "общественной машине". Напрасно некоторые западные журналисты пытаются направить острие трагедии Мандельштама против советского общества. Я глубоко убежден, что это трагедия индивидуальности, а не общечеловечности. В его натуре было слишком много взрывчатых веществ, и они взорвались бы в любой обстановке, при любых обстоятельствах, при любом общественном порядке. То же самое можно сказать и о Хлебникове, но Велимир для западных журналистов, настроенных враждебно к нашему строю, не подходит — он умер от сыпного тифа в 1922 году.

Мандельштам неоспоримо является великим поэтом нашей эпохи. Его стихи нужны были не петербургским салонам, они дороги и необходимы нашему поколению и будут так же дороги будущим поколениям советских людей.

Что больше всего ценного в Мандельштаме, кроме стихов, — так это кристальная чистота его души. Духовная чистота как бы выширала из всех пор его организма. Казалось, что там, в глубине этой души, вечно журчал прозрачный ручеек и что он так защищен природой, что в него не может просочиться ни одна мутная струя из посторонних источников. Он всегда был особенным человеком, к которому нельзя применять обычных мерок. Есть поэты, которые остаются людьми, ничуть не отличимыми от других. Таких — большинство поэтов. Осип Мандельштам был только поэтом. Все другое, кроме поэзии, было вытравлено из него. Он был поэтом, в котором каждая буква этого слова было большой. Весь мир он воспринимал сквозь

призму своего поэтического "я".

Его нельзя было не любить, как нельзя не любить ребенка, смотрящего на нас своими еще не замутненными суровой жизнью глазами. И он действительно был большим ребенком и большим, ни с кем не сравнимым поэтом, даже среди несравнимых. Про некоторых людей говорят — "комочек нервов". Про Мандельштама можно сказать — "комочек стихов". Большинство глубоко эмоциональных людей, при всей их привлекательности, вскоре нас утомляют. Мандельштам не утомлял, а успокаивал. Он всегда был самим собой и никого не напоминал, даже отдаленно. Он был уникальной личностью. И это несмотря на то, что внешне он ничем не отличался от других, когда разговаривал, спорил или читал стихи. Мне иногда кажется, что во всем мире не было и не могло быть похожего на него человека. И не было такого поэта, с которым его можно было бы сравнить.

Осип Мандельштам не мог войти безболезненно ни в какую эпоху и ни из какой эпохи не мог выйти безболезненно, потому что сам был эпохой, той эпохой, которая грезится нам в редкие минуты, когда мы бываем самими собой, когда мы возвышаемся над всеми условностями и как бы выходим из своего собственного тела. Какое счастье знать, что такой человек мог появиться, вернее, пролететь над нами метеором. Опускаются руки. Делается больно и за себя и за всех, кто не мог отстранить железного меча судьбы, разрубившего нашу кровную связь с большим, неповторимым поэтом и большим святым ребенком, оставленным нами на улице в сутолоке скрежещущих трамваев...

1988

РАЗГОВОР В ТРЕХПРУДНОМ

Я простудился и несколько дней не выходил из дому. Вышло как-то так, что один за другим, не сговариваясь между собой, навестить меня зашли Осип Мандельштам, Борис Пастернак и Велимир Хлебников. Где находился Мандельштам — была поэзия, хотя сам он не любил читать стихи, а иногда сердился, когда его об этом просили. Борис Пастернак тоже не особенно охотно читал, в противоположность многим поэтам, мечтающим, чтобы их просили выступить.

Разговор зашел о поэзии. Мандельштам сказал:

— Стихи должны убивать или возрождать, сжигать, как огонь, или обжигать, как лед! Быть бальзамом или плетью. А если они не то и не другое — значит, это манная каша, которая не нужна никому, кроме беззубых стариков и старух. Манная каша остается манной кашкой, ни изюм, ни миндаль ей не помогут.

Хороших поэтов, я говорю о живых, а не о мертвых, у нас наперечет, а хороших стихов и того меньше.

Трагедия русской поэзии в том, что у нас нет больше Белинского, да и вряд ли будет.

Читатели, как бы образованны они ни были,—это стадо овец, которые не могут обойтись без пастуха. Эту роль в литературе играл Виссарион Григорьевич. Поэзии необходим критик, как живому организму вода.

Без умного, скромного, совестливого, раз и навсегда нащупавшего пульс подлинной литературы критика поэзия не может быть выведена на свет божий.

Она будет существовать вечно, но жить в потемках, в подземелье, никому не ведомая и не нужная. Не путайте поэтов со стихотворцами. Эти всегда будут наполнять здания редакций, конференц-залы академий и дворцы владык, и среди этих толп раз в несколько веков вы найдете Гёте, Державина, Пушкина. Страшно делается, когда вспоминаешь наших критиков двадцатого века. Айхенвальд, Измайлов, Арабажин, Антон Крайний...

Не благодаря им, а вопреки Блок стал Александром Блоком, а Гумилев — Николаем Гумилевым.

Хлебников слушал молча. Со стороны могло показаться, что он не столько слушает, сколько думает о чем-то другом, но несомненно связанном с тем, что говорил Мандельштам. Воспользовавшись паузой Осипа Эмильевича, он сказал тихим, приглушенным голосом:

— А нужен ли пастух вообще? И кто может определить, каким он должен быть? Пусть стадо остается стадом, но ведь, кроме овец, существуют и мыслящие люди. Пусть они сами решают, какая поэзия им ближе и дороже. Нет поэтов и нет стихотворцев. Есть люди, которые называют себя поэтами, и есть люди, которые дают это звание другим. Такие звания похожи на табель о рангах. В царской армии были чины генерала от инфантерии, генерала от артиллерии. Цари не додумались установить чин генерала от поэзии. Ниже рангом — стихотворцы, ну а самый низший чин — рифмоплет. Мне кажется, вы, — обратился он к Мандельштаму, — сами того не желая, попали в сети старых образов и мыслей.

Осип Эмильевич расхохотался.

— Дорогой Велимир, с вами невозможно говорить серьезно. Вы — ребенок, пусть гениальный, но все же ребенок.

Хлебников не обиделся, но и не улыбнулся. Он сидел, как всегда, полуприсутствующий и полуотсутствующий.

Мандельштам продолжал:

— Я говорю о реальных фактах и обстоятельствах. А вы взлетаете к небу и парите в облаках. Для вас не существует ни больших городов, ни типографий, ни журналов, ни газет, ни Соляного городка и Тенишевского училища в Петрограде, ни

Политехнического музея в Москве. Поэты для вас не живые люди, а мертвые схемы. Должно быть, небо, звезды, облака — это и есть поэзия, но она не может существовать без людей.

— Мы говорим на разных языках, — тихо сказал Хлебников, как бы невидящими глазами смотря на Мандельштама.

— Давайте говорить на каком-нибудь одном.

— Все это не то, что нам надо сегодня, — сказал Борис Пастернак, мягкой улыбкой как бы желая примирить спорящих, — мы не можем переделать мир в один день. Революция — не английский парламент, мы сейчас на вулкане и должны стремиться к тому, чтобы он не был губительным для литературы. Дело не в рангах и вкусах, а в самой сущности поэзии. Она всегда будет неровной, спорной, всегда будет двигаться и никогда не остановится. Это вулкан в вулкане революции.

В это время неожиданно открылась дверь и вошел Клюев. <...>

Немногоречивый Хлебников совсем умолк и был похож на замерзшего ежа. Мандельштам вскинул голову и сидел неподвижно, как мраморное изваяние. Пастернак беспомощно смотрел по сторонам, словно никого не узнавал, лишь глаза горели на совершенно потухшем лице. <...>

Первым поднялся Мандельштам. Он умел быть изысканно вежливым и с петербургской учтивостью простился со всеми.

Я заметил, Клюев растерялся, пожимаая руку Мандельштаму.

Когда все разошлись, Хлебников сказал:

— Вы не сердитесь, что я остался? Мне очень хочется, чтобы ваша Нюра принесла еще один самовар.

Я улыбнулся.

— Наши желания совпали. Самовар сейчас будет.

ВСТРЕЧИ С МАНДЕЛЫШТАМОМ

Осипа Эмильевича Мандельштама я очень любил, знаком был с ним в течение семнадцати лет, довольно часто встречал его, но никогда не был с ним близок — отчасти из-за разницы в возрасте, отчасти оттого, что он, со свойственной ему откровенностью, никогда не скрывал от меня пренебрежительного отношения ко всему, что я писал. Ему чужды были не только мои робкие литературные попытки, но и весь строй моих литературных пристрастий. < ... >

Когда-то учился он, подобно мне, в Тенишевском училище в Петербурге, но окончил его лет на пятнадцать раньше меня. В 1918 году он уехал из Петрограда в Крым.

Впервые я увидел его в конце 1920 года, когда он вернулся в Петроград из Крыма, только что освобожденного от Врангеля. Подобно Волошину, он предпочел остаться в Советской России. Перед приходом в Крым наших он жил в Феодосии и там написал:

Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

В Петрограде его поселили в Доме Искусств на Мойке, 59; дали ему комнатенку возле комнаты Михаила Слонимского. Мандельштам был невысокий человек, сухощавый, хорошо сложенный, с тонким лицом и добрыми глазами. Он уже заметно лысел, и это его, видимо, беспокоило, потому что одно его стихотворение начиналось так:

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пушкина — и знал это. Вскоре после его приезда в Доме Искусств был маскарад, и он явился на него замаскированный Пушкиным — в сером цилиндре, с наклеенными бачками.

По просьбе моих товарищей-тенишевцев я как-то раз привел его в Тенишевское училище почитать стихи, подобно тому как приводил раньше Гумилева. Он пришел охотно, хотя, ка-



Ф. О. Вербловская, мать поэта

Э. В. Манделъштам, отец поэта

О. Манделъштам /слева/ с братом Александром. Ок. 1897 г.

Осип Манделъштам. Ок. 1910 г.



1910-е годы



1909 /?/ г.



Осип Мандельштам в Выборге. 1912 /?/ г.

Осип Мандельштам. Рис. А. Зельановой-Чудовской. Ок. 1914 г.

Титульный лист первого сборника стихотворений О. Мандельштама "Камень". 1913 г.



1914 г.



1914 г.



Осип Мандельштам. Рис. тушью П. В. Митурича. 1915 г.



Осип Мандельштам. Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц, Юрий Анненков. 1914 г.





Анна Ахматова



Портрет О. Манделыштама работы Льва Бруни



1920-е годы

Дорогая мамочка! 20 мая 1916

У нас все устало и вышло благополучно.
Шуре оправился и вошел в колею мирной
жизни. Братве не скучает и старинный
советник много. Мудрено же нас возила
в Венгрию с большой полкой: абра-
милы, ушны и пубертеторны; ^в ^{матри-} ^{ст-}
отличной, на сцену львиного театра, верну-
лись утром, отдохнувши за вечерней
днем. Обязательна особа сюда свои зра-
менты, узнай по телефону сроки и пришло
древнюю философию Вандербанда или
Шварцмана. Получили вторую комиссию.
Милая мама, какими мы, а как и с сою-
зить на мое возвращение - могу ли я выжи-
вить в П. Надравле с полбратеньком.
Молодого меня! Удачи - успехов!
Дед.

2.

Никто ничего не отнял, —
Миб сладостно, что мы врозь!
Цблчу Вася через еотна
Разведиияющих верств.

Я знаю: нашъ даръ — неравенъ,
Мой голо — впервые — тихъ.
Что Вамъ, молодой Державикъ,
Мой невоспитанный стихъ!

На страшный полетъ крещу Вася:
Лети, молодой орелъ!

Ты солнце стерпѣль, не щурясь, —
Юный ли взглядъ мой тяжелъ?

Итѣжнѣи и безповоротнѣи
Никто не глядѣль Вамъ вельдѣи...
Цблчу Вася — через еотни
Разведиияющих лѣтъ.



Автограф стихотворения
Марины Цветаевой
О. Мандельштаму

Рис. художника Сергея
Галлербаха. 1923 г.



Рис. Алексея Ремизова. 1920-е годы



Георгий Чулков, Мария
Петровых, Анна
Ахматова, Осип
Мандельштам
/слева направо/



Титульный лист
второго сборника
стихотворений
О. Мандельштама
"Tristia". 1921 г.



Фото М. Наппельбаума. Ок. 1925 г.



Титульный лист книги О. Мандельштама "Шум времени" с дарственной надписью Н. Штемпель.



Александр Мандельштам, Мария Петровых. Эдуард Мандельштам, Надежда Мандельштам, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Москва, 1934 г.

Мой щегел, я шлебу сякинчу
Польодик на мир вдвоем
Заминий деиб, колыкий, как лавина
Так ли жезик в зрачке твоем?

~~Детский рот жуёт свою мякину,
Улыбается, жудя,
Словно щегель, голову закину
И щегла увижу я.~~

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску вишн,
~~узнаешь ли?~~ - до него щегол ты,
До чего ты щеголовит!

И распрямится черничной дробью
Мелет ~~в~~ ^{я до} камни глаз,
~~и откажись~~ своему подобью
Жить щеглу: вот мой указ!

И сади би выпрыгнул из доды
Теле кудри и когти
Чтоб улететь криские щеглы

~~и рисунком в се дру
Тыкна аму щеглы аму
Краса сон, и не со... в щеглы
Влеп щеглы в щеглы~~

Мандельштам - был еще мальчик
на воспоминан - гитлер.

В Мандельштам
в 1936 г.

Щеглы - это не щеглы
Щеглы - это не щеглы
Щеглы - это не щеглы
Щеглы - это не щеглы

Запись Н. Мандельштам
стихотворения "Мой
щегел..." с правой рукой
О. Мандельштама.
Воронеж, 27 декабря
1936 года.

1930-е годы



Надежда Мандельштам.
1930-е годы





1930-е годы



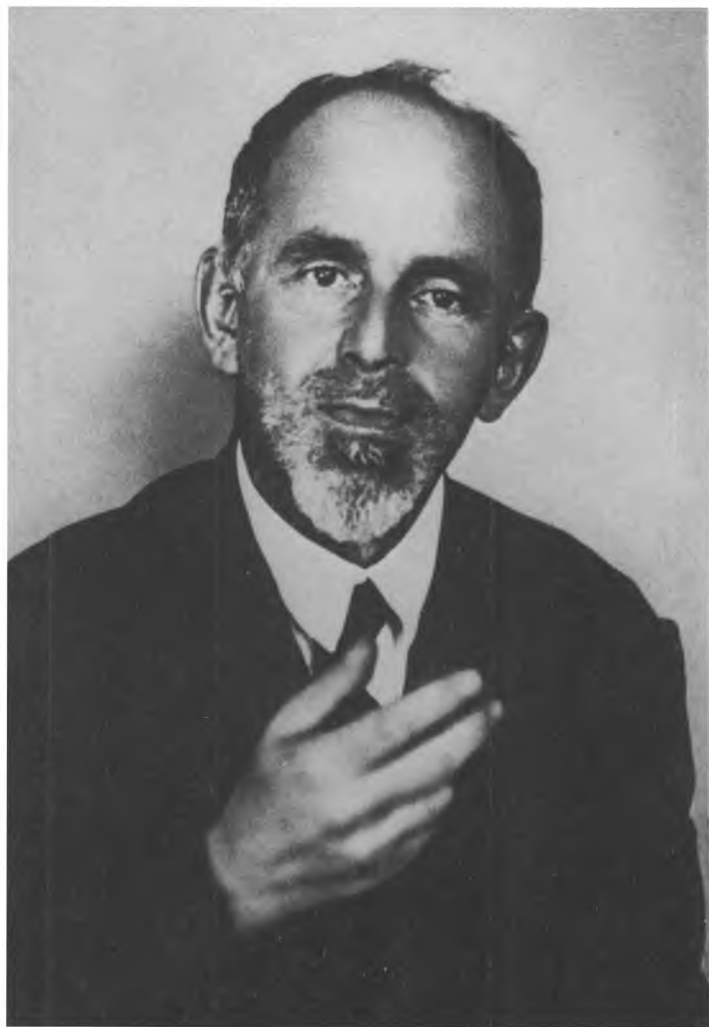
Последняя фотография
О. Мандельштама из
личного дела в Бутырской
тюрьме. Август 1938 г.



Дом агронома Е. П. Вдовина на ул. Швейников, 4 б; вторая квартира – Манделыштамов



Н. Штемпель. Воронеж. 1936 г.





Силуэт Манделъштама
работы Е. Кругликовой



Дом Искусств



Р.Ивнев и О.Мандельштам. Харьков, 1919 г.



Рис. В. Милашевского

КОНСЕРВАТОРИИ

Воскресенье, 26-го сентября

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРЬ ПОЭТОВЪ

О. МАНДЕЛЬШТАМА

..... И

И. ЭРЕНБУРГА

I. Гр. Робинидзе — Слово о новой русской поэзии.

II. И. Эренбург — Искусство и новая проза.

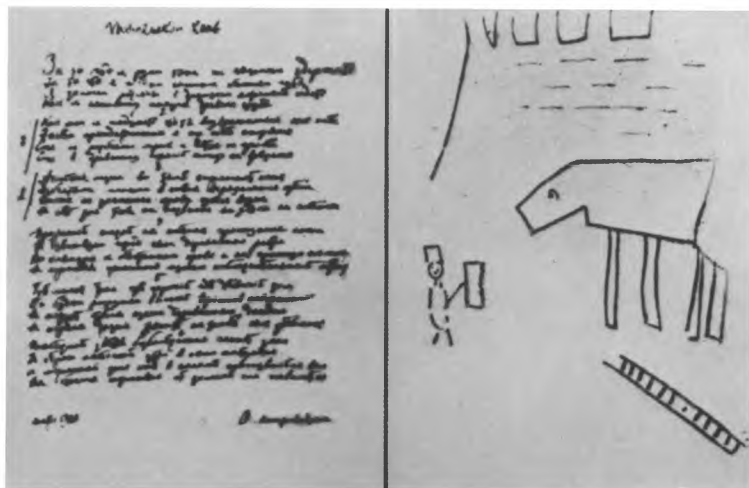
Стихи из книги: „Огонь“ и „Новая Зора“

III О. Мандельштамъ — Стихи из книги „Камея“ и новые стихи.

IV. Н. Н. Ходотовъ — Стихи О. Мандельштама и И. Эренбурга.



Объявление в газете «Грузия» о вечере О.Мандельштама и И.Эренбурга в Тифлисе 26 сентября 1920 г.



Автограф стихотворения «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и рисунок О.Мандельштама из рукописного журнала «Новый Гиперборей» (1921, №1)



Обложка третьего издания книги «Камень» (1923). Худ.
А.Родченко



Обложка книги «О поэзии»
(1928). Худ. Д.Митрохин



Обложка книги
«Египетская марка»



А.Белый (первый слева во втором ряду) и О.Мандельштам (первый справа во втором ряду) на ступенях дома М.Волошина в Коктебеле. Лето 1933 г.



Фасад дома 1/5 по ул. Фурманова, где в 1933-1934 гг. жил О.Мандельштам (дом не сохранился)

Мастерица виноватых
Мастерица виноватых
Умная и красивая
В своем искусстве
И в своем характере

Хотел чтоб ты была
Родилась была: да, родилась!
И, конечно, станешь
Красивой и умной

Но не жди от нас
Ничего, кроме
А только твою
И твою красоту

Мастерица виноватых
Умная и красивая
И в своем искусстве
И в своем характере

И в своем характере
И в своем характере
И в своем характере
И в своем характере

Мастерица виноватых
Мастерица виноватых
И в своем характере
И в своем характере

12-14/5.

М.



О.Мандельштам. 1937. Рис. А.Осмеркина

жется, нисколько не был растроган посещением школы своего детства. Мы все в то время знали только одну его книгу стихов — "Камень", — вышедшую перед первой мировой войной. Особенной известностью пользовались те стихи из "Камня", в которых умно и красноречиво описывались знаменитые памятники архитектуры: "Айя-София", "Notre Dame", "Адмиралтейство". За эти изысканные и умные стихи, написанные очень торжественным тоном, насмешники прозвали Мандельштама "мраморной мухой". Меня же эти великолепные стихи, отчетливо отразившие все основные каноны акмеизма, оставляли равнодушным. В "Камне" меня волновало другое — то, что находилось как бы на периферии этой книги. Меня удивляло точностью, простотой, ритмом и умом стихотворение Мандельштама, написанное им еще в ранней юности, в 1909 году:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Некоторые стихотворения "Камня" поражали меня еще одной чертой — правдивостью изображения, реалистичностью.

Вот, например, изображение оперного спектакля в восьми-стишии из "Камня":

Летают Валкирии, поют смычки —
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров...
«Карету такого-то!» — Разъезд. Конец.

Но больше всего во всем "Камне" нравилось мне стихотворение "Петербургские строфы" — о дореволюционном Петербурге.

Начиналось оно так:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна...

Это поразительное по изобразительной точности и ритмике стихотворение особенно трогало меня своим концом, где внезапно появлялся Евгений из "Медного всадника" — нищий интеллигент-разночинец, противопоставленный императорскому Петербургу:

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Этот образ нищего разночинца, столь чуждый снобам-акмеистам, появился в "Камне" только один раз, и еще трудно было предугадать, какое большое место суждено ему было занять в дальнейшем творчестве Мандельштама.

Из более поздних его стихотворений я в то время знал только одно — то, в котором он отрывается от "Камня":

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою, —
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо:
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки!

Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамейках в зале, где на переменах играли в пятнашки, а он стоя читал перед нами — торжественно, нараспев, задирая маленькую голову, как молодой петушок. Он объяснил нам, что русская поэзия по духу — эллинистическая и что в возврате к эллинизму лежит единственный путь ее очищения. К этим взглядам пришел он под влиянием своих крымских впечатлений, потому что в Крыму ему все напоминало Элладу. Часа два читал он нам все новые и новые стихи, в которых поминались Персефона, Пиэрия, ахейские мужи, Троя, Елена. Смысл этих стихов дошел до меня гораздо позже, а тогда я был заморожен их звуком. Манделыштам читал, подчеркивая звуковую, а не смысловую сторону стиха, а я с наслаждением слушал, что он делает из сочетания звуков "д", "р" и "е":

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Или такого изящного разнообразия русских "е" добивался он в двух строчках:

Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!

Помню два его стихотворения о Петербурге, написанных уже после революции. Первое из них написано было еще в 1918 году, перед отъездом в Крым, когда холодный, замерзающий Петроград перестал быть столицей и стремительно пустел. Оно начинается так:

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь, —
Твой брат, Петрополь, умирает!

Второе стихотворение о Петрограде он написал в Крыму, при Врангеле. Оно полно тоски по родному городу:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

В Петрограде он прожил тогда до весны 1922 года, и я встречал его в Доме Искусств и у Наппельбаумов. Из Дома Искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченых рамах, потолок высочайший, со ступившейся под ним полутьмой, в углу старинные часы величиной со шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц и число месяца. Манделыштам лежал на кровати, лицом к окну, Неве, и курил, и в комнате не было ничего принадлежавшего ему, кроме папирос, — ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту — безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада.

Я вспомнил эту комнату, Неву за окном и часы, отмечающие месяцы, прочитав впоследствии его стихотворение "Соломинка", казавшееся многим непонятным:

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, — Лигейя, умирање —
Я научился вам, блаженные слова.

Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. С этого времени начались мои близкие с ним отношения, потому что в Москве он оказал мне большую услугу и выручил меня из беды.

Это была моя первая поездка в Москву и вообще первая сколько-нибудь дальняя поездка — до тех пор я никогда не

ездил из Петрограда дальше Пскова.

Попал я в Москву следующим образом. Мне было восемнадцать лет, я писал стихи и страстно мечтал увидеть их напечатанными. Не то чтобы я считал свои стихи прекрасными, вовсе нет, я был о них скромного мнения. И все же я только о том и думал, как бы их напечатать. Необъяснимая непоследовательность. Но что поделаешь, так было. К моему горю, никто не изъявлял желанья их напечатать. И я решил напечатать их сам. < ... >

Осип Эмильевич отнесся к "Ушкуйникам" с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.

— Ну, это мы сейчас уладим, — сказал он мне. — Пойдемте.

И он повел меня по раскаленным московским улицам и привел в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне Манделыштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям железных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же купили у меня накладную на "Ушкуйники" и сразу же заплатили мне за нее один миллиард рублей. < ... >

< ... > Потом я встречался с Манделыштамом на протяжении еще пятнадцати лет. Он то пропадал на многие месяцы и даже годы из моего поля зрения, то возникал опять. У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости — он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор, пока не надоедало, и ехал в какое-нибудь другое место. Так жила он в Тбилиси, в Ростове, в Перми.

Конечно, немало жил он и в Москве. Не раз приезжал он и в Ленинград. Я встречался с ним главным образом в Ленинграде.

Он всегда был крайне беден, и каждый день в обеденный час начинал думать о том, где бы достать несколько рублей, чтобы пообедать.

Он был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. Обижаясь, он по-петушиному задирал маленькую свою голову с перышками редеющих волос, выставлял вперед острый кадык на тощей, плохо бритой шее и начинал говорить об оскорбленной чести совершенно в староофицерском духе.

Когда в 1913 году Манделыштам написал: "Самолюбивый, скромный пешеход — чужак Евгений — бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!" — он изобразил самого себя. Это он и был всю жизнь самолюбивым пешеходом. Он вырос в императорском Петербурге среди военных парадов и карет с гербами, но отец его был мелким торговцем кожей, и ни к парадам, ни к гербам маленький Осип не имел никакого отно-

шения. Он правдиво и точно написал об этом в стихотворении двадцатых годов "Лэди Годива":

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевой
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

(...) В последнее десятилетие своей жизни он внешне уже несколько не походил на Пушкина. Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навестил его как-то летом, когда он жил в Детском Селе. Он поразил меня своей нервозностью, душевной угнетенностью. Он очень много говорил, то вскакивал, то садился; иногда он вдруг опускал голову на стол, и, когда поднимал ее, в глазах его стояли слезы. Курия, Осип Эмильевич обычно не пользовался пепельницей; пепел с папиросы он стряхивал себе за спину через левое плечо. И на левом плече его всегда собиралась горка пепла.

В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах у Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал "стрелой".

— А мы на час позже, — сказал он. — Мы пошли бы посидеть в ресторан, но...

В наступившие вскоре недобрые времена его выслали в Воронеж. Выслали без всякой вины, а просто так, потому что он был

Как беззаконная комета
Среди рассчитанных светил.

Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбежал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз.

Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на канале Грибоедова, 9, в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал, кроме Стенича и его жены, Манделыштама с Надеждой Яковлевной и Анну Андреевну Ахматову. Манделыштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Манделыштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу Манделыштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что вышедшей тогда "Второй книги стихов" Заболоцкого; он читал, восхищаясь, но Ахматова слушала сдержанно, а Манделыштам со свойственной ему прямоотой сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла "Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки..." — стихотворение, которое мы все хорошо знали. Хозяева повели нас в соседнюю комнату к столу. Стол был не роскошен, но на нем стояло несколько бутылок вина.

Выпив вина, Манделыштам оживился. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую, угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие лапы, плыли в воздухе над столом.

На другой день он уехал. Через неделю Стенич был арестован. Потом был арестован и Манделыштам. Оба они погибли.

А я навсегда запомнил одно из самых последних его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

И влать, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там, все равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич.
Чего там! Все равно!

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

(фрагмент)

⟨...⟩ По давно заведенной традиции каждую осень, когда в университет съезжались после летних каникул студенты, на доске объявлений повисал незаметный белый билетик: "Такого-то октября в аудитории романо-германского отделения под председательством профессора Д.К. Петрова состоится вечер стихов. Поэтов-студентов, желающих принять участие в вечере, просят представить свои стихи для предварительного ознакомления". ⟨...⟩ Я отчетливо видел всю детскую беспомощность и рабскую подражательность собственных поэтических опытов. И все же решился показать их одному из членов жюри, поэту О. Мандельштаму.

Мы стояли в полутемном проходе у длинного книжного шкафа, и в его пыльном стекле я все время видел свою смущенную фигуру и острый, несколько вздернутый профиль поэта с хохолком над лысеющим точеным черепом. Низенький, щуплый, невзрачный с виду, он не был похож на "жреца муз", но высоко поднятая несоразмерно большая голова, величественный, несколько театральный жест, высокомерная витиеватость речи и какая-то общая надменность осанки заставляли слушать его молча и почтительно. И только большие синие глаза с длинными, редко расставленными ресницами взглядывали порой с почти ребячьей наивностью и обезоруживающим добродушием, что совершенно не вязалось со строгой и придирчивой суховатостью голоса.

— Скажите, вы совершенно убеждены в том, что это поэзия?

Я промолчал, дипломатически выжидая, что будет дальше. Начало не сулило мне ничего хорошего. Поэт продолжал, вздернув хохолок и изредка поглядывая как-то сбоку острым, умным глазом птицы:

— Не всякие стихи можно отнести к природе поэтических явлений. Метра и рифмы еще недостаточно. Нужен ритм. Нужны образы, и притом в свежей, неповторимой системе.

Все это он произнес жреческим, не допускающим возражения тоном, засунув руки в карманы пиджака, и словно жжал локтями свою тонкую фигурку. Дальнейшее он говорил, слегка покачиваясь на носках, декламаторски повышая и понижая голос. "Однако мало в нем простоты", — неприязненно подумал я, но уже не мог оторвать внимания от его прерывистой, толчками развертывающейся речи.

— Самое ценное в поэзии — это неожиданность. Понятия должны вспыхивать то там, то тут, как болотные огоньки. Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому логическому уставу. Только он лежит где-то там, в глубине, и не сразу доступен. Вы знаете, в чем основной ваш недостаток?

— Кажется, да. Я увлекаюсь подробностями. Может быть, и тут есть что-нибудь лишнее?

— Если вы действительно так думаете, то я вас поздравляю. Поэтическая строка — это сама краткость. Это почти текст телеграммы. Лучшие слова в стихотворении не произнесены. Их нужно найти тому, кто вас слушает. И только ваша вина, если они будут найдены неправильно или неточно. Поэт дает только ассоциации, и в этом вся сила его воздействия.

— Позвольте, а как же Пушкин? Поэты античности? И вообще поэзия прямо направленной речи?

— Она существует. Еще бы! Но главное в ней — не этот прямой смысл, а интонация автора. Не будь интонации, поэзия обратилась бы в алгебраическую формулу, в ритмизованную теорему и оголенный силлогизм... Но все это требует пояснений и завело бы нас слишком далеко. Вернемся к вашим стихам. Вы еще злоупотребляете прямой речью и еще не освободились от пристрастия к ложному украшательству. Словарь ваш ограничен, и к привычным словосочетаниям вы еще не испытываете особой боязни. Небо у вас всегда "голубое", а море "бурное". Но у вас все же обнаруживается вкус. И чувство экономии слов в строке. Этого достаточно для начала. Когда вы научитесь болезненно ощущать пустоты строфы и хоть немного почувствуете прелесть неожиданных и неповторимых образных сочетаний, можно будет сказать, что для вас кончилось стихотворчество и начались стихи.

— Но, мне кажется, все это признаки внешние. Суть не в этом, а в чувстве поэта, в его поэтическом сознании...

— Быть может, это и так. Но что такое "чувство", "сознание"? Все это условности. Дурные, неточные слова. Как их определить? На каких весах можно взвесить? Боюсь, что мы до конца не поймем друг друга. Другое дело — уже завершенное стихотворение, уже конкретно существующий факт. Он поддается и поддается анализу.

Я опять промолчал. Поэт вдруг улыбнулся неожиданно и даже добродушно.

— А впрочем, все это высокая и сложная материя. Мы еще вернемся к нашей беседе, если хотите. Что же касается вашей тетрадки, то из четырнадцати стихотворений я два нашел вполне достойных. И будет очень хорошо, если вы с ними выступите на нашем вечере.

И он милостиво, почти как король, пожал мою руку. Потом после небольшой заминки добавил:

— Нет, в самом деле, вполне достойные стихи. Но вы должны писать лучше. Поэту подобает жить не тем, что он напишет. А теперь давайте разберемся подробнее.

И с карандашом в руках прочел со мною всю мою тетрадь.

Я уходил со смутным и странным чувством. Все мое представление о поэтическом слове было перевернуто, смещено. За одной загадкой вставала другая. Все, что я писал до сих пор, показалось мне неверным, неточным, робким. И вместе с тем я не мог и не хотел до конца принять многие утверждения моего старшего собеседника, хотя и чувствовал справедливость некоторых его замечаний. Во всяком случае, я впервые усомнился в непогрешимости своей поэтической работы, и это было для меня началом новой, раскрывающей необычные горизонты дороги. (…)

1962

ВСТРЕЧИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ

⟨...⟩ В 1920 году я переехал в Ленинград, считая себя если не выдающимся, то по меньшей мере значительным поэтом. Юрий Тынянов, которому я прочел свои стихи, сказал: "В тебе что-то есть" — и посоветовал писать прозу. ⟨...⟩ Шкловский выслушал мои стихи и сказал: "Это элементарно". Его жена, чтобы утешить меня, положила лишнюю крупинку сахара в мой стакан чаю.

Тогда я пошел к Мандельштаму. Это был худенький, узкоплечий, среднего роста неприветливый человек, с высоко закинутой гордой головой. Он выслушал мои стихи и сказал:

— От таких, как вы, надо защищать русскую поэзию.

Эту мысль он впоследствии развил в статье "Армия поэтов", и мне кажется, что она до сих пор не устарела.

Следя за полетом его мысли, я понял, что поэзия не существует сама по себе, если она не стремится запечатлеть внутренний мир поэта. Никому не нужен даже самый искусный набор рифмованных или белых строк.

Эта первая встреча с Мандельштамом запомнилась мне. Он принял меня как невоспитанного человека, который, не снимая шапки, осмелился войти в храм.

С тех пор я перестал писать стихи и начал в прозе передавать их своим героям.

Ю.Н. Тынянов рассказал мне, как Мандельштам, студент Петербургского университета, сдавал экзамен по классической литературе. Профессор Церетели, подчеркнуто вежливый, носивший цилиндр, что было редкостью в те времена, попросил Мандельштама рассказать об Эсхиле. Подумав, Мандельштам сказал:

— Эсхил был религиозен.

И замолчал. Наступила длительная пауза, а потом профессор учтиво, без тени иронии продолжал экзаменовывать.

— Вы нам сказали очень много, господин студент, — сказал он. — Эсхил был религиозен, и этот факт, в сущности говоря, не нуждается в доказательствах. Но, может быть, вы будете так добры рассказать нам, что писал Эсхил, комедии или трагедии? Где он жил и какое место он занимает в античной литературе?

Снова помолчав, Мандельштам ответил:

— Он написал "Орестею".

— Прекрасно, — сказал Церетели. — Действительно, он написал "Орестею". Но может быть, господин студент, вы будете так добры и расскажете нам, что представляет собой "Орестея".

Представляет ли она собою отдельное произведение или является циклом, состоящим из нескольких трагедий?

Наступило продолжительное молчание. Гордо подняв голову, Мандельштам молча смотрел на профессора. Больше он ничего не сказал. Церетели отпустил его, и с независимым видом, глядя прямо перед собой, Мандельштам покинул аудиторию.

Ю.Н. рассказал мне этот случай, изображая то Мандельштама, то Церетели, хохоча и спрашивая не то меня, не то себя:

— Ведь даже по его стихам прекрасно видно, что он знал классическую литературу.

Разумеется, и я не сомневался в этом.

Но самая обстановка экзамена, роль студента, атмосфера, казалось бы, самая обычная, были чужды Мандельштаму. Он жил в своем отдельном, ни на кого не похожем мире, который был бесконечно далек от этого экзамена, от того факта, что он должен был отвечать на вопросы, как будто стараясь уверить профессора, что он знает жизнь и произведения Эсхила. Он был уязвлен тем, что Церетели, казалось, сомневался в этом.

Конечно, жизнь показала ему, что он причастен к действительности. Хотя бы потому, что она грубо расправилась с ним. Но этот случай глубоко для него характерен.

Когда бы я ни встречался с ним, мне всегда казалось, что он не может найти своего дома. И хотя первые годы революции он пытался служить в каких-то культурно-просветительных учреждениях и даже старался быть, как все, это у него просто не получалось.

Когда я в 1924 году кончил университет, руководители института истории искусств предложили мне вести семинар по современной прозе. Одновременно со мной был приглашен Н. Тихонов — вести семинар по поэзии.

Некоторые мои слушатели были старше меня, и среди них я могу назвать будущих первоклассных историков русской литературы А.В. Федорова или Лидию Гинзбург. Впоследствии я написал о работе этого семинара книгу "В старом доме". Случалось, что мы устраивали совместные обсуждения, полезные не только для слушателей, но и для нас. Иногда Тихонов приходил на мой семинар, я в свою очередь часто бывал на его занятиях. Обстановка была скорее домашняя, чем академическая. На одном совместном обсуждении присутствовал Мандельштам. Почти все слушатели писали стихи или прозу, и не было ничего удивительного в том, что на одно совместное обсуждение пришел Мандельштам. И обычные занятия вдруг превратились в ожесточенный спор, запомнившийся, потому что в нем отразились характерные черты литературы двадцатых годов. Стоит назвать даже более точную дату. Спор этот происходил в 1926 году. Тихонов, недавно отказавшийся от "голой скорости баллады", был под ударами критики, утверждавшей, к сожалению, что "золотая цепь его творчества порвалась". Мы были близ-

кими друзьями, и я помню, как в наших разговорах он часто со смехом цитировал эту фразу. С иной стороны подошел к повороту в его творчестве Мандельштам, для которого и старое и новое в поэзии Тихонова было не только чуждо, но враждебно. Гордо закинув голову, полузакрыв глаза, Мандельштам возражал против предметной поэзии, называвшей вещи своими именами. Для него творчество Тихонова было бумажной поэзией. Для него голый смысл слова легко соединялся и с новым и с прежним признаком поэзии Тихонова. Он считал, что этот смысл равен кратчайшему расстоянию между двумя точками, то есть некоей прямой, которая по своему существу вообще далека от поэзии, "в то время как это расстояние — бесконечность". Это была защита права поэзии на пророчество, на разговор с вечностью.

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется...

Эти стихи требуют от читателя равенства между ласточкой и словом. Если бы это было прозой, читатель потребовал бы от автора рассказа о том, чем будет заниматься эта ласточка-слово в чертоге теней, как ее встретят прозрачные сестры, с которыми она будет играть. В поэзии Мандельштам дерзко отнимает у читателя эту скромную возможность. И действительно, слова о ласточке не могли взлететь в поэзии Тихонова, потому что он видел все вокруг ясными немигающими глазами. Жилистый, красный, худой, даже какой-то вогнутый, затянутый по-солдатски ремнем, Тихонов возражал уверенно, с глубоким знанием классической и современной поэзии.

Бывший солдат-кавалерист, он отстаивал свою позицию так же смело, как он сделал бы это на войне. Он не отрицал колеблющегося, идущего на ощупь поэтического слова, но был уверен, что будущее принадлежит не ему. Акмеизм — достояние прошлого. Он не найдет себе места в современной поэзии, потому что исчерпал себя до революции, а революция изменила отношение к слову. Он предпочитал меткость, отчетливость, ясность, развертывающуюся мысль, которая не должна и не может нуждаться в изысканности, отгадке. Они схватились друг с другом, как вожди двух армий. И это была схватка не на жизнь, а на смерть. Впрочем, студенты не находили ничего исключительного в их споре. Свидетелями подобных схваток они бывали не раз.

Мандельштам был не только одним из лучших в России лирических поэтов, он был тонким теоретиком поэзии. Самые крупные, давно ставшие классиками русские поэты Ахматова, Пастернак считали его новатором, продвинувшим русскую поэзию так далеко, что, как они думали, она может быть оценена

только через много лет. Он был способен на отчаянные поступки. Как поэт, он был далек от визуальности, от вещности. Кажется, что его стихи состоят не из слов, а из оттенков слов. Его задача как поэта — создание новых смыслов. Тынянов считал, что он принес из XIX века свой музыкальный стих, и в этом смысле он близок, как мне кажется, своему единственному последователю, поэту Константину Вагинову, забытому в наше время, но такому сильному и оригинальному, что его поэзия, несомненно, будет оценена, и, может быть, очень скоро.

Мандельштам писал грустно-остроумную прозу и как прозаик, очевидно, не был уверен в себе, потому что, уже сдав в журнал "Звезда" автобиографическую повесть "Египетская марка", он трижды брал обратно рукопись, чтобы внести новые и новые исправления.

Эти произведения настолько чужды самому понятию прозы, что подчас кажется, что Мандельштам сознательно и с чувством гордости настаивает на этом неназванном жанре, как бы требуя от теории литературы другого определения — "не проза", — еще не найденного никем и никогда.

Набоков со своим немного смешным стремлением к несходству со всеми, подтверждающими обратное, утверждает в своем сочинении "Гоголь", что детство не занимает места в сознании развивающегося таланта. Одним взглядом он сметает, таким образом, многие произведения: "Детство" Л. Толстого, "Детство Никиты" А. Толстого и десятки других мемуаров, повестей и романов, созданных с помощью поразительной остроты детского зрения. К названным шедеврам можно присоединить и две книги Мандельштама — "Шум времени" и "Египетская марка".

Он был тонким лирическим поэтом, но одно из его стихотворений лишено оттенков. Я уже упоминал о том, что он был человеком смелым, но это стихотворение полно безумной смелости. В тридцатых годах, когда оно было написано, его можно было смело приравнять к собственному смертному приговору.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где-хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина
И широкая грудь осетина.

Ю.Н. Тынянов рассказывал мне, что однажды, когда он еще мог ходить, он добрался до сквера перед Казанским собором. Он не заметил, как Ахматова подошла к нему. Она ничего не сказала, не поздоровалась, хотя любила Тынянова и была с ним в дружеских отношениях. Но — ни слова. Потом, помолчав, она сказала: "Осип умер". И ушла. Она не в силах была говорить о смерти Мандельштама с человеком, у которого, может быть, не хватило бы душевных сил, чтобы без слез перенести эту страшную для нашей поэзии весть.

Наш долг — опровергнуть тот вздор, который опубликовал Дымшиц в предисловии к единственному сборнику Мандельштама, вышедшему в "Библиотеке поэта".

Перед современностью он ничем не провинился. Он шел навстречу времени, ему ничего не было нужно, кроме возможности свободно творить. Его поэзия занимает в нашей литературе высокое, поражающее своей трагической обреченностью место. Давно пора выпустить сборник воспоминаний о нем. Мы живем в период сознания необходимости правды, необходимости честного и самоотверженного служения народу.

Долгов много, но по отношению к Мандельштаму наш долг можно и должно выполнить. Теперь это в наших силах.

1959, 1966

ВСТРЕЧА МАНДЕЛЬШТАМА С МАЯКОВСКИМ

(...) Однажды я был свидетелем встречи Маяковского с Мандельштамом. Они не любили друг друга. Во всяком случае, считалось, что они полярные противоположности, начисто исключают друг друга из литературы. Может быть, в последний раз перед этим они встретились еще до революции, в двадцатые годы, в Петербурге, в "Бродячей собаке", где Маяковский начал читать свои стихи, а Мандельштам подошел к нему и сказал: "Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр". Маяковский так растерялся, что не нашелся, что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко. И вот они снова встретились.

В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле.

Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сладости. Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия — сложение и умножение.

Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках — как до революции у Чичкина — с почтительным смятием грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной.

— Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой "Московской". Затем: шесть бутылок "Абрау-Дюрсо", кило икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток "Золотого ярлыка", два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок...

Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам — маленький, но в очень большой шубе с чужого плеча, до пят, — и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку "Кабернэ" и четыреста граммов сочной ветчины высшего сорта.

Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх, — и я понимал, что Маяковскому хочется

как-нибудь получше состричь, а Мандельштаму в ответ отбрить Маяковского так, чтобы он своих не узнал.

Я изучал задранное лицо Мандельштама и понял, что его явное сходство с верблюдиком все же не дает настоящего представления о его характере и художественно является слишком элементарным. Лучше всего изобразил себя сам Мандельштам:

”Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, шелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак...”

Он сам был в этот миг деревянным шелкунчиком с большим закрытым ртом, готовым раскрыться как бы на шарнирах и раздавить Маяковского, как орех.

Сухо обменявшись рукопожатием, они молчаливо разошлись. Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама:

— ”Россия, Лета, Лорелея”.

А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: ”А? Каковы стихи? Гениально!”

Это была концовка мандельштамовского ”Декабриста”:

”Все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея”. (...)

ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСЕЙ

Мандельштам читал у Анны Андреевны "Разговор о Данте". Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам — с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках.

Мандельштам слышит сумасшедшим и действительно кажется им среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, — расстояния, которое составляет сущность европейского уклада. А.А. говорит: "Осип — это ящик с сюрпризами". Должно быть, он очень разный. И в состоянии скандала, должно быть, он натуральнее. Но благолепный Мандельштам, каким он особенно старается быть у А.А., — нелеп. Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук — сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полосу, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье.

Его бытовые жесты поразительно непрактичны. В странной вежливости его поклонов под прямым углом, в неумелом рукопожатии, захватывающем в горсточку ваши пальцы, в певучей нежности интонаций, когда он просит передать ему спичку, — какая-то ритмическая и веселая буффонада. Он располагает обыденным языком, немного богемным, немного вульгарным. Вроде того как во время чтения он, оглядываясь, спросил: "Не слишком быстро я тараторю?" Но стоит нажать на важную тему, и с силой распахиваются входы в высокую речь. Он взмахивает руками, его глаза выражают полную отрешенность от стула, и собеседника, и недоеденного бутерброда на блюде. Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словом "этого...", непрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно. Не забывая все-таки хитрить и шутить.

Мандельштам — это зрелище, утверждающее оптимизм. Мы видим человека, который хочет денег и известности и огорчен,

если не напечатаны стихи. Но мы видим, как это огорчение ничтожно по сравнению с чувством своей творческой реализованности, когда оно сочетается с чувством творческой неисчерпанности. Видим самое лучшее: осуществляемую ценность и человека, переместившегося в свой труд. Он переместился туда всем, чем мог, и в остатке оказалось черт знает что: скандалы, общественные суды. Люди жертвовали делу жизнью, здоровьем, свободой, карьерой, имуществом. Мандельштамовское юродство — жертва бытовым обликом человека. Это значит — ни одна частица волевого напряжения не истрачена вне поэтической работы. Поэтическая работа так нуждается в самопринуждении поэта; без непрерывного самопринуждения так быстро грубеет и мельчает. Все ушло туда, и в быту остался чужак с неурегулированными желаниями, "сумасшедший".

Он полон ритмами, мыслями и движущимися словами. Он делает свое дело на ходу, бесстыдный и равнодушный к соглядатаям. Было жутко, как будто подсматриваешь биологически конкретный процесс созидания.

1933, 1982

СЛУШАЯ МАНДЕЛЬШТАМА

В 1932–1933 годах Осип Эмильевич Мандельштам жил в Москве, на Тверском бульваре, 25, то есть в Доме Герцена, на первом низком этаже правого от ворот флигеля. В то время он плохо переносил одиночество, даже на улицу предпочитал выходить с сопровождающим. В утренние часы, когда его жена уходила из дому, он просто метался. Я тогда работала в редакции газеты, помещавшейся на улице Коминтерна (ныне часть проспекта Калинина). В дни, когда работа у нас начиналась поздно, я нередко заезжала по утрам к Мандельштаму. Иногда мы выходили в скверик во дворе, иногда сидели на скамейке Тверского бульвара.

В один из таких дней мы обсуждали новый сборник Бориса Пастернака "Второе рождение". Конечно, говорил один Мандельштам, но это не был монолог. Это особая разновидность его способов общения — диалог с молчащим собеседником. Нужно только было давать ему легонькие толчки в виде коротких реплик, и беседа как будто бы лилась. Он начинал с бормотанья, бросал отрывистые фразы, постепенно переходящие в связную речь. А ты сидишь рядом и только присутствуешь при том, как рождается его мысль.

Осип Эмильевич, давно написавший: "Пастернака почитать — горло прочистить", — с удовольствием повторявший "знаменитый", по его словам, каламбур Сельвинского о "пастернакипи и мандельштампе", теперь много думал о Борисе Леонидовиче. Он часто говорил, что Пастернака нельзя себе представить вне Москвы. На этот раз он добавил, что Пастернак может писать только у себя в кабинете за письменным столом, тогда как он, Мандельштам, вообще не пишет, а как бы высекает на камне (тут он напомнил и о заглавии своего первого сборника стихов "Камень"). Затем он опять стал бормотать, кажется, что-то об орнаментальности, может быть, о перегруженности стихов "Второго рождения", пока у него не вырвалось искомое определение — "советское барокко".

С тех пор как он поселился в Доме Герцена, у него часто бывал Сергей Антонович Клычков, живший в том же доме в левом флигеле. Кстати говоря, дружба их продолжалась и тогда, когда оба переехали в писательский кооперативный дом в Нащокинском переулке.

Разные писатели, направляясь в Дом Герцена по своим делам, мелькали перед окнами Мандельштама. Это его раздражало, с некоторыми из них он был в ссоре. Заходили к нему не-

многие, чаще других Иннокентий Александрович Оксенов и Виктор Борисович Шкловский. Оксенов, как известно, был эрудитом во многих областях знания. Однажды при мне он застал Мандельштама за чтением Палласа и долго говорил с ним по этому поводу о не совсем понятных мне материях. После его ухода Мандельштаму всегда хорошо думалось. Лоб его светлел и как будто делался больше, преображаясь в "понимающий купол", движения становились тихими и пластичными.

В один из моих приходов я застала Осипа Эмильевича одного, сидящим посреди комнаты на стуле с каким-то томиком в руках. Он перебирал его страницы. «Вот самое гениальное стихотворение Блока! — вскричал он и прочел по книге: — "Как тяжело ходить среди людей/ И притворяться непогибшим/ И об игре трагической страстей/ Повествовать еще не жившим"». Было странно слышать знакомые строки в стремительном темпе и патетичной интонации Мандельштама ("И об игре трагической страстей"). У него вообще был свой мотив. Однажды у меня дома будто какой-то ветер поднял неожиданно его с места и занес к роялю, он заиграл знакомую мне с детства сонатину Моцарта с точно такой же нервной, летящей вверх интонацией... Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. Вероятно, тут все дело в необычно быстром темпе и фразировке.

А вот другое мое утреннее посещение Мандельштама. Помолчали. Внезапно, именно внезапно, он прочел: "И осень, дотеле вопившая выпью, прочистила горло; и поняли мы, что мы на пиру в вековом прототипе — на пире Платона во время чумы"; схватил с полки "Второе рождение", открыл "Лето", пробежал скороговоркой, не dokonчив ее, следующую строфу ("Откуда же эта печаль, Диотима..."), опять залился на свой мотив:

И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

С возгласом: "Гениальные стихи!" — захлопнул книгу и победоносно взглянул на меня.

Если стихи были настоящие, он гордился Поэзией, сам он или другой поэт был автором стихотворения, ему было все равно. Как жаль, что невозможно сделать нотную запись его чтения, чтобы передать звучанье третьей строки, эту раскатывающуюся волну первых двух слов ("И арфой шумит"), вливающуюся, как растущий звук органа, в слова "ураган аравийский", чтобы здесь уже разгуляться во всю свою силу.

Когда Мандельштам сам сочинял стихотворение, ему каза-

лось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым — кто подвернется. Весенним утром зашли мы с Евгением Яковлевичем Хазиным к Манделъштамам. Осип Эмильевич вышел из дому и, стоя у двери, читал в зеленоющем и благоухающем дворе только что законченного "Батюшкова": "Словно гуляка с волшебною тростью..." Он вел стихи, как мелодию, от форте к пиано, с повышениями: "Ни у кого этих звуков изгибы" — и понижениями: "И никогда этот говор валов..." Начиная со слов "Ты, горожанин, и друг горожан", строфа звучала, как баркарола.

Еще некоторые строки стихов Манделъштама я запомнила навсегда звучащими его голосом, например глубоко резонирующий звук "о" в слове "соприродные", поддержанный первым односложным "так". В чтении Манделъштама эта строфа из "Фазтонщика" звучала как обрамленная двумя гласными-стакато "а" и растянутым "о":

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Удивительные у него были обертоны на нижних регистрах.

А как он подчеркивал ритм фехтования в "Ламарке"! Напоминая эту строфу, я напишу для ясности одну строку лесенкой:

И от нас природа отступила —
Так,
как будто
мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

Особенно богатой интонационной игрой отличалось в его чтении стихотворение "Полюбил я лес прекрасный..." из цикла "Стихи о русской поэзии". Начиная он вкрадчиво, почти жеманно и так вел до конца второй строфы, чтобы грозно "щелкнуть" словом "правды". Затем ускорял темп, который все нарастал и нарастал до самого конца стихотворения, за исключением двух передышек: строку "Ротозейство и величье" он так раскачивал голосом, как будто, развалившись в кресле, сладко потягивался. А любованье молоденькими грибочками в лесу передавалось паузой в строке "Так... немного погода". Это замедление позволяло смаковать последние слова с таинственным лукавством — а я, мол, подсмотрел самый момент появления грибов-волну-

шек под мелким дождем. Затем темп и интонация становились стремительнее и резче, пока это нарастание не разрешалось финалом, провозглашенным полной грудью на открытом и глубоком дыхании: "До чего аляповаты, до чего как хороши!"

Он умел завершать свое чтение апофеозом. Незабываемы для меня "Стихи о неизвестном солдате", впервые услышанные от Манделштама. Это было уже в совсем другую эпоху, в 1937 году, когда он вернулся в Москву из Воронежа (ненадолго).

В один из первых вечеров в Нащокинском переулке, на пятом этаже, Осип Эмильевич стоял возле тахты, собираясь лечь, и глядел в окно. Но, забыв лечь, стал говорить. Москва его тревожила. Чего-то он здесь не узнавал. Многих старых знакомых уже не было. Недоуменно, бурно он рассказывал о своих московских встречах. Помолчав, снова заговорил в раздумье: "И люди изменились... все какие-то, — он шевелил губами, подыскивая определение, — все какие-то... какие-то... поруганные". С такой грустью он это сказал, от самого сердца.

И другой вечер. Я застала его в пижаме, на тахте. Жена его уходила, мы остались вдвоем. Он весь светился и прочел целиком своего "Солдата". Потом попросил меня записать под его диктовку. "Знаки препинания можете не ставить, все само стает на свое место".

Он сел на тахте в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки, и начал диктовать. Фрагмента со строками "Сквозь эфир десятичноозначенный", "Я не Лейпциг, я не Ватерлоо" и прочими тогда еще не было; возможно, Манделштам считал, что он перегружает поэму.

Когда дошел до строк "Ясность ясеновая, зоркость яворовая", перебил сам себя: "Ах, как хорошо!.. Какой полет..." Все так же сидя по-турецки, он скакал на пружинном матрасе, повторяя:

Ясность ясеновая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем...

Закончил всю поэму концертно, бравурно, прямо глядя мне в глаза:

...Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Весь текст он попросил меня прочитать вслух. Проверив себя, остался доволен. Между прочим, заметил: "Вы хорошо читаете", — и мне не хочется это забывать. Авторизовал список: "В(оронеж). Май. 1937. О.М." — и отдал мне со словами: "Это

будет окончательная редакция”.

К несчастью, список пропал у меня во время войны. Но Осип Эмильевич продолжал, по-видимому, работать над этой поэмой. Мне говорила Анна Андреевна Ахматова, что, когда он еще позднее читал ей ”Стихи о неизвестном солдате”, там были, как она припомнила, эти строки:

... – Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое...

Как современно звучат эти стихи сегодня. Мандельштам был провидцем.

1987

ОБ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМЕ

⟨...⟩ Первые декады нашего столетия часто называют серебряным веком русской поэзии, подразумеваемая под золотым первую половину прошлого. Я считаю это несправедливым и думаю, что сравнительная оценка этих двух периодов была бы не так решительна, если в более раннем не сияло бы имя Пушкина. Но Пушкин вообще один. Гениев такой величины нельзя относить ни к какой народности и ни к какой эпохе. При всяком сравнении они должны оставаться как бы вне конкурса. Так, золотым веком музыки нельзя считать первую половину XVIII столетия на том основании, что в это время творил Бах. Он тоже один во всей музыке. Если же принять во внимание, что поэзию нельзя строго отграничить от прозы, то русскую литературу от начала XIX века до середины нашего века вряд ли можно разделить на периоды. Можно только сказать, что за это время была создана великая русская литература. Но ее блеск и богатство обязывают нас осознавать свою ответственность, когда мы заявляем, что данный писатель занимает место в ее первых рядах. И я сознаю ее, когда считаю совершенно бесспорным помещение в эти ряды О.Э. Мандельштама. ⟨...⟩

Н⟨адежда⟩ Я⟨ковлевна⟩ заметила, что о самом для него священном и высоком О⟨сип⟩ Э⟨мильевич⟩ избегал говорить. Я почему-то на это внимания не обратил. Но это действительно было так. Трудно допустить, что имя Пушкина никогда не упоминалось в наших разговорах. Однако я не помню, чтобы О⟨сип⟩ Э⟨мильевич⟩ высказал какое-либо суждение о нем. Но однажды, в связи с каким-то упоминанием "Пира во время чумы", он произнес начало песни Мери, закончив стихами:

И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Ни сам он и никто из присутствующих уже не мог продолжать разговор о Пушкине. Произнеся эти стихи, О⟨сип⟩ Э⟨мильевич⟩ говорил, что, чем сильнее стихи, тем труднее их читать. Но и не легче постигнуть их силу самому! И какая ответственность заявить гениальному автору, что ты и есть тот, для кого он писал! ⟨...⟩

Стихи Мандельштама — силы необычайной. Значит, о них говорить нельзя. Их можно только произносить. Но к этому у

меня добавляется еще и то, что его самого я любил, как редко еще кого в своей жизни. Именно — не восхищался им, не преклонялся (для этого есть его творчество), а в самом простом значении — любил. Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, шадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого страдания или унижения.

А Мандельштам, кроме того (а может быть, несмотря на то), что он был гениальный поэт, был целиком сделан из всего этого высшего благородства. Но ведь нельзя же дружить с божеством. Да и быть божеством скучно и трудно. Разве что Гёте мог выдержать эту марку. А гениальный и благородный Мандельштам, кроме только манеры задирать кверху голову, не имел в себе ничего олимпийского.

Я вижу, как уже из появившихся о нем воспоминаний создается портрет, который я не могу точно характеризовать, но с которым решительно не могу примириться. Кажется, человеческий облик О(сипа) Э(мильевича), обрисованный его женой, искажен. Но не могу сказать, насколько он полон (повторяю, что я не дочитал рукописи Надежды Я(ковлевны) и, торопясь, не все прочитанное запомнил). Но против того, который начал складываться, неопровержимо говорит хотя бы одно только то, что, несмотря на ужасную судьбу О(сипа) Э(мильевича) и на трагический пафос очень многого им написанного, сам он не только не был мрачен, но наоборот — был человек веселый, как никто понимавший шутку, комизм и восхитительно умевший шутить. За пять лет нашего постоянного общения более или менее безоблачным был только период нашей совместной поездки в Старый Крым и две или две с половиной недели, что я там прожил. Все остальное время было всегда трудным. Чаще всего просто у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта. Обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в который нельзя было бы ожидать от О(сипа) Э(мильевича) остроты, шутки, сопровождавшейся взрывом смеха. Не помню, чтобы я сам когда-либо чувствовал, что собственное мое остроумие неуместно при обсуждении невеселых положений. Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин "ржакт" (от глагола "ржать") — для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства, которому мы предавались при мало-мальски располагающей к этому обстановке. В этих ржактах рождались многие, часто коллективные, стихотворения и другие шуточные произведения. Большая часть их за-

быта, но некоторые уцелели в моей памяти.<...>

Натуральный кармин добывается из мексиканской кошенили, в тканях которой он содержится в большом количестве. <...> Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 г. обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественным источником кармина. Ответить на этот запрос поручили как энтомологу мне. <...> Кошениль мы нашли, и два последующих года я занимался ею в Армении.<...>

Однажды, уже незадолго до выхода кошенили, я сидел после обеда на своем обычном месте в чайхане. После прочтения в сотый раз какого-то стихотворения в одной из своих книжечек я отложил их в сторону и был занят своими мыслями. В это время вошли во дворик и направились к бассейну два человека, по внешности не здешних. Один был заметно старше меня, намного ниже моего роста, в белой рубашке, заправленной в брюки, и в серой кепке. Он шел с легкой улыбкой, оглядываясь по сторонам, и можно было понять, что сюда он попал впервые. Его спутником был молодой человек, очень вертлявый, что-то говоривший и жестикулирующий.

<...> Лева (так звали этого малого) удалось вытянуть из меня по капле все, что мучило его любопытство. Достигнув этого, он, обратившись к спутнику, молчаливо сидевшему со скрещенными руками и продолжавшему все с той же легкой улыбкой разглядывать все окружающее, воскликнул: — "Осип Эмильевич! Вот товарищ занимается здесь очень интересным делом".

Молчаливый посетитель встал, улыбка его расширилась, он протянул мне руку и представился: "Мандельштам". Я, также вставши, в свою очередь отрекомендовался по фамилии. Дело начинало мне сильно не нравиться. Вот теперь они примутся приставать ко мне вдвоем. Но скоро выяснилось, что я ошибся в своих мрачных предположениях. Лева, сдав меня старшему товарищу, на время замолчал и стал прислушиваться к нашему разговору. В нем мой новый собеседник сразу же проявил ту особую вежливость, которая разделяет поколения интеллигентов "до" и "после", которая к началу 30-х годов встречалась уже не очень часто, а теперь о ней вообще не имеют понятия и научиться ей уже больше нельзя. Это меня немного успокоило. На этой взаимной вежливости уже можно было поддерживать ставший неизбежным разговор, не заводя его слишком далеко и имея надежду на более или менее скорое его окончание. Мое впечатление, что оба незнакомца люди не местные, подтвердилось. Становилась все ясней какая-то причастность их к литературе. Какие-нибудь газетчики, очеркисты или что-то в этом роде. Когда это стало уже несомненным, я, не очень в правилах установившейся в нашем разговоре вежливости, спросил: "Ну и что же вы должны здесь воспевать?" Мой собеседник, премило

улыбнувшись и высоко подняв брови, выпалил: "А ничего!" Было ясно, что он понял колкость моего вопроса, но, словно не замечая ее, продолжал вести нашу почти салонную беседу. Она вертелась около кошенили.

Я заметил, что все же он спрашивал меня о ней с интересом, по крайней мере к ее национально-культурной истории. Вероятно, это и заставило меня сказать, что кошениль попала и в нашу поэзию.— "Кто же о ней писал?" — Я сказал, что о ней упоминает Пастернак, и, как видно, грамотно. Я имел в виду:

И в крови моих мыслей и писем

Завелась кошениль.

Этот пурпур червца от меня независим.

Нет, не я вам печаль причинил.

В ответ было: "Да, Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах".

Тут во мне как бы сработал спусковой механизм. Мгновенно пронеслась в голове цепь мыслей. Разве этот человек похож на тех, кто ездит в творческие командировки и хватает без церемоний каждого, кто может дать что-то для расцветивания имеющего появиться в результате командировки слащаво-лживого репортажа, очерка, романа? Он называет Пастернака по имени-отчеству. И опять-таки он явно не из тех, кто хотел бы показать постороннему, что он с Пушкиным на короткой ноге. Вертлявый тип называет его Осипом Эмильевичем. Да ведь он и сам назвал мне свою фамилию!

После мне стало понятно, что досада от появления в "моей" мечети неподходящих людей затормозила меня, и я сразу же не сделал всех этих сопоставлений. Даже явственно расслышанная фамилия меня ни на что не натолкнула. Она не так уж редка. Я и мысли не допускал, что поэт, стихами которого я бредил наяву, вдруг в самый разгар этого бреда появился передо мной. А он мало того что появился, но еще целых полчаса заставлял меня желать, чтобы он убрался со своим компаньоном восвосяи. Все это, я говорю, пронеслось в моем мозгу в единое мгновение. Я ничего не анализировал, ни секунды не колебался. Вскочил как ошпаренный и закричал: "Да ведь я же вас знаю!"

Не было ли это единственным во взрослой моей жизни случаем полной потери самообладания? Я не задумывался, как будет принят этот мой почти вопль. А принят он был наипростейшим образом. Осип Эмильевич встал и, опять протянув мне руку, сказал все с той же улыбкой: "Ну, давайте теперь познакомимся заново". (...)

(...) За эту неделю и еще за несколько дней, проведенных в Эривани перед отъездом в Москву, я имел возможность доста-

точно приглядеться к Мандельштамам. Они, особенно О(сип) Э(милевич), были по образу жизни прямой противоположностью мне. Насколько мне всегда были необходимы режим, размеренность, ориентировка во времени, ощущение почвы под ногами, постоянство обстановки, определенность перспектив, хотя бы ближайших, настолько им все это было совсем чуждо. Казалось, что они нигде и не жили (в смысле оседлого пребывания), а только словно бы присаживались там или здесь в непрерывном кочевании без всякого направления. Их дни протекали, так или иначе, в зависимости от того, какое у них самочувствие, как складывалась обстановка, кто зашел из знакомых и т. п. Если строились какие-то планы, то только затем, чтобы их сейчас же нарушить. При этом, чем категоричнее высказывалось намерение поступить каким-либо образом, чем лучше это было мотивировано, тем вернее было, что так сделано не будет. И все это на фоне постоянного острого безденежья.

Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а словно мгновенно. Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастья. И с первого до последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способа выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то не выполняемых) решений и, как я уже говорил, шуток и хохота даже при самых мрачайших обстоятельствах. Конечно, при коренном различии наших характеров и привычек дружба с Мандельштамами порой меня просто нервно изматывала. Но ведь все наши несходства относились только к житейским делам. Все же остальное, т.е. именно то, что составляло настоящую сущность обоих Мандельштамов в их отношении к вещам, событиям и людям, никогда не вызывало у меня ни малейшей досады. Но их беды причиняли мне сильнейшую сердечную боль.

Последние дни в Эривани прошли в бесконечных разговорах о планах на будущее. Ехать в Москву добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении? Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось. Но ко дню моего отъезда было решено окончательно. Возможно только одно: остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через вращение в жизнь, в историю и в искусство Армении (имелось, конечно, в виду и полное овладение армянским языком) может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно. Я простился с Мандельштамами — как мы были уверены, навсегда — накануне дня своего отъезда. Сам этот день был целиком предназначен для прощания со всеми друзьями-армянами. А я хорошо представлял себе, какая это будет серьезная операция, и молил Бога о ниспослании мне сил для перенесения предстоящих угонений лучшими образцами араратских коньяков. Операцию эту я провел, но уж лучше не буду вспоминать о состоянии,

в какое она меня привела к концу дня.

Вернувшись в Москву, я завертелся в своих обычных делах — университетских, кошенильных, термитных и во всяких других. (...)

Не помню точно, в каком позднеосеннем месяце меня позвали к телефону. Я был изумлен, услышав голос Надежды Яковлевны. В то время я еще недостаточно привык к тому, что решения, принимаемые Осипом Эмилевичем, почти наверное заменяются противоположными. Твердо решив остаться в Армении, Манделштамы, конечно же, должны были вскоре приехать в Москву. Трубку вскоре взял Осип Эмилевич. Его голос был бодрый и радостный. Он прежде всего сообщил мне главную новость: "А я опять стал писать. Какие у меня новые стихи!" Я немедленно отправился к ним. Мы встретились так, будто расстались только вчера. Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, Осип Эмилевич воскликнул: "Чушь! Бред собачий!" Словно бы речь шла действительно о чем-то приснившемся в бредовом сне. Я и после замечал, что он, унесенный неизвестно откуда взявшимися и по всему духу чуждыми ему умственными построениями, вдруг точно просыпался и отряхивался от этой искусственной чуши, в которую ему, однако, еще накануне вполне искренне хотелось верить. Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или к морали. Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. "Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо?" А через день-два: "Неужели я это говорю? Чушь! Бред собачий!"

Сейчас я видел пробуждение Осипа Эмилевича не после какого-то рядового заскока, а необычайно полное, всеобщее. Он был в сильной ажитации, в какой я его ни разу не видал в Эривани. Ни о чем, относящемся к повседневным нуждам, к быту, не говорилось, как словно бы эти вопросы были решены и теперь можно и нужно было говорить только о главном. Об этом и говорилось. Вперемежку, как всегда, с грохотом смеха. Главным были стихи. Цикл стихов об Армении. И было начато или еще только задумано "Путешествие в Армению".

С этого дня все пошло так, как только и может идти с Манделштамами. Появление чудных стихов. Возникновение новых

заскоков. Пробуждение после них. И непрерывное бедствие. Негде жить. Покамест приютились у Е. Я. Хазина. Но у него не квартира, а комната. И он не один — жена. И в той же квартире теща, дама, которую я не видал ни разу, но, как можно было судить, довольно страшная.

Я сейчас не помню годов последовательных кочевок Мандельштамов. На небольшое время они поселились в комнате уехавшего, кажется, в отпуск брата О(сипа) Э(мильевича), Александра Эмильевича, жившего в одном из переулков на Маросейке. Там-то их соседом и оказался "еврейский музыкант" Александр Герцевич, навёрчивавший Шуберта. Потом отправились в Ленинград. "Видавшие виды манатки" — старый, расползающийся чемодан, старая же корзина и еще какие-то связанные коробки — были погружены в пролетку одного из последних в Москве извозчиков. Где-то среди вещей или на них уместились Н(адежда) Я(ковлевна) и О(сип) Э(мильевич). Когда пролетка тронулась, О(сип) Э(мильевич), махая на прощанье рукой, кричал мне: "Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят". Возможно, он был прав. Потом возвращение из Ленинграда. Появилось "Я вернулся в свой город". И как уже тогда были понятны эти "шевели кандалами цепочек дверных". Появилась "полуспаленка-полутюрьма" — комнатуха сестры Н(адежды) Я(ковлевны) в Ленинграде. Потом довольно длительная оседлость в Доме Герцена на Тверском бульваре. Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами. (...)

Сейчас мне трудно припомнить, при каких обстоятельствах немного улучшились материальные дела Мандельштамов. Были опубликованы "Путешествие в Армению" и цикл стихов об Армении. Организовано выступление О(сипа) Э(мильевича) со стихами в Ленинграде. Дана квартира в Нащокинском переулке. Но моя забывчивость имеет некоторое оправдание. Ведь в это время жил и я сам. Было много своих трудных и поглощавших мое внимание дел. А мои профессиональные и служебные интересы далеки от того, чем жили Мандельштамы. В то же время редкий день мы не встречались. И создавалась какая-то мозаика, которую мне теперь просто невозможно распутать.

Стихотворение "К немецкой речи" посвящено мне. Но обращено оно к обозначенному в заглавии адресату. Не ко мне прямо. Однако в нем есть слова, очень для меня значительные:

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен...

О(сипу) Э(мильевичу) дружба была необходима. Хорошие, даже близкие отношения у него были со многими. Начиная с

родственников, своих и жениных. Вернейшим другом-спутником была, конечно, Надежда Яковлевна. Но она была жена. А друг — нечто совсем иное. Из тех, кого я встречал у Мандельштамов, я не могу назвать ни одного близкого друга Осипа Эмилевича. Ближе других, пожалуй, был В. И. Нарбут. Приятельские отношения с прежних лет сохранились с М. А. Зенкевичем, меньше с Городецким. Но эти двое были уж очень много ниже калибром (общим, человеческим), чтобы быть его друзьями. С необычайным уважением, мало того — с каким-то пиететом относился Осип Эмилевич к А. А. Ахматовой. В нащокинской квартире одна из комнат была почти лишена мебели и обычно пустовала. Ее и отводили Анне Андреевне, останавливавшейся в Москве у Мандельштамов, и Осип Эмилевич окрестил ее "капищем Анны Андреевны". Также и после его смерти Анна Андреевна всегда была связана с Надеждой Яковлевной. (...)

Мне кажется, что на личных отношениях между писателями сказывается неизбежная, по-видимому, для них литературная партийность, а может быть, и какая-то скрытая ревность. Осип Эмилевич не был свободен от них. Как поэт я не могу поставить Бунина в один ряд с Тютчевым, Фетом или Блоком. Но некоторые его стихотворения (и не так уж их мало), бесспорно, очень хороши.

Однажды я при Мандельштаме произнес начало последней строфы стихотворения Бунина "Имру-уль-Кайс":

Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюду, легла и отдалила
От головы крестец.

Осип Эмилевич почти шепотом сказал: "Как хорошо. Чье это?" Я назвал автора. На лице Осипа Эмилевича появилось выражение, точно он проглотил что-то невкусное. Затем наступила небольшая пауза, после которой он начал: "Сразу можно определить слабого поэта. Вот у него..." и т. д.

По всему, что я слышал и от самого Осипа Эмилевича, и от ближайших к нему людей, у меня сложилось мнение, что понастоящему близким его другом был только Н. С. Гумилев.

И вот, несмотря на все, что я говорил в начале этих заметок, я все же позволю себе считать, что дружба связывала Осипа Эмилевича и со мной. Думаю, он понимал, что в моем отношении к нему проявлялась не только оценка его как поэта, но в равной мере любовь к нему самому. Я говорил, что потребность в дружбе у него была огромная. Но и у меня тоже. А видимо, чем сильнее эта потребность, тем труднее найти друга. Потому что дружить — дело нелегкое, и не всякий к нему спосо-

бен. Будучи совершенно откровенен во всем, что здесь пишу, я признаюсь в своем допущении, что завязавшаяся между нами осенью 1930 года дружба была для О(сипа) Э(милевича) выстрелом, разбудившим его и возвратившим к поэзии. (...)

В Доме Герцена, где наряду со знатными представителями советской литературы, но, конечно, в совсем других условиях проживали и отверженные, одним из соседей Мандельштамов был С. А. Клычков. (...)

После нескольких попыток вызвать меня на дискуссию с целью показать тщету и ничтожество науки Клычков понял, что из этой затеи со мной ничего не выйдет, и прекратил свои наскоки. А человек он был очень хороший и талантливый.

Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он сказал ему: "А все-таки, О(сип) Э(милевич), мозги у вас еврейские". На это Мандельштам немедленно отпарировал: "Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские". "Это верно. Вот это верно!" — с полной искренностью признал Клычков.

Еще бы это было неверно! Для меня Мандельштам не только великий поэт, но именно великий *русский* поэт. Все им написанное так целиком в духе русской поэзии, что невозможно вообразить, чтобы его стихи были прекрасным переводом поэта — француза, немца или поэта какой угодно другой страны. Их мог написать только русский поэт.

Очень трудно, может быть, даже невозможно сказать, что же так особенно выделяет нашу литературу и чем определяется принадлежность к ней настоящего русского поэта. Быть может, это — особо острое и трепетное восприятие природы, вообще ландшафта, или неодолимая тяга ко всему стихийному. Но больше всего, по-моему, это — сильнейшее ее моральное напряжение. И конечно, всякий большой поэт должен обожать язык, на котором он пишет, быть зачарованным его звучанием, звуковой и смысловой магией его слов, игрой и переливами их значения. Поэтому он не может быть дву- или многоязычным. (...)

И стихи Мандельштама русские, и никакие другие. (...)

Еще до знакомства с Мандельштамом я слышал, что он человек очень трудный и с тяжелым характером. Как могло сложиться такое мнение? Думаю, что оснований для него могло быть достаточно. Посредственные люди не выносят в других положительных качеств, каких они лишены сами. Они не верят, что такие качества вообще существуют, и воспринимают чужую противительность, порядочность, щедрость, доброту и т. п. как пристройство или ханжество. Но особенно они не переносят остроумия. Если принять, что самая чувствительная часть человеческого тела — карман и что самую быструю и острую реакцию обычно вызывает боязнь всякой материальной утраты, то на втором месте следует поставить страх перед насмешкой. А остроумный человек всегда в этом отношении потенциально опасен.

Дружба с Мандельштамом была тяжела и мне. Но по единст-

венной причине — страшно было видеть, как он, словно нарочно, рвался к своей гибели. Во всех других отношениях он был, на мой взгляд, удивительно легок для самой тесной дружбы. И это прежде всего потому, что он был человек очень открытый и без дружбы просто дышать не мог. Именно тоской даже не о друге, а хотя бы только о собеседнике, о слушателе вызван его вопль:

Читателя! Советчика! Врача!

На лестнице колючей — разговора б!

Рождение новых стихов было для О(сипа) Э(мильевича) всегда радостью, которую ему необходимо было с кем-то, и как можно скорей, разделить. Конечно, самым первым его читателем была Н(адежда) Я(ковлевна). Ее даже мало назвать читателем, так как обычно она, собственно, и писала стихотворения, т.е. записывала стихи или строфы, которые О(сип) Э(мильевич) произносил после сосредоточенной внутренней работы, сопровождаемой бормотаньем, мычаньем, выкриками отдельных слов, шаганием по комнате, беспорядочным курением, а иногда и пожевыванием какой-нибудь еды. При выборе одного из двух или нескольких вариантов он повергал их на суд жены, с которым, впрочем, часто и не соглашался. Но готовое и прошедшее строжайшую собственную оценку стихотворение было необходимо прочитать кому-либо из друзей. Всегда новые стихи, написанные в годы 1930—1934-й, прослушивал и я.

Я считаю, что слабых, а в молодости — незрелых стихотворений у Мандельштама вообще не было. И это удивительно для поэта. Но тем не менее я принимал не все написанное им. Не все его стихи звучали для меня одинаково. Допускаю, что установленные мною категории очень субъективны, но я их различал, и к первой, абсолютно преобладающей, я относил стихи (и, конечно, прозу), в которых автор предстал передо мной весь, полностью. Их нельзя воспринимать отдельно от всего его облика. При их чтении кажется, что О(сип) Э(мильевич) *должен* был их написать, что они *необходимы* как некий особый ракурс, без которого его портрет был бы обеднен. И эти стихи прежде всего беспощадно правдивы, непререкаемо убедительны. В них я узнаю или с ними сопоставляю свои собственные переживания, или через них становится видимым то, мимо чего я до сих пор проходил без внимания. Но всякий человек может увлечься и чем-то для него случайным. Даже увлечься сильно и, как ему кажется, искренне. Однако этот предмет остается для него все же только внешним, представление о нем поверхностным, иногда подсказанным кем-то, не результатом озарения после настойчивых и мучительных возвращений к нему, а иногда и обидно неверным. Когда это происходит с художником, то это не может не отразиться на поэтической силе его творения. Происхо-

дило это и с Мандельштамом. И я замечал, что в стихах и прозе, относимых мною к этой категории, он бывает особенно прянен и расточителен в эпитетах, образах и сравнениях, не имеющих, на мой взгляд, безусловной убедительности.

О(сип) Э(мильевич) прекрасно сознавал свою поэтическую силу. Тем не менее он, как ребенок, тянувшийся к сладенькому, хотел полного признания того, что он написал. При честной нашей дружбе я не всегда мог доставить ему эту радость и в этих нечастых случаях был с ним вполне правдив. Он тогда явно огорчался. Возражал. А затем словно упраскивал: "Да нет же, Б(орис) С(ергеевич), стихи хорошие. Ну, послушайте... — И снова читал написанное. — Ведь хорошо!" Мои протесты лишь в редких случаях имели последствием внесение некоторых небольших поправок. Но и сам я не изменил своего отношения к тому, что мне казалось написанным не в полную силу Мандельштамом.

Однажды утром О(сип) Э(мильевич) прибежал ко мне один (без Надежды Я(ковлевны)), в сильном возбуждении, но веселый. Я понял, что он написал что-то новое, чем было необходимо поделиться. Этим новым оказалось стихотворение о Сталине. Я был потрясен им, и этого не требовалось выражать словами. После паузы остолбенения я спросил О(сипа) Э(мильевича), читал ли он это еще кому-нибудь. "Никому. Вам первому. Ну, конечно, Наденька..." Я в полном смысле умолял О(сипа) Э(мильевича) обещать, что Надежда Я(ковлевна) и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но все же обещание никому больше эти стихи не читать О(сип) Э(мильевич) мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немыслимо, чтобы стихи остались неизвестными по крайней мере Евг(ению) Я(ковлевичу), брату Надежды Я(ковлевны), и Анне Андр(еевне), при первой же ее встрече с О(сипом) Э(мильевичем). А Клычкову? Нет, не сдержит он своего обещания. Слишком уж ему нужно Читателя! Советчика! Врача!

Буквально дня через два или три О(сип) Э(мильевич) со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: "Читал стихи (было понятно какие) Борису Леонидовичу". У меня оборвалось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О(сипа) Э(мильевича)), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней О(сип) Э(мильевич) успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно. Даже несколько удивительно, что в надлежащее место стихи попали только через год.

В 1934 г. отправился в ссылку О(сип) Э(мильевич), а весной 1935-го забрали меня. Выйдя через два с лишним года из лагеря, я списался с Мандельштамами, приехавшими тогда в Москву. Но

мы успели обменяться лишь немногими письмами, так как вскоре О(сип) Э(мильевич) был арестован и отправлен в лагерь на Колыму. В начале 1938 г. Надежда Я(ковлевна), зная, что первые вести от О(сипа) Э(мильевича) из этого лагеря придут нескоро и что зимовать ему придется где-то близ Владивостока, приехала ко мне в Шортанды. Она договорилась с братом, что он немедленно оповестит ее, если что-либо узнает об О(сипе) Э(мильевиче). Находясь у меня, Надежда Я(ковлевна) по памяти записала все ненапечатанные стихотворения О(сипа) Э(мильевича) и оставила записи эти у меня. Ее память удивительна. Но после выхода американского собрания сочинений Манделъштама я увидел, что все же она сохранила в памяти не все. (...)

1983

УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ

ВСТРЕЧИ И РАЗГОВОРЫ С ОСИПОМ МАНДЕЛЬШТАМОМ

Ранней осенью 1931 года я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых Прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара — обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. (<...>)

Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимателен добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых Прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию, в Одессу, доходили редко, книг почти не было, хотя в то же время "Версты" Цветаевой и "Тяжелую лиру" Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. "Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама", — как-то сказал мне Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама "Стихотворения", выпущенной Госиздатом в твердом кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался "Лёт" — сборник произведений советских поэтов и прозаиков о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама "Ветер нам в утешенье принес...", весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили "ассирийские крылья стрекоз". Я не мог сказать толком, в чем причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое — ясность, строгость, точность, девятнадцатый стихотворный век ценил выше двадцатого, а в двадцатом недосыгаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное — "не радость, а мученье" — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательнее, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале "Молодая гвардия" сотрудник познако-

мил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы стихотворение "Пригород"; я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном со сложным строфическим построением сказал: "Здесь хороши только эти ое, ое (рифменные окончания), напоминают Белого". Другое прочел дважды, пристально, вскинув длинные, равнинские ресницы, посмотрел на меня — стихотворение называлось "Петр и Алексей", — сказал: "Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории". Вот как он разобрал начальную строфу:

У нас и недорослей, и ябед
Хоть пруд пруди,
Но все же страшен постылый Запад,
И боль в груди.

— Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды — 18-й век, Фонвизин, Капнист. На "ябед" найдена новая рифма, но вся строка с Западом — перепев символистов, вернее — их эпигонов, всяких родственников известных поэтов. Что же касается "боли в груди", то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А дальше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось — не по-настоящему, а как ученически способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу по акмеистической группе М. А. Зенкевичу, который заведовал стихами в "Новом мире", и стихотворение это очень быстро появилось в журнале. Никаких напутственных слов он мне не сказал, только разрешил позвонить, подал мне, мальчишке, плащ и, когда я, раздавленный, пытался этому воспротивиться, сказал: «Есть английская поговорка: "В борьбе человека с пальто стань на сторону человека"». До сих пор не знаю, действительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся воспользоваться, но вот помогла случайная встреча, и я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандельштама, своего жилья у него не было.

В широком парадном было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама: "А Будда печатался? А Христос печатался?"

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму приходили иногда надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что боялся провокации, а во-вторых, — и это главное — он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают. Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама у перил уже не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклоняется чуть ли не до пояса), мне открыла дверь длинноносая девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами.

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Андреевна весело рассмеялась: "Узнаю Осю".

Мандельштам успокоился не сразу. "И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга?" — характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня, и мне стало нехорошо оттого, что он как бы соединил меня с предыдущим посетителем.

Я прочел несколько стихотворений, может быть десять, и остановился.

Мандельштам спросил: "Сколько вам лет?" — "Двадцать".

— Да, верно, в тот раз вам было восемнадцать, — неодобрительно вспомнил он и добавил: — Плохо, плоско. — И дважды повторенный звук "пло" ударил особенно больно. — Вы кое-чему научились в столице, не стало южных оборотов, больше теперь у вас, того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград и вот, в парусиновом длиннополом балахоне, в парусиновых сапогах, приехал в город и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то более зрелым и значительным споря, заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды выслушал, неожиданно стал нападать на "Столбцы" Заболоцкого, не помню, чем был вызван его гнев, в комна-

ту вошла девушка, открывшая мне дверь, может быть, его родственница, она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом существа высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам, уже при ней, продолжал:

— Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков столько, что они не умещаются в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все лепит и лепит. "Глупец, для чего ты лепишь горшки, их и так у тебя много!" — осуждают соседи. А гончар: "Чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их". Вы, того-этого, не оказались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он, после долгого перерыва, после "черной измены" стихам, вернулся к стихам.

— Хотите, прочту. — И, не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий ему станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть негулкой, но светящейся славы, какая была у Ахматовой и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и большей частью люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали и присваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. Внешне рано постарев, он дышал, как почти никто из современных ему поэтов, аквилонном грядущего, тем пространством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара.

Мандельштам служил в газете "Московский комсомолец", редакция помещалась на Старой Басманной (ныне улица Карла Маркса), а потом переехала в здание на Тверской, где теперь театр им. Ермоловой. Я стал у него бывать и в том, и другом зданиях. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале с верхним, если не ошибаюсь (давно там не был), освещением — нечто вроде пассажа — была устроена для газетчиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба — знакомые Мандельштама и мои.

Действие происходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Группком писателей (союза тогда еще не было) стал на сторону Горнфельда. Мандельштам был этим оскорблен и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес:

— Товарищи, к глубокому моему сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал:

— Я не член группкома.

— Это меняет дело, — с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком. Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку:

— Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам пожал и ему руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами, он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской "Четвертой прозе" и по другим литературным источникам. Изложу вкратце.

Издательство по ошибке выпустило переводческую работу ленинградца Горнфельда под именем Мандельштама, выписав при этом Мандельштаму гонорар. Мандельштам не знал, за что именно он получил гонорар, так как у него в издательстве было несколько договоров на переводческие работы. Когда ошибка выяснилась, Мандельштам письменно извинился перед Горнфельдом, вернул причитающийся ему гонорар.

Здесь я должен сказать, что Мандельштам — в который раз! — показал, что не понимает людей, не видит себя среди них, не в силах взглянуть на себя их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо, чего же он хочет? А Горнфельд серьезно относился к своей переводческой деятельности, к своей подписи под переводом (Мандельштам такую деятельность презирал, за редким исключением). Несчастный калека, в прошлом — влиятельный критик народного толка, близкий сотрудник самого Короленко, Горнфельд всегда придерживался благородных демократических взглядов; что же касается литературы, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. Вот почему обиженный, рассерженный Горнфельд писал об этом происшествии в газету, подал заявление в группком писателей, который стал на его сторону.

Мандельштам никогда не был эпиком, его характер, повторяю, не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Вот почему такой болью проникнута в "Четвертой прозе" эта печальная история с Горнфельдом...

В редакцию "Московского комсомольца" к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель этих бесед, видел, что начинающие не знают его как поэта, знают Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова и, конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного печатью классика, а более поднаторевшие увлекались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Исключением был Ваня Пулькин (он погиб на фронте), он хорошо знал русскую поэзию, учился у Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандельштам к нему благоволил. В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда — никогда! — эти суждения не диктовались личными отношениями. Я к этому еще вернусь...

А пока вернемся в дом в Старосадском. Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрал голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или казалось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ловил то, что, как потом я от него услышал, он рассматривал как второстепенное, — смысл, глубокий, опьяняющий смелой новизной, как горной крутизной, этих огромный стихов. Но нет, он притворялся, смысл для него не был делом второстепенным. Стихи то потрясали необыкновенной наблюдательностью, сказочным блеском подробностей, например замечанием, что жены здесь, "как детский рисунок, просты", или про армянский алфавит, где "буквы кузнечные клещи. А каждое слово — скоба", то заставляли по-новому и напряженно думать о народе, чьи "церковки басенного христианства" граничили с миром мусульманским: "Я бестолковую жизнь, как мулла свой Коран, замусолил". И какое сверхпонимание географической, исторической сути Армении: "Орущих камней государство".

Мне встречались и встречаются любители поэзии, которые, отдавая должное Мандельштаму, не удерживаются от упреков в литературности, будто бы ему присущей. Теперь, после долгих лет, прошедших с того незабываемого дня, когда Мандельштам читал мне стихи об Армении, стихи, которые не всегда можно отчетливо понять, не зная истории Армении и сопредельных с нею стран, истории ее христианства, ее "казнелюбивых владык", ее связей с Византией, с Персией, с античной философией, — теперь я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, что такое пресловутая литературность в стихах. (...)

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не поэзия), то литература, слившаяся в нашем сознании с жизнью, растущая

вместе с жизнью, тоже становится, соединенная с пережитым, одним из источников поэзии. Мандельштам и в молодости, и в более поздние годы любил и умел твердо, неожиданными штрихами очерчивать литературное произведение, вошедшее в наш жизненный обиход. Он прочел, кажется в Армении, "Шах-Наме" Фирдоуси во французском переводе — прозаическом — Жюль Моля и проникновенно заметил, что характеры героев поэмы меняются по произволу автора, — проникновенно, потому что гениально догадался, что Фирдоуси считал так: нет людей хороших и дурных; пока чтешь светлого Ормузда — ты хорош, начинаешь служить силе зла, дьяволу Ахриману — становишься плохим. "У Чарльза Диккенса спросите, / Что было в Лондоне тогда", — советовал Мандельштам читателям, и дальнейшие строки этого раннего стихотворения вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию, и перед каждым встают картины того детства, которое для многих немислимо без прочитанных в ту пору книг. Я хотел бы к этому добавить, что и Диккенс воспринят Мандельштамом через Россию, через Достоевского, что лондонский Сити — это и Петербург Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные стихотворения Мандельштама, навеянные памятниками литературы, не излагают содержания этих памятников, а выражают как бы наше (сначала, разумеется, его) к ним отношение, нашу с ним и совместную жизнь на протяжении годов, наше понимание характеров их героев, предметов, в них описанных ("Я список кораблей прочел до середины"), нам слышится русский отзвук тех чужеземных арф.

Нет ли, однако, в этом пристрастии к литературным первоисточникам нарочитой отстраненности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос прозвучит упрощенно, все решает в конечном счете талант художника. Шестьдесят лет существует советская поэзия — и что же в итоге? Дыхание эпохи мы слышим не в сочинениях услужливых одописцев, они бездыханны со дня рождения, а в пронзительных, с их мужицкими Спасом и мужицкой печалью, стихах Есенина, в богоборческих иеремиадах Маяковского, в диалектике поэм Твардовского, в стихах якобы "далеких от жизни" Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Хлебникова. Когда говорят о гражданственности поэзии, редко кто обходится без крылатого пушкинского призыва — глаголом жечь сердца людей. (...)

В первый раз я пришел к Мандельштаму восемнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как у многих пишу-

щих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего как бы образовывался серебристый эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышенна, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в Доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это была, кажется, первая за много лет комната, принадлежавшая Мандельштамам. Он ко мне относился хорошо, приветливо (старомодно-приветливо обращаясь к юнцу по имени-отчеству); происходило это, возможно, потому, что я ему не подражал, а это было редкостью среди того крайне небольшого круга стихотворцев, молодых и не очень молодых, с которыми он общался. Одному из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

— Разделим землю на две части, в одной половине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности пристрастие к Бунину-поэту) казались ему нелепыми, хотя и простительно-смешными, но иногда они выводили его из себя, он метался по комнате, пустой и полутемной, как келья, и кричал мне: "Народник! Златовратский!"

Стихи мои по-прежнему большей частью ругал, едко и остроумно, но однажды неожиданно, с лестной для меня серьезностью, похвалил стихотворение "Мир", и только поэтому я, сравнительно недавно, опубликовал его в сборнике, вышедшем в калмыцком издательстве. Он выделял — и чудесно читал вслух — строки: "Где шушера теснилась по углам, / А краденое прятали по складам". Но если мои стихи нравились ему редко, то он с покровительственным любопытством, порою, смею сказать, с интересом выслушивал мои комментарии к газетным сообщениям, всевозможные пылкие соображения, рожденные только что прочитанными Шопенгауэром, Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении "Золотистого меда струя..." есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала (именно в этом суть известного эпизода. К ней, в отсутствие Одиссея, приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь).

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись.

— Он не только глух, он глуп, — крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: "В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства".

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама жидлась на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных, основаниях. Прежде всего, как и в давнишнем случае с Диккенсом, Мандельштам излагал не эпизод гомеровского эпоса, а свое, которое должно было стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинистической культуры, достигшей Таврии, дикой и печальной, где всюду "Бахуса службы".

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэзию частных: они ему нужны только как слуги целого. Миф может упомянуть вскользь собак и сторожей, а Мандельштам скажет: "Как будто на свете одни сторожа и собаки..." Такая мысль не придет в голову аэду. Миф может указать на время года и приложить нежный эпический трафарет к имени героини, а Мандельштам скажет с обдуманым просторечием: "Ничего, голубка Эвридика, что у нас холодная зима..." Используя миф, Мандельштам преобразовал поэзию целого в поэзию частных и поэтому считал себя вправе не только изменять частности, но и выдумывать их: "Собирались эллины войною/ На прелестный остров Саламин..." Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но никогда — остров.

Для понимания его поэтики важнее этих соображений то, что слово для него было не частью фразы, а частью ритма. О нет, это не было зауемью в крученыховском стиле, избави Боже, но теперь я понимаю так. Подобно тому как истинный живописец требует, чтобы сюжет картины выражался с помощью рисунка и цвета, а не, скажем, с помощью заранее нам известной исторической фабулы, Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы смысл ни в коем случае не предрешал слова. Мандельштам много и часто говорил об этом, и без какой-нибудь утонченности, он расшвыривал метафоры, но был чужд краснобайству, здание его фразы строилось причудливо, но основанием всегда служило здоровое понятие. Не в коня, как говорится, корм, я не обладал достаточной подготовленностью для того, чтобы со всей полнотой воспользоваться счастьем быть собеседником Мандельштама. Я усваивал только мне доступное. Здесь я не могу избежать небольшого отступления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом Георгием Шенгели, ныне несправедливо не издаваемым. Шенгели, немного, кажется, моложе Мандельштама, был человек добрый, яркий, очень образованный, интересовался не только гуманитарными науками, но и точными, владел главными европейскими языками, опубликовал труды по стиховедению. Мария Петровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему обязаны. Его стихи мне нравились и теперь нравятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он жил в одном из арбатских переулков, занимал с женой странную комнату, большую, но в квартире, где размещался детский сад; нужно было пройти к нему по ломаной линии коридора, на стенах которого низко начинались вешалки и над каждой, чтобы еще не знавшие грамоты дети различали свое место, пестрело изображение зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы попадали в комнату, разделенную на две или три части книжными шкафами. Книг было много, все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели был Мандельштам. Хозяйева нас хорошо накормили (Мандельштам любил званые обеды, не очень часто его на обеды приглашали), потом Шенгели читал нам стихи, удивительно искусно написанные, а в некоторых мне слышалась поэзия. Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, прощаясь со мною, заметил:

— Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я опешил. Известный поэт, автор к тому же трудов по стиховедению (о них и сейчас отзываются с уважением специалисты), не умеет слушать ритм! Что Мандельштам, легко удалявшийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о ритме, после многих лет работы я попытаюсь ответить. Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдованные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки. Картина общеизвестная. Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут, кроме разве плодотворного разъяснения, что дело обстоит именно так. Умение слушать ритм есть умение врожденное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникали одновременно. Необязательно, чтобы мысль была сногсшибательно новая. "Бывал я рад словам неизреченным", — сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке фарси, сказал с помощью размера, основанного на чередовании долгих и кратких слогов. "Мысль изреченная есть ложь", — сказал в прошлом веке Тютчев с помощью русского четырехстопного ямба, совершенно непохожего на такой же ямб Пушкина: другой ритм!

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами; эти узы, существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью непрямых, не сразу замечаемых, но, бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму. Мандельштам обычно подчеркнуто уважительно говорил о Хлебникове. В ответ на мое замечание, что в Хлебникове изу-

мительно дерзкое соединение культур высокой и первобытной, например в "Шамане и Венере", он сказал:

— Айхенвальдовщина какая-то (т.е. мои слова айхенвальдовщина). Дело не в этом. Хлебников расщепил слово, как зерно, на дольки. Он слушал ритм, как слушают рост зерна. Он и сам был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль Флобера о Гюго, почти совпадающую с выражением Мандельштама, но уверен, что о древесном соке в жилах поэта Мандельштам говорил без подсказки Флобера, он был слишком богат, для того чтобы снизойти к заимствованию мысли. Он говорил: "Размеры ничьи, размеры Божьи, принадлежат всем, а ритм есть только у поэта — принадлежит ему одному" — и подкреплял это положение примерами: четырехстопный ямб "Евгения Онегина" совершенно не похож на четырехстопный ямб тютчевский и некрасовский, и совсем уже иной, послефофановский четырехстопный ямб Блока: "Вновь оснеженные колонны..." и, того-этого, "Возмездие" у Блока не получилось, потому что ритм рабски заимствован у Пушкина: "Больной и хилый Достоевский/ Туда ходил на склоне лет". Гимназический ямб! (Впоследствии я услышал отрицательное мнение о "Возмездии" от Анны Ахматовой, но соображения были иные.)

В те годы нас, пишущих юношей, обвораживал метр поэмы Пастернака "1905 год", журналы были наполнены стихами, написанными этим метром на всевозможные темы. Я заметил, что если перевернуть строки стихотворения "Золотистого меда струя..." так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы этот метр и не взял ли его неволью Пастернак у Мандельштама. В самом деле, сравним: "Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела" и "Это было при нас, это с нами вошло в поговорку".

— Вздор, — отрезал Мандельштам. — У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером.

Между тем он был не всегда последователен. Когда он мне прочел "За гремучую доблесть грядущих веков", я, потрясенный, воскликнул: "Это лучшее стихотворение двадцатого века!" но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

— А в нашей семье это стихотворение называется "Надсоном".

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Только потом, на улице, я понял, что имел в виду Мандельштам: размер стихотворения напоминал надсоновское "Верь, настанет пора и погибнет Ваал". Неужели такое поверхностное, лишенное внутренней связи сходство тревожило Мандельштама? Значит, он придавал значение не только ритму, но и его частному, случайному виду-размеру? Или он хотел, с педагогической целью, обратить мое

внимание на то, что другие его стихи не хуже, что дело не только в содержании, которое поразило меня своим пророческим духом? Не думаю. А может быть, хорошо понимая мощь этого стихотворения, он просто позволял себе пококотничать? Последнее я не исключаю. В нем было много детского. И не только потому, что он, как ребенок, любил сладости (я впервые видел взрослого мужчину-сладкоежку). Он, разгорячась, бывал баснословно умен, хотя, повторяю, я не мог тогда насладиться умом его бесед, и в то же время, снова повторяю, он плохо разбирался в людях, не видел себя со стороны (а видеть себя со стороны, по-моему, признак умного человека), видел себя одним из крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов современности и не видел, что далеко не все смотрят на него точно так же; отсюда его бытовые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда — несуразности в поведении. Он рассказал мне такой случай. Испытывая какие-то затруднения (сейчас не помню, какие именно, но легко могу себе их представить), он по совету знакомых позвонил Енукидзе, тогдашнему секретарю ВЦИК. Узнав от секретаря, что звонит Мандельштам, Енукидзе весело сказал в трубку:

— Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?

— Одиссей? Какой Одиссей?

— Кто со мной говорит?

— Поэт Осип Мандельштам.

Не помню, что произошло дальше, но помню, что Мандельштам долго негодовал на то, что его спутали с каким-то однофамильцем, а то был почтенный старый большевик, чья партийная кличка была Одиссей; в Москве, в районе Усачевки, мне помнится, был сад имени Мандельштама. А Осип Мандельштам во время этого краткого разговора обиделся, подумал, что по телефону смеются над его стихотворениями в антологическом роде, не понимая, что они известны только узкому кругу читателей, к которому, полагаю, не принадлежал Абель Енукидзе. Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравится ли, и, получив утвердительный ответ, гордо заявляет: "Мое", — как будто я мог усомниться, как будто мне могла прийти мысль, что он читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который умел бы написать так, как написал он. К замечаниям тоже относился по-детски, терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадники, он осыпал меня неестественной для него, неумелой бранью. Кажется, в тот же день (я не уверен в своей хронологической памяти) он прочел мне известные ныне строки:

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Я пошел в наступление:

— Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма: "Обуян — Франсуа"? Почему не сделать "Антуан", и все будет в порядке, и ничего не меняется?

— Меняется! Меняется! Боже, — нарочито по-актерски, обращаясь в бульварное пространство, закричал, чуть не завопил Мандельштам, — у него не только нет разума, у него нет и слуха! "Антуан — обуян"! Чушь! Осел на ухо наступил!

В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы — Франсуа.

Я уже писал, что он был очень одинок, но я не сразу понял, что он не выносил одиночества, радовался, когда к нему приходили. Считается, что он мало (редко?) работал, но я с этим не согласен, он работал всегда, в особенности во время чтения, мысль его страдала бессонницей, плодотворной бессонницей, тому доказательство, например, "Разговор о Данте". Когда он чем-нибудь из прочитанного увлекался, он только говорил и говорил о предмете увлечения. Помню месяцы его увлечения Батюшковым, он написал о нем упоительное стихотворение, героем которого, как часто бывает с истинными поэтами, стал он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя (он никогда не говорил о литературе банально), не соглашался с некоторыми критическими замечками Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюшкова в дальнейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: "Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков слезы превращал в вымысел".

В изданном в "Библиотеке поэта" собрании стихов Мандельштама есть такая ссылка: "По свидетельству С. Липкина, в 1932 году Мандельштам в ответ на просьбу назвать "любимое стихотворение" назвал "К другу" Батюшкова". Я тогда забыл сообщить комментатору Н. И. Харджиеву, что Мандельштам как-то, между прочим, сказал мне, что имел в виду Батюшкова, когда еще в 1920 году писал:

Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах — сидела за книгой в углу, изредка вскидывая на нас ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые рыжеватые волосы. И цвет лица у нее был всегда молодой, свежематовый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то возвышенном, вдруг тонко закричал:

— Надюша, Надюша, клоп!

Он засучил над локтем рукава пиджака и рубашки. Надежда Яковлевна молча приблизилась к нему на своих кривоватых ногах, уверенным щелчком смахнула клопа с руки мужа и так же молча уселась в своем углу. А ведь если бы я был наблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным — хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной, по всем делам всегда отправлялись вместе, а дела большей частью были какие? Перехватить денег в долг, редко с отдачей...

Только в конце сороковых, снова, через много лет — и каких лет! — встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий, едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда позднее прочел ее книги, то, к моему изумлению, открыл оригинального, страстного и, увы, пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама, и заслужила вечную благодарность русских читателей. Я до сих пор храню подаренное ею машинописное собрание стихотворений Мандельштама, не вошедших в прежние его книги.

Вместе с И. Л. Лиснянской и молодым поэтом П. Нерлером, деятельно занимающимся изданием мандельштамовской прозы, я посетил Надежду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее меня не порадовал. В том, как она говорила, не было знакомой мне злости, была какая-то примиренность, поругивала, правда, одну нашу общую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне казалось, преданную, но поругивала вяло, без присущей ей страсти. Она сказала о себе: "Восемьдесят лет стукнуло девочке". Стали вспоминать прошлое — и давнее, и более близкое. Она напомнила мне, что Анна Андреевна называла меня своим великим визирем: я занимался некоторыми ее переводческими делами. Такой элегический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче) и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М. С. Петровых, благородной женщины, замечательного поэта, чей образ автором искажен, а я дружил с ней с

юношеских лет и знаю, что она виновата только в том, что Манделъштам — дело прошлое — был в нее влюблен, а она не отвечала взаимностью. Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: "Вы так думаете?" Станный вопрос... (<...>)

Не всегда те, чье общество было интересно Манделъштаму, общались с ним. Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня тогда возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по Дому Герцена. Однажды я застал Манделъштама в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Манделъштамы не были приглашены. А поэзию Пастернака Манделъштам ставил чрезвычайно высоко.

Вот кого из современников он при мне хвалил всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Маяковского. Иногда: Андрея Белого, Клюева. Ему нравились ранние стихи Есенина ("Хотя Кольцову больше доверяешь"), нравились "Пугачев" и "Черный человек", отрицательно отзывался о "Персидских мотивах": "Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему меняла дает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот".

Что-то привлекательное слышалось ему в некоторых строчках Асеева, позднее — Павла Васильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Тальма, произносил "Николай Степаныч", но я полагаю, что в Гумилеве он видел прежде всего друга, авторитетного, умного вожака бывлой литературной группы и, конечно, жертву тогдашних грозных и трагических лет. Расстрел Гумилева потряс его навсегда. Не помню, чтобы Манделъштам читал его стихи.

Чудесной чертой Манделъштама, ныне не часто встречающейся, была его литературная объективность. Не то чтобы суд его был всегда правым, но свои оценки писателей он не связывал с отношением этих писателей к себе. Он восторгался Хлебниковым, который его мало ценил, называл, кажется, "мраморной мухой", восторгался Маяковским, между тем и Маяковский, и круг Маяковского его не очень жаловали, и Манделъштам знал это. И другая чудесная черта: никогда не злился на знаменитых, не завидовал им, взирал на них спокойно, издали, даже, по-моему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективности. Я рассказывал ему, как его любит Багрицкий, можно сказать, боготворит, а Багрицкий тогда был гораздо популярнее Манделъштама и среди читателей, и в литературных кругах. Но Манделъштама мое сообщение не тронуло. "У него в мозгу фотографический аппарат, — сказал он. — Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута".

В году 33-м был устроен в Политехническом музее вечер

Мандельштама. Я получил билет: В тот день, проводя студенческую практику на Дербеневском химическом заводе, я задержался в связи с оформлением цеховой стенгазеты, немного опоздал. Вступительное слово произнес Борис Эйхенбаум. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная, не та, которая толпилась на взрыхленной строительством метрополитена Москве, на узких мостках вдоль Охотного ряда, деловая, целеустремленная, аскетически одетая, — то пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах не замечаемые, иные у них были лица, и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Увидел я десятка полтора моих сверстников, запомнился один красноармеец. Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маститого докладчика, думал о слушателях, об этом вечере, устроенном внезапно, как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: "Маяковский — точильный камень русской поэзии" — и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Мандельштам слышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера. А вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Мандельштама, даже горсточка случайных неопитов была вовлечена во всеобщее волнение, к тому же, к большой радости давних поклонников, Мандельштам читал много новых стихов, еще не опубликованных.

Мне казалось странным, что Мандельштам, так восхищаясь далеким ему Маяковским, довольно небрежно, порой неприязненно отзывался о поэтах, которые, как я тогда думал, должны были ему быть ближе, чем Маяковский. Он не любил символистов, бранил Бальмонта и Брюсова, поругивал Вяч. Иванова, делал исключение, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Андрея Белого, с которым с удовольствием встречался. Вышла в свет "Форель разбивает лед" Кузмина, я и мои друзья были очарованы этой книгой, несмотря на то неприятное, что в ней было и что Блок когда-то назвал "варварством". Мандельштам разругал "Форель":

— Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола. Стилизация не дело поэта.

— Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.

— Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в "Форели" обезьянничает.

Я не согласился, прочел:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги...

Или это:

То Томас Манн, то Генрих Манн,
А сам рукой к тебе в карман.

— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:

Золотое, ровное шитье — вспомнить твои волосы,
Бег облаков в марте — вспомнить твою походку...

Я любил, знал наизусть почти всю книгу "Версты" Цветаевой. Стихов ее, написанных позднее или в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне "Царь-девица". Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. "Я антицветаевец", — сказал он, озорничая, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: "Ее переносы утомительны. Они вливаются не в прозу — признак высокой поэзии, а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало".

Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:

— Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и беззаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие — глядя в книгу, прочел так, как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.

— Мне кажется, — сказал я, имея в виду размер, — что русской кальки не получится.

— И пусть не получается! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать только прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.

Он был не прав. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и дрянь приходилось перекладывать на язык родных осин, но, переводя классику, я узнал Восток — мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю лирику, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были сущей пыткой (из его переводов мне по-настоящему нравится только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.

Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг ни с того ни с сего начинал хвалить заурядно-

го стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему чужого. Так, мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, приравниваясь к моему невежеству, Мандельштам вел со мною разговоры о различных особенностях литературного ремесла. Разговаривали мы и на более важные темы, например о христианстве и иудаизме. Я опрометчиво понадеялся на свою память и ничего не записывал. Память в то время у меня была хорошая, но я чувствую, что даже те фразы, которые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические вопросы, и не мудрено: политика властно и жестоко входила в повседневный быт советских людей. У Мандельштама не было того обстоятельного, паразитично ясного политического мышления, которое впоследствии восхищало меня в Ахматовой, зато некоторые его прозрения были гениальны.

В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г. А. Шенгели. Он жил после воронежской ссылки полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащокинском переулке (теперь ул. Фурманова). Мандельштам читал нам чудные стихи воронежского цикла. И мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели пришел к Мандельштаму, еще до его ссылки, в комнатку в Доме Герцена и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится и не может не прочесть эти строки. Откуда, однако, он уже в те годы знал об осетинском происхождении Сталина?

Шенгели побледнел, сказал:

— Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...

Во время допроса Мандельштам составил список лиц (он теперь известен, хотя и неточно), которым он читал это стихотворение. Моя фамилия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но почему же он не пожалел М. С. Петровых, которая была ему ближе, чем я?

Некоторые очевидцы рассказывают, что в лагере он сошел с ума. Там он погиб. Теперь о нем пишут статьи, исследования, он знаменит, как никогда при жизни. Ахматова еще в начале пятидесятых предсказывала ему всемирную славу. В "Библиотеке поэта" изданы сокращенный томик его стихов с оскорбительным предисловием.

Тот не поэт, чьи стихи умирают вместе с автором или даже (нередкий случай) раньше, чем уходит из жизни автор. А истинные поэты, умерли ли они молодыми, как Пушкин и Лермонтов, или стариками, как Тютчев и Фет, живут долго, живут вечно. Именно таких поэтов потомки назовут классиками. К ним принадлежит и Мандельштам. Угль, пылающий огнем, не гаснет.

1977–1983

МОИ ВСТРЕЧИ (фрагменты)

С Надеждой Яковлевной я познакомилась в 1929 году. (...)

С Мандельштамом я познакомилась несколько позднее, когда они жили еще в Доме Герцена.

В коридоре на короточках сидела Надя и готовила ужин на двух керосинках. Почему надо было стряпать в такой неудобной позе, я так и не поняла. В комнате было несколько человек, часто их посещавших. Тут я и увидела впервые Осипа Эмильевича.

...В первую же минуту я заметила в выражении его лица как бы укоренившееся в нем высокомерие, но странно: эта кажущаяся надменность и не удивляла, и не отталкивала, она воспринималась как особая форма самозащиты, наверное необходимой ему в те годы.

Впрочем, в его облике заметно было даже некоторое пренебрежение к своей внешности: галстук был завязан хотя и старательно, но смотрел набок, костюм воспринимался как-то отдельно от него, он был выбрит, но отнюдь не тщательно.

...Но, Впрочем, на Мандельштама нельзя было только взглянуть — его надо было рассмотреть. Мне на всю жизнь запомнился его взгляд: из глубины его глаз, матовых, без блеска, прорывался затаившийся в них жар. Накал непрекращающейся духовной работы, пафос внутренней жизни поэта. "Да, поэзия трудная вещь", — подумала я. (...)

Я уже знала, что Мандельштамы живут очень скудно, порой голодно, и хотя в те времена изрядное количество "литераторов" сумели найти позицию, дававшую им и положение и деньги, но много было и таких, которых подстричь под гребенку не удавалось. Наверное, поэтому слухи о положении Мандельштамов никого не удивляли... (...)

Но вот и просвет: вечер поэта Мандельштама в Политехническом музее. Народу много, похоже, все слушатели доброжелательные и внимательные. Осип Эмильевич держал себя свободно, был по-хорошему взволнован (это состояние отлично знают актеры. Они говорят: "Я был плохо взволнован — боялся" и "хорошо взволнован — в форме"). Осип Эмильевич был в форме.

После чтения стихов стали подавать записки, которые показали, что в зале не все сплошь доброжелатели, а есть и подковырники. Осип Эмильевич давал ответы на записки спокойно и точно. Но вот он прочитал: "Как относитесь Вы к Маяковскому?"

Наступила пауза, и пауза злая. Никто не сомневался, что Мандельштам не будет лгать. И похоже было, что Мандельштама "срезали". Вдруг неожиданная реплика Мандельштама: "Маяковский — *точильный камень* нашей поэзии". Овации, которыми аудитория встретила эти слова, можно сравнить только с победой чемпиона на трудном матче. Однако действие оказали не только сами слова, но и то, как они были сказаны. Резкое ударение на словах "точильный камень" прозвучало как неоспоримое решение вопроса.

Когда уже после Воронежа Мандельштамы бывали у нас в мастерской Осмеркина, я научилась понимать своеобразный характер его речи.

Обычно мастерская Осмеркина гудела от несмолкаемых криков художников. Они спорили о том, "что такое хорошо и что такое плохо". Старая няня Александра Александровича, сидевшая обычно за стеклянной дверью, уставала от этих беспрепятственных криков. "Ох, надоели мне цей Цезан, цей Манэ, цей Цизлей. Гогочуть, як гуси, и все до водки тянутся". Зато когда приходили Мандельштамы, она изъясляла полное удовольствие и говорила о них с уважением: "Ось ци люди примерни, поговоруць, послухають, стихи кажуть, и никто не ругаеця, не споре".

Действительно, с Мандельштамом и нельзя было спорить, да и возражать ему обычно не было никакой нужды: в своеобразии его суждений, в остроте доказательств была такая убежденность, что возражения отпадали.

Его репликам обычно предшествовало короткое молчание, речь разделялась интонационно ощутимыми толчками и восклицательными знаками. Никаких пояснений, а потому никаких запятых или многоточий. Осип Эмильевич не подыскивал слова, а как бы выбрасывал их из уже накопленного запаса впечатлений. Заканчивая фразу, он обычно резко обрывал ее новой паузой. Как-то Осмеркин сказал в беседе о Толстом, что в романе "Война и мир" все-таки не передается образ России тогдашнего времени. "Большой писатель, да и большой поэт, — сказал Мандельштам, — никогда не пишет о прошлом, он пишет о будущем".

Бывало, Осип Эмильевич без особой связи с предыдущим разговором высказывал свои мысли, как бы вслух читая: «"Чапаев" Фурманова — замечательное произведение. Все события, все персонажи романа вращаются в страстной стремительности вокруг одного стержня — Чапаева. Все исходит от него, и все к нему возвращается. Всем движет вера в него, в его силу и в его правду. Так бывает только в романах о любви. Вот Толстой в "Анне Карениной" группирует вокруг Анны весь ход событий, даже если они и не имеют прямой связи с ее судьбой». (...)

Уже когда Мандельштамы были у нас в 37-м году, незадолго до "отъезда", Осип Эмильевич задумчиво сказал: "Сейчас вставки персонажей Зоценко уже не смешны. Они или муче-

ники, или все герои". (Мне кажется, что тогда он ошибся. Герои Зоценко живы и сейчас: они приделались, получили хорошие посты, не глотают золото, чтоб припрятать его, а покупают машины, ковры, квартиры и т. д.)

Наверное, есть какая-то не познаваемая нами связь событий. Почему-то в этот вечер Осмеркин, который всегда считал себя слабым рисовальщиком и мало оставил после себя рисунков, сидя за чайным столом, сделал с Мандельштама два карандашных рисунка. Осип Эмильевич даже не позировал. Это были быстрые наброски, как говорят художники, "на скатерти стола". Но именно таким я его и помню. Ведь подумать только, это была последняя возможность еще раз запечатлеть его черты. И это, наверное, чувствовал художник.

А уже гораздо позднее, может быть и в военные годы, у нас была А. А. Ахматова. Она читала много своих стихов; уже совсем поздно, после ужина, когда мы попросили ее почитать еще, она сказала: "Только не свои. Сейчас прочту я вам стихи Мандельштама". Она прочла несколько стихотворений, и вдруг Осмеркин вскочил и стал возбужденно ходить по комнате, все время повторяя: "Вот это стихи, это действительно стихи".

Я, как хозяйка дома, была смущена до крайности этой бестактностью по отношению к Анне Андреевне. Украдкой я взглянула на нее: в ее лице не было никакого недовольства. Она задумчиво повторяла вслед за Осмеркиным: "Да, это действительно... стихи!"

Осмеркин опомнился, подошел к Анне Андреевне и, целуя ее руку, сказал:

Ты прекрасна, слова нет,
Но...

Но тот, кто был ее прекраснее, не спал в хрустальном гробу, а был стерт с лица земли.

ВОСПОМИНАНИЯ

МАЙСКАЯ НОЧЬ

...Дав пощечину Алексею Толстому, О.М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. "Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?" — спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: "А теперь пойдем посмотреть, как нас повезут на казнь". Так появились стихи: "А после на дровнях, в сумерки, В навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь?" Но этого путешествия ей совершить не пришлось. "Вас придерживают под самый конец", — говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева — он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело — он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое: "Вы едите со скоростью Анны Карениной", — когда однажды опоздал поезд, и: "Что вы таким водолазом вырядились?" — в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе поэтов. "Цыц, — кричала я. — Не могу жить с попугаями!" Но в мае 1934 года они не успели развеселиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати — никакой еды. О.М. отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне... Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что, оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О.М. вернулся с добычей — одно яйцо, — но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Случевского и Полонского, — а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухонке — газа еще не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к госте покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. "Что вы валяетесь, как идолице, в своем капище? — спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне. — Пошли бы лучше на какое-нибудь заседание, посидели..." Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив О.М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. "Это за Осей", — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины — мне показалось, что их много, — все в штатском пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незваные гости переступили порог.

Я по привычке ждала: "Здравствуйте!", или "Это квартира Мандельштама?", или "Дома?", или, наконец, "Примите телеграмму"... Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь, и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не толкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О.М. "Вы за мной?" — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: "Ваши документы". О.М. вынул из кармана паспорт. Проверив, чекист предъявил ему ордер. О.М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось "ночная операция". Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь и в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из "наших", как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 37-м году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на "ночную работу" отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что до-

ма всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать "нет". Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему-то признавались во всех возводимых на них обвинениях. "Зачем они это делали? — повторяла дочь за отцом. — Ведь этим они подводили и себя, и нас!.." А "мы" означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. А мне чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили, как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготавливают динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О.М., но он отругнулся: "Пускай Мандельштам сам ищет" — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял, как школьник, руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распоряжавшийся обыском, насмешливо на него поглядел. "Можете идти домой", — сказал он. "Что?" — удивленно переспросил Бродский... "Домой", — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услышав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей.

ВЫЕМКА

О.М. часто повторял хлебниковские строчки: "Участок — великая вещь! Это — место свидания меня и государства..." Но эта форма встречи чересчур невинна — ведь Хлебников рассказывал о незаурядной проверке документов у подозрительного бродяги, то есть о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу.

Незванные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу, без сговора распределили между собой роли. Всего их было пя-

теро — трое агентов и двое понятых. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года — в тридцать седьмом — они, наверное, храпели от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный контроль над законностью ареста: ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме и мраке без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятым прошлых веков.

Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью: днем числились служащими домоуправления — слесарями, дворниками, водопроводчиками — не потому ли у нас всегда текут краны? — а по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей квартирной платы — это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано.

Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое младших — обыском. Тупость их работы бросалась в глаза. Действовали они по инструкции, то есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными — кто не знает этих тайн? — ящиками в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, она бы там пролежала до скончания века. Или, еще лучше, просто положить на обеденный стол...

Из двух младших я запомнила одного — молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь старым переплетам, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк. Сейчас один мой добрый знакомый, писатель, деятель ССП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками — Саша Черный и Северянин в первоизданиях — и все предлагает мне леденец из жестяной коробочки, хранящейся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то скромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа — пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых — сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменял профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, и продолжает угощать меня из той же коробочки.

Этот жест — угощение леденцами — повторялся во многих домах и при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал, как способы входа в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и выстукивание потайных ящиков? Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и гражданской войны. А что страшнее, я сказать не могу.

Старший чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на корточки, перебирал в сундучке бумаги. Действовал он медленно, внимательно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора. Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что угощает леденцами, с пеной у рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым. Роли это не играет, но соблюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи.

Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стул, где постепенно выростала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинение, поэтому я навязалась чину в консультанты, читала трудный почерк О.М., датировала рукописи и отбивала все, что можно, например хранившуюся у нас поэму Пяста и черновики сонетов Петрарки. Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О.М. черновик "Волка" и, нахмутив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца, а потом выхватил шуточные стихи про управдома, разбившего в квартире недозволенный орган. "Про что это?" — недоуменно спросил его чин, бросая рукопись на стул. "А в самом деле, — сказал О.М., — про что?"

Вся разница между двумя периодами — до и после 37-го года — сказалась на характере пережитых нами обысков. В 38-м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О.М. В 38-м — вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34-м — всю ночь до утра.

Но оба раза, видя, как я собираю вещи, шутиливо — по инструкции! — говорили: "Что даете столько вещей? Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят..." Таковы были остатки эпохи "высокого гуманизма" — двадцатых и начала тридцатых годов. "Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов", — сказал О.М. зимой 37/38-го года, читая в газете, как поносят Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории...

Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетрону-

тым на столе. Все — у нас находился еще и Евгений Эмильевич, брат О.М., недавно приехавший из Ленинграда, — ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О.М. перед уходом поел, и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел... А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для прищельцев это было трын-трава. И я очень жалею, что среди бумаг, украденных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов — они для выемки не предназначались и потому лежали на полу — с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и поэтому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным, — преданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева, который доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна. Ни я, ни она рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные ей письма их этого архива.

"Осип, я тебе завидую, — говорил Гумилев, — ты умрешь на чердаке". Пророческие стихи к этому времени были уже написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. А ведь поэт — это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться самое обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь "с гурьбой и гуртом". Смерть на чердаке не для нашего времени.

Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти — мы жили тогда в Царском Селе — О.М. через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церковь согласна выступить в защиту казнимых при условии, что О.М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О.М. ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных О.М. в те дни, когда он пытался примириться с действительностью.

Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званые и незваные, ушли. Незваные увели с собой хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Спать, во всяком случае, мы не ложились и чаю выпить не догадались. Мы ждали часа, когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дома. Зачем? Куда? К кому? Жизнь продолжалась... Вероятно, мы бы-

ли похожи на утопленниц. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию — ни о какой литературе мы тогда не думали.

УТРЕННИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Мы никогда не спрашивали, услышав про очередной арест: "За что его взяли?" Но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста: "Она ведь действительно контрабандистка", "Он такое себе позволял", "Я сам слышал, как он сказал..." И еще: "Надо было этого ожидать — у него такой ужасный характер", "Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке", "Это совершенно чужой человек"... Всего этого казалось достаточным для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный... Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: "Не наш..." И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос: "За что его взяли?" — стал для нас запретным. "За что? — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. — Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что..."

Но когда увели О.М., мы с Анной Андреевной все же задали себе этот самый запретный вопрос: за что? Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований по нашим, разумеется, правовым нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе или за конкретное стихотворение о Сталине. Могли арестовать его и за пощечину Толстому. Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы... В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы — Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: "Мы ему покажем, как бить русских писателей..." Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь и верю, что у Горького были крупные разногласия с Хозяином и что он был здорово зажат. Но из этого никак не следует, что Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа О.М., глубоко ему враждебного и чуждого. А чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли, достаточно прочесть его статьи, выступления и книги.

Так или иначе, мы возлагали все надежды на то, что арест вызван мстью за пощечину "русскому писателю" Алексею Толстому. Как бы ни оформлять такое дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылки и ссылки стали у нас бытовым явлением. В годы передышки, когда террор не бушевал, весной — обычно в мае — и осенью происходили довольно широкие аресты преимущественно среди интеллигенции. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали; отбив свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33-го года, говорил, что не успевает посылать телеграммы и писать письма своим друзьям — "возвращенцам". Очевидно, в 27 или 28-м году метла прошла по теософским кругам и дала массовое возвращение в 33-м... А к нам весной, до ареста О. М., вернулся Пяст... Возвращенцы после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках створистой зоны. Раз все "уезжают", чем мы лучше? Незадолго до ареста, услышав, что О.М. ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напомнила: "Май на носу — ты бы поосторожнее!" О.М. отмахнулся: "Чего там. Ну, вышлют... Пусть другие боятся, а нам-то что!.." И мы действительно почему-то не боялись высылки.

Другое дело, если б обнаружился стихи про Сталина. Вот о чем думал О.М., когда, уходя, поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался, что за эти стихи он поплатится жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. "Волчий" же цикл особых бед не сулил — в крайнем случае лагерь...

Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно! Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей — искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства и прочее, и прочее... Людей снимали пластами по категориям (возраст тоже принимался во внимание): церковники, мистики, ученые-идеалисты, остроумцы, послушники, мыслители, болтуны, молчаливники, спорщики, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие "вредитель", которым объяснялись все неудачи и просчеты. "Не носите эту шляпу, — говорил О.М. Борису Кузину, — нельзя выделяться — это плохо кончится". И это действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам переменялось, когда решили, что советские ученые должны одеваться еще лучше западных шпионов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок,

получил вполне приличный научный пост. Шляпа — шутка, а голова под шляпой действительно предопределяла судьбу.

Люди искореняющей профессии придумали поговорку: "Был бы человек — дело найдется". Впервые мы ее услышали в Ялте (1928) от Фурманова, брата писателя. Чекист, которому только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный и веселый нэпман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру в "следствие", которая своей реальностью щекотала им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего нэпмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширительных толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия: через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и нэпманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме О.М., не обращал внимания на забавы бывшего следователя, и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если бы О.М. не сказал мне: "Ты только послушай..." У меня ощущение, будто О.М. специально показывал мне все то, что он хотел, чтобы я запомнила... Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: "Кто не с нами, тот против нас".

Анна Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили... "Вам нужно беречь силы", — сказала Анна Андреевна... Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию: сплошь и рядом люди сидели по многу недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высыпали или не уничтожали. Этого требовало оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге... Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может, просто работал бюрократический инстинкт, чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги? Впрочем, законы тоже бывают разные...

Для семьи арестованного период ожидания заполняется хлопотами — О.М. назвал их в "Четвертой прозе" "невесомыми интегральными ходами", — добыванием денег и стоянием в оче-

редях с передачами. По длине очередей мы знали, на каком мы свете. В 34-м году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптанным другими женами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу: изменить судьбу О.М. было не в моих силах, но часть рукописей уцелела, многое сохранилось в памяти — только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы.

Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за приезда Анны Андреевны его увели ночевать к себе Ардовы — у нас негде было разместиться. Зная, что О.М. встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость. Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы я испытала настоящий приступ ужаса. "Уходите, — сказала я, — уходите скорей — ночью забрали Осю". И Лева покорно ушел. Так было у нас принято.

ВТОРОЙ ТУР

Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произносили при этом ни одного из недозволенных слов, вроде "арестовали", "забрали", "посадили"... У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя ничего по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало того, что вся куча бумаг так и осталась на полу. "Не трогайте", — сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучок, чтобы спрятать туда эту красноречивую грудку бумаг, и я послушалась, сама не знаю почему... Попросту я верила в ее чутье...

В тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный, и я опять впустила незваного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу: "А вы еще даже не прибирали", — и тут же приступил к вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов; на прозу он даже не глядел.

Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый

сдержанный и молчаливый человек на свете, насутился и сказал: "Если они явятся еще раз, они уведут вас обеих с собой".

Чем объяснить второй обыск и вторую выемку? Мы с Анной Андреевной обменялись взглядами — для советских людей этого достаточно, чтобы понять друг друга. Очевидно, следователь успел уже просмотреть изъятые ночью рукописи — времени для этого понадобилось немного, так как стихи не объемны, — и не нашел того, что ему было нужно. Поэтому он послал произвести дополнительные розыски, боясь, что в ночной спешке нечаянно пропустили нужную бумажку. Из этого легко сделать вывод, что поиски были целеустремленные и стихами вроде "Волка" довольствоваться не хотят. Но той рукописи, которой они интересовались, в сундуке не было — ни я, ни О.М. этих стихов не записывали. И я не стала навязываться в консультанты, но обе мы спокойно пили чай, искоса поглядывая на гостя.

Чин явился буквально через двадцать минут после нашего возвращения. Следовательно, его об этом известили. Кто же? Это мог быть агент, живущий в доме, любой сосед, получивший распоряжение следить за нами, или "Вася", торчавший на улице. Тогда мы еще не научились распознавать так называемых "Вася". Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо откровенны? Плохая работа, до непристойности топорная, или тоже до непристойности топорное застрашивание? Вероятно, и то и другое. Всем своим поведением они говорили: вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами... Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть, эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани и мы становились тише воды, ниже травы. А мне, например, часто подносили советы не таскать за собой остатки рукописей О.М., забыть про прошлое, не рваться в Москву: "Вас одобряют, что вы живете в Ташкенте..." Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой и темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление: а вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизующегося под главные силы эпохи? Таких стилизаторов было сколько угодно. Но случались и другие вещи. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы нередко, вернувшись домой, находили полную чужих окурков пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету, а раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не за-

метить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы или это просто забавлялись те, кому поручили порыться у нас в чемоданах? Веселый смех и — "А ну-ка, пускай полюбуются!". Оба варианта вполне допустимы... Отчего, собственно, не пострадать нас, чтобы мы не зазнавались?.. Меня, впрочем, стращали гораздо меньше, чем Анну Андреевну...

БАЗАРНЫЕ КОРЗИНКИ

(...) Из рукописей О.М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда не находились дома. Я привозила их в Воронеж небольшими пачками, чтобы установить тексты и составить полные списки ненапечатанных стихов. Эту работу мы постепенно проделали с О.М., который внезапно переменял свое отношение к рукописям и бумагам. Раньше он их знать не хотел и всегда сердился, что я их не уничтожаю, а бросаю в мамин желтый заграничный сундучок. Но после обыска он понял, что легче сохранить рукопись, чем человека, и перестал надеяться на свою память, которая, как известно, погибает вместе с человеком. Кое-что из этих рукописей сохранилось по сегодняшний день, но большая часть погибла во время двух арестов — что делали в недрах наших судилищ с бумагами, которые увозились сначала в портфелях, а потом в мешках? Что уж гадать о бумагах, когда мы не знаем, что там делали с людьми... То, что уцелели свидетели той эпохи и кучка рукописей, надо считать чудом.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХОДЫ

В третий раз не пришли, и нас не забрали. Мы предались обычному занятию тех, у кого забрали близких: хлопотали. После дневной беготни по городу мы, измученные, возвращались домой и вместо обеда открывали рублевую банку с кукурузными зернами. Так продолжалось три дня (...)

Николая Ивановича Бухарина я посетила в самые первые дни. Услышав мои новости, он переменялся в лице и забросал меня вопросами. Я не представляла себе, что он способен так волноваться. Он бегал по огромному кабинету и время от времени останавливался передо мной с очередным вопросом... "Было свидание?" Мне пришлось объяснить ему, что свиданий больше не бывает. Николай Иванович этого не знал. Как всякий теоретик, он не умел делать практических выводов из своей теории.

"Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?" Я ответила — нет, так, отщепенские стихи, не страшнее того, что Николай Иванович знает... Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я

тогда правду, у нас не было бы "воронежской передышки". Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправдана ли "ложь во спасение"? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть такое место на земле? Нам внушали с детства, что всюду ложь и лицемерие. Без лжи я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь — студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких было большинство. И никто мне при этом не верил — это была обычная ложь нашей эпохи, нечто вроде стереотипной вежливости. Этой лжи я не стыжусь, а Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом — нельзя отпугивать единственного защитника... И это другое дело... Но могла ли я не солгать?

Николай Иванович утверждал, что за пощечину Толстому арестовать не могли. Я настаивала, что арестовать можно за что угодно. Что же касается до статьи кодекса, то всегда применяется пятьдесят восьмая — чего уж удобнее?

Рассказ об угрозах Толстого и фраза: "Мы ему покажем, как бить русских писателей" — произвели на Николая Ивановича впечатление: он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы и принципиальный сторонник революционного террора, в тот день с особой, вероятно, остротой почувствовал свое будущее.

В дни хлопот я часто заходила к Николаю Ивановичу. Короткова, которую О.М. назвал белочкой, грызущей орешек с каждым посетителем ("Четвертая проза"), встречала меня испуганным ласковым взглядом и тотчас бежала докладывать. Дверь кабинета распахивалась, и Николай Иванович выбегал из-за стола мне навстречу: "Ничего нового?.. И у меня нет... Никто ничего не знает..."

Это были наши последние встречи. Проездом из Чердыни в Воронеж я снова забежала в "Известия". "Какие страшные телеграммы вы присылали из Чердыни", — сказала Короткова и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плача: "Николай Иванович не хочет вас видеть... какие-то стихи..." Больше я его не видела. Эренбургу он впоследствии рассказал, что Ягода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела.

В период хлопот визит в "Известия" к Бухарину занимал не больше часа, а сама процедура хлопот требует непрерывной беготни и по городу. Жены арестованных — численное превосходство даже после 37-го года всегда оставалось в тюрьмах за мужчинами — проторили дорогу в Политический Красный Крест к Пешковой. Туда ходили, в сущности, просто поболтать и отвести душу, и это давало иллюзию деятельности, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния Красный Крест не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и

о совершившейся казни. В 37-м году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром. Ведь самая идея помощи политзаключенным находится в явном противоречии со всем нашим укладом — сколько людей отправилось на каторгу и в одиночные камеры только потому, что были просто знакомы с людьми, подвергавшимися каре властителей? Закрытие Политического Красного Креста было вполне логичным делом, но с той поры семьи арестованных жили только слухами, часть которых распространялась специально для нашего устрашения (...)

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Анна Андреевна тоже погрузилась в так называемые хлопоты. Она добилась приема у Енукидзе. Тот внимательно ее выслушал и не проронил ни слова. Затем она побежала к Сейфуллиной, которая тотчас бросилась звонить к знакомому чекисту. "Лишь бы его не свели там с ума, — сказал "знакомый чекист", — наши на этот счет большие мастера..." На следующий день он сообщил Сейфуллиной, что навел справки, — в это дело вмешиваться не следует... Почему?.. Ответа не последовало. У Сейфуллиной опустились руки. У нас всегда опускались руки, когда нам советовали не вмешиваться в какое-нибудь дело, и мы тут же отступали. Удивительная черта нашей жизни: мои современники подавали петиции и просьбы, выражали свое мнение и действовали только после того, как выяснялось, что скажут по этому поводу "наверху". Все слишком остро ощущали свою беспомощность, чтобы действовать напролом и наперекор. "У меня такие дела не выйдут", — говорил Эренбург, объясняя, почему он отказывается хлопотать по некоторым делам — о пенсиях, например, жилищной и прописке. Ведь он мог только просить, но не настаивать... Чего уж удобнее для начальства! Можно было остановить любое общественное выступление, намекнув, что "наверху" им будут недовольны. Этим пользовались и промежуточные, и высшие инстанции в своих целях и создавали неприкасаемые дела. Начиная со второй половины двадцатых годов "шепот общест-венности" становился все более неуловимым и перестал претворяться в какие-либо действия. Все дела об арестах были, разумеется, "неприкасаемыми", хлопотать полагалось лишь членам семьи — то есть ходить к Пешковой, а потом в прокуратуру. Если кто-нибудь посторонний ввязывался в хлопоты, это было не правилом, а исключением, и ему нужно за это воздать должное. А в дело О.М. вмешиваться, конечно, не стоило — ведь в своих стихах он посягнул на слишком грозное лицо. Поэтому я ценю, что в хлопоты 34-го года пожелал впутаться и Пастернак и пришел к нам с Анной Андреевной и спросил, куда ему обратиться. Я посоветовала пойти к Николаю Ива-

новичу Бухарину, потому что уже знала, как он относится к аресту О.М., и к Демьяну Бедному.

Демьяна я назвала не случайно. Через Пастернака я напомнила ему об обещании, данном в 1928 году. О.М. тогда случайно узнал на улице от своего однофамильца — Исаия Бенедиктовича Мандельштама — про пять банковских служащих, старых "спецов", как таких тогда называли, которых приговорили к расстрелу по обвинению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. Неожиданно для себя и для своего собеседника и вопреки правилу не вмешиваться в чужие дела О.М. перевернул Москву и спас стариков. Эти хлопоты он упоминает в "Четвертой прозе". Среди прочих "интегральных ходов" он обратился к Демьяну Бедному. Свидание состоялось где-то на задворках "Международной книги". Страстный книжник, Демьян был постоянным посетителем этого магазина и, вероятно, там и встречался со своими знакомыми — к тому времени жившие в Кремле уже не смели никого к себе приглашать. Хлопотать за стариков Демьян наотрез отказался. "А вам-то какое дело до них?" — спросил он у О.М., узнав, что речь идет не о родственниках и даже не о знакомых. Но тут же добавил, что, если что случится с самим О.М., он, Демьян, обязательно за него заступится.

Это обещание почему-то очень обрадовало О.М., хотя в ту пору у нас было твердое ощущение: "не тронут, не убьют"... Приехав в Ялту, он мне рассказал об этом разговоре: "Все-таки приятно... Обманет?.. Не думаю..." Вот почему в 34-м году я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись вторично в сундуке, но Демьян как будто уже кое-что знал. "Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя", — сказал он Пастернаку... Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться, или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных? Возможно и то, и другое... Во всяком случае, Демьян сам уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку...

А на съезде журналистов в те дни метался Балтрушайтис, умоляя всех одного за другим спасти О.М., и заклинал людей сделать это памятью погибшего Гумилева. Представляю себе, как звучали для слуха прожженных журналистов тридцатых годов эти два имени, но Балтрушайтис был подданным другой страны, и ему могли внушить, что "в это дело вмешиваться не рекомендуется"...

Балтрушайтис уже давно предчувствовал, какой конец ждет О.М. Еще в самом начале двадцатых годов (в 1921-м, до гибели Гумилева) он уговаривал О.М. принять литовское подданство. Это было возможно, потому что отец О.М. жил когда-то в Литве, а сам О.М. родился в Варшаве. О.М. даже собрал какие-то бумаги и снес показать их Балтрушайтису, но потом раздумал: ведь уйти от своей участи все равно нельзя и не надо даже пытаться...

Хлопоты и шумок, поднятые вокруг первого ареста О.М., сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так по крайней мере думает Анна Андреевна. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция — легкий гул, шепоток — тоже представляет непривычное, удивительное явление. Но если проанализировать этот шумок, еще неизвестно, что бы в нем обнаружилось. По своей наивности я думала, что общественное мнение всегда стоит за слабого против сильного, за обиженного против обидчика, за жертву против зверя. Мне раскрыла глаза более современная Лида Багрицкая. В 38-м году, когда арестовали ее друга Поступальского, она горько мне пожаловалась: "Раньше все было иначе... Вот когда забрали Осипа Эмильевича, одни были против, другие считали, что так и нужно. А теперь что? Своих забирают!" (...)

СВИДАНИЕ

Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного — видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант — высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типуажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой "внутренней" профессии еще до того, как я замечаю их взгляд — голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей — я наблюдала его у школьников и студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и

все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом — первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс...

Я так и не знала, в какое отделение меня вызвали на свидание — в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе отчество — Христофорович. Почему он его не переменял, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение. О.М. страшно сердился на все подобные сопоставления — он считал, что нельзя упоминать все ничего, что связано с именем Пушкина. Когда-то нам пришлось из-за моей болезни прожить два года в Царском Селе, да еще в Лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры, но О.М. этим ужасно тяготился — ведь это почти святотатство! — и под первым же предложением сбегал и обрек нас на очередную бездомность. Так что обсуждать с ним отчество Христофоровича я не решилась.

Свидание состоялось при Христофорыче — я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

Когда ввели О.М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийства — "внутри" отбирают пояса и подтяжки и срезают все застёжки.

Несмотря на безумный вид, О.М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино... Когда она приехала? Я назвала день. "Значит, ты все время была дома?" Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно — ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный — он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно.

Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама собой. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во мне хватало и того и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила.

Думая, что мы расстаемся надолго, а может, навсегда, О.М. поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки — у всех, сидевших и не сидевших, — и мы умеем использовать "последнюю возможность быть услышанным". О.М. в "Разговоре о Данте" приписал эту потреб-

ность Уголино... Но это только наше свойство — чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз мне выпадала возможность "быть услышанной", и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. О.М. во время свидания находился в лучшем положении — я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось, и ни одно слово не пропало даром.

О.М. сообщил, что у следователя были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом "мужикоборец" в четвертой строке: "Только слышно кремлевского горца — душегубца и мужикоборца...". Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О.М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл "беспрецедентным контрреволюционным документом", а меня — соучастницей преступления. "Как должен был на вашем месте поступить советский человек?" — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности... Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова "преступление" и "наказание". Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили "не поднимать дела". И тут я узнала формулу: "Изолировать, но сохранить" — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верха, — первая милость... Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала — отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение... И тут Христофорыч предложил мне сопровождать О.М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если бы я отказалась...

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Я пришла домой с известием, что следователь предъявил О.М. стихи о Сталине и О.М. признал авторство и то, что человек десять из ближайшего окружения их слышали. Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе О.М. в роли конспиратора совершенно невозможно — это открытый человек, не способный ни на какие хитроумные

ходы. Того, что называется изворотливостью ума, у него не было и в помине. А кстати, опытные люди говорили мне, что какой-то минимум в условиях нашего следствия необходимо признавать, иначе начинается "нажим" и обессилевший заключенный наговаривает на себя черт знает что (...)

О.М. удостоился индивидуальной слежки одним из первых: его литературное положение определилось уже к 23-му году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а потому и кишели вокруг него стукачи уже в двадцатых годах... Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловитые молодые люди с военной выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него "последних сочинений". О.М. обычно пробовал уклониться: у него, мол, нет свободного экземпляра... Молодые люди тотчас предлагали все переписать на машинке: "И для вас экземплярчик сделаем..." С одним из таких посетителей О.М. долго торговался, отказываясь выдать "Волка"... Это происходило в 32-м году... Деловитый юноша настаивал, утверждая, что "Волк" уже широко известен. Не добившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел "Волка" наизусть. Доказав таким образом "широкую известность" стихотворения, он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство: они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило "наблюдение за кругом", то есть за теми, кто нас посещает.

Второй вид стукачей — "ценители" — чаще всего члены той же профессии, сослуживцы, соседи... В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти являлись без телефонного звонка, не сговорившись, как снег на голову, так сказать, "на огонек"... Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, О.М. требовал, чтобы я подала чаю: "Человек работает — нужно чаю..." Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. С. — он же Б. — заявился к нам в первый раз с рассказами о Востоке — по происхождению он, мол, из Средней Азии и сам учился в медресе. В доказательство своей "восточности" он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Б., он же С., — знаток Востока и настоящий ценитель искусств. Как сочетался Будда с магометанством и медресе, мы так и не выяснили. Вскоре С. прорвало, и он наскандалил, а вакансия при О.М., очевидно, освободилась, потому что нежданно-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз О.М. взбесился: "Опять Будда! Хватит! Пусть придумают что-нибудь другое" — и выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил.

Третья и самая опасная разновидность называлась у нас "адьютанты". Это литературные мальчишки — в академической среде аспиранты — с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признавались О.М. — так бывало и с А.А., — что их "вызывают и спрашивают". После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Л., о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. "Вы не представляете себе, как вы просвечены", — сказал он. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба, но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди, — это исчезнуть, иначе говоря, отказаться от звания "адьютанта". "Адьютанты" же — это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они тоже литераторы и поэты и пора уже напечататься и как-то пристроиться к жизни. Именно этим их обычно соблазнили, и действительно близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не приоткрывали; зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь — невиннейшем, конечно, — разговоре, который велся у нас вечером, — и "адьютанту" помогут проникнуть на заветные страницы журналов...

Вполне естественно, что адьютанты и все прочие "писали", но странно, каким образом мы не разучились шутить и смеяться. В 38-м году О.М. даже придумал машинку для предотвращения шуток, ибо шутки — вещь опасная... Он беззвучно шевелил губами — "как Хлебников" — и жестами показывал, что машинка уже находится в горле. Но изобретение оказалось никуда не годным, и шутить он не прекращал.

СБОРЫ И ПРОВОДЫ

Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен — женщинам грозило все же меньше опасностей, чем мужчинам. Даже в 37-м году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Впрочем, "хранительницы очага" превосходили в своем "патриотизме" самых осторожных мужчин... Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин: высылаемых обычно избегали все... Анна Андреевна даже ахнула: "Сколько красоток!"

Я укладывала корзины, те самые, которые раздражали прислугу в Цекубу, как рассказал О. М. в "Четвертой прозе". Вернее, не укладывала, а беспорядочно кидала в них все, что попало: кастрюли, белье, книги... В тюрьму О.М. взял с собой Данте, но в камеру не затребовал — ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается: ее передают в библиотеку "внутри". Не зная точно, при каких обстоятельствах книга остается вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данте. Надо было все припомнить, ничего не забыть — ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знаю, потому что всю жизнь переезжаю с места на место со всем своим жалким имуществом.

Мать моя выложила все деньги, вырученные в Киеве за мебель. Но это были гроши — кучка бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на семнадцатом году существования нашего строя. Семнадцать лет тщательного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушали этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы, и никаким воспитанием их не уничтожить. Если даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в следующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть...

Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услышав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут бросилась к Бабелю, но не вернулась... Зато другие все время прибегали с добычей, и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж да еще прожили более двух месяцев. За билеты мы, правда, почти нигде не платили — только приплачивали на обратном пути — в этом удобство сыльных путешественников... В вагоне О. М. сразу заметил, что у меня завелись деньги, и спросил, откуда. Я объяснила. Он рассмеялся — громоздкий способ добывать на путешествия. Ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но до войны в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Кое-кому из писателей-"попутчиков" привалило некоторое благополучие уже в 37-м году. Но оно, в сущности, было иллюзорно и ощущалось только по сравнению с прочим населением, кото-

рое всегда еле сводило концы с концами...

На вокзал меня провожала Анна Андреевна и братья — Александр Эмильевич и Женя Хазин. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание. Дежурный впустил меня, и через минуту по лестнице спустился следователь с чемоданчиком О. М. в руках. "Едете?" — "Еду"... Прощаясь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно мы очутились в этой несвойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения закона; рукопожатия не состоялось — таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорыч руки не подавал. Я получила хороший урок — первый урок политической сознательности в духе революционных традиций: жандармам руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала.

Мы вошли в зал ожидания. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин в мешковатом штатском костюме, и я узнала того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться: все будет доставлено прямо в вагон. И я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклониться на чай, а просто испарились...

Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти — уже отходил ее поезд на Ленинград. Наконец снова явился блондин, и налегке, избавленные от всех вокзальных забот, мы вышли на платформу. Подали поезд. В окне мелькнуло лицо О. М. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили.

О. М. уже находился в вагоне, а с ним три солдата. Мы двое вместе с конвоирами занимали ровно шесть лежачих мест, включая два боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появляющийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из "Тысячи одной калифо-советской ночи".

О. М. прижимался к стеклу. "Это чудо!" — сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья — Женя и Шура. О. М. пытался открыть окно, но конвоир остановил его: "Не положено". Снова появился блондин и проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторше: держать дверь на эту площадку закрытой всю дорогу, ни в коем случае и ни при

каких обстоятельствах не отпираться, уборной с этой стороны не пользоваться. На промежуточных станциях выходить разрешается только одному конвоиру, двум другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом: "Во всем придерживаться инструкции". Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда. Наверное, тоже по инструкции.

Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места, — бесплацкартный вагон был набит до отказа. О. М. не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилён, а смысл жестов неясен. Между нами и тем миром образовалась перегородка. Еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

(...) Михаил Александрович Зенкевич рано впал в гипнотический сон или летаргию. Это не мешало ему служить, зарабатывать деньги, растить детей. Может, этот сон даже помог ему сохранить жизнь и выглядеть вполне нормальным и здоровым. Но, если копнуть, оказывалось, что он давно перешел через грань и не сумел разбить оконного стекла. Зенкевич жил сознанием, что все, что некогда составляло весь смысл его существования, необратимо, кончено, осталось по ту сторону стекла. Это чувство могло бы превратиться в стихи, но шестой акмеист пришел к твердому выводу, что стихов тоже не будет, раз нет Цеха поэтов и тех разговоров, что обольстили его в ранней юности.

Он бродил по развалинам своего Рима, убеждал себя и других, что необходимо скорее сдаваться не только в физический, но и в интеллектуальный плен. "Неужели ты не понимаешь, что этого уже нет, что все теперь иначе!" — говорил он О. М. ...Это относилось к вопросам поэзии, чести и этики, к очередному политическому сюрпризу или насилию — к процессам, арестам и раскулачиванию... Все оправдывалось — выпил, мол, столько брому, что совсем отшибло память... Но на самом деле он не забыл ничего и был трогательно привязан к О. М., хотя и удивлялся его упорству и безумному стоянию на своем. Единственное, что Зенкевич хотел перетащить в свое новое посмертное существование, — это кучка автографов. "Вот Гумилева уже нет, а у меня не осталось ни одного листочка", — жаловался он О. М., выпрашивая черновичок. О. М. злился и не давал: "Он уже готовится к моей смерти!"

В начале пятидесятых годов — отвратительное было время! — я встретила Мишеньку во дворе Дома Герцена, и он за-

вел вечный разговор об автографах (мы не виделись с ним лет пятнадцать): "Где Осины бумаги? Вот не взял я у него ничего, и у меня ни одного автографа нет... Хоть бы вы мне дали..." Вспомнив, что О. М. не терпел этого канючения, я тоже ничего ему не дала, но он все же что-то раздобыл. От прошлого у него остались не книги, не звучащие стихи, а только листочки со стишками, записанные руками старых погибших товарищей, словно документальное свидетельство о былой литературной жизни. "Ведь и стихи теперь другие", — жаловался Миша.

Зенкевич одним из первых съездил на канал и, выполняя заказ, написал похвальный стишок преобразователям природы. За это О. М. пожаловал ему право называться Зенкевичем-Канальским, как некогда к фамилии Семенова прибавили почетное — Тянь-Шанский. В 37-м году Лахути устроил О. М. командировку от ССП на канал. Доброжелательный перс надеялся, что О. М. что-нибудь сочинит и тем спасет себе жизнь. Вернувшись, О. М. аккуратно записал гладенький стишок и показал его мне: "Подарим Зенкевичу?" — спросил он. О. М. погиб, а стишок уцелел, не выполнив своей функции. Однажды в Ташкенте он попался мне на глаза, и я посоветовалась с Анной Андреевной, что мне с ним делать: "Можно его в печку?" Было это на балахане, где мы вместе коротали эвакуационные дни. "Наденька, — сказала Анна Андреевна, — Осип дал вам полное право распоряжаться абсолютно всеми бумагами..." Это было чистое лицемерие. Мы ведь все против фальсификаций, уничтожения рукописей и всякой подтасовки литературного наследства; Анне Андреевне нелегко было санкционировать замысленный мной поступок — вот она и подарила мне именем О. М. неожиданное право, которого О. М. мне никогда не давал: уничтожать и хранить, что мне вздумается. Сделала она это, чтобы избавиться от канальских стишков, и от них тут же осталась горсточка пепла.

Если у кого-нибудь случайно сохранился бродячий список этого стишка, я прошу — даже заклинаю тем правом, которое мы с Анной Андреевной присвоили себе на балахане, — преодолеть страсть к автографам и курьезам и бросить его в печку. Такой стишок мог бы пригодиться только иностранной комиссии ССП, чтобы показывать любопытствующим иностранцам: какое там литературное наследство у Мандельштама — посмотрите, стоит ли это печатать! Мы ведь не стесняемся искажать биографии, даты смерти — кто пустил слух, что О. М. был убит немцами в Воронеже? кто датировал все лагерные смерти началом сороковых годов? кто издает книги живых и мертвых поэтов, пристрастно пряча все лучшее? кто держит годами в редакционных портфелях уже подготовленные к печати рукописи погибших и живых писателей и поэтов? Всего не перечислишь, ведь слишком много спрятано и закопано в разного рода запасниках, а еще больше уничтожено.

Стишок с описанием красот канала вызывал у меня бешенство еще и потому, что сам О. М. должен был отправиться строить его, и этого не случилось только из-за инструкции "изолировать", но сохранить". Тогда канал заменили высылкой в Чердынь — ведь на стройках этих каналов никого сохранить нельзя. Молодые и здоровые языковеды Дмитрий Сергеевич Усов и Ярхо, выйдя на волю, умерли почти сразу — так их разрушили несколько лет, проведенных на канале, а ведь они на физической работе почти не были. Попади О.М. на канал, он умер бы в 34-м, а не в 38-м году — "чудо" принесло ему несколько лет жизни. Но я все же содрогаюсь от чудес и при этом не считаю себя неблагодарной: чудеса — вещь восточная, западному сознанию они противопоказаны (...)

ТЕЗКА

В вагоне я не сразу поняла, что с О.М. Он встретил меня с восторгом и мое появление воспринял как чудо. Да оно и было чудом. О. М. сказал, что все время готовился к расстрелу: "Ведь у нас это случается и по меньшим поводам..." Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Винавер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина: "Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво: у нас и не за такое расстреливают..." Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость: "Ее могут отобрать, как только уляжется шум..." "А так бывает?" — спросила я. Моя наивность поразила его: "Еще бы!.." И еще: "Только не напоминайте о себе — может, забудут..." Вот этот совет — тише воды, ниже травы — мы не выполнили. О.М., шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели.

В вагоне О. М. сказал мне: милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Винавера. И я этой концепции нисколько не удивилась: все мы в 34-м году уже кое-что знали. О.М. утверждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав — трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. И я только кивала головой, когда он шептал мне: "Не верь им!" Еще бы! Кто им поверит!

А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым О. М. заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшим показался мне не О. М., а старший конвойный Оська, тезка О. М. и адресата стихов, когда, ото-

завая меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: "Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают..."

О том, что речь идет о стихах — по-народному они называются песнями, — Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок...

Все мы в равной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали; особенно доверчива молодежь — студенты, конвойные, писатели, солдаты... "Самые справедливые выборы, — сказал мне в 37-м году демобилизованный солдат, — нам предлагают, а мы выбираем..." О. М. как писатель тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым. "Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся, и будут обыкновенные выборы", — сказал он, покидая избирательный участок и поражая нововведению — первым и последним выборам, в которых участвовал. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи — солдат и студентов?..

В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О. М. назвал "племенем пушкиноведов", "молодыми любителями белозубых стишков", которые "грамотеют" в шинелях и с наганами... "Вот как римские цари обижают стариков, — говорил товарищам Оська. — Это ж за песни его так сослали..." Описание севера действовало неотразимо: северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить: нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнаннику. Провожая меня в уборную — по инструкции, — Оська умудрился мне шепнуть, что наша цель Чердынь — там климат хороший — и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен: ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою... Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения... Но, оказывается, напрасно — я уже это знала. Но я утешила старшего — если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить Бог знает что — такую из всего делали тайну (...)

ШОКОЛАДКА

Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только

от О.М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму — нельзя! Купить хлеба — нельзя! Подойти к газетному ларьку — нельзя!.. На промежуточных станциях тоже не давали выйти — не положено! О. М. сразу заметил это: "Значит, и ты попалась..." Я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана, а еду добровольно, провожаю... "Нельзя. Инструкция"...

Свердловск — это многочасовое — с утра до позднего вечера — сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении — нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение — часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты... Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки и те не удостаивали нас вниманием... Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться — не положено. До воды не дотянуться... Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск — станция серьезная...

Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск — Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяло от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий — у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О. М. не отрываясь смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь.

Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишаших народом вокзалах, но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам или просто боялись заразы? Кто их знает... Но, скорее всего, это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий: раз начальство ссылает — значит, так и надо, а моя хата с краю... Равнодушие толпы ранило и мучило О. М.: "Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят..." Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно — пристрелить, убить, растерзать — и никто не вмешается... Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища... Всю дорогу я пыталась перехватить хотя бы чей-нибудь взгляд, но мне это не удалось...

Может, только Урал был таким твердокаменным? В 38-м году я жила в Струнино, в стоверстной зоне под Москвой; это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженощно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещалось жалеть арестантов и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое зарешеченное окно теплушки шоколадку — она несла ее дочке!.. Редкое угощение в нищенской рабочей семье. Солдат с руганью отогнал ее прикладом, но она весь день была счастлива — все же удалось хоть что-то сделать! Кое-кто из соседок, правда, вздохнул: "Лучше с ними не связывайся... Со свету сживут... по завкомам затаскают..." Но моя хозяйка "сидела дома", то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась.

Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне-телятнике 38-го года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей, — вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого, для них запретного мира: дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли и еще живы люди по ту сторону тюрьмы...

По дороге в Чердынь я утешала себя мыслью, что суровые уральцы просто боятся глядеть на нас и что каждый встретившийся нам человек, вернувшись домой, расскажет шепотом отцу, жене или матери о двух людях — мужчине и женщине, — которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север.

ПРЫЖОК

Я поняла, что О. М. болен, в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги, на скамье и напряженно во что-то вслушивается. "Ты слышишь?" — спрашивал он меня, когда наши взгляды встречались. Я прислушивалась — стук колес и храп пассажиров. "Слух-то у тебя негодный... Ты никогда ничего не слышишь..." У него действительно был чрезвычайно изошренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе.

Всю дорогу О. М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что на-

до быть начеку, чтобы не попасться врасплох и успеть... Я поняла, что он не только ждет конечной расправы — в ней и я не сомневалась, — но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути... "В дороге? — спрашивала я. — Ты, верно, про двадцать шесть комиссаров вспомнил..." "Отчего ж нет? — отвечал О. М. — Ты думаешь, что наши на это неспособны?" Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно... Но в своем безумии О. М. надеялся "предупредить смерть", бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой: самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собирались не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох...

Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко — в разные невыносимые периоды нашей жизни — предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызывали резкий отпор*. Основной его довод: "Откуда ты знаешь, что будет потом... Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться..." И наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: "Почему ты вбила себе в голову, что должна стать счастливой?" О. М., человек абсолютно жизнеутраченный, никогда не искал счастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало.

Впрочем, чаще всего он отшучивался: "Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах? Ведь это был бы положительный литературный факт!" И еще: "Не могу жить с профессиональной самоубийцей..." Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: "Ну и хорошо, что расстреляют — избавят от самоубийства..." А он, уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: "А ты опять за свое..." С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О. М. говорил: "Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим..."

А в 37-м году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела: "Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно?..." Если б он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телящем вагоне во Владивосток — в лагерь, к ужасу и смерти,

* Рассказ Георгия Иванова о том, что О. М. в ранней юности пытался в Варшаве покончить с собой, по-моему, не имеет ни малейшего основания, как и многие другие новеллы этого мемуариста. — *Прим. авт.*

а меня — от посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека — ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, все поддерживала фраза О. М.: "Почему ты думаешь, что должна быть счастливой?", да еще слова Аввакума: "Сколько нам еще так идти, протопоп?" — спросила изнемогающая жена. "До самой могилы, попадья", — ответил муж, и она встала и пошла дальше.

Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик... Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верят нам. А ведь они — современники: нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла что-то разумное рассуждение: "Говорят, что там боялись ВСЕ. Не может быть, чтобы все боялись: одни боялись, другие нет..." Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была "профессиональной самоубийцей", как меня дразнил О. М. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся "Самоубийца"...

Итак, в вагоне, под охраной трех солдат, О. М. впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью: этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал острейшей наблюдательностью. "Внимание, — записал он где-то в черновиках, — доблесть лирического поэта. Рассеянность и растрепанность — увертки лирической лени". И вот по дороге в Чердынь эта хищная наблюдательность и изоциренный слух обратились против него, подбрасывая горячее его болезни. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал всякие мелочи и, относя все к себе — не эгоцентризм ли является первым признаком душевных заболеваний? — делал из всего один вывод: роковой момент приближается.

В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них — бородатый, в бурокрасной рубашке, с топором в руке — своим видом напугал О. М. "Казнь-то будет какая-то петровская", — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, О. М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен, — вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться и "зацапают", когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года.

В безумии О. М. понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная — возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам?

Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в Чека и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажом не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал, и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил какие-то старания, по любопытно-злым взглядам коменданта и по тому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не "потворствовал" приезжавшим под конвоем... В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки.

Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как бы прозрачным сном, сквозь который видела, как О. М., скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине, на шаткой койке.

Вдруг — я почувствовала это сквозь сон — все сместилось: он вдруг очутился в окне, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он опускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения — что-то шлепнулось — и крик... Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору, вниз по лестнице и на улицу... За мной бросились санитарки. Мы нашли О. М. на куче земли, распавшей под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я недоглядела.

Прибежала встрепанная и очень злая врачиха и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо. Остальное все цело. Это был благополучный исход — он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным.

Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов — Бог их знает, кто они были. О. М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачаха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачаха не заметила перелома плечевой кости (без смещения). Перелом обнаружился гораздо позже — в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала: О. М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой.

После ночного прыжка наступило успокоение. Так и сказано в стихах: "Прыжок — и я в уме".

ЧЕРДЫНЬ

Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил О. М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы: помог, как он мне тогда объяснил, соликамский опыт: мужики — это мужики и от них ничего худого ждать не надо... "Те" выглядят совершенно иначе... У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же цирюльничьими методами, как О. М. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятного в человеческом поведении — вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы — переселение в чудовищных условиях, непосильные тяжести, ушибы... Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссыльная, работавшая в больнице кастаньяншей — она считала, что ей удивительно повезло с работой, — говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике О. М. определил, кто она*.

Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенными? Перемещенными? Не помню, но раскулаченными их называть запрещалось. Мы не любили называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами — они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв?

В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. На воле с этим

* С. р. (социалистка-революционерка). — *Прим. авт.*

давно покончили, но Чердынь жила традициями, и кастелянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы — их потом не достанешь — и занялась огородом: иначе не прокормиться. Участок для огорода ссыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыни был жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам. Мы заходили с кастеляншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться — отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать и О. М., хоть он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая "видом на жительство" служить не могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских ссыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать О. М. в район. В Чердыни, уездном центре, старались никого не оставлять: "Они считают, что нас здесь и так слишком много..." "А он имеет право?" — спросила я, объяснив, что назначение О. М. просто "Чердынь", а не район... "Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города..." В начале весны здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. "А там были совсем большие товарищи", — сказала кастелянша. В обстановке каторги и ссылки слово "товарищ" имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть (...)

Чердынские ссыльные успокаивали меня насчет здоровья О. М.: "Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются..." "Почему в таком виде?" — спрашивала я. Они не знали, как объяснить. "А раньше тоже было так?" Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело... Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться, однако, не надо: "это" проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — оно ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться Чердынью как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия.

Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все ссыльные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась "внутри", начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный — их таскали по ссылкам и лагерям уже больше десяти лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я вспомнила старика Гендельмана, провинциального врача. Я встретила его в самом начале двадцатых годов (...)

После прыжка из окна О. М. продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначал на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении. В палате, где мы жили, висели большие стенные часы. Однажды О. М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и кастелянша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали, и О. М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. "Смотри, — сказала я. — Ты говорил о шести, а теперь уже четверть восьмого..." Как это ни странно, обман удался, и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились (...)

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Мы ходили по Чердыни, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязи напоминала мне о первом утре — или это была белая ночь? — и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 38-м году пришли чекисты и снова увели О. М., у меня опять в руках остался пустой пиджак — в спешке он забыл его взять.

За несколько дней в Чердыни О. М. очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в Чердыни, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться, все равно ничего не успеешь сделать, даже покончить с собою не так просто — "иначе никто не дался бы им в лапы живым..."

Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в Чердыни О. М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне: не его словарь. "Этого я не мог даже мысленно произнести" — таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение, считая, что галлюцинация должна каким-то образом отражать внутренний мир больного.

"Может, вытесненное?" — допытывалась я. Он твердо настаивал, что "вытесненное" у него совсем другое, а это постороннее. "Страхи — и то совсем не те..." О. М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось, по крайней мере для меня, очень мало темных мест — я говорю именно о "темных местах", потому что по-своему он был сдержанным человеком и существовали темы, которых он почти не касался. Например,

он не раскрывал код стиховых ассоциаций, стихов вообще не комментировал, скупое высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине... Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством, и именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это "задержками" нельзя, это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений, скорее наоборот... Да стоит ли вообще думать о "задержках", когда болезнь вызывается слишком сильной реакцией на действительность?

"Чей же это был язык? Чьи слова ты слышишь?" Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы. Они иногда, перемигиваясь, щелкали пальцами — символический жест, означавший "в расход", и обменивались отдельными устрашающими репликами: ведь все их поведение тоже служило для застрашивания заключенных, они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О. М. часто припоминал еще голос человека, выпускавшего его из "железных ворот ГПУ". О. М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный из охраны. Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в "воронке", но слышал, как некто проверяет документы, прежде чем выпустить из ворот машину, и голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное — это внушительные речи следователя с его "преступлением и наказанием"...

"Голоса, — сказал он как-то мне, — это как будто "сборная цитата" из всего, что я слышал..." ("Сборная цитата" — выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Белый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной "сборной цитаты", представляющей как бы квинтэссенцию его мыслей и слов...)

Чтобы проверить, как О. М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Оськи например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. О. М. возмутился: конвойные — простые деревенские парни, несущие страшную службу — "как кур во щи попались", а раскулаченных он принимал именно за то, чем они были. "Обыкновенные люди этого говорить и думать не могут..." "Обыкновенные" люди и те, с кем он столкнулся "внутри", представлялись ему как бы двумя полюсами. Не раз и в Чердыни, и позже О. М. говорил: "Ты себе не представляешь, как они там подобрались..." При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те "внутри" — совсем особые: "Чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание — обыкновенный человек этого не вы-

держит...” В Чердыни он относил к людям ”внутренней профессии” одного только коменданта. Это совпадало с оценкой ссыльных. Они предостерегали — с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза: ”Бог знает, что ему взбредет в голову”. Это был человек гражданской войны. ”Он всегда прислушивается к своему классовому чутью, — с ужасом сказал мне коротконогий марксист, — а это к добру не приводит — ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет”. Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас О. М. перед этим человеком был вполне обоснован.

О. М. мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, укрепляющие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей как подсудимых на будущем процессе и взывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово ”совесть”, совершенно выпавшее у нас из обихода — оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала ”классовым чувством”, а потом ”пользой государства”, — сохранялось и работало ”внутри”. Там постоянно угрожали подследственным ”муками совести”. Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что, когда его ”таскали”, требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распусть среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложения органов... Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах. И ”процесса” вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина О. М. тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания — этой темы при мне касался следователь, объясняя, что ”не поднимает дела” только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос: как же объяснить такое поведение людей, как не заговором... Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение.

Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и О. М. думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску — он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована и ее ведут сейчас на допрос. ”Почему ты так думаешь?” — ”Мне так кажется...” Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны в оврагах... Конечно, это безумие... А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спа-

ла ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют — хорошо, если недонесение, но ведь можно пришить что угодно. <...>

О.М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли такая сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни?

Больных полагаются лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино: "Не положено..." Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: "Чего вы от меня хотите? Все они "оттуда" приезжают в таком состоянии..."

У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя — беззаконие... И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородачье мужики относятся к ней неплохо. "Нечего к ней лезть, — сказал один из них. — Что она может? Ровным счетом ничего..." "А что она за человек?" — спросила я. "Не хуже других", — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла что она — обыкновенный районный врач. Ей не повезло — она попала в местность, куда посылали "оттуда", и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и "действовать по инструкции". Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжения начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их, а мне дала добрый совет: не добиваться, чтобы О. М. послали в Пермь на экспертизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. "Это у них проходит, а там его загубят... Вы знаете, как у нас в таких местах..." Этот совет я приняла и хорошо сделала: "это" у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как "это" называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных, какими условиями "внутри" обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О. М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний; а люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче и их психика сохранялась несравненно лучше. <...>

ПРОФЕССИЯ И БОЛЕЗНЬ

Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания.

Стихи начинаются так — об этом есть у многих поэтов, и в "Поэме без героя", и у О.М.: в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти... От мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате.

Анна Андреевна рассказывала, что, когда пришла "Поэма", она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться, даже бросалась стирать, но ничего не помогло.

В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг проступали слова, и тогда начинали шевелиться губы. Вероятно, в работе композитора и поэта есть что-то общее, и появление слов — критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства.

Иногда погудка приходила к О.М. во сне, но, проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов.

У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены. (О.М. никогда не говорил, что стихи "написаны". Он сначала "сочинял", потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова.

Последний этап работы — изъятие из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокрававшиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявлялось целое. Они застряли, и их удаление тоже тяжелый труд. На последнем этапе происходит мучительное вслушивание в самого себя в поисках того объективного и абсолютно точного единства, которое называется стихотворением. В стихах "Сохрани мою речь" последним пришел эпитет "совестный" (деготь труда). О.М. жаловался, что здесь нужно определение точное и скупое, как у Анны Андреевны: "Она одна умеет это делать..." Он как бы ждал ее помощи.

В работе над стихами я замечала не один, а два "выпрямительных вдоха" — один, когда появляются в строке или строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя, тот самый, который подготавливает почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. Бедная корова Ио удрала от пчелы.

Если стихотворение не отстаёт, говорил О.М., значит, в нем что-то не в порядке или "еще что-то спрятано", то есть осталась

плодоносная почка, от которой тянется новый росток; иначе говоря, работа не завершена.

Когда внутренний голос умолкал, О. М. рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно: я так близко видела эти метания, что О. М. казалось, будто я тоже слышала всю погудку. Иногда он даже упрекал меня, что я чего-то недослышала. В последний воронежский период (стихи из "Второй" и "Третьей" тетрадей) мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца, обезьяноподобного агронома, прелестнейшего и чистейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, но его музыкальное чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов.

Первое чтение как бы завершает процесс работы над стихами, и первый слушатель ощущается как его участник. Первыми слушателями О. М. с тридцатого года были Борис Сергеевич Кузин, биолог, которому О. М. посвятил стихотворение "К немецкой речи", Александр Маргулис — это он, в сущности, распространил стихи первых двух тетрадей. Запомнив стихи с голоса или получив список, Маргулис читал их друзьям и знакомым, а имел он их несметное количество. О. М. сочинял бесконечные "маргулеты", стишки про Маргулиса, которые должны были начинаться со слов "старик Маргулис" и обязательно получить одобрение самого Маргулиса, и уверял, что у нищего старика Маргулиса (ему было тогда не больше тридцати лет) дома сидит еще более нищий старик, которого он тайком кормит. Сам Маргулис был настоящим человеком-оркестром и высвистывал самые сложные симфонии. Жаль, что потеряны самые лучшие "маргулеты" о том, как "старик" исполняет на московских бульварах Бетховена. И женился Маргулис на пианистке Изе Ханцын, прекрасной исполнительнице Скрябина. Маргулис в жизни любил музыку, стихи и приключенческие романы. Мне рассказывали, что, умирая под дальневосточным небом, он рассказывал уголовникам всякие небывлицы и приключения мушкетеров, а они его за это подкармливали.

Первым слушателем часто оказывался и Лева Гумилев — он жил у нас зимой 33/34 года. Начало "Первой воронежской тетради" О. М. читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами, но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград.

Случилось так, что у всех первых слушателей О. М. была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во времена ежовщины и вытерпел все, но ничего не подписал и попал поэтому в число счастливцев, выпущенных после падения Ежова. Вышел он из этого испытания больным и растерзанным

человеком, а во время войны его снова сослали просто за то, что ему случилось родиться в Вене, откуда его увезли домой в Киев трех недель от роду.

Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Кузина "таскали" еще до нашего с ним знакомства в связи с делами биологов. Попался он в первый раз из-за каких-то своих шуточных стихов, которые тщательно от нас скрывал. Его вызывали на какие-то частные квартиры, где в отдельной, специально для этого закрепленной комнате сидел следователь и вербовал стукачей. Сел же он в первый раз еще в 32-м году, а потом был взят вторично в один день с биологом Вермелем — оба они числились неоламаркистами и были уже изгнаны из Тимирязевки.

Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лева даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними было — любовь к стихам. Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель или в лучшем случае на ссылку. Жить разрешалось только переводчикам.

Процесс работы над переводом прямо противоположен сочинению подлинных стихов. Я не говорю, конечно, о чуде слияния двух поэтов, как бывало с Жуковским или с А.К. Толстым, когда перевод вносил новую струю в русскую поэзию или переводные стихи становились полноценным фактом русской литературы, как любимая нами "Коринфская невеста". Такие удачи бывают только с настоящими поэтами, да и то очень редко, а просто перевод — это холодный и разумный версификационный акт, в котором имитируются некоторые элементы стихописания. Как это ни странно, но при переводе никакого готового целого до его воплощения не существует. Переводчик заводит себя, как мотор, длительными, механическими усилиями вызывая мелодию, которую ему нужно использовать. Он лишен того, что Ходасевич очень точно назвал "тайнослышанием". Перевод — это занятие, противопоказанное подлинному поэту, созданное для того, чтобы предотвратить даже зарождение стихов.

В "Разговоре о Данте" О. М. говорит о "переводчиках готового смысла", выражая свое отношение и к переводческой работе, и к тем, кто пользуется формой стихов, чтобы излагать свои мысли. Их О. М. всегда отделял от подлинных стихотворцев. Одно время у нас в стране перестали читать стихи. "Стихи — такая вещь, — сказала Анна Андреевна, — кто раз проглотит суррогат, навсегда как отравленный". К стихам вернулись, и сейчас их читают, как никогда, но только потому, что научились отличать их от всех продуктов переводческого ремесла.

Стихи — как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словотворчества — наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека — речью. К фонетическому комплексу, называемому словом, прикрепляют произвольное значение, и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком гипнотизера. Обман рано или поздно будет разоблачен, но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик.

“ВНУТРИ”

⟨...⟩ О.М. благодаря своей возбудимости оказался, вероятно, легкой добычей, и особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в “двухместной одиночке”. Следователь прокомментировал одиночку следующим образом: “Одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений”. Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато, когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказа. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, вышедшие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом, о котором в 34-м году до ареста О.М. мы еще не знали.

Сосед О. М. по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал О. М., что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, “консультировал” О. М., то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, О. М. попадал в лапы к своему “соседу”, который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставания О. М. спрашивал: “Отчего у вас чистые ногти?” Этот заключенный имел глупость сказать, что он “старожил” и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже О. М. — якобы с допроса, и О. М. заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал.

Следователь, парируя сообщение О. М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О.М. был в камере с другим заключенным, но “оби-

жал своего соседа”, и того пришлось перевести. ”Какая заботливость!” — успел вставить О.М., перепалка на эту тему кончилась.

О. М. на первом же допросе признал авторство инкриминируемых ему стихов, значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подсудимых, чтобы жизнь им стала не мила. До 37-го года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными избиениями. Не слышала я после 37-го года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди, удостоенные одиночки на Лубянке, после 37-го года живыми оттуда не выходили.

О. М. подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь — это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по многу часов. Большая часть ночи уходила не на допрос, а на ожидание у дверей кабинета следователя под конвоем. Однажды, когда допроса не было, О. М. все-таки разбудили и повели к какой-то женщине, и она, продержав его много часов у себя под дверью, изволила спросить, нет ли у него жалоб. Бесмыслица жалоб так называемому прокурорскому надзору всем ясна, и О. М. этим своим правом не воспользовался. К прокурорше его таскали, вероятно, чтобы соблюсти формальность и сохранить для него бессонный режим в ту ночь, когда следователь отсыпался. Эти ночные птицы вели дикий образ жизни, но все же поспать им удавалось, хотя не в те часы, когда спят обыкновенные люди. А пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь...

На свидании я заметила воспаленные веки О. М. и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь; читал, мол, слишком много, но тут же выяснилось, что книг в камеру О. М. не давали. С больными веками пришлось возиться все годы — вылечить их так и не удалось. О. М. уверял меня, что воспаление произошло не только от ярких ламп, но что ему будто бы пускали в глаза какую-то едкую жидкость, когда он подбегал в камере к ”глазку”. Всякое беспокойство ведь претворялось у него в движение, и, оставшись один в камере, он метался по ней... Мне говорили, что ”глазок” защищен двумя толстыми стеклами. Поэтому пустить жидкость через него никак нельзя. Возможно, что эта едкая жидкость принадлежит к ложным воспоминаниям, но достаточно ли одной яркой лампы, чтобы причинить такое стойкое заболевание век?

О. М. кормили соленым, но пить не давали — это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал

воды у того же часового, подходя к "глазку", его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубашку. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом: он записал, как она выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным.

На свидании я заметила, что обе руки у О. М. забинтованы в запястьях. "Что это у тебя с руками?" — спросила я. О. М. отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что О. М. принес в камеру запрещенные предметы, а это карается по статуту тем-то... Оказалось, что О. М. перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие "Жиллетт". Дело в том, что Кузин, выпущенный в 33-м году после двухмесячной отсидки — его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией, — рассказал О. М., что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями: их можно запрятать в подошве. Услыхав это, О. М. уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине двадцатых годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других "подударных профессий" делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления: совершенно естественно, что люди думают о будущем, молодцы... Таковы были наши будни, и заблаговременно упрятанное в сапоге лезвие дало О. М. возможность вскрыть себе вены: изойти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни (...)

ХРИСТОФОРЫЧ

(...) Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться, иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, сменное и уничтоженное в 37-м году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал О. М., что для поэта полезно ощущение страха — "вы же сами мне говорили", — оно способствует возникновению стихов, и О. М. "получит полную меру этого стимулирующего чувства"... Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время — не "получил", но "получит". В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?..

У меня с О. М. появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так: "У этого Христофорыча все перевер-

нуто и навыворот". Чекисты действительно были передовым отрядом "новых людей" и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было.

Основной прием, которым действовал следователь, запугивая О. М., оказался все же абсолютно примитивным: назвав где-нибудь имя — мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, — он сообщал, что получил от нас такие-то показания... О. М. начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да ни нет, но как бы невзначай давал понять, что "они уже у нас", чтобы через минуту отречься от своих слов: "Я вам этого не говорил". Незнание в таких делах разрушительно для подсудимого, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с О. М. и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны... А потом сиди у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь...

Следователь, "специалист по литературе", усиленно щеголял своей осведомленностью: всех он, мол, знает и в курсе "всех ваших дел". Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку: одного — "двоеженцем", другого — "исключенный", одну из бывших у нас женщин — "театралкой"... Эти прозвища он употребил при мне на свидании, но О. М. говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал и нечто другое: ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень...

О. М. на клички не обращал внимания — он понимал, чего этим хочет достичь следователь.

О. М. утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые "разговорчики". Говорят, что научные силы Лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать О. М. "Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже..." Считалось, что О. М., как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязательно очень распространенная, вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности — Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрог-

нуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции если не полное преступление, то, во всяком случае, отягощающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае, мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться... К такому же типу схематических вопросов относится: "Такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас". Ясно, что на такие крючки О. М. не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем?.. Был бы человек, дело найдется...

Следствие Христофорыч вел как подготовку к "процессу", о чем он упомянул при свидании — "мы решили не поднимать дела" и тому подобное... По нашим обычаям материала на "дело" хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия — объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. О. М. огородил его неожиданным ответом: больше всего, сказал он, ему ненавистен фашизм...

Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что О. М. не собирался исповедоваться перед следователем, но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно и он махнул рукой на все... Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем О. М. усматривает фашизм в нашей жизни — эту фразу он повторил и при мне на свидании, но — удивительное дело! — удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. О. М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила, но в 38-м году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, О. М. заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 34-м году, когда велось следствие о стихах О. М., уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягodu. По невероятной слепоте — вот она, власть готовых концепций! — мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы — уже знавшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского!..

Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофорыча, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, и О. М., может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи — все эти новые люди, убивавшие и погибавшие, признавали только свое право на мысль и суждение.

Любой из них расхохотался бы, если б узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации, тот самый человек, которого к ним приводят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи О. М., что он изволил запомнить их наизусть — ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыни, — но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу — прошлую, настоящую и будущую, — если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушить народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать — каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки, но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи О. М. были настоящим преступлением — узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики. Эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей: право на суждение определяется и будет определяться служебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака: доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом.

Сам факт написания стихов Христофорыч называл "акцией", а стихи — "документом". На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного "документа" ему не приходилось видеть никогда. О. М. не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в одиннадцать, включая меня, двух братьев — моего и своего — и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, О. М. перечислил мне на свидании, чтобы

я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснял, как каждый из слушателей реагировал на стихи. О. М. утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих одиннадцати, стихи о Сталине слышали еще человек семь-восемь, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский.

Протоколы О. М. подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. "Вероятно, доверял вам", — злобно сказала я... И действительно, я и сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было доверять: дело по нашим условиям было совершенно реальным, материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла.

В начале следствия, как заметил О. М., следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихотворения как террористический акт и угрожать расстрелом. Вначале же он грозился расстрелом не только автору, но и "всем сообщникам", то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией "сохранить". Я не видела следователя в первой фазе — угрожающей, — и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия, и, вероятно, не только у нас.

Следователь выяснял также отношение О. М. к Советской власти, и О. М. сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме Чека. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезвычайное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с О. М. вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в "Правде" появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и "сотрудничают с ними" на допросах... И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку... Добровольно Шагинян написала этот фельетон или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует.

В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 34-м году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писа-

теля Павленко — как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей — их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христорыча.

Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали — он все за них хватался, — отвечал невпопад, — ни одного четкого и ясно-го ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде, и тому подобное... Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного, но то, что сделал Павленко, превосходит все. Николай Булгарин на это не осмелился бы. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинить заключенного, — это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но, во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей двадцатого века? С песнями валиться во рвы и общие могилы?.. Смело задышаться в газовых камерах? Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах?.. Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве?.. Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования?..

А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх — перед самим бытием. Об этом часто говорил О. М.: с революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.

КТО ВИНОВАТ

Первый вопрос, заданный следователем: "Как вы думаете, почему вас арестовали?" После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. О. М. последовательно прочел "Волка", "Старый Крым" и "Квартиру". Он еще надеялся, что этим удовлетворятся: любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни "Старого Крыма", ни "Квартиры" и тут же их записал. "Квартиру" О. М.

сообщил без восьми строчек — ”Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозное баюшки-баю колхозному паю пою”, — и в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О. М. признал авторство. Следователь потребовал, чтобы О. М. прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант: ”Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца”. О. М. объяснил, что таков был первый вариант. После этого О. М. пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку.

О. М. видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи — полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны.

Среди людей, слышавших эти стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти шестнадцать строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения: замены слов, пропуски... Если бы О. М. обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у О. М. не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступать. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару... Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать?..

Равнодушие О. М. объяснялось и другим: он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет для этого время. Мы жили в мире, где всех ”таскали туда”, требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях...

На почве вызовов у людей развились две болезни: одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов О. М. Я предложила дать ему список; но он пришел в ужас: вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки! Шенгели, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 34-м году, когда О. М. уже на-

ходил в Воронеже, ко мне явился Маргулис, насупленный и мрачный: "Скажите, это не я?" Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слышал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась.

Мы не раз останавливали людей, когда слишком вольно разговаривали: "Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать". А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зенкевич, например, учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь, но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили, и поэтому мы не такие, как все.

Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке — подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

О ПРИРОДЕ ЧУДА

(...) История с О.М. открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной... А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя...

Е. Х. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: "Улита едет... Пока до нас доползет, снег выпадет..." И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье: "Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Зима здесь знатная".

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки — телеграфистка и регистраторша, с которыми О. М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали "хозяина". Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам: "А может, это ваши родственники бахнули?.. Я почему знаю!" Два-три дня он не выпускал О. М. — и это стоило нам немало волнений, — пока наконец не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу — на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать.

”Безотлагательно!” — сказал он, и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. ”Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач”, — сказал О. М., и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он был так потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность — дал казенную подводку, чтобы перевезти вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи — вероятно, он даже счел нас чем-то вроде ”своих”, потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло ”сверху”...

К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были набиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во времена переселения народов или эвакуации... Пристань в Перми. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямках тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли мешками про запас — хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачивание столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках, где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам...

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди ”блуждают и телом и духом”. Это — молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на много столетий и двигающий его культуру. И мы тоже ”все как будто странники”, и не только ”как будто”, а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все же я не могу сказать — нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу не пустили, потому что у О. М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт — это привилегия горожанина, деревня у нас беспаспортная, так что чужкам в гостиницу не попасть, так же как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан...

Пропорционально усталости у О. М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия — с конвоем и без — затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ в городе — мы еще бродили по улицам — "поговорить о деле...". Дежурный отгонял его: "Уходите прочь... Целыми днями к нам такие лезут..." О. М. вдруг опомнился: "Как магнит это проклятое окошко", — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но "магнит" действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, "дела" и расстрелы?.. Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливицы были...

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а по крайней мере любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через рокошующие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами: народ не любит привилегий, а ведь толпа на пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки — одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком. "У нас голод, — объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич. — Но сейчас все по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает..." А один молодой физик — это было после войны — поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе тестя, и похваливал: "Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет..." Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали полочки от низших категорий. По иронии судьбы нам полагалось на этот раз получить билеты в самой "чистой" из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. "Начальничек", то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе — ничего с этим не поделаешь... Зато пароходная челядь всю дорогу

отлично нас обслуживала — эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие "главные", что даже на чай не дают...

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну — ехали, как настоящие туристы. Именно в эти пародные дни произошел подлинный перелом в болезни О. М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться, — трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал, и к тому же совершенно спокойно. Между прочим он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений "чудотворных строителей" и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О. М. фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались; во всяком случае, он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась — на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалась повышенная чувствительность, утомляемость — он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в Данте почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность — заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой — люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню... Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы боеем. После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны... "Как так всем! — воскликнул сановник. — Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?"

Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не скovyрнутся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой.

Хоть нам с О. М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую "передышку"...

1970, 1989

МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ

(...) Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Григорьевна Герштейн (ее отец был врач, и квартира находилась при больнице), удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине — письменный.

Меня привел сюда Осип Эмильевич Мандельштам. Мы стояли у стола и почему-то стоя пили сухое вино, закусывая сыром. Осип Эмильевич был оживлен. Это были первые месяцы его "свободы".

В мае 1937 года Мандельштаму разрешили покинуть Воронеж. В Москве жить было негде, да и прописки уже не было. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна на лето поселились в Савелове. Во время летних каникул я поехала к ним. Оставив мужа в Москве у своей тетки, я отправилась одна в Савелово. Нашла нужную улицу и дом; в окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть, казалось, больше воздуха.

День промелькнул необыкновенно быстро, вечером я обещала мужу вернуться в Москву. Мандельштамы запротестовали. Мне и самой не хотелось уезжать, но обещала — Борис будет ждать. "Дадим ему телеграмму, что приедете утром", — весело сказал Осип Эмильевич. Так и сделали.

Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал мне новые стихи. Мне кажется, их было десять или одиннадцать*. Стихи пропали при последнем обыске и аресте. Надежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было. Можно надеяться

* Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные — и, конечно, прекрасные. Но одно из них резко отличалось от остальных. В нем шла речь о смертной казни, которую Осип Эмильевич не принимал и не оправдывал ни при каких обстоятельствах. Кажется, хотя я в этом не уверена, у Мандельштама на эту тему был спор в Союзе писателей, как будто с Лупиолом. Осип Эмильевич всегда забывал о своем положении. Осторожность не была ему свойственна. — *Здесь и далее прим. авт.*

только на чудо, на то, что они сохранились где-нибудь в архиве НКВД,— но бывает ли такое?

Когда мы вернулись среди ночи домой, Надежда Яковлевна уже постелила на полу постель, отдельно каждому стлать было нечего, и мы все легли, как говорится, вповалку. Было жестко, неудобно, но это никого не огорчало.

Утром Мандельштамы проводили меня на вокзал, а затем более поздним поездом тоже поехали в Москву.

Мы условились встретиться вечером на концерте Яхонтова. Я была страстной его поклонницей. (...)

Прекрасный голос, исключительное внешнее обаяние, предельно скупые и выразительные жесты — все это слагалось в неповторимый облик актера. Мы много раз говорили с Осипом Эмильевичем о Яхонтове. Мандельштам хорошо его знал и любил, вернее, они взаимно любили друг друга.

Владимир Николаевич считал Осипа Эмильевича своим учителем. Мне это было непонятно. Манера чтения была у них совершенно разная. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости или подвывания, подчеркивая ритмическую сторону стихотворения. И все-таки Яхонтов читал по-другому, оставляя огромное впечатление.

Концерт был посвящен столетию со дня гибели Пушкина. Мы с мужем немного опоздали. Нас все же впустили в зал, мы сели на свои места. Мандельштамов не было. И вдруг, когда кончилось первое отделение, Осип Эмильевич, увидев нас, прыгнул со сцены прямо в партер. Он был за кулисами. После концерта мы вчетвером, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Напшельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяйева, очевидно, были на даче).

* * *

В начале февраля 1936 года моя давнишняя приятельница Люся попросила меня как-нибудь вечером зайти к ней. Она хотела познакомить меня "с очень интересным молодым человеком". Это был Сергей Борисович Рудаков, вместе с которым Люся лежала в инфекционной больнице,— ленинградец, высланный в Воронеж (ссылных в то время в Воронеже было много). Выслали его за социальное происхождение: его отец, генерал царской армии, близкий друг К. Р.*, и его старший брат были расстреляны во время революции.

Сергей Борисович, филолог по образованию, превосходно знал и самозабвенно любил поэзию, помнил наизусть сотни стихов, даже поэтов XVIII века. Писал и сам стихи.

* К.Р. — великий князь Константин Константинович, русский поэт, взявший эти инициалы в качестве псевдонима.

Высокий, с огромными темными глазами, несколько крупными чертами лица: резко очерченный рот, черные брови с изломом, длинные ресницы и какие-то особенные тени у глаз — он был очень красив. Недаром Ахматова говорила о "рудаковских глазах". Человек он был эмоциональный, горящий. Сразу, с первого вечера нашего знакомства, мы подружились, захлебываясь, говорили о любимых поэтах и композиторах. Вкусы сходились. От Сергея Борисовича я впервые услышала воронежские стихи Мандельштама. Он читал мне их очень часто*. Об Осипе Эмильевиче Рудаков говорил с восторгом. Когда я как-то спросила, какой он, Сергей Борисович воскликнул: "Ну, чудный!"

И вот осенний яркий день (это было в начале сентября 1936 года), страшно волнуясь, я поднялась по лестнице большого каменного дома на углу улицы Фридриха Энгельса и Итээровского переулкa** (ныне улицы Чайковского) и позвонила. Мне открыла дверь хозяйка квартиры и сказала, что Мандельштамы в Задонске, но на днях возвратятся.

Не знаю, как хватило у меня смелости пойти во второй раз. Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно — очевидно, к посетителям Мандельштамы не привыкли — и ввела в комнату. Осип Эмильевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь, я пролетела что-то невнятное о Сергее Борисовиче. "Ах, вот кого он прятал!" — лукаво и весело воскликнул Мандельштам. И сразу стало легко и непринужденно. Помню, я с увлечением рассказала о своих летних впечатлениях, о Хреновском конесовхозе, где гостила у знакомых, о чудных орловских рысаках и былинных белых першеронах, которые жили на воле в степи, о потомственных конюхах, ведущих свою родословную от крепостных графа Орлова; о своеобразных традициях и легендах; об очень симпатичном москвиче директоре совхоза, который каждый год собирается возвратиться в Москву, но с грустью говорит, что от лошадей уйти невозможно. Осип Эмильевич слушал меня с большим интересом. Потом рассматривали осенние акварели Надежды Яковлевны, разложив их в два ряда вдоль всей комнаты прямо на полу. Запомнилось золото деревьев и синева Дона. Осип

* Стихи Мандельштама я знала давно, пожалуй с первого курса университета. Он был в числе любимых поэтов наряду с Пастернаком, Ахматовой, Гумилевым и Цветаевой, которую я представляла тогда по "Верстам". Помню, мы, молодежь, небольшая группа по сравнению с остальной студенческой массой, жестоко спорили, кому отдать пальму первенства: Мандельштаму или Пастернаку. Я и мои сторонники считали стихи Мандельштама глубже по мысли, не говоря уж о совершенно невиданной стройности, чеканности формы, классической скульптурности стиха. "Молодой Державин", по определению Марии Цветаевой! И вдруг этот замечательный поэт в Воронеже, просто невероятно!

** По современной нумерации: ул. Ф. Энгельса, д. 13, кв. 39.

Эмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. "Прочитайте, пожалуйста, я так давно не слышал своих стихов", — сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не знаю, почему я прочитала из "Камня": "Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу Невы..." Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощением гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения. Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика: "Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!" Сквозь слезы я сказала в свое оправдание: "Не виновата же я, что вы его написали". Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала: "Ося, не смей обижать Наташу".

Мандельштамы настойчиво приглашали меня приходиться к ним. Но, как ни странно, на второй визит у меня не хватило смелости. Я думала, что меня зовут из вежливости. Тогда я еще не знала Осипа Эмильевича и не понимала, что он никогда не станет что-то делать или говорить из вежливости. Это был человек предельной искренности, и он мог быть очень резким, если это соответствовало его внутреннему состоянию. Мандельштам часто забывал о своем положении ссыльного и поднадзорного. Помню, в пушкинские дни мы с Осипом Эмильевичем пришли на выставку в университетскую фундаментальную библиотеку. И Осип Эмильевич заметил, что из стихотворения Лермонтова "На смерть поэта" выброшены организаторами выставки строчки: "Но есть, есть божий суд, наперсники разврата, есть грозный судия: он ждет; он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед". Осип Эмильевич устроил настоящий скандал и успокоился только тогда, когда директорша библиотеки обещала восстановить пропущенный текст.

И еще случай. Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: "Нет, слушайте, мне больше некому читать!" Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен. Осип Эмильевич всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. (...)

* * *

Вскоре Мандельштамы перешли на другую квартиру. В маленьком одноэтажном каменном домике они снимали комнату у театральной портнихи, которая жила вместе со старушкой матерью и сыном Вадей, учеником второго класса. Удобств никаких не было, отопление печное. Но расположен дом был очень

живописно. Он находился в тупике на улице 27 Февраля, в трех минутах ходьбы от проспекта Революции*. Перед домом была большая площадка с огромным тополем, разбросавшим во все стороны свои могучие ветви, а за домом был спуск (начиналась Неёловская улица), открывался вид на речную даль. И вблизи никаких домов не было. Даже не верилось, что это центр города. Через площадку и дорогу в угловом здании бывшей женской гимназии в то время находились междугородная телефонная станция и городской автомат. Тогда их в Воронеже было очень мало. Мы не раз часами, чаще всего поздно вечером, просиживали на станции в ожидании Москвы. Утешало то, что мы почти всегда были единственными посетителями: можно разговаривать, читать стихи, думать — никто не мешал.

Теперь на месте домика, где жили Мандельштамы, большой дом и сад работников обкома партии. Все заасфальтировано, тополь, конечно, уничтожен: слишком он привольно жил.

В комнату Мандельштамов можно было попасть через маленькую, покосившуюся переднюю. Налево вела дверь к ним, а прямо — к хозяевам. Комната была темноватая, два небольших окна в глубоких нишах освещали ее плохо, а тут еще затенял тополь. Одно окно выходило на площадку, другое во двор, и Осипа Эмильевича по утрам изводил петух, который с ранней зари начинал кукарекать прямо в окно (окна были на полметра от земли). Петух настолько надоедал Осипу Эмильевичу, что он даже об этом писал Надежде Яковлевне, уехавшей по делам в Москву: "Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И котенок Пушок всюду бегают. И вербочки зеленые..."

Во втором письме, написанном через несколько дней, — опять петух: "Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: она приняла на свой счет. Очень деликатно, но все же говорила кислые слова) из-за петуха. Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры. По поводу нападения курицы на маму. Никакой царапины нет. Шрам заживает. Черт знает какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..."

Убранством комната мало отличалась от прежней: две кровати, стол, какой-то нелепый длинный черный шкаф, очевидно, книжный, и старая, обитая дерматином кушетка, которая стояла почему-то почти посредине комнаты. На ней всегда было холодно и неудобно. Так как стол был единственный, то на нем лежали и книги и бумаги, стояли дымковские игрушки (их любила Надежда Яковлевна) и кое-какая посуда. В шкафу действительно хранились те немногие книги, с которыми Осип Эмильевич не расставался. Помню старинное издание на итальянском языке его любимой "Божественной комедии" Данте в кожаном

* Центральная улица в Воронеже.

переплете с застежками, сонеты Петрарки, тоже в подлиннике; на немецком языке Клейст, о котором написано замечательное стихотворение "К немецкой речи"*; стихи Новалиса, альбомы живописи и архитектуры и еще какие-то книги.

Мы рассматривали с Осипом Эмильевичем эти альбомы, и как-то под впечатлением готических соборов Реймса и Лиона Мандельштам написал стихотворение:

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке...

Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна пришли ко мне в лабораторию, где я работала, и Мандельштам прочитал его мне. Читать мне (больше и некому было) только что написанное стихотворение стало для Осипа Эмильевича привычкой. Если не приходила я, они приходили сами ко мне домой или на работу. Помимо своих стихов, Осип Эмильевич часто читал мне стихи любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста. Я не знала языка, но впечатление было непередаваемое: изумительный голос поэта, его манера чтения и музыка стихов создавали иллюзию полного понимания текста. Одним из любимых русских поэтов Осипа Эмильевича был Батюшков. Нередко он читал мне его стихи. В чудном стихотворении "Батюшков", написанном Мандельштамом еще в 1932 году, он говорил о нем как о своем современнике, ощущая его присутствие:

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
По переулкам шагает в Замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму...

Это и понятно, учителями Батюшкова были Торквато Тассо, Петрарка. Пластика, скульптурность и в особенности неслышанное у нас до него благозвучие, "итальянская гармония" сти-

* Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера...

ха — все это, конечно, очень близко Осипу Эмильевичу.

В этом же стихотворении он так характеризует "русского Тассо":

— Ни у кого — этих звуков изгибы,
— И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

(...) Из своих современников Мандельштам больше всех ценил Пастернака, которого постоянно вспоминал. Надежде Яковлевне он говорил, что так много о нем думает, что даже устал.

В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку:

"Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов... Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это "все" — еще не "все". Простите, что пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего"*.

В одну из поездок в Москву Надежда Яковлевна показала Пастернаку вторую "Воронежскую тетрадь" Мандельштама. Новые стихи понравились Борису Леонидовичу. Он подробно говорил о них Надежде Яковлевне и написал записку Осипу Эмильевичу:

"Дорогой Осип Эмильевич! Ваша новая книга замечательна. Горячо Вас с ней поздравляю. Мы с Надеждой Яковлевной отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расскажет Вам о принципе разбора. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в слове и метафорике и редкой чистоты и благородства. "Где я, что со мной дурного..." в этом смысле головокружительно по подлинности и выражению.

Пусть Надежда Яковлевна расскажет Вам все, что говорилось нами о теме и традиции. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто предсказать не может...

Но говорить только хочется об "Осах", "Ягненке гневном" и других Ваших перлах, и на словах (с Надеждой Яковлевной)

* Письмо опубликовано в журнале "Литературное обозрение" (1986, № 9).

это вышло лучше и проще, на бумаге же ложится таким Саводником, что лучше бросить”*

* * *

Я хорошо помню первое впечатление, которое произвел на меня Осип Эмильевич. Лицо нервное, выражение часто самоуглубленное, внутренне сосредоточенное, голова несколько закинута назад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки крикнули: ”Генерал идет!” Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему, и старый, редко глаженный костюм, выглядевший на нем элегантно. Вид независимый и непринужденный. Он, безусловно, останавливал на себе внимание — он был рожден поэтом, другого о нем ничего нельзя было сказать. Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда было ощущение, точнее убеждение, что таких людей, как он, нет. Он и сам писал: ”Не сравнивай: живущий несравним...” Я смотрела на него всегда с удивлением, и острота новизны не исчезала. Осип Эмильевич никогда не жаловался на обстоятельства, условия жизни. Прекрасно он сказал об этом:

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен...

15–16 января 1937

Жили Мандельштамы в абсолютной изоляции, кроме меня, у них никто не бывал, так же как и они бывали только у нас. Позднее я привела к ним Павла Леонидовича Загоровского, профессора Воронежского пединститута**, по специальности психолога, человека широко образованного, страстно любящего и прервосходно знающего поэзию. Он был кумиром воронежской поэтической молодежи и всегда окружен ею. Павел Леонидович был человек необыкновенный и по внешнему облику, и по мане-

* Из семейного архива Б.Л. Пастернака. ”Где я, что со мной дурного...” — строка из стихотворения Мандельштама ”Эта область в темноводье...”. С а в о д н и к Владимир Федорович (1874–1940) — историк литературы, автор учебников для средней школы.

** К этому времени педфак университета выделился в самостоятельный институт.

рам, и по характеру. Его движения, походка отличались изяществом. Очень быстрый взгляд и вдруг — опущенные ресницы, какая-то удивительная живость, внезапный смех, как бы вызванный своими мыслями, высокий звук голоса, а главное, удивительная деликатность, безукоризненная воспитанность, столь редкая сейчас, — все это поражало, приковывало к нему людей. Недаром Осип Эмильевич называл его "бархатный профессор". Тонкий, остроумный и в то же время очень мягкий, удивительно скромный, он никогда не подчеркивал своей буквально энциклопедической образованности. Память у него была феноменальная. Это был безусловно порядочный человек, по-настоящему мужественный, не побоявшийся поставить под удар и себя, и семью, и свое положение (он был не только профессором и завкафедрой, но и проректором).

Как-то я предложила Павлу Леонидовичу познакомиться с Осипом Эмильевичем. Он согласился.

В условленный час мы пошли к Мандельштамам и уже почти дошли до дома, как вдруг Павел Леонидович говорит, что сегодня не пойдет. Я возмутилась: "Бойтесь?" "Нет, просто я не в форме", — ответил он. Я не поверила и пошла одна, решив, что больше, конечно, навязывать ему это знакомство не буду. Через несколько дней Павел Леонидович сам попросил меня пойти с ним к Осипу Эмильевичу. Симпатия между ними возникла сразу, как будто они были давно знакомы. Наконец-то Осип Эмильевич обрел равного себе собеседника. Я сидела на кушетке, вжавшись в угол, и тихо радовалась, молча слушая их оживленный разговор — они буквально дорвались друг до друга и, казалось, забыли обо всем на свете.

С этого времени Павел Леонидович не очень часто, но систематически бывал у Мандельштамов. Заходили и они к нему на несколько минут, обычно днем, чтобы не бросалось в глаза. Павел Леонидович по возможности помогал опальному поэту: страшно смущаясь, он совал в руку Надежде Яковлевне деньги.

Решив расширить круг знакомых Осипа Эмильевича, я хотела привести к нему профессора Бернадинера (философа, или, как он сам себя тогда называл, диаматчика). Он был еще молодым человеком, интересовался литературой, стихами, часто бывал у нас. Но мое предложение резко отверг. На тот же вопрос: "Бойтесь?" "Да, боюсь", — ответил он прямо.

* * *

Не раз мы втроем посещали наш музей изобразительных искусств. Приятно было бродить по чуть холодноватым пустынным залам, хотя вряд ли что-нибудь особенно пленяло Осипа Эмильевича. Помню, он останавливался перед маленькой картиной Дюрера (она и сейчас там висит); вообще зал западноевропейской живописи его интересовал больше. И всегда с удо-

вольствием рассматривал превосходную коллекцию греческих ваз. Может быть, под этими впечатлениями написаны стихи:

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды —
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоём ободу
Черно-красном — и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

И второе:

Гончарами велик остров синий...

И наконец, чудное третье стихотворение — "Флейты греческой тэта и йота...". Последнее стихотворение было связано не только с вазами, а и с арестом замечательного музыканта Карла Карловича Шваба, с которым Мандельштам был лично знаком. Карл Карлович играл на нескольких инструментах. В музыкальном училище он преподавал по классу фортепиано, а в воронежском симфоническом оркестре играл на флейте. Не раз он играл специально для Осипа Эмильевича.

Очень любил Осип Эмильевич и живопись, об этом говорят его стихи — "Импрессионизм" (1932) и воронежские: "Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста..." или "Как светотени мученик Рембрандт...". Надежда Яковлевна считала, что в "Рембрандте" Мандельштам говорит о себе ("резкость моего горящего ребра") и о своей голгофе, лишенной всякого величия.

Стихотворение "Улыбнись, ягненок гневный..." Пастернак назвал перлом. Что послужило поводом к его созданию, какие именно реалии, сказать трудно. В воронежском музее картин Рафаэля нет. Быть может, по какой-то ассоциации Осип Эмильевич вспомнил репродукцию с картины Рафаэля "Мадонна с ягненком". Там есть и ягненок, и "складки бурного покоя" на коленях преклоненной мадонны, и пейзаж, и какой-то удивительной голубизны общий фон картины. Как правило, Мандельштам в своих стихах был точен.

Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому "Фаусту" (как-то, будучи у меня, он внимательно их рассматривал).

Бывали мы также и на симфонических концертах нашего воронежского оркестра, и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов приезжал из Мос-

квы и Ленинграда. Музыка Мандельштам, пожалуй, любил больше всего. Не случайно после концерта скрипачки Галины Бариновой он написал и послал ей стихотворение "За Паганини длиннопалым...". Во второй строфе Осип Эмильевич непосредственно обращается к ней:

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,—
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка...

Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно привлекало его и раньше. Он написал несколько интересных кинокритик. В одной из них ("Шпигун"* , 1929) Мандельштам писал: "Чем совершеннее киноязык, чем ближе он к тому, еще не осуществленному мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с ее могучим синтаксисом,— тем большее значение получает в фильме работа оператора".

Сильное впечатление, которое произвела на Осипа Эмильевича одна из первых звуковых картин — "Чапаев", отразилось в стихотворении "От-сырой простыни говорящая...".

С большим интересом мы смотрели картину Чарли Чаплина "Огни большого города". Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им кинофильмы. Так появилось стихотворение:

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости...

И дальше о Чаплине:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —

В океанском котелке с рассеянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Очень высокую оценку этому стихотворению дал И. Г. Эренбург. "Я много лет прожил во Франции,— пишет он,— лучше, точнее этого не скажешь..." ("Люди, годы, жизнь").

* Это была рецензия на фильм режиссера Шпиковского "Шкурник" (ныне опубликована в журнале "Памир", 1986, № 10).

Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности его личной судьбы не являлись препятствием для напряженной творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив. Мне тогда казалось, что Осип Эмильевич создавал свои стихи легко, они шли потоком, появлялись варианты, а отдельные строчки, образы неожиданно возникали совсем в другом стихотворении, даже в эпиграмме. Но над "Неизвестным солдатом" Осип Эмильевич работал долго и мучительно. Он не давал ему покоя, напряжение было страшное. Я не любила это стихотворение, пожалуй, боялась его, толком не понимая, но интуитивно чувствуя его страшный прощеский смысл.

Отношение к "Неизвестному солдату" у меня, к стыду моему, осталось юношеское, хотя я прекрасно понимаю его значение, глубину и то, что, очевидно, это одно из сильнейших произведений Мандельштама. По крайней мере несомненно, что Осип Эмильевич придавал ему большое значение. Мне кажется, в какой-то степени оно явилось итогом целого периода — воронежского — творчества поэта.

Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа Эмильевича и жили им, его стихами. Новые стихи были праздником, победой, радостью.

Наверное, нечасто выпадает такое счастье — быть свидетелем (нет, это не то слово) такого торжества духа надо всем. "Воронежский" период — это новое слово, сказанное Мандельштамом в русской поэзии XX века, подобного еще не было. Об этом же говорила и Анна Андреевна Ахматова: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем несвободен: "И в голосе моем после удушья звучит земля — последнее оружие"». Да он и сам прекрасно понимал это и прямо выразил в письме, написанном из воронежской ссылки Юрию Тынянову, на которое, кстати, не получил ответа. С этого письма я тогда сняла копию по просьбе Осипа Эмильевича. Она сохранилась в бумагах Надежды Яковлевны. Вот это письмо:

"21 января 1937 года.

Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплы-

ваю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.

Ваш Осип Мандельштам”.

Это письмо интересно и как самооценка.

* * *

Очень много Осип Эмильевич читал. Он брал книги в университетской фундаментальной библиотеке, доступ к которой получил еще до нашего знакомства. Мандельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти редчайшие книги, которые не всегда увидишь в библиотеках столиц. Вот и еще была радость в его жизни — общение с книгами.

Несмотря на изоляцию, подневольное положение и полное неведение, чем обернется будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной жизнью, его интересовало все. Помню, как волновали его испанские события. Он начал даже изучать испанский язык и очень быстро на моих глазах в какой-то мере овладел им. Может быть, под впечатлением этих событий одно из стихотворений Мандельштама (“Когда шегол в воздушной сдобе...”) заканчивалось строками:

И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

* * *

В конце декабря 1936 года я заболела и слегла надолго. Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич приходили каждый день. Мандельштамы старались развлечь меня, но у самого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое.

Мы разговаривали, читали, иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто зловещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, Мандельштам прочитал мне стихотворение:

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец травы морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кашей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей—
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих,
Шароватых искр пиры.

Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство.

В письме Н. С. Тихонову от 31 декабря 1936 года Мандельштам сам дает оценку "Кашееву коту":

"В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы "щ" и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота.

Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался. Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение...

Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатается, и он будет принадлежать народу Советской страны, перед которым я в бесконечном долгу".

В январе 1937 года Осип Эмильевич чувствовал себя особенно тревожно, он задыхался... И все-таки в эти январские дни им было написано много замечательных стихотворений. Как узнавала я в них нашу зиму, морозную, солнечную, яркую:

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все уютится, плонится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельштам пишет:

О, этот медленный, одышливый простор! —
Я им пресыщен до отказа, —
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

И все разрешается замечательным и страшным стихотворением:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?—
И хочется мычать от всех замков и скрепок...

Если Осипа Эмильевича не особенно угнетало отсутствие средств к существованию, то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной натуре порой для него была непереносима, он метался, не находил себе места. Вот в один из таких острых приступов тоски Осип Эмильевич и написал это трагическое стихотворение.

Как-то утром пришли Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, и Мандельштам прочитал его. Меня оно потрясло. Как ужасно чувство бессилия! Вот на твоих глазах задыхается человек, ему не хватает воздуха, а ты только смотришь и страдаешь за него и вместе с ним, не имея права подать даже виду. В этом стихотворении я узнавала внешние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по проспекту Революции, а низом, по Поднабережной, и там на стыке нескольких улиц — Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы — действительно стояла водокачка (маленький кирпичный домик с одним окошком и дверью), был и деревянный короб для стока воды, и все равно люди расплескивали ее, кругом все обледелено.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледелой водокачке

И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке —

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб...

Все это правда. Да, да, и "переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы" — Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые), Венецкая, Мало-Чернавская... как много их в этом узле. Запугаешься, закружат... Как не замечала раньше!

* * *

В эти же дни я как-то пришла к Мандельштамам. Мой приход не вызвал обычного оживления. Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич, сказал: "Мы решили объявить голодовку". Мне стало страшно. Возможно, видя мое отчаяние, Осип Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои, потом Данте. И через полчаса уже не существовало ничего в мире, кроме все-сильной гармонии стихов. Кажется, никогда не было так хорошо! Я запомнила это на всю жизнь, очевидно, по резкому контрасту двух противоположных чувств.

Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни ссылки, ни Воронежа, ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы отдельного человека. Не-объятный мир чувства, мысли, божественной, все-сильной музыки слов захватывал тебя целиком, и кроме ничего не существовало. Читал стихи Осип Эмильевич, как я уже говорила, неповторимо, у него был очень красивый голос, грудной, волнующий, с поразительным богатством интонаций и удивительным чувством ритма. Читал он часто с какой-то нарастающей интонацией. И кажется, это непереносимо, невозможно выдержать этого подъема, взлета, ты задыхаешься, у тебя перехватывает дыхание, и вдруг на самом предельном подъеме голос разливается широкой, свободной волной.

Трудно представить человека, который умел бы так уходить от своей судьбы, становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятельствами жизни, и это чувство передавалось другим.

Голодовка не была объявлена, и больше никогда на эту тему разговора не возникало. Может, меня пожалели, не знаю, я, кажется, этого не пережила бы.

И несмотря ни на что, было хорошо! Я обрадовалась, узнав, что не только я так чувствовала. Когда через сорок лет вышла книга Осипа Эмильевича "Разговор о Данте", Надежда Яковлевна, подписывая ее мне, назвала зиму 1936/37 года страшной и счастливой.

Анна Андреевна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года, так передала свое впечатление от его жизни в известном стихотворении "Воронеж", посвященном Осипу Эмильевичу:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

А ведь она побывала здесь тогда, когда еще существовали какие-то связи с писательскими организациями, когда была какая-то работа или видимость ее — в театре, радиоцентре, даже командировки в совхоз.

Осип Эмильевич, рассказывая мне о приезде Анны Андреевны, смеясь, говорил: "Анна Андреевна обиделась, что я не умер". Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верна старой дружбе, не побоялась приехать, несмотря на свое тоже неблагополучное положение.

Позднее, уже в период моей дружбы с Мандельштамами, все было обрублено — ни людей, ни связей, ни работы.

"Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось работы и в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло все сразу", — писала Надежда Яковлевна.

Мандельштамы оказались в полной изоляции.

В апреле 1937 года Осип Эмильевич писал Корнею Ивановичу Чуковскому: "Я поставлен в положение собаки, пса... Меня нет. Я — тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство... Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу".

Такое настроение, очевидно, усугублялось приближением конца высылки и полным неведением будущего, а также выпадами против поэта в местной печати.

В апреле в областной газете "Коммуна" появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позднее, в том же 1937 году, в первом номере альманаха "Литературный Воронеж", выпад против Мандельштама был еще более резким. В обзорной статье "Воронежские писатели за 20 лет" Н. Романовский и М. Булавин писали:

"Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников об-

кома (Генкин и др.), которые предлагали "перевоспитывать" эту банду".

Там же местный поэт Григорий Рыжманов опубликовал памфлет на Мандельштама.

Лицом к лицу

Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без приветов
И... без отклика сердец.

Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд —
Не его проходит смена,
Не его стихи поют.

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он — чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.

И глядит он вдохновенно:
Неземной — пророк на вид.
Но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит!

И когда увижу мэтра
Замолчавших вражьих лир,
Напрягаюсь, как от ветра,
Четче, глубже вижу мир.

Презирай, гляди надменно —
Не согнусь под взглядом я,
Не тебе иду на смену,
И не ты мой судия!

*Декабрь 1936**

В ответ на все это Мандельштам написал письмо в секретариат Союза советских писателей:

* Эти материалы собраны Василием Гыдовым.

”Уважаемый тов. Ставский,

прошу Союз советских писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания Воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям областного отделения Союза моя воронежская деятельность НИКОГДА не была разоблачена областным отделением, но лишь голословно опорочена задним числом.

Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза представляет читателю и заинтересованным организациям самим разобраться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: ”троцкисты и другие классово враждебные элементы”.

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым”.

* * *

Я сказала Осипу Эмильевичу, что выхожу замуж. На другой день Осип Эмильевич прочитал мне стихотворение ”Наташа”, свадебное стихотворение. Собственно говоря, оно не имело названия. Мы его назвали ”Наташа” условно, начиналось оно так:

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась:
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась...

Был и первый вариант, который мне нравился больше, но Осип Эмильевич изменил его, ”потому что он автобиографичен”. Так он сказал мне. К сожалению, я его совсем не помню.

Осип Эмильевич просил меня привести и показать Бориса. Борис почему-то оттягивал эту встречу, хотя очень любил стихи, был страстным поклонником Пастернака. Наконец я обещала Осипу Эмильевичу вечером прийти с Борисом. Борис заупрямился, ему понадобилось непременно идти в кино. После споров решили этот вопрос компромиссно: отправиться к Мандельштамам из кино. Был одиннадцатый час, когда мы подошли к окну комнаты Осипа Эмильевича. Свет был погашен, и Осип Эмильевич стоял у открытой форточки, ожидая нас. Я окликнула его, он сейчас же вышел. ”Так вот вы какой!” — произнес он, внимательно разглядывая Бориса. Мы вышли на проспект, почему-то мужчины решили выпить вина (ни тот, ни другой к нему страстия не имели) и начали водить меня по погребкам. Их на проспекте было много. Не успевали мы туда спуститься, как я бежала назад: нет стульев, неудобно, мрачно. Тогда они повели меня в погребок, где были столы и стулья. Это была какая-то преисподняя. Темно от табачного дыма, дышать нечем, и в этом

табачном тумане пьяные физиономии. Наконец сообразили пойти в лучший воронежский ресторан "Бристоль"* . Отдельных кабинетов не существовало, а в общем зале были отгорожены желтым шелком кабины. Одну из них мы заняли. Создавалась иллюзия, что мы одни. Ели испанские апельсины. Осип Эмильевич много читал стихов, был очень оживлен. Борису он сказал, что завидует Пастернаку, что у него такие почитатели. Мы проводили Осипа Эмильевича домой. Я шла впереди, они сзади, увлеченно о чем-то разговаривая. Я вспоминаю этот эпизод, чтобы рассказать, как возникло стихотворение "К пустой земле невольно припадая...". Но этому предшествовал еще один разговор.

Незадолго до нашего "путешествия" по кабачкам я зашла к Осипу Эмильевичу и сказала, что мне по делу надо побывать у Туси, моей приятельницы и сослуживицы. Осип Эмильевич пошел со мной. На обратном пути он меня спросил: "Туся не видит одним глазом?" Я ответила, что не знаю, что никогда на эту тему с ней не говорила, очевидно, не видит. "Да,— сказал Осип Эмильевич,— люди, имеющие физический недостаток, не любят об этом говорить". Я возразила, сказав, что не замечала этого и легко говорю о своей хромоте. "Что вы, у вас прекрасная походка, я не представляю вас иначе!" — горячо воскликнул Осип Эмильевич.

На другой день после ночной прогулки я зашла из техникума к Мандельштаму. Надежда Яковлевна была в Москве. Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. "Я написал вчера стихи",— сказал он. И прочитал их. Я молчала. "Что это?" Я не поняла вопроса и продолжала молчать. "Это любовная лирика,— ответил он за меня.— Это лучшее, что я написал". И протянул мне листок.

I

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке может задержаться —
О том, что эта вешняя погода

* Ныне ресторан "Москва".

Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра только чертанье...
Что было поступь — станет недоступно...
Цветы бессмертны, небо целокупно,
И то, что будет,— только обещанье.

4 мая 1937

И я сразу вспомнила нашу прогулку втроем холодной майской ночью, разговор с Осипом Эмильевичем о Тусе и моей хромоте.

Стихи были написаны тушью на суперобложке к Баратынскому. Осип Эмильевич продолжал: "Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом". И после небольшой паузы добавил: "Поцелуйте меня". Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу — он сидел как изваяние. Почему-то было очень грустно. Упоминание о смерти, а я должна пережить?! Неужели это прощальные стихи? На другой день мы зашли в Петровский сквер. Осип Эмильевич был весел, я сказала, что не могу разобрать во вчерашнем стихотворении ни единого слова. Он написал мне тут же эти стихи по памяти разборчиво карандашом на листке из ученической тетради.

...Возвратившись из Москвы, Надежда Яковлевна прочитала мне другое стихотворение: "На меня нацелилась груша да черемуха..." — и, улыбаясь, сказала: "Это о нас с вами, Наташа".

* * *

Я очень привязалась к Мандельштамам. Для меня Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич были совершенно неразделимы. Я не могла их представить отдельно и кого из них любила больше — не знаю.

Редко, наверное, в жизни встречаются такие браки, такое понимание, такая духовная близость. Надежда Яковлевна была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Я никогда не слышала от нее жалоб, не видела ее раздраженной или удрученной. Она всегда была равна, внешне спокойна. Она, безусловно, являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть.

А могло быть иначе, ведь ее никто не высылал, она поехала за мужем добровольно и добровольно поделила с ним его участь. До сих пор вижу ее большие, ясные серо-голубые глаза, улыбку, которой она всегда встречала меня, ровный, спокойный тон. Женская говорливость не была ей свойственна, скорее она была молчалива. Мне всегда казалось, что Осип Эмильевич без нее не мог бы существовать. Поэтому так стало страшно, когда его оторвали от нее и сослали за Владивосток в пересылочный лагерь, где он и умер. (...)

ДАТА СМЕРТИ

Журналисты из "Правды" — "правдисты", как мы их называли, — рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела... Разговор этот произошел в конце декабря 1938-го или в начале января 1939 года, вскоре после снятия Ежова, и означал: вот что он натворил... Я сообразила это и сделала вывод: значит, О. М. умер...

Прошло еще немного времени, и меня вызвали повесткой в почтовое отделение у Никитских ворот. Там же мне вернули посылку. "За смертью адресата", — сообщила почтовая барышня. Восстановить дату возвращения посылки легче легкого — в этот самый день газеты опубликовали первый огромный список писателей, награжденных орденами.

Евгений Яковлевич поехал в этот праздничный день в Лаврушинский переулок, чтобы сообщить Шкловским. Виктора вызвали снизу, из квартиры, кажется, Катаева, где "попутчики" вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственную милость. Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденосцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок. Мне только неясно, кто из них, кроме Шкловского*, до конца сознавал, что такое уничтожение человека. Ведь большинство из них принадлежали к поколению, пересмотревшему ценности и боровшемуся за "новое". Это они проторили путь сильной личности, диктатору, который, действуя по своему усмотрению, может карать и миловать, ставить цели и выбирать средства для их достижения.

В июне сорокового года брата О. М. Шуру вызвали в загс Бауманского района и вручили ему для меня свидетельство о смерти О. М. Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца — это и есть смерть... И еще прибавлено: артериосклероз. И я вспомнила, что говорил Клюев о своих ранних сединых.

Выдача свидетельства о смерти была не правилом, а исключением. Гражданская смерть — ссылка, или, еще точнее, арест, потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение, — приравнивалась, очевидно, к физической смерти и являлась полным

* Шкловский сознавал, пока жила Василиса. В ней благодать. — *Прим. авт.*

изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство начиналось с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить замуж... Никто не беспокоился, как согласовать такое любезное разрешение с официальным приговором, который отнюдь не означал смерть. Как я уже говорила, я не знаю, почему мне оказали такую милость и выдали "свидетельство о смерти". Нет ли в этом какой-то подоплеки?

В тех условиях смерть была единственным выходом. Когда я узнала о смерти О. М., мне перестали сниться зловещие сны. "Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер,— сказал мне впоследствии Казарновский,— иначе он бы поехал на Колыму". Сам Казарновский провел ссылку на Колыме и в 44 года явился в Ташкент. Он жил без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошечные калошки моей покойной матери. Они пришлись ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзало и стучало, как жесть. Недавно я слышала спор: кто выживал в лагерях — работяги или те, кто от работы уклонялся. Работавшие надрывались, а уклонявшиеся пропадали из-за недостатка хлеба. Мне, не имевшей ни доводов, ни своих наблюдений и примеров в защиту той или другой теории, было ясно, что вымирали и те и другие. Немногочисленные люди, которые выживали, составляли исключение. Иначе говоря, спор напоминал сказку о русском богатыре на перепутье трех дорог, из которых каждая грозит гибелью. Основное свойство русской истории, непреходящее, постоянное, что богатырю и небогатырю всякая дорога грозит гибелью, из которой он может лишь случайно вывернуться. Я удивляюсь не этому, а тому, что кое-кто из слабых людей действительно оказался богатырем и сохранил не только жизнь, но и светлый ум и память. Таких людей я знаю и рада бы перечислить их имена, но еще не стоит, и потому помяну того, кого мы все уже знаем,— Солженицына.

Казарновский сохранил только жизнь и разрозненные воспоминания. В стационарный лагерь он попал зимой и запомнил, что это было голое место: осваивались новые площади для огромного потока каторжан. Там не стояло ни одной постройки, ни одного барака. Жили в палатках и сами строили себе тюрьму и бараки. Осваивали новую землю для новых поселенцев...

Казарновский был первым более или менее достоверным вестником с того света. Задолго до его появления я уже слышала от вернувшихся, что Казарновский действительно находился в одной партии с О. М. В "пересылке" они жили вместе, и как

будто Казарновский чем-то даже помог О. М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом... Вот почему я в течение трех месяцев прятала Казарновского от милиции и медленно вылущивала те сведения, которые он донес до Ташкента. Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти — не индивидуальная особенность несчастного Казарновского и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми, — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала, — это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на такие вспышки, отпечатавшиеся в памяти в доказательство того, что сохранить жизнь было невозможно, но воля человека к жизни такова, что ее умудрялись сохранять. И в ужасе я говорила себе, что мы войдем в будущее без людей, которые смогут засвидетельствовать, что было прошлое. И снаружи, и за колючей оградой все мы потеряли память. Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто сохранить жизнь, но стать свидетелями. Это — беспощадные хранители истины, растворившиеся в массе каторжан, но только до поры до времени. Там, на каторге, их, кажется, сохранилось больше, чем на большой земле, где слишком многие поддались искушению примириться с жизнью и спокойно дожить свои годы. Разумеется, таких людей с ясной головой не так уж много, но то, что они уцелели, является лучшим доказательством, что последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу.

Казарновский к этим героическим людям не принадлежал, и я выслушала бесконечные его рассказы и, отобрав крупницы истины, узнала чуть-чуть, меньше малого, о лагерной жизни О. М. Состав пересыльных лагерей всегда текучий, но вначале барак, куда они попали, был заселен интеллигентами из Москвы и Ленинграда — "пятьдесят восьмой статьей". Это очень облегчало жизнь. Старостами барakov, как и повсюду в те годы, назначали уголовников, но не рядовых воров, а тех, кто и на воле был связан с органами. Этот "младший командный состав" лагерей отличался крайней жестокостью, и "пятьдесят восьмая" от них очень страдала, не меньше, чем от настоящего начальства, с которым они, впрочем, соприкасались реже. О. М. всегда отличался нервной подвижностью, и всякое волнение у него выражалось в беготне из угла в угол. Здесь, в пересыльном лагере, эти метания и эта моторная возбудимость служили поводом для вечных

нападок на него со стороны всяческого начальства. А во дворе он часто подбегал к запрещенным зонам — к ограде и охраняемым участкам, и стража с криками, проклятиями и матом отгоняла его прочь. Рассказ о том, что его избили уголовники, не подтвердился никем из десяти свидетелей. Похоже, что это легенда.

Одежды в пересыльном лагере не выдавали — да и где ее выдают? — и он замерзал в своем кожаном, уже успевшем превратиться в лохмотья пальто, хотя, как говорил Казарновский, самые страшные морозы грянули уже после его смерти — их он не испытал. И в этом для меня есть элемент датировки.

О. М. почти ничего не ел, боялся еды, как впоследствии Зоценко, терял свой хлебный паек, путал котелки... В пересыльном лагере, по словам Казарновского, был ларек, где продавали табак и, кажется, сахар. Но откуда взять деньги? К тому же страх еды у О. М. распространялся на ларьковые продукты и сахар, и он принимал еду только из рук Казарновского... Благословенная грязная лагерная ладонь, на которой лежит кусочек сахару, и О. М. медлит принять этот последний дар... Но правду ли говорил Казарновский? Не выдумал ли он эту деталь?

Кроме страха еды и непрерывного моторного беспокойства, Казарновский отметил бредовую идею О. М., которая для него характерна и выдумана быть не могла: О. М. тешил себя надеждой, что ему облегчат жизнь, потому что Ромен Роллан напишет о нем Сталину. Крошечная эта черточка доказывает мне, что Казарновский действительно общался с Мандельштамом. Во время воронежской ссылки мы читали в газетах о приезде Романа Роллана с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным. О. М. знал Майю Кудашеву, и он вздыхал: "Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил..." О. М. никак не мог поверить, что профессиональные гуманисты не интересуются отдельными судьбами, а только человечеством в целом, и надежда в безвыходном положении воплотилась у него в имени Романа Роллана. А для меня это имя послужило доказательством, что Казарновский не вполне утратил память.

И вот еще характерный штрих из рассказов Казарновского: О. М. не сомневался в том, что я в лагере. Он умолял Казарновского, чтобы тот, если вернется, разыскал меня: "Попросите Литфонд, чтобы ей помогли..." Всю жизнь О. М., как каторжник к тачке, был прикован к писательским организациям и без их санкции не получил ни единого кусочка хлеба. Как он ни стремился освободиться от этой зависимости, ему это не удавалось: у нас такие вещи не допускаются, это невыгодно правителям... Вот почему и для меня он надеялся только на помощь Литфонда. Моя же судьба сложилась иначе, и во время войны, когда про нас забыли, мне удалось уйти в другую сферу, и поэтому сохранила я жизнь и память.

Иногда, в светлые минуты, О. М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто их записывал. Мне пришлось видеть "альбомы" с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды ему рассказали, что в камере смертников в Лефортове — в годы террора там сидели вперемешку — видели нацарапанные на стене строки: "Неужели я настоящий и действительно смерть придет". Узнав об этом, О. М. развеселился и несколько дней был спокойнее.

На работы — даже внутрилагерные, вроде приборки — его не посылали. Даже в истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсев он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном. (...)

Возвращаясь к рассказам Казарновского. Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал — это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О. М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О. М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по несколько человек в одну яму — покойников всегда хватало — и каждому к ноге привязывали бирку с номерком.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности. Не сравнишь ведь это со смертью Нарбута. Про него говорят, что в пересыльном он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки. Такие случаи, кажется, бывали... (...)

Большинство известных мне людей умерли в лагерях почти сразу. Люди гуманитарных профессий едва ли могли там выжить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, если смерть приходит на выручку? Что дали бы несколько добавочных дней Маргулису, которому покровительствовала шпана за то, что он по ночам рассказывал им романы Дюма? Он находился вместе со Святополком-Мирским, который почти сразу дошел до полного истощения и тоже скоро умер. Слава Богу, что люди смертны, но жить и там, за проволокой, стоило, чтобы запомнить и рассказать людям. Может, это остановит их в дни, когда им захочется повторить наши безумства.

Вторым достоверным свидетелем был биолог Меркулов, которого О. М. просил в случае освобождения зайти к Эренбургу и рассказать о его последних лагерных днях — он понимал, что сам выжить не сможет. Его рассказ я передаю со слов Эренбурга, который к моему приезду из Ташкента успел кое-что забыть; в частности, он называл М. агрономом, потому что тот по

освобождении, чтобы укрыться подальше, работал агрономом. В основном сведения М. совпадают с рассказами Казарновского. Он считал, что О. М. умер в первый же год, до открытия навигации, то есть до мая или июня 39-го года. М. довольно подробно передал разговор с врачом, на счастье тоже ссыльным и понаслышке знавшим Мандельштама. Врач говорил, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения. Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О. М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О. М. пролежал всего несколько дней, а М. встретил врача сразу после смерти О. М.

О. М. правильно указал биологу М. на Эренбурга, прося его сообщить Илье Григорьевичу о своих последних днях, потому что никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет.

Люди, отбыв свои пятилетние и десятилетние сроки, то есть отделившись, по нашим понятиям, минимумом, оставались обычно на месте, добровольно или поневоле, и сидели, притаившись, в своих медвежьих углах. После войны многие вторично попали в лагеря, а наш словарь и наши правовые понятия обогатились невероятным словом "повторник". Вот почему из лагерного призыва 37—38-х годов выжили только единицы из молодежи, рано начавшей лагерные скитания, и мне пришлось говорить лишь с немногими, столкнувшимися там с О. М. Но слух о его судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидания и водили к людям, которые слышали — на их языке это значило: "Я, наверное, знаю" — про О. М., — что он жив или дожил до войны, содержится в одном из лагерей или вышел на волю. Находились и свидетели смерти, но, встретившись со мной, они обычно смущенно признавались, что знают все со слов других, но, разумеется, совершенно достоверных свидетелей.

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова — это просто мысль о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать. Это дань пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и изукрашенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что Мандельштам умер на судне, направлявшемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство Мандельштама уголовниками и чтение у костра Петрарки. Вот на эту последнюю удочку клюнули очень многие, потому что это типовой, так сказать, поэтический стандарт. Есть и рассказы "реалистического" стиля с обязательным учас-

тием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали "поэта". Р. испугался ночных гостей — чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О. М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно: "Вторая речка", пересыльный лагерь под Владивостоком. Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил.

Все мои информаторы были люди доброжелательные. Лишь однажды я подверглась настоящему издевательствам. Дело происходило в Ульяновске, в самом начале пятидесятых годов, еще при жизни Сталина. По вечерам ко мне повадился ходить член кафедры литературы, он же заместитель директора, некто Тюфяков, инвалид войны, весь увешанный орденами за работу в войсковых политотделах, любитель почитать военные романы, где описывается расстрел труса или дезертира перед строем. Всю свою жизнь Тюфяков отдал "делу перестройки вузов" и потому не успел получить ни степеней, ни дипломов, ни высшего образования. Это был вечный комсомолец двадцатых годов и "незаменимый работник". С тех пор как "его сняли с учебы" и дали ему ответственное поручение, его задача состояла в слежке за чистотой идеологии в вузах, о малейших отклонениях от которой он сообщал куда следует. Его переводили из вуза в вуз, главным образом чтобы следить за директорами, которых подозревали в либерализме. Именно для этого он и прибыл в Ульяновск на странную и почетную роль "заместителя", от которого нельзя избавиться, хотя у него нет формальных прав работать в высшем учебном заведении. Таких вечных комсомольцев у нас было два — Тюфяков и другой, Глухов, эту фамилию следовало бы сохранить для потомства — внуков и дочерей, преподающих где-то историю и литературу. Этот успел получить орден за раскулачивание и кандидатское звание за диссертацию о Спинозе. Он действовал открыто и вызывал к себе в кабинет студентов, чтобы обучить их, о ком и какую разоблачительную речь произнести на собрании, а Тюфяков трудился втихаря. Оба занимались разгромом вузов с начала двадцатых годов.

"Работу" со мной Тюфяков вел добровольно, сверх нагрузки, ради отдыха и забавы. Она доставляла ему почти эстетическое удовольствие. Каждый день он придумывал новую историю — Мандельштам расстрелян; Мандельштам был в Свердловске, и Тюфяков навещал его в лагере из гуманных побуждений; Мандельштам пристрелен при попытке к бегству; Мандельштам отбывает новый срок в режимном лагере за уголовное преступление; Мандельштама забили насмерть уголовники за то,

что он украл кусок хлеба; Мандельштам освобожден и живет на севере с новой женой; Мандельштам совсем недавно повесился, испугавшись письма Жданова, только сейчас дошедшего до лагерей... О каждой из этих версий он сообщал торжественно: только что справлялся и получил через прокуратуру такие сведения... Мне приходилось выслушивать его, потому что стукачей прогонять нельзя. Кончался наш разговор литературными размышлениями Тютякова: "Лучший песенник у нас Долматовский... Я ценю в поэзии чеканную форму... Без метафоры, как хотите, поэзии нет и не будет... Стиль — это явление не только формальное, но и идеологическое — вспомните слова Энгельса... С ними нельзя не согласиться... А не дошли ли до вас из лагеря стихи Мандельштама? Он там много писал..." Сухонькое тело Тютякова пружинило. Под военными, сталинского покроя усами мелькала улыбка. Ему раздобыли в Кремлевской больнице настоящий корень женьшеня, и он предостерегал всех против искусственных препаратов: "Никакого сравнения..."

До меня часто доходили слухи о лагерных стихах Мандельштама, но всегда это оказывалось вольной или невольной мистификацией. Зато недавно мне показали любопытный список, собранный по лагерным "альбомам". Это достаточно искаженные записи ненапечатанных стихов, где нет ни одного с явным политическим звучанием, вроде "Квартиры". Основной источник — это циркулировавшие в тридцатых годах списки, но записывались стихи по памяти, и отсюда множество искажений. Некоторые стихи попали в старых, отвергнутых вариантах, например "К немецкой речи". А кое-что, несомненно, надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало. Не он ли сам вспомнил свои детские стихи о Распятии? В альбомах попало и несколько шуточных стихов, которых у меня нет, например "Извозчик и Данте", но, к сожалению, в диком виде. Его могли завести в те края только ленинградцы, а их там было более чем достаточно.

Мне показал этот список Домбровский, автор повести о нашей жизни, которая написана, как говорили в старину, "кровью сердца". В этой повести вскрыта самая сущность нашей злосчастной жизни, хотя в ней говорится о раскопках, змеях, архитектуре и канцелярских барышнях. Человек, вчитавшийся в эту повесть, не может не понять, почему лагеря не могли не стать основной силой, поддерживающей равновесие в нашей стране.

Д. утверждает, что видел Мандельштама в период "странной войны", то есть через год с лишним после 27 декабря 38 года, которое я считала датой смерти. Навигация уже открылась, а человек, которого Д. счел за О. М. или который действительно был О. М., находился в партии, направлявшейся на Колыму. Дело происходило все в том же лагере на "Второй речке". Д., тогда юноша, экспансивный и горячий, услышал, что в партии

находится человек, известный под кличкой Поэт, и пожелал его повидать. Человек этот отозвался, когда Д. окликнул его: "Здравствуйте, Осип Мандельштам". Отчества Д. не знал... Поэт производил впечатление душевнобольного, сохранившего все же некоторую ориентацию. Встреча была минутной — поговорили об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тревоги. Затем старика — Поэту на вид было лет семьдесят — позвали есть кашу, и он ушел.

Старческий вид лагерника, мнимого или настоящего Мандельштама, не свидетельствует ни о чем: в тех условиях люди старились с невероятной быстротой, а О. М. никогда молодостью не отличался и выглядел значительно старше своих лет. Но как сопоставить эти сведения с моими данными? Можно предположить, что Мандельштам вышел из больницы, когда все знавшие его уже рассеялись по лагерям, и прожил тенью еще несколько месяцев или даже лет. Или какой-нибудь старик — однофамилец, а у всех Мандельштамов повторяются одни и те же имена, и они схожи лицом — откликнулся на прозвище Поэт и жил в лагере, где его принимали за О. М. Есть ли основания считать человека, встреченного Д., О. Мандельштамом?

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д., а его рассказ смутил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни? И я взвесила все "про" и "контра"...

Д. с Мандельштамом знаком не был, но в Москве ему случилось видеть его, но всегда в периоды, когда О. М. запуская бороду, а лагерный Поэт был гладко выбрит. Все же какие-то черты напомнили Д. облик Мандельштама. Для полной уверенности этого, конечно, мало — обознаться легче легкого. Д. узнал одну деталь, но не со слов Поэта, а через третьи руки: судьбу О. М. решило какое-то письмо Бухарина. Очевидно, в 38-м году всплыло приложенное к первому делу письмо Бухарина к Сталину и многочисленные записки Бухарина, отобранные при первом обыске. Случай этот более чем вероятный. И о нем мог знать только настоящий Мандельштам. Однако остается открытым вопрос, говорил ли об этом письме таинственный старик по кличке Поэт или ему только приписывали бытовавший в лагере рассказ уже умершего человека, за которого его принимали. Иначе говоря: лагерники знали, что в деле Мандельштама фигурировало письмо Бухарина. Какого-то старика, быть может однофамильца, принимали за О. М. и, вспомнив историю с бухаринским письмом, приписали ее старику. Проверить, что было на самом деле, невозможно. Но один факт меня здесь интересует: слух о письме. Это первый и единственный слух, дошедший до меня о тюремном периоде в период второго, повторного, дела. О. М. недаром сказал в "Четвертой прозе": "Мое дело не кончилось и никогда не кончится..." На основании письма Бухарина дело 34-го года пересматривалось в 34-м же году, и на осно-

вании того же письма оно пересматривалось и в 38-м... Далее оно пересматривалось в 55-м году, но осталось совершенно темным, и я надеюсь, что оно будет пересматриваться еще не раз.

Но что же, собственно, подтверждает мою версию о смерти в декабре 38 года? Для меня первой вестью о смерти была возвращенная "за смертью адресата" посылка. Но этого еще не достаточно: мы знаем тысячи случаев, когда посылки возвращались с такой мотивировкой, а потом оказывалось, что адресат просто переведен в другое место и потому не получил своего ящичка. Вернувшаяся посылка прочно ассоциировалась со смертью, и для большинства это был единственный способ узнать о смерти близкого; между тем в сумбуре перегруженных лагерей обнаглевшие чиновники в военных формах писали что попало: смерть так смерть — не все ли равно? Попавшие за ключую проволоку тем самым исключались из жизни, и с ними не церемонились. И с военных фронтов приходили повестки о смерти солдат и офицеров, которые на самом деле были ранены или попали в плен. А ведь на фронте это делалось по ошибке, и люди, окруженные равными себе, пользовались вниманием и сочувствием всех. С лагерниками же обращались хуже, чем со скотом, и скоты, которые распоряжались их жизнью, специально обучались попирать все их человеческие права. Возвращение посылки не может служить доказательством смерти.

Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти 42-й и 43-й годы. Кто же может поверить дате на свидетельстве о смерти? А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припертый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто...

В свидетельстве о смерти написано, что в книге записей смерть О. М. зарегистрирована в мае сорокового года. Это, пожалуй, единственная реальность. Как будто можно надеяться, что живого не записали в книгу мертвых, хотя абсолютной уверенности в этом нет. Предположим, что к Сталину обратился какой-нибудь Ромен Роллан, с которым Сталин считался, и попросил об освобождении Мандельштама. У нас случалось, что по просьбе из-за границы, обращенной к Хозяину, отпускали людей на волю... Сталин мог не захотеть отпустить Мандельштама, или его нельзя было выпустить, потому что в тюрьме его забили... В таком случае ничего бы не стоило объявить его мертвым и,

выдав мне свидетельство о смерти, сделать меня рупором этой правительственной лжи.

Почему мне выдали это свидетельство, хотя другим не выдавали? С какой целью?

А если Мандельштам действительно умер где-то до мая сорокового года — скажем, в апреле, — Д. мог его видеть, и старик Поэт был О. М. (...)

Можно ли положиться на сведения Казарновского и Меркулова?

Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стираются. Казарновский мог уехать — когда и как его отправили, так и осталось неизвестным — до того времени, как О. М. выпустили из больницы. Слухи о смерти О. М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М. с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два...

Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. В страшном мессе и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями — а Д. один из них, — не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные "за" и "против".

Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах, и вокруг него копошились смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили, или она не успела прийти... Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О. М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то непроницаемую фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову, — "за смертью адресата" — и отправил ящикек обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть. (...)

Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше.

НАЙДЕНА МОГИЛА МАНДЕЛЬШТАМА

Могилу Осипа Мандельштама спустя полвека после его ухода из жизни отыскал приморский краевед Валерий Марков.

Она находится во Владивостоке на территории одного из учебных экипажей Тихоокеанского флота. До декабря 1941 года здесь был пересыльный лагерь заключенных.

Валерию Маркову удалось пролить свет и на последние дни жизни поэта. Осип Мандельштам скончался в лагерном лазарете 27 декабря 1938 года. До весны он вместе с другими усопшими лежал не погребенный. Затем весь "зимний штабель" был захоронен в братской могиле.

"Известия" 8 января 1991 г.

КАК УМИРАЛ ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Я, бывший узник архипелага ГУЛАГ, прочел в вашей газете (№ 7 с.г.) краткое сообщение о том, что на окраине Владивостока найдена могила Осипа Мандельштама. Автору заметки В. Маркову спасибо за поиски могил мучеников.

Как прямой свидетель смерти знаменитого поэта хочу поделиться дополнительными подробностями.

Более десяти тысяч заключенных, мужчин разных возрастов со всей страны – Москвы и Ленинграда, Ростова и Киева, Одессы и Смоленска, Минска и Казахстана – были свезены на окраину города и заточены в бараках и палатках на вершине голых, каменистых сопок. Все – приговоренные за "контрреволюционную деятельность" к длительным срокам заключения, от 8 до 25 лет, которыми была заменена смертная казнь.

Лагерь назывался "Спец-пропускник СВИТЛага", то есть Северо-Восточного исправительного трудового лагеря НКВД (транзитная командировка), 6-й километр, на II-й речке. Здесь подолгу узников не задерживали. На морских судах "Джурма" и "Дальстрой", с четырехъярусными нарами в трюмах, размещали страдальцев. Семь суток плыли до бухты Ногаево, где тогда уже строили Магадан. Рассказывали, что многие умирали в пути. Этих просто выкидывали в Охотское море кормить рыб. Родным об их смерти не сообщали.

Осенью 1938 года во Владивостоке стояли солнечные, прохладные дни, синие звездные ночи. Дули северо-восточные ветры. Наступал голод. Воду к нам по крутым каменистым тропам заносили ведрами "бытовики" (осужденные) и сливали в бочку у порога барака.

В ноябре нас стали заедать породистые белые вши, и начался тиф. Был объявлен строгий карантин. Запретили выход из барачков. Рядом со мной спали на третьем этаже нар Осип Мандельштам, Володя Лях (это – ленинградец), Ковалев (Благовещенск), Иван Белкин (молодой парень из Курска).

Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жаркамеру. А затем перевели в другую половину помещения, в одевалку, где было еще холоднее. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кар-

мана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: "Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58, срок 10 лет". И москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными. Затем тела облили сулемой. Так что сведения, будто Мандельштам скончался в лазарете, неверны. Мандельштам осужден был не на пять лет, а на десять – так он сам отвечал на проверках.

Трупы накапливали в одинарной палатке, а потом партиями вывозили. Мертвые тела втапывали в каменный ров, в одну могилу. Копать их было очень тяжело...

Я тогда был молод, всего 24 года. Тоже осужден за "контрреволюцию". В подтверждение посылаю копию справки о реабилитации. Срок полностью отбыл. Повидал "виды". Но сострадания к нам не вижу. Нищ и одинок. Вот такая выпала на мою долю эпоха, эпоха социалистического реализма.

ОТ РЕДАКЦИИ

Это письмо – из свежей почты. Спасибо коллегам из осиповичской районной газеты "Заветы Ленина" – тут же связали нас с автором.

Юрия Илларионовича Моисеенко арестовали после убийства Кирова, был он тогда студентом Московского института советского права. За обсуждение события дали десять лет, статья 58-10, часть 1, как обычно (и, как обычно, сказано в справке Верховного суда РСФСР от 16 января 1957 года, что "дело производством прекращено за отсутствием состава преступления").

С Осипом Эмильевичем были они в одной бригаде, вместе почти три месяца ждали своей участи. Помнит Моисеенко высокоинтеллигентного, серьезного, замкнутого арестанта старше себя годами, не успевшего стать кому-либо близким. Но помнит и то, как изредка, в тесном кругу, читал Мандельштам стихи. Не знал молоденький Юра Моисеенко, кем был сосед по нарам, с кем познакомила его страшная судьба, конца какого человека привела быть свидетелем.

– Наверное, у него уже начинался тиф. Жар был, голова болела беспрерывно. Но до того мы были отупевшие, что чужих жалоб вроде и не слышали.

Моисеенко очень надеется, что жив, уцелел кто-то из тех, чьи фамилии называет в своем письме. Вдруг да сохранились еще в чьей-то памяти последние дни, последние минуты жизни великого поэта...

Э. Максимова
"Известия" 22 февраля 1991 г.

ПОЭТ В ПАМЯТИ СОВРЕМЕННИКОВ

Осип Мандельштам рано провидел драму русской культуры XX века.

”Для России отпадением от истории, отлечением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. ”Онемение” двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории”, — писал он в статье ”О природе слова”¹ в 1922 году.

Жизнь поэта пришлось на пору грандиозной исторической ломки. На его глазах происходили мировая война, революции, рушились империи — царская, Германская, Австро-Венгерская, — перекраивалась вновь спустя столетие после Священного Союза карта Европы. Начинался грандиозный эксперимент по преобразованию жизни на началах справедливости, внушавший поэту сначала надежду, затем страх, отнюдь не беспочвенный, подтвержденный повседневной жизнью и перераставший в сопротивление и отчаянный бунт. Сформировавшийся в атмосфере высокой русской дореволюционной культуры, поэт увидел себя среди ”потерпевших крушение выходцев из девятнадцатого века, волей судьбы брошенных на новый исторический материк” (Т. 2. С. 201). Когда наступил ”волчий век” ”казарменного социализма” и человечность и нравственность становились старым ненужным хламом, сильнее инстинкта самосохранения оказалось в Мандельштаме стремление называть вещи своими именами. Он сделал это в своей жизни дважды. В 1917—1918 годах, написав стихотворения ”Когда октябрьский нам готовил временщик...”, ”Кассандре”, ”Сумерки свободы”, и в 1933 году в трех ”арестных стихах” — ”Старый Крым”, ”Квартира тиха, как бумага...”, ”Мы живем, под собою не чуя страны...”. Шельмование и травля преследовали поэта долгие годы. Замалчивание, попытки исключить его из литературного процесса порождали у него чувство отщепенства, выпадения из времени. После 1928 года при жизни поэта уже не вышло ни одной его книги. После 1932 года должно было пройти тридцать лет, прежде чем стихи поэта были снова напечатаны у нас (на страницах ”Дня поэзии” в 1962 году) и было воскрешено его имя, казалось бы навсегда забытое и как бы несуществующее.

¹ Мандельштам О. Сочинения. В 2-х тт. М., ”Худож. лит.”, 1990. Т. 2. С. 177. Далее ссылки на это издание в тексте статьи.

Работа по искоренению Мандельштама — конечно же, не одного его — из отечественной культуры началась уже в двадцатые годы. И не безуспешно: поэт был стерт с лица земли. И забыт настолько, что его имя не было известно даже профессионалам — людям литературы, искусства, науки. И все же оно жило в памяти немногих, знавших его, читавших его произведения, помнивших и повторявших его строки. Развитие русской поэзии и культуры XX века показало, что "дары" Мандельштама ей нужны, что последовавшее за смертью поэта время их не отменило, напротив, невиданно усилило их ценность. "Клеветующих козлов не досмотрел я драки..." — писал поэт в "Стансах" в 1935 году. А борьба вокруг его имени продолжалась, когда его попытались воскресить в пору "оттепели", завербовывая в союзники. В работу включились опытные литературоведы, создавая официальную версию его жизни и творчества, — жизни, в которой якобы не было арестов и гибели, творчества, из которого исключалась добрая половина написанного поэтом и прозаиком.

И все же воскрешение подлинного Мандельштама произошло. Уже казалось бы навсегда стертый из памяти миллионов соотечественников, никем не вспоминаемый и не упоминаемый, Мандельштам был воспринят как одна из поэтических вершин XX века. Речь здесь идет об отечественной русской культуре. Зарубежная русская культура с самого начала двадцатых годов на протяжении семи десятилетий была собирательницей и хранительницей его творческого наследия. Воспоминания о поэте публиковались здесь начиная с двадцатых годов. Очень рано — в сравнении с изданием тома стихотворений и переводов в 1973 году в "Библиотеке поэта" — было опубликовано собрание сочинений писателя¹, отмеченное высокой культурой издания (тома содержат обстоятельные статьи К. Брауна, Э. Райсса, Г. Струве, Б. Филиппова, Ю. Иваска, Н. Струве, обширные указатели и комментарии, неопубликованные произведения писателя, первые редакции его стихотворений, варианты, разночтения, отрывки и строчки из утерянных стихов, отброшенные строфы, варианты отдельных строф, материалы к биографии писателя, дополнения и исправления к ранее вышедшим томам). Особые заслуги в систематических публикациях о поэте принадлежат таким журналам, как выходившие в Нью-Йорке "Новый журнал", "Опыты", "Воздушные пути", в Париже — "Вестник русского студенческого христианского движения". И хотя с двадцатых годов сложилась основательная школа критиков, писавших, в частности, и о Мандельштаме (А. Яценко, К. Мочульский, Н. Оцуп, Г. Струве, Ю. Терапиано, В. Вейдле, Е. Кузьмина-Караваева и др.), наши дни свидетельствуют о парадоксальной

¹ Мандельштам О. Собр. соч. Под ред. Г. Струве и Б. Филиппова. Вашингтон, Нью-Йорк, Париж, Международное лит. содружество; UMCA-PRESS, 1967–1981. Т. 1–4.

ситуации: о Мандельштаме написано больше на иностранных языках, чем на русском. Вышло уже несколько научных монографий о нем, рассматривающих самые разные аспекты его творчества, иногда весьма частные (И. Бушман, К. Тарановский, Р. Дутли, О. Ронен, Н. Струве и др.).

С шестидесятых годов Мандельштам стал возвращаться в отечественную культуру как живая человеческая личность. И здесь значительную роль сыграли мемуары современников. Именно они положили начало знакомству читателей с фактами биографии писателя и в качестве такового источника продолжают оставаться до сих пор. Социальные репутации писателей складывались в нашей культуре так, что если писатель арестовывался, ссылался, находился под надзором, то он тем самым как бы обретал общественную биографию, которая выводила его из сферы личного существования. В этом отношении у Мандельштама почетные предшественники, начиная с Радищева, Пушкина. Возможно, и с более ранних времен, с неистового проптопа Аввакума, как ведет свой отсчет вдова писателя Надежда Мандельштам. Аресты и ссылки писателей в XX веке происходили в атмосфере безмолвия и безгласности, огромная страна не знала о них, знал небольшой слой писателей и деятелей культуры, который не смел об этом говорить ни публично, ни приватно. Неудивительно, что жизнь Мандельштама, как и многих других писателей века, читателям их произведений почти неизвестна.

Воспоминания, представленные в нашем сборнике, не равнозначны ни по объему вложенного в них труда, ни по значению, ни по масштабу личностей их авторов, однако пишущих о поэте объединяет убежденность, что человек столь высокого поэтического дара со столь трудной, трагической судьбой достоин внимания и памяти настоящего и будущих поколений. Разрозненные мемуары самых разных авторов, собранные воедино, лишь тогда обретут для читателя целостность, когда он возьмет на себя творческий труд аналитико-синтетического воссоздания личности писателя. И труд этот вознаградится тем, что писатель, давно ушедший из жизни и растворившийся в природном космосе, неожиданно воскресает как живая личность, может быть, более живая, чем иные из наших современников, входя в нас своими поисками, борениями, высокой духовностью.

Воспоминания — это не жизнь писателя, это отражение эпизодов его жизни в сознании его современников. Иногда в зеркале виден главным образом мемуарист, а объект рассказа отодвинут на второй план. Иногда на одной плоскости расположились обращенные друг к другу два лица, по их четким профилям мы узнаем и автора, и героя рассказа. Привыкнем к этому сразу: воспоминания — жанр сугубо субъективный, он несет в себе всегда личный взгляд создателей. Но именно этим он и интересен, в особенности когда мемуарист — личность эпохаль-

ная и блистательно владеющая искусством слова. Предоставляя слово наиболее значительным и авторитетным деятелям культуры, мы помнили, что и свидетельства рядовых участников культурной и общественной жизни страны столь же ценны, как и свидетельства их знаменитых современников, когда они открывают новые черты личности поэта. Сборник воспоминаний, выходящий спустя более полувека после гибели поэта, объединяя известные и малоизвестные или неизвестные вовсе, разбросанные в разных изданиях в нашей стране и за рубежом свидетельства почти четырех десятков авторов, дает читателю возможность увидеть личность поэта в процессе ее развития, то, как он созидал себя как творца, т.е. созидал культуру, вкладывая в ее здание и свой камень.

Неповторимость, незаурядность и контрастность личности писателя ощущалась очень разными людьми. Одних она отталкивала, других привлекала. Были современники, для которых поэт был чудачком, эгоцентриком, нравственным уродом. Для других он был *Esse homo*, Человеком в подлинном и глубоком смысле. Одни видели его внешне, поверхностно, менее всего понимая его, но ради художественного эффекта и парадоксальной заостренности повествования приближались к опасной грани гротесковой карикатурности и даже клеветы. Другие же видели его глубинно, стремясь постичь саму суть его духовности и поэтического дара, абстрагируясь от быта, смело стирая "случайные черты" поведения и личности поэта. Кто же прав?

В своей фактической точности мемуары, как известно, уступают документу. Но когда документы отсутствуют, их место занимают мемуары, становятся "документом времени". Безжалостный опыт, однако, свидетельствует о том, что никто так не далек от правды времени, как те мемуаристы, у которых поэт перестает быть поэтом, оставаясь целиком в сфере суетного быта. И каким бы нелепым и смешным ни представлялся в отдельных мемуарах Мандельштам, в особенности по контрасту с преуспевающим, благополучным и трезвомыслящим автором, даже эти мемуаристы не могли не признать, что именно *этот и такой* Мандельштам создал подлинные поэтические ценности, властно бравшие в плен их, и, как видно, на всю их жизнь.

"Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями", — пишет Анна Ахматова. И ее "Листки из дневника" носят ярко выраженный полемический характер, страстный спор с теми мемуаристами, которые "так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют голову перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут". "И вместо трагической фигуры редкост-

ного поэта (...) мы имеем "городского сумасшедшего", проходимца, опустившееся существо".

Не менее страстным полемистом, отстаивающим правду о поэте, выступает и М.Цветаева. И она решительно отвергает "соблазн анекдота, легкого успеха у тех, кто чтению стихов поэта предпочитает сплетни о нем". Для нее суть спора — "в большом поэте, которого выводят пошляком": "Высокое и смешное — да, высокое и пошлое — никогда".

Где грань — кто может провести ее — между памятью и воображением? В какой мере память и в какой воображение рожают воспоминания? Мудрый скептик Фридрих Дюрренматт в одном из последних произведений заметил, что "«...» едва пережитое вмиг становится прошлым, а значит, не более чем воспоминанием, а всякое воспоминание — эрзац, фикция..."¹. Мандельштам же видел в этом процессе прежде всего начало творческое, считая, что "изобретение и воспоминание идут в поэзии рука об руку, вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий — тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы — забвение этой двойной правды. Москва специализировалась на изобретении во что бы то ни стало. Поэт дышит ртом и носом, и воспоминанием, и изобретением" (Т.2. С. 276).

"Изобретение" у одних мемуаристов воплощается в домысле и вымысле, в версии, выдаваемой за факт, что сближает их мемуары с жанром биографического романа или романизированной биографии, авторы которых, как известно, считают себя вправе сочинять целые сцены, речи и мысли своего героя. Впрочем, справедливости ради отметим, что существует и другой тип биографического повествования — на строгой документальной основе.

У другого типа мемуаристов это "изобретение" не в "измышлении" речей, не в досочинении утраченного, а в воссоздании по мере возможности целостного идеала личности писателя, личности, творимой самим писателем в собственной душе. Мемуаристы такого склада могут нечто утрачивать в беллетризации, в занимательности рассказа (зачастую самоценной ради него самого), но обретают нечто более значительное — они стремятся приблизиться к сути личности писателя. Достоверность, подлинность для них существеннее всего. Предоставляя слово и место разным мемуаристам, мы полагаем, что читатель сможет прочесть их записки как своего рода диалог друг с другом, а в целом сборник — как полилог, из многоголосия которого рождается единая и стройная мелодия правды о поэте.

Для взыскательного художника торными оказывались пу-

¹ Дюрренматт Ф. Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями. М., "Мол. гвардия", 1990. С. 155.

ти художественности, заключающиеся в искусстве отбора фактов, в их выстроении, композиции. В этом их "изобретение". Они предпочитают оставаться на твердой почве действительности, реальной истории. И в этом близки ученым, проделывая, подобно им, свою изыскательскую археологическую работу по воссозданию недавнего прошлого, на которое еще не легло забвение.

Воспоминания о Мандельштаме начали появляться еще при жизни писателя. Записи о поэте с начала 1910-х годов делали А. Блок, В. Хлебников, М. Кузмин, Ф. Фидлер, С. Каблуков, А. Цветаева, М. Пришвин и др. В 20—30-е годы возникает своеобразный художественно-документальный жанр, отражающий литературно-культурный быт современности. В своей автобиографически-мемуарной прозе в большей или меньшей мере представили Мандельштама В. Шкловский ("Сентиментальное путешествие", 1923), Г. Иванов ("Петербургские зимы", 1928), В. Пяст ("Встречи", 1929), Н. Мицишвили ("Эпопея. Тень и дым", 1932), Б. Лившиц ("Полутораглазый стрелец", 1933) и др. Нередкими были случаи, когда мемуары выливались в форму художественного повествования — рассказа, повести. Мандельштам стал персонажем "Записок на манжетах" (1923) М. Булгакова и рассказа М. Пришвина "Сопка Маира" (1922—1923), повестей "А все-таки она вертится" (1922) И. Эренбурга¹ и "Богема" (1931) Р. Ивнева². А затем обрыв на несколько десятилетий...

Первой ласточкой второй волны воспоминаний стала книга И. Эренбурга "Люди, годы, жизнь" (1961).

Среди современников поэта наибольшую основательность знания его жизни и творчества обнаруживают, на мой взгляд, А. Ахматова и Н. Мандельштам. И пожалуй, с наибольшей силой и глубиной они смогли воспроизвести трагизм судеб русской интеллигенции.

"Листки из дневника" (1957—1964) — воспоминания Поэта о Поэте. Высота требований Ахматовой к жанру, непримиримое отклонение пустого, мелкого, несущественного, эстетской всеядности позволили ей во весь рост представить Мандельштама и как блестящего собеседника, и как человека культуры, и как поэта — в его отношениях к символистам и акмеистам, к читателям его поэзии, к самой поэзии. Черты времени, картины литературного быта зарисованы лаконично и метко. Ценность воспоминаний Ахматовой в том, что она воплощала в себе тот тип

¹ См.: Р о н е н О. An approach of Mandelstam. Jerusalem, 1983. P. 310.

² Новый поток такой прозы приходится на 60-80-е годы: "Святой колодец" (1966), "Трава забвения" (1967), "Кубик" (1969), "Алмазный мой венец" (1978) В. Катаева, "Шерри-бренди" (1968) В. Шаламова, "Коктебельская элегия" (1976) Н. Рыленкова, "Перепутье" (1968) Р. Ивнева.

личности и ту культуру, которые были наиболее родственны по духу самому Мандельштаму, что и было основой их многолетней дружбы и верности друг другу. Их связывала молодость, первые успехи, пережитые ими трагедии. "Длившаяся всю жизнь дружба этих несчастнейших людей была, пожалуй, единственной наградой за весь горький труд и горький путь, который каждый из них прошел", — писала Н.Мандельштам¹.

Драма насильственного раскола русской культуры, невозможности совместить ее традиции, ее духовную суть со строем жизни, установившимся после 1917 года, ощутима, хотя большей частью и скрыта, как незатухающая боль, в воспоминаниях писателей-эмигрантов, изгнанников. Их мемуары обретают уникальное значение и благодаря тому, что их память сохранила время формирования личности поэта.

Уже с 1910-х годов в сознании и представлении современников складываются два облика Мандельштама. Подобно тому как у художников — А.Зельмановой (1913), Е.Кругликовой (1915), Л.Бруни (1916) — возникает эстетизированная, в духе Обри Бердслея, традиция портрета и силуэта, а рядом с ней гротескно-карикатурная — у С.Полякова (1916), А.Ремизова (1919, 1920-е годы) и др., скептически-сочувственная — у В.Милашевского (1932) и трагически-самоуглубленная — у А.Осмеркина (1937), так и в словесном "изобретении" мемуаристов тогда же начинают отчетливо выявляться подобные же подходы к запечатлению личности поэта.

Намечаются как бы два полюса в изображении поэта — изысканного петербуржца "Осипа Эмильевича Мандельштама" (эмблематикой которого стал силуэт Е.Кругликовой) и Мандельштама советской поры — московского чудака Оськи или "шизоидного психопата"² времен воронежской ссылки, с одной стороны, и Поэта и Человека в высоком значении этих слов, с другой стороны. В описаниях современников сосуществуют и противостоят друг другу шаржированно-окарикатурный и человеческо-серьезный и достойный облик поэта. Личность поэта одних отталкивала, других привлекала или отталкивала и привлекала одновременно. Одним он казался чудаком, эгоцентриком, едва ли не нравственным уродом. Другим он казался примером того, "как надо жить, что такое человек" (Г.Адамович), и они ценили в нем его "кристальную чистоту души" (Р.Ивнев). "Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужо-

¹ Мандельштам Н. Воспоминания. М., "Книга", 1989 С. 177.

² Так записано в справке, выданной воронежской поликлиникой, обследовавшей поэта 27 мая 1936 года.

го страдания или унижения”, — замечает Б.Кузин. В мемуаристике о поэте немало всякого рода ”бамбочад”¹. Общественная репутация Мандельштама не только складывалась, но и создавалась сознательно. Существовал сам поэт, и существовала независимо от него его ”тень” — его репутация.

Ряд мемуаристов свидетельствуют, что Мандельштам был способен трезво и объективно понимать свой вклад в поэзию, несоизмеримый с той общественной ролью, которая ему выпала. Поскольку мало кто вступался за него в случаях несправедливых поношений, а потом и вовсе отходил от него, не желая ввязываться в его несчастья, он вступал в борьбу за себя сам, и попытки отстоять свое человеческое достоинство и честь поэта приобретали болезненные формы. Это вело к надрыву, отчаянию, отчуждению. ”Со стороны было смешно, а по-настоящему бесконечно грустно и страшно”, — вспоминал Р.Ивнев. Поэт начинал утрачивать ощущение своей правоты, сомневаться в верности своей позиции, в том, может ли он сказать существенное и нужное своим современникам. Конфликты, столкновения подчас инициировались самим пострадавшим, выливались в скандалы, товарищеские суды. Современники иногда задумывались: было ли это отчуждением от советской действительности или от действительности вообще. Так, Е.Попова-Яхонтова записывала в дневнике 17 июля 1937 года: ”Итак, в вечном конфликте (интересно, существовал ли этот конфликт до Октябрьской революции. Похоже, что нет)”².

Ощущение изгоя, отверженного, отщепенца, того, что советская действительность не приняла его ни как человеческую личность, ни как поэта, что он чужд ей, несовместим с нею, привело на рубеже 20—30-х годов к тому, что в сознании поэта произошел перелом. В нем пробуждается гордость, позволяющая ему произнести свой суд над этой действительностью, право на который он выстрадал. Из обвиняемого он превратился в грозного обвинителя. Утратив чувство страха, он сказал свое слово о времени тогда, когда его никто не рискнул высказать вслух. За шестнадцать стихотворных строк (”Мы живем, под собою не чуя страны...”), которые услышало чуть больше десяти человек, поэт расплатился своей жизнью. Участь его была предпрещена заранее и бесповоротно.

Но Мандельштам написал и стихотворения, прославляющие Сталина. Не ради спасения своей жизни, ради спасения жизни жены. Так по крайней мере она сама объясняет это, нисколь-

¹ Так назывался опубликованный в 1931 г. роман Константина Вагинова с предпосланным ему эпиграфом: Бамбочада — изображение сцен обыденной жизни в карикатурном виде.

² См.: Швейцер В. Мандельштам после Воронежа. — ”Вопросы литературы”, 1990, №4. С. 252.

ко не оправдывая эту наивную попытку отчаявшегося человека защищаться от надвигающегося насильственного уничтожения. Существует мнение, что в изоэщенной политике по удушению литературы Сталину нужно было превратить Мандельштама в свое оружие, свой инструмент, своего сторонника, с тем чтобы именем подлинно талантливого поэта "освятить" свои преступления. Но с этой концепцией не согласуется тот факт, что хвалебное слово поэта о Сталине не опубликовали ни одна газета, ни один журнал. В его славословии Вождь Народов не нуждался.

"Он сам напроорочил свою гибель, мой бедный, полусумасшедший щелкунчик, дружок, дурак", — восклицал десятилетия спустя В. Катаев в "Алмазном моем венце". Сочувственно-ироническое изображение "Щелкунчика" не подразумевает, однако, здесь второго члена этой мандельштамовской метафоры ("А мог бы жизнь просвистать скворцом, //Заесть ореховым пирогом"). С точки зрения делового прагматизма, умения приспособляться и преуспевать поэт не выдерживал никакой критики. Всего этого он был начисто лишен и казался ребенком рядом со взрослым человеком, беспочвенным мечтателем рядом с человеком дела, неудачником рядом с людьми, добившимися успеха.

Бесспорна заслуга Надежды Мандельштам перед русской литературой — ее память хранила в течение долгих лет неопубликованные стихи поэта, его прозу; обреченная на многолетнее скитальство, она делала все, чтобы сохранить остатки архива писателя. Она выстрадала свое право на написание мемуаров, которые, перерастая рамки "былого", превращались в "думы" — своего рода исследования и расследования о судьбах человеческих, судьбах писательских в условиях тоталитарного режима. Несомненно, мемуарист ориентируется на великое творение русской литературы — книгу А.И. Герцена. И оставляет после себя более тысячи страниц мемуарной прозы, объединенных стремлением с максимальной полнотой воссоздать жизнь ушедшего в небытие поэта и его современников в их связях с историей. Причем сближает ее с Герценом сам принцип сочетания истории с мемуарами, принцип исторического самоопределения человека, осознания себя как представителя исторического поколения.

Думается, не будет преувеличением оценить мемуары Н. Мандельштам как одну из книг по истории русского общественного сознания. И все же видеть в ней источник фактографического материала было бы неверно. Как и в любых мемуарах, факты нуждаются в изучении и проверке. Печать пристрастности лежит на ряде страниц "Воспоминаний", и особенно "Второй книги". Но главное не это, а стремление автора охватить пределы, формы, механизм бедствия, поразившего всех. Это было единственное доступное ей поле сражения. Мемуары писались тайно, и не было надежды на то, что они будут изданы, как и

произведения поэта во всей полноте написанного им. Это было обретение свободы, которая родилась в сопротивлении бесправия, подавлению, унижению, которые длились большую часть ее жизни. Нужно было не только осознать все это, но и обрести голос, который могли бы услышать современники и люди последующих поколений, — для этого требовалось мужество духа, отчаянность бесстрашия, свобода высказывания мнения.

Н.Мандельштам отнюдь не делает явно О.Мандельштама центром своего повествования, но по сути он, конечно же, им остается. Одна десятая часть книг — рассказ о Мандельштаме, девять десятых — о других. Это хроника самых трагических лет в жизни поэта и страны. Вдова была обречена разгадывать тайну смерти мужа. Реконструкция финала его жизненного пути в ГУЛАГе в двух последних главах книги "Воспоминаний" — стремление проникнуть в запредельный для сознания мир, пережить из всех возможных и всех вероятных версий гибели Мандельштама самую возможную и самую вероятную. Долгое время никому не было известно место на земле, где покоится прах поэта; наконец мы узнали о нем в год столетия со дня рождения поэта.

Никому не известна жизнь Мандельштама во всей ее полноте. Даже самым близким ему людям, хотя они знали о ней больше, чем кто-либо из современников. Может быть, больше она будет известна его биографу и исследователю.

Умирает писатель, но знает: "И когда я умру, отслуживши, // Всех живущих прижизненный друг, // Он раздастся и глубже и выше — // Отклик неба — в остывшую грудь". И приходит биограф — неважно, когда это произойдет, — он придет. И воссоздаст по крупицам фактов жизнь — человеческую, бытийную и творческую, духовную — поэта. Первым биографом Мандельштама мог бы стать Сергей Борисович Рудаков, но жизнь его сложилась трагически, бесценные записи бесед с поэтом пропали, очевидно, безвозвратно. Биографом поэта суждено было стать Никите Алексеичу Струве, родившемуся в Париже в 1931 году, проделавшему титанический труд, чтобы свести воедино "Труды и дни О.Мандельштама" и написать биографию, вышедшую в Лондоне на русском языке¹. Мемуары всегда были одним из источников для биографов и исследователей творчества писателей. Без них ученым не обойтись, хотя "взаимоотношения" между учеными и мемуаристами не просты: это диалог-спор, зачастую односторонний и безответный. Но мемуары не нечто лишь вспомогательное и подручное для науки. Они обладают самостоятельной культурной и художественной ценностью, у

¹ Струве Н. Осип Мандельштам. London, Overseas Publications Interchange Ltd., 1988. Книга построена на основе ранее защищенной автором в Сорбонне диссертации на французском языке.

них свой познавательный инструментарий и своя читательская аудитория. Их значение в том, что они сохранили для нас и грядущих поколений существенные черты духовного облика поэта.

Евгений Нечепорук

КОММЕНТАРИЙ

У настоящего сборника — два составителя. Это относится не только к отбору и текстологической подготовке предложенных ими мемуаров, но — соответственно — и к комментариям. К каждому воспоминанию дается комментарий того составителя, который готовил его публикацию в сборнике: В.К. — Вадим Крейд, Е.Н. — Евгений Нечепорук. В тех случаях, когда речь идет о комментарии не только *реальном* (факты, даты, события и т.п.), но и *содержательно-идеологическом* (истолкование, оценка), в нем выражена личная точка зрения авторов комментария, не всегда совпадающая с точкой зрения Издательства. Приводимые в воспоминаниях цитаты из стихотворений Мандельштама выверены и в необходимых случаях исправлены редакцией по изданию: М а н д е л ь ш т а м О с и п. Соч. В 2-х тт. М., "Худож. лит.", 1990, т.1,2. Исключение сделано лишь для тех цитат, в отношении которых авторы воспоминаний оговариваются, что приводят их по памяти, возможно, не вполне точно. В этих случаях исправления не вносились редакцией сознательно — цитата, отпечатавшаяся так, а не иначе в памяти вспоминающего, характеризует одновременно и личность автора стихов, и личность мемуариста.

Анна Ахматова. Листки из дневника.

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) познакомилась с Мандельштамом в 1911 г. на литературных собраниях у Вяч. Иванова. Сохранила дружеские отношения с поэтом до конца его жизни. Посвятила ему стих-ния "Воронеж" (1936), "Немного географии" (1937), "Я над ними склонюсь, как над чашей..." (1957) из цикла "Венок мертвым", "...И отступилась я здесь от всего..." (1961) из цикла "Нас четверо: Комаровские наброски". Под посвящением к "Поэме без героя" стоит дата: "27 декабря 1940" — второй годовщины со дня смерти поэта.

Впервые воспоминания Ахматовой были опубликованы в альм. "Воздушные пути" (IV, Нью-Йорк, 1965). В настоящем издании приводятся по: журнал "Вопросы литературы" (1989, №2. С. 183—216); в основу публикации положена последняя, седьмая, наиболее полная редакция. См. также журнал "Звезда" (1989, № 6).

С. 18. ... к Блоку. – Суждения Мандельштама о творчестве А.А. Блока высказаны в ст.: "А.Блок. 7 августа 21 г. – 7 августа 22 г.", "Письмо о русской поэзии" (1922), "Буря и натиск" (1923) и др.

С. 18. ...о Пастернаке. – "Будущее показало, что он был прав (см. "Автобиографию" Пастернака, где он пишет, что в свое время недооценил четырех поэтов: Гумилева, Хлебникова, Багрицкого и Мандельштама)". – Прим. А.Ахматовой. Об отношении к Мандельштаму см. письма Б. Л. Пастернака О.Э. Мандельштаму от осени 1924 г. (?), 31 января 1925 г. и 24 сентября 1928 г. ("Вопросы литературы", 1972, № 9. С. 158–162); И.А. Груздеву от 9 марта 1926 г., О.Э. Мандельштаму от 19 сентября 1924 г. и 31 января 1925 г., Н.С. Тихонову от 19 ноября 1928 г. и 14 июня 1929 г. ("Литературное Наследство", 1983. Т. 93. С. 652–653, 672, 678–680).

С.18. ...на Тучке. – Дом в Тучковом переулке на Васильевском острове, где Н.С. Гумилев-студент снимал комнату.

С. 19. ... автор зеленого "Камня". – Имеется в виду зеленая обложка первого издания книги поэта (1913).

С. 19. "Антология античной глупости". – Начало "Антологии" было положено будущим историком литературы, в то время начинающим поэтом и студентом Петербургского университета Василием Гиппиусом, прочитавшим свои шуточные стихи осенью 1912 г. в квартире М.Лозинского, где по пятницам собирались сотрудники-только что основанного "Гиперборея":

По пятницам в "Гиперборея"
Расцвет литературных роз...
Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя.
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога
Для романтического лова,
Нанизывая жемчуга.
Пусть в Царском громко плачет Лева,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

С этого стих-ния и началась собственно "Антология античной глупости"; в ней объединены шуточные стихи нескольких авторов, и участие в ней Мандельштама сомнений не вызывает.

С. 19. "Странник! Откуда идешь?.. – Ср. у Мандельштама (Соч. в 2-х тт. Т.I С. 345):

– Смертный, откуда идешь? – Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек, смотришь – не веришь очам:
В креслах глубоких сидит, за обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой – сам зажигается свет.
– Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,

Боги, скажите, молю, — кто же живет на Восьмой?

С. 19. *...в гостях у Шилейки* — Шилейко Вольдемар Казимирович (1891—1930) — ученый-востоковед, поэт, близкий к кругу акмеистов, второй муж Ахматовой, которая прожила с ним с 1918 по 1921 г. Стихи Шилейко вместе со стихами Мандельштама были напечатаны в альм. "Тринадцать поэтов" (Пг., 1917).

С. 20. *"Ужас морей — однозуб"* — строка из баллады Ф.Шиллера "Кубок" в переводе В.А. Жуковского.

С. 20. *"Гиперборей"* (греч. hyperboreos — житель Крайнего Севера). — "Ежемесячник стихов и критики", издававшийся членами первого Цеха поэтов в 1912—1914 гг. (вышло 10 номеров). Редакция находилась первоначально на квартире издателя М.Л. Лозинского, где по пятницам собирались члены Цеха поэтов. Так же называлось и издательство, опубликовавшее в 1914—1918 гг. 12 поэтических сборников ("Четки" и "Белую стаю" А. Ахматовой, "Камень" О.Мандельштама и др.).

С. 21. См.: О. М а н д е л ь ш т а м. Письма В.И. Иванову 1909—1911 гг. Записки Отдела рукописей/ Гос. б-ка им. В.И. Ленина. М., 1973. Вып. 34. С. 262—274.

С. 21. *Проакадемия*. — "Поэтической Академией" назывался курс лекций по стихосложению и истории стиха, прочитанный Вяч. Ивановым молодым поэтом весной 1909 г. С осени того же года "Поэтическая Академия" была преобразована в "Общество ревнителей художественного слова" при журнале "Аполлон".

С. 21. *Воспоминания сестры Аделаиды Герцык... — Герцык* (Лубны-Герцык, в замужестве Жуковская) *Аделаида Казимировна* (1874—1925) — поэтесса и критик, близкая кругу Вяч. Иванова, жена переводчика и издателя символистского журнала "Новый путь" Д.Е. Жуковского; автор сборника стихов, вышедшего в Москве в 1910 г. Ее сестра — *Герцык* (Лубны-Герцык) *Евгения Казимировна* (1878—1944), переводчица, критик. Имея в виду мать Мандельштама, она пишет следующее: "Однажды бабушка привела внука на суд к В. Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама, читавшего четкие фарфоровые стихи" (Герцык Е. Воспоминания. Paris, 1973. С. 60).

С. 22. *"Бродячая собака"* — литературно-художественное кабаре, было открыто в Петербурге в ночь на новый 1912 г. и с тех пор стало любимым местом ночных встреч петербургской художественной интеллигенции.

С.22. *"И малиновые костры // Словно розы в снегу расгут..."* — Из стих-ния "Как ты можешь смотреть на Неву..." (1914). Под "черными ангелами" имеются в виду чугунные ангелы с арки на Галерной.

С. 22. *Гумилев... оценил Мандельштама*. — См.: рец. Н.Гумилева на сборник "Камень" (1913 и 1916) ("Аполлон", 1914, № 1/2. С. 126—127; "Аполлон", 1916, № I. С. 30—32).

С. 23. *"Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне..."* —

"Там был стих: "Что знает женщина одна о смертном часе..."
Ср. мое — "Не смертного часа жду?". — *Прим. А. Ахматовой.*

С. 23. Мандельштам был в Варшаве в декабре 1914 г., с помощью уполномоченного санитарного поезда Д.В. Кузьмина-Караваева пытался стать санитаром. См.: Каблукоев С. Из дневника ("Вестник русского христианского движения", Париж, 1979, № 129. С. 146–147).

С. 23. М.А.З. — Зенкевич Михаил Александрович (1891–1973) — поэт, член Цеха поэтов.

С. 23. ...*писал ей стихи.* — Стих-ния "За то, что я руки твои не сумел удержать...", "Возьми на радость из моих ладоней...", "Мне жаль, что теперь зима...", "Я наравне с другими...", написанные в 1920 г., обращены к О.Н. Арбениной.

С. 23. "*Сколько... надсады и горя...*" — Из стих-ния "С миром державным я был лишь ребячески связан..." (1931). "*В холодной... постели*" — из стих-ния "Возможна ли женщине мертвой хвала?..." (1935). "*Хочешь, валенки сниму...*" — из стих-ния "Жизнь упала, как зарница..." (1925).

С. 23 *Петровых Мария Сергеевна* (1908–1979) — поэтесса.

С. 23. *Вера Артуровна* — Из стих-ния "Золотистого меда струя из бутылки текла..." (1917), обращенного к Вере и Сергею Судейкиным.

С. 23. *Радлова Анна Дмитриевна* (1891–1949) — поэтесса. Надежда Мандельштам писала, что Осип "был с ней в свойстве".

С. 24. ...*Запахло валерьяном* — Намек на Валериана Адольфовича Чудовского — верного рыцаря Радловой, погиб в 30-х годах. — *Прим. А. Ахматовой.*

С. 24. "*Гилея*" — группа футуристов (В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Каменский, А. Крученых и др.); название взято из "Истории" Геродота, где так обозначалась территория Скифии за устьем Днепра.

С. 24. "*Северные записки*" — литературно-политический ежемесячный журнал, выходивший в Петрограде с января 1913 по январь 1917 г.

С. 25. "*Все каменные циркули да лиры...*", "*В великолетный мрак чужого сада...*" — Из стих-ния А. Пушкина "В начале жизни школу помню я..." (1830).

С. 25. "...*священный сумрак*". — Имеются в виду строки А. Пушкина из "Воспоминания о Царском Селе" (1829):

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.

С. 25. "*Черты лица искажены*". — См. альм. "Воздушные пути", III, Нью-Йорк, 1963. С. 22:

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой.
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены...

С. 26. *Французы* – ученые-слависты Рив и Бойе.

С. 26. *"Нам пели Шуберта..."* – Из стих-ния "В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа..." (1918).

С. 26. *"Сорвут платок с прекрасной головы"*. – Из стих-ния "Кассандре" (1917).

С. 27. *"Знамя труда"* – газета, издававшаяся в 1917–1918 гг. левыми эсерами.

С. 28. *Голлербах Эрих Федорович* (1895–1942) – искусствовед, критик, поэт, автор более сорока книг. Неоднократно писал о Мандельштаме.

С. 29. *Рождественский Всеволод Александрович* – поэт. Краткое время был членом пореволюционного Цеха поэтов. Оставил воспоминания о Мандельштаме (см. с. 265 нашего издания).

С. 29. *"Вчерашнее солнце... несут"* – Из стих-ния "Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы..." (1920).

С. 29. *Китайская Деревня* – несколько одноэтажных зданий в китайском стиле в Александровском парке в Царском (с 1918 г. Детском) Селе. Сохранился Дом Карамзина (ул. Комсомольская, 12), где он с 1816 г. жил летом с семьей.

С. 29. *"Там улыбаются уланы..."* – Их стих-ния "Царское Село" (1912), посвященного Георгию Иванову.

С. 29. *Лукницкий Павел Николаевич* (1900–1973) – писатель, литературовед, биограф Гумилева, друг Ахматовой. Это письмо Мандельштама датировано 25 августа 1928 г.

С. 29. *"На игольное только ушко..."* – Их стих-ния "День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток..." (1935).

С. 30. *...знакомство с Белым* относится к лету 1933 г.

С. 31. *"Я к смерти готов"*. – Этот эпизод нашел отражение в "Поэме без героя" (Часть первая):

На площадке две слитые тени...
После – лестницы плоской ступени,
Вопль: "Не надо!" – и в отдаленье
Чистый голос:

"Я к смерти готов".

См.: Ахматова А. Соч. в 2-х тт. М., "Худож. лит.", 1986. Т. I. С. 261.

С. 32. *...после Гостиного двора*. – Мандельштам писал в "Шуме времени": "В чем секрет обаянья Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк? Почему Сави-

на рядом с ней казалась умирающей барыней, разомлевшей после Гостиного двора?” Ответ на этот вопрос он видит в творчестве актрисы как “выражении протестантского духа русской интеллигенции” (Мандельштам О. Соч. Т. 2. С. 42).

С. 32. ...недоумение перед человеком в шапке (за столом). — Имеется в виду следующий эпизод из “Шума времени”: “В припадке национального раскаяния наняли было ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей Торговой улицы и учил, не снимая шапки, от чего мне было неловко” (Там же. С. 90).

С. 32. ...так называемая “Четвертая проза”. — Название это домашнее. Она четвертая по счету, включая статьи, а цифра привилась по ассоциации с сословием, о котором он думал, и с Римом — ведь наш-то Рим тоже был четвертым. Именно эта проза расчистила путь стихам, определила место О.М. в действительности и вернула чувство правоты. В “Четвертой прозе” О.М. назвал нашу землю кровавой, проклял казенную литературу, сорвал с себя литературную шубу и снова протянул руку разночинцу — “старейшему комсомольцу” — Акакию Акакиевичу...” (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., “Книга”, 1989. С. 166).

С. 32. “Под собой мы не чуем...” — Речь идет о стих-нии “Мы живем, под собою не чуя страны...” (1933).

С. 32. ...теория “знакомства слов”. — В одном из вариантов рукописи Ахматова пишет: (“Надо знакомить слова” (выражение Осипа Эмильевича), т.е. сталкивать те слова, которые никогда раньше не стояли рядом»).

С. 33. ...знак Обезьяньей Палаты, последний данный Ремизовым в России. — А.М. Ремизов вручал членам “Обезьяньей Великой и Вольной Палаты” — “тайного сообщества” людей искусства — орденские знаки в виде сочиненных им грамот.

С. 33. Потом звонил Пастернаку. — «Все, связанное с этим звонком, требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы, и Надя и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни, то есть во время кампании в связи с присуждением Б. Пастернаку Нобелевской премии — статья в газете “Les lettres Françaises”), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку.

Еще более поразительными сведениями о Мандельштаме обладает в книге о Пастернаке Х.: там чудовищно описана внешность и история с телефонным звонком Сталина. Все это попадает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее “лояльного мужа”. — Прим. А. Ахматовой.

С. 33. Городецк и й С. Против бессодержательной формы и бесформенного содержания. Из речи на общемосковском собрании писателей (“Лит. газета”, 27 марта 1936 г.). Ахмато-

ва ошибочно помечает публикацию 1934 г.

С. 34. "...славных ребят из железных ворот ГПУ". – Цитата из стих-ния Мандельштама "День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток..." (1935).

С. 35. "Звучит земля – последнее оружие..." – Из стих-ния "Стансы" (1935).

С. 35. Мандельштам... резко напал на мои стихи в печати. – Речь идет о статьях 1923 года "Буря и натиск" и "Vulgata (Заметки о поэзии)".

С. 35. Ссылка на Харьков неверна. (См.: "Письмо о русской поэзии" (газ. "Советский Юг", Ростов-на-Дону, 21 января 1922 г.).

С. 35. Рудаков Сергей Борисович – литературовед, текстолог, сосланный в Воронеж. Рудаков записывал стих-ния Мандельштама и авторский коммент. к ним. Эти записи, как и часть архива Н.Гумилева, который Ахматова доверила Рудакову, пропали. Э. Герштейн, подруга Ахматовой, считает, что Рудаков, погибший на войне в 1944 г., к этой пропаже не причастен. См.: Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Paris. Atheneum, 1986; Герштейн Э. Мандельштам в Воронеже (По письмам С.Б. Рудакова) (журнал "Подъем", 1988, № 6–10).

С. 35. Глава из "Петербургских зим" Георгия Иванова включена в настоящее издание (см. с. 70–80). Все написанное Ивановым о Мандельштаме представляет интерес, так как до своего отъезда из России (1922) Г. Иванов знал Мандельштама гораздо ближе и лучше (порой встречаясь с ним почти ежедневно), чем кто-либо из друзей Мандельштама во все 10-е годы.

С. 36. А. Ахматова имеет в виду книгу Л. Страховского: Strakhovskiy L. Craftsmen of the World. Three poets of Modern Russia. Harvard University Press. Cambridge, 1949. В Ленинграде книга вышла в 1933 г. О Мандельштаме см. 115–116, 263–264, 268, 269–270, 294–295.

С. 36. См. воспоминания А. Лурье в нашем издании (С. 196).

С. 37. У Мандельштама нет учителя. – Ахматова разделяет здесь суждение Н.Гумилева, высказанное в связи с выходом в свет второго издания "Камня": "... Редко встречаешь такую полную свободу от каких-либо посторонних влияний" (Гумилев Н. Письмо о русской поэзии ("Аполлон", 1916, №1. С. 30).

С. 39. У подружки Лены. – Имеется в виду Е.К. Осмеркина-Гальперина.

С. 39. ...письмо (брату Александру). – Текст письма: "Дорогой Шура!

Я нахожусь – Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак.

Получил 5 лет за к. р. д., по решению ОСО. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощал до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги – не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои. Целую Вас. Ося.”

Е.Н.

Михаил Карпович. Мое знакомство с Мандельштамом.

Михаил Михайлович Карпович (1888–1959) – профессор-историк, преподававший в Гарвардском университете, редактор старейшего эмигрантского “Нового журнала” (с 1946 по 1959 г.), автор многочисленных публикаций, печатавшихся в этом журнале. Краткие воспоминания Карповича о Мандельштаме – единственные в своем роде. Кажется, никто, кроме него, не оставил мемуаров, относящихся к столь раннему периоду жизни поэта. В Париж Мандельштам приехал после окончания в Петербурге Тенишевского училища; так он планировал остаться до начала лета 1908 г., лето собирался провести в Италии и затем, вернувшись в Петербург, поступить в университет на историко-филологический факультет. В самом раннем из известных нам писем Мандельштама, написанном через четыре месяца после первой встречи с Карповичем, Мандельштам сообщает матери о том, как проходят его дни в Париже: “Утром гуляю в “Люксембурге”. После завтрака устраиваю у себя вечер – т.е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу дватри часа... Потом прилив энергии, прогулка, иногда кофе для писания писем и там обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера; это милая комедия. К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку... и происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций...”.

Ко времени знакомства с Карповичем этого “интернационального общества” еще не составилось, и Мандельштам чувствовал себя очень одиноким, о чем он и писал из Парижа поэту Владимиру Гиппиусу: “Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки”.

Воспоминания М. Карповича впервые напечатаны в “Новом журнале” (Нью-Йорк), 1957. Кн. 49. С. 258–261. В настоящем издании дается по: журнал “Даугава” (Рига), 1988, № 2, С. 109–112.

С. 41. О *Синани* см. главу “Семья Синани” в “Шуме времени” (Мандельштам О. Соч. Т. 2. С. 34–41).

С. 41. *Гершуни Григорий* (1870–1907) – один из основателей партии эсэров.

С. 41. *Савинков Борис Викторович* (1879–1925) – эсер, один из руководителей “Боевой организации”; поэт и прозаик.

С. 42. ...на лекции Бурлюка. — Давид Бурлюк читал в Петербурге лекцию в ноябре 1912 г. Об этой лекции см., напр., статью Александра Бенуа в газете "Речь" (23 ноября 1912 г.). В частности, Бенуа писал: "Пусть себе работают над разгромом всего существующего... Весь смысл культуры в том, чтобы не останавливаться. Бурлюк и ему подобные погоняют, тревожат, вносят смуту и не дают застояться".

В.К.

Сергей Маковский. Осип Мандельштам.

Сергей Константинович Маковский (1877—1962) — историк искусства, художественный критик, поэт, мемуарист, издатель, редактор, организатор художественных выставок. Как художественный критик впервые выступил в печати в 1898 г. Первый сборник его стих-ний появился в 1905 г. В 1907 г. участвовал в создании журнала "Старые годы". В 1909 г. при ближайшем участии Н.Гумилева основал журнал "Аполлон". Маковский — автор восьми книг по искусству, девяти поэтических сборников и двух мемуарных книг.

В настоящем сборнике приводится фрагмент книги С. Маковского "Портреты современников" (Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1955. С. 377—398).

С. 44. Первый номер "Аполлона" вышел в конце октября 1909 г.

С. 44. Е.А. Зноско-Боровский опубликовал несколько рецензий на стихи акмеистов, в том числе рецензию на "Камень" Мандельштама. Подписанная З.Б. рецензия эта была напечатана в "Литературных и популярно-научных приложениях" "Нивы" в 1916 г. «Издательство "Гиперборей", — пишет Зноско-Боровский, — избрало своей специальностью труды "молодых" и одарило нас уже многими более или менее ценными и интересными сборниками. О. Мандельштам пользуется в кругу приверженцев школы "акмеистов" достаточной популярностью. Название для сборника выбрано автором весьма удачно. Холод и твердость преобладают в его творчестве. Со стороны формы — есть вещи очень красивые; но в стихах Мандельштама все подчинено мысли в ущерб чувству. Теплая, задушевная лирика вообще, за редкими исключениями, упразднена нашими "молодыми", и, может быть, именно поэтому молодости в их творениях меньше всего.

Рассудочность всегда вредит красоте художественного восприятия, и за неимением истинной философской глубины — именно в сухую, скучную рассудочность впадают многие и многие "молодые".

Все сказанное о "молодых" более или менее применимо к автору "Камня", но это не умаляет бесспорных эстетических достоинств сборника. В нем есть пьесы действительно художественные и по выражению и по форме ("Раковина", "Петербургские строфы", заключительное стихотворение и некоторые другие). Но встречаются и черствые, явно надуманные стихи: "Я вздрагиваю от холода...", "Образ твой...", "Кинематограф", "Теннис"».

С. 45. Впервые стихи Мандельштама были опубликованы в "Аполлоне", 1910, № 9.

С. 59. Это стих-ние написано в 1931 г., т.е. еще до первой ссылки Мандельштама. С.Маковский был первым, кто его опубликовал.

В.К.

Александр Блок. Дневники.

Отношение Александра Блока (1880–1921) к Мандельштаму как представителю акмеистов было сдержанным, почти неприязненным; вместе с тем Блок стремился объективно оценить проявившиеся в поэзии Мандельштама черты подлинного художника – "артиста". Глубокое суждение о поэзии Блока Мандельштам высказал в статье "Барсучья нора" (1922).

Дневниковые записи приводятся в сборнике по изд.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми тт. М.–Л., 1963. Т. 7. С. 78, 99–100, 150, 371. Записи от 13 июня 1912 г. и 22 октября 1920 г. впервые опубликованы в кн.: Дневник Ал. Блока, 1911–1913 и 1917–1921. В 2-х тт. Л., 1928. Т. 1. С. 107; Т. 2. С. 172–173.

С. 61. Блок входил в состав совета Общества ревнителей художественного слова, созданного при редакции журнала "Аполлон" и называвшегося также Академией или Поэтической Академией.

С. 62. Речь идет о стих-нии "Венецкая жизнь" (1920). "Через несколько дней мы с Александром Александровичем вспомнили об этом чтении и отметили, что Венеция поразила обоих (и Блока и Мандельштама) своим стеклярусом и чернотой" – вспоминала поэтесса Надежда Павлович (см.: Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2-х тт. М., "Худож. лит"., 1980. Т. 2. С. 398).

Е.Н.

Надежда Павлович. Воспоминания.

Надежда Александровна Павлович (1895–1980) – поэтесса, детская писательница, переводчик, критик. В настоящем сборнике воспоминания даются по изд.: "Блоковский сборник", Тарту, 1964. То же: "Прометей". Сб. 11. М., "Мол. гвардия", 1977.

С. 63. Вечер поэзии, организованный Гумилевым, состоялся 21 октября.

С. 63. В эмиграции оказались четыре участника пореволюционного Цеха поэтов: Адамович, Г. Иванов, Одоевцева и Оцуп. Никто из них не "докатился до обслуживания фашистов", но об Одоевцевой и Г.Иванове кем-то был пущен подобный слух, "докатившийся" и повторенный Н.Павлович.

С. 63. См.: "Николай Гумилев в воспоминаниях современников" (под ред. и с коммент. В. Крейда. Париж–Нью-Йорк, изд. "Третья волна", 1989. С. 15–24).

С. 64. Об этом маскараде у Н. Павлович есть стихи (глава "Маскарад на Миллионной") в ее книге "Думы и воспоминания" (М., "Сов. пис.", 1966):

И обаянный, и безумный,
Весь в упоении стихом,
Шел Мандельштам на праздник шумный
Полубиблейским женихом.

Он шел в толпе, как бы незрячий,
Покачивая головой,
Хранитель слов, а не растратчик,
Навек сдружившийся с Невой.

В.К.

Константин Мочульский. О.Э.Мандельштам.

Константин Васильевич Мочульский (1892–1948) – специалист по романской филологии, приват-доцент Петербургского университета. С 1919 г. в эмиграции, читал лекции в Софийском университете. С 1922 г. – в Сорбонне. Был руководителем христианско-демократической организации "Православное дело", преследовался гестапо в годы оккупации Парижа. Принадлежал кругу людей, близких матери Марии (Е.Ю. Кузьминой-Караваевой). На ряд языков переведена его монография "Достоевский. Жизнь и творчество" (Париж, 1947). Автор вышедших в Париже книг: "Владимир Соловьев. Жизнь и учение" (1936; 1951), "Духовный путь Гоголя" (1934; 1976), посмертно опубликованных монографий об А.Блоке (1948), А. Белом (1955), В.Брюсове (1962). Краткие воспоминания Мочульского были вызваны дошедшими до русской эмиграции после окончания второй мировой войны вестями о смерти Мандельштама.

Впервые опубликованы в альм. "Встреча" (Париж, 1945. Сб. 2. С. 30–31). Печатается по изд.: журнал "Даугава" (Рига), 1988, № 2. С. 112–114.

С. 65. Строки из стих-ния "Дано мне тело — что мне делать с ним..." (1909).

С. 65. Из поэмы А.Пушкина "Цыганы".

С. 65. Мандельштам поступил в Петербургский университет в 1911 г.

С. 66. Эти две строфы известны только по воспоминаниям Мочульского.

С. 66. Из стих-ния "Золотистого меда струя из бутылки текла..." (1917).

С. 67. Из стих-ния "Меганом" (1917).

С. 67. Из стих-ния "Не веря воскресенья чуду..." (1916).

С. 68. Из стих-ния "Когда Психея-жизнь спускается к теням..." (1920).

С. 68. Очевидно, Мочульский не знал опубликованных при жизни Мандельштама его "Второй книги" (1923) и "Стихотворений" (1928). Кроме того, в 1928 г. вышла книга прозы "Египетская марка" (включившая и "Шум времени") и сборник статей "О поэзии".

Е.Н.

Зинаида Гиппиус. Одержимый.

Об обстоятельствах знакомства Зинаиды Гиппиус (1869—1945) и Осипа Мандельштама рассказывает Надежда Мандельштам во "Второй книге": "Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщает; тогда она с ним поговорит, а пока что — не стоит, потому что ни из кого не выходит толка. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.) Это не помешало Гиппиус воячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть "Зинаидин жиденок". Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самое Гиппиус":

Мемуарный очерк "Одержимый" написан о Брюсове — вскоре после его смерти (1924 г.). В нашем издании печатается его фрагмент по: альм. "Наши современники". Париж, изд-во "Окно", 1924. Сб. 1. С. 220—221.

С. 69. Об этом "большом недоверии" З.Гиппиус к молодым поэтам красноречиво свидетельствует история ее знакомства с Гумилевым. Гумилев никогда не мог забыть практически враж-

дебного приема в парижской квартире Мережковских в присутствии Андрея Белого (см. об этом в кн.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Изд-во "Третья волна", 1989. С. 248—252).

С. 69. С сентября 1910 г. Брюсов заведовал литературным отделом "Русской мысли", и, таким образом, мы можем предположить время посещения Мандельштамом квартиры Мережковских. Визит имел место не ранее 1910 г., и, всего вероятнее, именно в 1910 г.

С. 69. Ср. настоящие воспоминания З. Гиппиус с рассказом Г. Иванова о его посещении Брюсова в Москве в 1916 г. (см. с. 87 нашего издания).

Примечательно также, что в своей статье о только что народившемся акмеизме, напечатанной в "Русской мысли" (1913, № 4), имени Мандельштама Брюсов вовсе не упоминает, хотя пишет здесь обо всех других акмеистах — Гумилеве, Городецком, Зенкевиче, Нарбуте и Ахматовой. При той осведомленности, которую обнаруживает эта статья, Брюсов просто не мог не знать о стихах Мандельштама в "Гиперборее" (конец 1912 — начало 1913 г.) и в "Аполлоне" (начало 1913 г.). Тщательное прочтение этой статьи Брюсова ("Новые течения в русской поэзии. Акмеизм") показывает, что имя Мандельштама не было упомянуто им не по забывчивости, а намеренно. Оценки Мандельштама содержатся в статье Брюсова "Вчера, сегодня и завтра русской поэзии" ("Печать и революция", 1922, № 7. С. 40, 52, 67).

В.К.

Георгий Иванов. Петербургские зимы.

Георгий Владимирович Иванов (1894—1958) — поэт, автор многочисленных мемуарных очерков, прозаик, критик, переводчик. Дата знакомства Г. Иванова с Мандельштамом точно не установлена: либо в конце 1910 г., либо весной 1912 г., когда Г. Иванов был принят в Цех поэтов. Мандельштам посвятил Г. Иванову стих-ние "Царское Село" (1912) и писал о нем в другом своем стих-нии — "От легкой жизни мы сошли с ума..." (1913):

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

Мандельштама и Г. Иванова объединяла как личная дружба, так и совместное их участие в "Гиперборее", "Аполлоне", Цехе поэтов, Академии стиха, встречи в редакциях журналов, в "Бродячей собаке", "Привале комедиантов", в некоторых петер-

бургских салонах и кружках, например в кружке "Физа", на чтениях стихов у Сологуба, в Царском Селе у Гумилева, позднее — в редакции издательства "Всемирная литература", в Доме Искусств, в Петроградском союзе поэтов и мн. др.

В наследии Г.Иванова имя Мандельштама первый раз встречается в статье, опубликованной в январском номере "Аполлона" за 1913 г. Здесь он пишет о журнале "Гиперборей", который "является тем руслом, куда стремится все подлинно живое в русской поэзии, прошедшей искусства символизма". Среди поэтов "Гиперборей", которыми журнал может гордиться, Г.Иванов называет Ахматову, Гумилева, Городецкого, Мандельштама.

В статье "Почтовый ящик" (1923) — насколько нам известно, первой статье Г.Иванова, написанной в эмиграции, — он говорит о лучших современных русских поэтах, называя имя Мандельштама первым: "Мандельштам, Ахматова, Ходасевич, Сологуб, Цех..."

К образу Мандельштама Георгий Иванов многократно возвращался в своих воспоминаниях. Первая мемуарная страничка о Мандельштаме была написана им менее чем через два года со дня эмиграции — летом 1924 г. В эссе "Китайские тени", открывавшем целую серию очерков под аналогичным названием, он вспоминает заседания в редакции журнала "Гиперборей" и его сотрудников — Гумилева, Лозинского, Мандельштама.

Кроме упомянутых очерков, Г.Иванов опубликовал еще четыре эссе, полностью посвященных Мандельштаму: "Петербургские зимы" (газета "Дни", 1926, № 972); "Китайские тени" (газета "Звено", 1927, № 210); "Невский проспект" ("Последние новости", 1928) и "Китайские тени", включенные в настоящее издание.

Что-то из написанного Г.Ивановым дошло до Мандельштама. Дошло скорее из вторых рук, через Ахматову, с ее слов. В феврале 1926 г. Мандельштам писал жене: "Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка. Встретила меня "сплетнями": Георгий Иванов пишет в парижских газетах "страшные пашквили" про нее и про меня..." "Старушкой" Мандельштам в этом письме называет Ахматову. Сам же Мандельштам отнесся к новости спокойно и мудрее — отсюда и его выражение, поставленное в кавычки: "страшные пашквили". Заметим, что и рассказ Ахматовой он называет "сплетнями", поставив и это слово в иронические кавычки. Если Мандельштам, хорошо знавший Г. Иванова и ценивший его поэтический талант, не придавал этой новости особого значения и, насколько нам известно, не возвращался к этой теме, то Ахматова забыть этого никогда не могла и отзывалась о Г. Иванове негативно. Между тем во всем наследии Г. Иванова нет ни одного враждебного высказывания в адрес Ахматовой: нет ничего близкого к этому и в мемуарной литературе о Г. Иванове.

Глава X из "Петербургских зим" печатается по изд.: И в а н о в Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. (М., "Книга", 1989. С. 347–360), в котором "Петербургские зимы" воспроизводятся по второму изд., вышедшему в Нью-Йорке в изд-ве им. Чехова в 1952 г. Впервые книга вышла в Париже в изд-ве "Родник" в 1928 г., предварительно отдельные ее части публиковались в периодике в 1920-е годы.

С. 70. *Отец* – Эмилий Вениаминович Мандельштам (1851–1938).

С. 70. *Мать* – Флора Осиповна Мандельштам (урожд. Вербовская, 1866–1916), учитель музыки.

С. 71. Это стих-ние, написанное в апреле 1912 г., впервые напечатано в журнале "Гиперборей" (1912, № 1). Г. Иванов слышал его в чтении самого Мандельштама.

С. 73. Последняя строфа из стих-ния Мандельштама "О свободе небывалой..." (1915).

С. 74. Ошибка в хронологии.

С. 75. "*Над желтизной правительственных зданий...*" – Первая строка стих-ния Мандельштама "Петербургские строфы" (1913).

С. 75. "*...И в мокром асфальте поэт...*" – Из стих-ния И.Анненского "Дождик" (1909).

С. 76. Ср. с воспоминаниями Бенедикта Лившица: "Между прочим, не кто иной, как Мандельштам, посвятил меня в тайны петербургского "savoir vivre", начиная с секрета кредитования в "собачьем" буфете и кончая польской прачечной, где за тройную цену можно было получить через час отлично выстиранную и туго накрахмаленную сорочку – удобство поистине неоценимое..."

С. 77. В Варшаву Мандельштам ездил в декабре 1914 г.

С. 77. *Врангель Николай Николаевич* (1880–1915) – искусствовед, сотрудник "Аполлона", уполномоченный санитарного поезда.

С. 77. "*Какие грязные ни пожимал я руки...*" – Неточная цитата из стих-ния И.Анненского "Ямбы".

С. 79. "*Она молчала, и он молчал...*" – Неточная цитата из стих-ния В.Ходасевича "Сквозь ненастный зимний денек..." (1927).

С. 80. История с Я.Г.Блюмкиным известна главным образом благодаря Г.Иванову, очевидно, узнавшему обо всем этом непосредственно от Мандельштама. Другой источник – "Воспоминания" Надежды Мандельштам, ставшие известными в "самиздате" в шестидесятые годы и опубликованные на Западе в 1970 г. Эти "Воспоминания", к сожалению, мало что добавляют к истории, рассказанной Г.Ивановым, как и к прояснению подробностей. Как это ни парадоксально, Н.Мандельштам пишет, более опираясь на повествование Г.Иванова, чем на сведения,

ставшие ей известными от самого Мандельштама. "История стычки О.М. с Блюмкиным, — пишет она, — известна из неточного, с чужих слов и приукрашенного рассказа Георгия Иванова". Действительно, это рассказ "с чужих слов", т.е. со слов самого Мандельштама! Что же касается неточностей, то Н.Мандельштам уточняет лишь одну из них, а именно то, что Мандельштам отправился к Дзержинскому не с Каменевой, а с Ларисой Рейснер. Согласно изложению Г.Иванова, пишет Н.Мандельштам, "О.М. изловчился, вырвал у Блюмкина ордер и порвал его". Н.Мандельштам усомнилась в этом факте, чтобы через несколько строк противоречить самой себе: "Зная темперамент О.М., я вполне допускаю, что он что-то выхватил и порвал..." Итак, возмущившись рассказом Г.Иванова, написанным "в угоду неприхотливым читателям", Н.Мандельштам отсылает нас к будущему историку ("в этом сможет разобраться только историк").

В.К.

Георгий Иванов. Китайские тени.

"Китайские тени" (фрагменты) приводятся по изд.: Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., "Книга", 1989. С. 450—457, 460—464. Впервые первая глава мемуаров — под назв. "Китайские тени" — была опубликована в газете "Последние новости" (Париж, 22 февраля 1930 г.); вторая глава, под назв. "Петербургские зимы", — в газете "Дни" (Париж, 4 апреля 1926 г.).

С. 81. *...по случаю взятия Скутари.* — Во время первой балканской войны (1912—1913) турецкий город-крепость Скутари был взят войсками Черногории, отказавшимися выполнить решение о передаче его Албании, что получило поддержку России.

С. 81. *В. Ф. Джунковский* — командир жандармского корпуса; в то время был товарищем министра внутренних дел.

С. 85. *"В Петербурге мы сойдемся снова..."* — Начало одноименного стих-ния Мандельштама (1920). Слова эти Г. Иванов взял эпиграфом к своему стих-нию "Четверть века прошло за границей..."

С. 85. *"Мимо зданий, где мы когда-то..."* — Строки из стих-ния А. Ахматовой "Побег" (1914).

С. 87. *"Так!.. Но, прощаясь с римской славой..."* — Строка из стих-ния Ф. Тютчева "Цицерон" (1830).

С. 88. *"Я опоздал на празднество Расина..."* — Эта и последующие строки из стих-ния "Я не увижу знаменитой "Федры"..." (1915).

С. 89. Стих-ние О. Мандельштама "Тетушка и Мирабо" приводится по: "Красная газета". Л., 19 октября 1925, вечерний выпуск.

Знакомство Марины Цветаевой (1892–1941) с О. Мандельштамом относится к июлю 1915 г., когда они были в Коктебеле. В 1916 г. Мандельштам приезжал в Москву для встреч с поэтессой, в июне был в течение дня в Александровской слободе Владимирской губернии. Цветаева посвятила Мандельштаму девять стих-ний, вошедших в сб. "Версты" (М., 1922. С. 10–15, 20–21, 38–40): "Никто ничего не отнял!.."; "Собирая любимых в путь..."; "Ты запрокидываешь голову..."; "Откуда такая нежность?.."; "Разлетелось в серебряные дребезги..."; "Гибель от женщины – вот знак..."; "Приключилась с ним страшная хворь..."; "Из рук моих нерукотворный град..."; "Мимо ночных башен...". Поэтическим откликом Мандельштама на эти встречи, вылившимся в размышления о Москве и России и их месте в мировой истории и культуре, стали стих-ния поэта "В разногололице девического хора..." и "На розвальнях, уложенных соломой...", написанные в 1916 году и вошедшие в сб. "Tristia".

О значении Цветаевой для Мандельштама много размышляла Надежда Мандельштам. "Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы, о которой говорится в статье о Чаадаеве. (...) Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты" (Мандельштам Н. Вторая книга. М., "Московский рабочий", 1990. С. 380).

Познакомившись с мемуарами Георгия Иванова, опубликованными в парижской газете "Последние новости" от 22 февраля 1930 г., Цветаева пишет очерк "История одного посвящения", но газета отказывается его печатать.

Предлагаемые воспоминания М. Цветаевой при жизни автора не были опубликованы. Впервые вышли в свет в: Oxford Slavonic Papers, 1964. Vol. XI. P. 114–136. В СССР – в журнале "Лит. Армения", 1966, № 1. С. 53–69.

В нашем сборнике печатаются с сокращениями по изд.: Цветаева М. Соч. в 2-х тт. М., "Худож. лит.", 1980. Т. 2. С. 159–189, с восстановлением купюр по оксфордской публикации.

Е. Н.

Анализируя мемуары Г. Иванова, Цветаева допустила ряд неточностей. Например, последнюю часть очерка Г. Иванова Цветаева называет "началом фельетона". Личное знакомство Мандельштама и Г. Иванова длилось более десяти лет. Цветаева же встречалась с Мандельштамом мало – главным образом в первой половине 1916 г. Первая их встреча произошла в 1915 г.

в Коктебеле. Духовно близкими их отношения никогда не были. "Разительно противоположными были их личности, творчество, весь внутренний мир", — считает специалист по творчеству Цветаевой А. Саакянц. Мандельштаму поэзия Цветаевой оставалась чужда и вызывала отталкивание. Стихи Цветаевой Мандельштам ставил на тот же уровень, что и стихи Софьи Парнок. Вот что он писал, например, в статье "Литературная Москва" (1922 г.): "Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой — лженародных и лжемосковских — неизмеримо ниже стихов Адалис..." (Мандельштам О. Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 276). В "Листках из дневника" А. Ахматовой (см. с. 18 нашего издания) есть и более сильное высказывание Мандельштама: "Я — антицветаевец". См. также воспоминания С. Липкина (с. 310 нашего издания).

В. К.

Владимир Пяст. Встречи.

Владимир Алексеевич Пяст (наст. фам. Пестовский, 1886—1940) — поэт-символист, близкий А. Блоку, друг Мандельштама в 20—30-е гг. Мандельштам познакомился с Пястом на квартире Вячеслава Иванова в Петербурге. Здесь по инициативе трех поэтов — Н. Гумилева, П. Потемкина и А. Толстого — весной 1909 г. была основана Академия стиха, называемая Пястом "Проакадемией", поскольку предшествовала созданию основанного осенью при редакции только что открытого журнала "Аполлон" Общества ревнителей художественного слова, называемого в обиходе Академией стиха. С этой Академией Мандельштам был связан и в дальнейшем. Знакомство Мандельштама и Пяста продолжалось около 25 лет. Встречи с Пястом происходили не только в Академии стиха, но и в Цехе поэтов, в литературном кабачке "Бродячая собака" и в "Привале комедиантов", в редакциях журналов и в ряде других литературных кружков. В тридцатые годы у Мандельштама хранились поэмы Пяста, находившегося в ссылке.

Пяст был автором рецензий на опубликованные в журнале "Аполлон" в 1911 г. стих-ния Мандельштама "По поводу последней поэзии" ("Gaudeamus", 1911, № 4. С. 10; № 5. С. 8); на сб. "Камень" ("День", 1916, 21 января). Его книга "Современное стиховедение: Ритмика" (Л., 1931) содержит многочисленные наблюдения над стих-ниями Мандельштама.

В настоящем издании фрагменты воспоминания приводятся по кн.: Пяст В. Встречи. М., "Федерация", 1929. С. 254—256, 260—261.

С. 105. Из стих-ния А. Ахматовой "Все мы бражники здесь, блудницы..." (1913), опубликованного в № 3 "Аполлона" под назв. "Cabaret artistique" (франц. — "Артистическое кабае").

С. 105. Цитируется заключительное четверостишие из стих-ния "Адмиралтейство" (1913).

С. 105. В. Пяст перепутал стих-ния Мандельштама — "Футбол" и "Второй футбол". Стих-ние "Футбол" начинается строкой "Телохранитель был отравлен...", "Второй футбол" — строкой "Рассяян утренник тяжелый..." (см.: М а н д е л ь ш т а м О. Собр. в 2-х тт. Т. 1. С. 294, 295).

С. 106. Об этой "Свиной книге" писал Виктор Шкловский в своих воспоминаниях "Жили-были" (М., 1964): "У входа лежала большая, толстая, более чем в полторы четверти толщины книга, переплетенная в синюю кожу: в ней расписывались посетители... "Свиная книга" превращала "Бродячую собаку" в закрытое учреждение, с иными правами и отношениями к торговому патенту и полицейскому часу. В "Свиную книгу" записывались имена поэтов, художников и имена гостей — их звали также "фармацевтами". В известной нам литературе нигде не встретилось указаний на то, что "Свиная книга" сохранилась.

С. 106. *Потемкин Петр Петрович* (1886—1926) — поэт и драматург; после Октября в эмиграции.

С. 106. ...в "Вене"... — Известном петербургском ресторане, где часто собирались писатели.

С. 107. Цитируя эту эпиграмму, Пяст недосказал третью строку, которая читается: "И Блок ледяной, и уродливый Пяст".

С. 107. "Антология античной глупости". — Под таким названием был опубликован цикл эпиграмм в журн. "Лукоморье" (1915, № 6. С. 18). Среди них — эпиграмма "Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны...", о которой далее пишет В. Пяст.

В. К.

Виктор Шкловский. В Доме Искусств.

Мандельштам познакомился с Виктором Шкловским (1893—1984) еще до начала первой мировой войны. Об этих ранних встречах Шкловский оставил несколько лаконичных воспоминаний в книге "Жили-были". Их встречи продолжались и после революции — в Петрограде и в Москве. По словам Э. Герштейн, в годы 1932—1933, когда Мандельштам жил в Доме Герцена, Шкловский особенно часто навещал его. В воспоминаниях Н. Штемпель говорится, что семья Шкловских была едва ли не единственной, не боявшейся принимать у себя Надежду Мандельштам во время воронежской ссылки О. Мандельштама. О том же писала и Н. Мандельштам в книге "Воспоминания".

В настоящем издании печатается отрывок из книги Шкловского "Сентиментальное путешествие" (Москва — Берлин, "Геликон", 1923. С. 334—335). Название фрагмента дано составителем.

В. К.

Юрий Константинович Терапиано (1892—1980) — критик и поэт, автор многих поэтических сборников. Один из редакторов антологии "Эстафета", а также редактор антологии "Муза диаспоры". Долгое время вел критический отдел в газетах "Новое русское слово" и "Русская мысль". Его статьи печатались в ведущих журналах русского зарубежья. Часто писал о Мандельштаме, публиковал его стихи, неизвестные в эмиграции. Некоторые стих-ния самого Терапиано посвящены Мандельштаму. Приведем одно из них из книги "Паруса" (Вашингтон, 1965. С. 8).

*Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит
тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином
из подвала...
О. Мандельштам*

Успение

Тяжелые груши уложены тесно в корзины,
Блестит янтарем на столах виноград золотой
И воздух осенний, и запах арбузный и дынный
На каменной площади празднуют праздник святой.

Я с радостью тихой гляжу на раздолье природы —
Такое богатство, как было и в крае моем,
Где волны кипели и тщетно искали свободы,
И в погребѣ пахло польнью и новым вином.

А тот, о котором сегодня я вновь вспоминаю,
Как загнанный зверь, на дворе под дождем умирал.
Как лебедь, безумный, он пел славословие раю
И, музыкой полный, погибели не замечал.

Орфей погребен. И, наверно, не будет рассвета.
Треножник погас, и железный замок на вратах.
И солнца не стало. И голос умолкший поэта
Уже не тревожит ислевшего времени прах.

В сборнике печатается фрагмент книги Ю. Терапиано "Встречи" (Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1953. С.11, 13–15).

С. 110. *Владимир Маккавейский* – поэт, автор книги "Стило-лос Александрии. Сонеты и поэмы" (Киев, 1918), а также участник двух литературных альманахов "Аргонавты" (кн. 1 и 2 – обе в 1914 г., Киев).

С. 111. ...*стихотворение* ...осталось в "Tristia" под названием "Черепаша" (1919).

В.К.

Максимилиан Волошин. Воспоминания.

Публикуемые воспоминания создавались в последние месяцы жизни Максимилиана Волошина (1877–1932), когда сама их запись давалась поэту с трудом. Волошин высоко ценил Мандельштама как поэта. Ему принадлежит одна из первых глубоких рецензий на сб. "Камень" ("Речь", 1917, 4 июня) – "Голоса поэтов" (см.: Волошин М. Лики творчества. Л., "Наука", 1988. С. 543–548; 769–776).

В нашем издании даются по журн: "Лит. учеба", 1988, № 5. С. 98–100.

С. 113. ...*ломню мамино письмо*. – В письме от 1 июля 1915 г. Е. О. Кириенко-Волошина писала сыну: "А со вчерашнего дня к нам присоединился поселившийся у нас поэт Мандельштам".

С. 113. *Лия* – Елизавета Ивановна Дмитриева (1887–1928) – поэтесса, выступавшая под псевдонимом Черубина де Габриак.

С. 113. *Оболенская Юлия Леонидовна* (1889–1945) – художница, автор неопубликованных записей о пребывании Мандельштама в Коктебеле в 1916 г. (Рук. отдел ИМЛИ АН СССР им. А. М. Горького).

С. 113. ...*был влюблен в Майю*. – Майя – Мария Павловна Кювилье (1895–1985), в первом браке Кудашева, во втором – жена Ромена Роллана.

С. 114. *Цыгальский Александр Викторович* (1880–?) – военный инженер, поэт. К Мандельштаму обращено его стихотворение "Не верю!" (журн. "К искусству!", Феодосия, 1919, № 2). Мандельштам написал о нем рассказ "Бармы закона", вошедший в "Шум времени".

С. 114. ...*лортовый начальник*. – Новинский Александр Александрович – начальник Феодосийского порта. Мандельштам посвятил ему рассказ "Начальник порта" в "Шуме времени".

Е. Н.

Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь.

Личная встреча Осипа Мандельштама с Ильей Эренбургом (1891–1967) произошла в Москве в 1918 г., хотя точной даты

Эренбург в своих воспоминаниях не называет. Они встречались и в Киеве, куда Мандельштам приехал в начале 1919 г.; Эренбург же приехал туда раньше, видимо, в конце 1918 г. Затем последовали встречи в Феодосии, Коктебеле и в Грузии, откуда Эренбург вместе с Мандельштамом поехал в Москву. Эренбург часто писал о Мандельштаме: в статьях "На тонущем корабле" ("Ипокрена", 1919, № 4. С. 26–27); "О некоторых признаках расцвета российской поэзии" ("Русская книга", Берлин, 1921, № 9. С. 3–5); "Русская поэзия" ("Вещь", Берлин, 1922, № 1/2. С. 9; под псевд. Ж. Сало); "Новая проза" ("Новая русская книга", Берлин, 1922, № 9. С. 2); "Осип Эмильевич Мандельштам" (в кн. "Портреты русских поэтов". Берлин, 1922. С. 102–105); "Осип Мандельштам" (в кн. "Портреты современных поэтов". М., 1923. С. 49–52) и др. В последние годы своей жизни Эренбург немало сделал для "реабилитации" имени Мандельштама: в частности, опубликовал в журнале "Простор" (1965, № 4. С. 59–64) предисловие к подборке из 16 впервые опубликованных в СССР поздних стихов Мандельштама. Его усилия вновь ввести поэзию Мандельштама в литературу сказались и в книге "Люди, годы, жизнь".

Фрагменты воспоминаний публикуются по изд.: Эренбург И. Собр. соч. в 9-ти тт. М., "Худож. лит.", 1966. Т. 8. С. 311–317. Впервые: "Новый мир", 1961, № 1. С. 141–144, 146–147, 149–152.

С. 119. *Пра* – мать Максимилиана Волошина.

С. 119. "Мне на плечи кидается век-волкодав..." – Из стих-ния "За гремучую доблесть грядущих веков..." (1931).

С. 119. "Восходишь ты в глухие годы..." – Неточное цитирование стих-ния "Сумерки свободы" (1918).

С. 119. "Не гадают цыганочки кралам..." – Из стих-ния "Как по улицам Киева-Вия..." (1937).

С. 120. "Был он маленьким, щуплым..." – Это место вызвало возражение жены поэта: "Эренбург, кстати, выдумал, что О. М. был маленького роста. Я ходила на высоких каблуках и едва достигала ему до уха, а я нормального среднего роста (Мандельштам Н. Воспоминания. М., "Книга", 1989. С. 293).

С. 120. "...по козьим тропам Италии". – См.: Мандельштам О. Разговор о Данте (М., "Искусство", 1967. С. 10).

С. 121. "Я изучил науку расставанья..." – Из стих-ния "Tristia" (1918).

С. 121. "Чайковского об эту пору я полюбил..." – См. главу "Хаос иудейский" в "Шуме времени" (Мандельштам О. Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 22).

С. 121. "...Уже хозяйничает шмель..." – Из стих-ния "Импессионизм" (1932).

С. 121. ...страны, где пробыл недолго... – Франция, Италия,

Германия, Швейцария (в 1907–1910 годах).

С. 121. Из стих-ния "Я молю, как жалости и милости..." (1937).

С. 122. "В силу целого ряда исторических условий..." – Из статьи "О природе слова" (1922) (Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 176).

С. 122. "Бальмонт, самый нерусский из поэтов..." – (Там же. С. 180). Андрей Белый – "болезненное и отрицательное явление..." – (Там же. С. 176).

С. 122. "На тебя надевали тиару..." – Из стих-ния "Голубые глаза и горячая лобная кость..." (1934).

С. 123. Статья написана... – Автор статьи – А. К. Тарасенков.

С. 123. ...Стихи о корабле времени, который меняет курс. – Стих-ние "Сумерки свободы" (1918).

С. 123. "Пора вам знать, я тоже современник..." – Из стих-ния "Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето..." (1931).

С. 123. "Я вернулся в мой город, знакомый до слез..." – Стих-ние "Ленинград" (1930).

С. 124. См.: Рассказ В. Л. Меркулова (Зап. 9 сентября 1971 г.). Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 47–50.

С. 124. "Не мучнистой бабочкою белой..." – Стих-ние 1935 г. Последняя строка окончательной редакции читается: "Сознающее свою длину" (Т. 2. С. 218).

С. 125. "Кто может знать при слове "расставанье..." – Из стих-ния "Tristia" (1918).

С. 128. Правильное название – "Голубые Роги".

С. 129. Тифлисский Цех поэтов был организован бывшим синдиком первого петербургского Цеха поэтов Сергеем Городецким. В 1918 г. Цех издал альманах "Акмэ". Первое время собрания кружка устраивались еженедельно. Мандельштам за свое двухнедельное пребывание в Тифлисе дважды выступил в Цехе поэтов.

Е. Н.

Николо Мицишвили. Пережитое.

Николо Иосифович Мицишвили (наст. фам. – Сирбиладзе, 1894–1937) – грузинский писатель, примыкавший к группе символистов "Голубые Роги". Редактировал выходившую в Тифлисе на русском языке литературную газету "Фигаро". В 1922–1925 гг. жил во Франции. Был незаконно репрессирован. Мандельштам перевел стих-ние Мицишвили "Прощание" ("Фигаро", 4 дек. 1921 г.)

Фрагмент печатается по кн.: М и ц и ш в и л и Н. Пережитое. Тбилиси, 1963. С. 164–166. Впервые опубликовано: М и ц и ш в и л и Н. Эпопея. Тень и дым. Кн. 1. Тифлис, 1932. С. 205–209.

С. 134. *В 1919 году летом в Батум приехал...* — В конце августа или начале сентября 1920 г. О. Мандельштам с братом Александром прибыли в Батум на "ветхой барже, которая раньше плавала только по Азову". О своем пребывании в Грузии Мандельштам рассказал в очерках "Возвращение" (опубл. в 1987 г.), "Меньшевики в Грузии" (1923) и др.

С. 134. *...кто я — белый, красный...* — О реакции Мандельштама на эти мемуары свидетельствует письмо З. Черняка, редактировавшего книгу Н. Мицишвили "Тень и дым": "Забыл упомянуть, что на днях говорил случайно с поэтом Мандельштамом, который рвет и мечет по поводу строк, посвященных ему в Вашей книге. Особенно волновался Мандельштам из-за Ваших "цветовых" характеристик ("...а я не белый и не красный") — и требовал, чтобы я устранил их из рукописи. Я ему, разумеется, указал, что редактор не вправе вносить такого рода изменения, что редактор обязан вмешаться лишь в тех случаях, когда мемуарист искажает исторически бесспорные даты и т.д. Моим резонам Мандельштам, к сожалению, не внял — так что ждите от него грозного послания, смертоносное действие которого может быть ослаблено разве только тысячекилометровым расстоянием, отделяющим Вас от пылкого и по-африкански темпераментного поэта" ("Лит. Грузия", 1987, № 9. С. 199. — В ст. Н е р л е р а П. "Из Крыма пустился в Грузию...").

Е. Н.

Нина Табидзе. Память.

"Память: Глава из книги" публикуется по изд.: Н. Табидзе. Альм. "Дом под чинарами". Тбилиси, 1976. С. 41—42.

Е. Н.

Колау Надирадзе. Воспоминания.

Колау (Николай Галактионович) Надирадзе — грузинский поэт, член группы "Голубые Роги".

В настоящем издании приводится по: "Дружба народов", 1987, № 8. С. 133—134, зап. П. Нерлера.

С. 136. *...два приезда Осипа Мандельштама в Тифлис в начале 20-х годов.* — Первый — в сентябре—октябре 1920 г., второй — в июле 1921 г.

С. 136. *...бывшего сараджевского особняка...* — Мандельштамов поселили в одной из комнат особняка, принадлежавшего ранее меценату К. Сараджеву и превращенного во Дворец искусств (ныне Дом писателей Грузии).

С. 136. *...и Тициану, и Паоло, и остальным голубороговцам.* — Имеются в виду поэты Тициан Табидзе, Паоло Яшвили и члены литературной группы "Голубые Роги", близкой символиз-

му и сыгравшей значительную роль в обновлении грузинской поэзии.

С. 136. Характеристика Важа Пшавела и группы "Голубые Роги" содержится в ст. "Кое-что о грузинском искусстве" (1922).

Мандельштам открыл для русского читателя Важа Пшавела, переведя в 1921 году одну из ранних его поэм "Гоготур и Аппшина" (1887), отрывки из его перевода были опубликованы в газ. "Фигаро" от 6 февраля 1922 г., журналах "Пламя" (1923, № 1), "Восток" (1923, № 3), полностью в кн.: Важа Пшавела. Поэмы. М., 1935. С. 5–20.

Мандельштам переводил также Валериана Гаприндашвили, Георгия Леонидзе, Николо Мицишвили, Тициана Табидзе (сб. "Поэты Грузии". Тифлис, 1921. С. 17, 19–20, 34–35); Иосифа Гришашвили (Гришашвили И. Стих-ния. Тифлис, 1922. С. 5, 12), а также армянского поэта-футуриста Кара-Дервиша ("Пляска на горах", Тифлис, 1922).

Е. Н.

Михаил Булгаков. Записки на манжетах.

Фрагмент "Записок на манжетах", создававшихся в начале 1920-х гг. и публиковавшихся в разных изданиях в 1922–1924 гг., приводится по изд.: Булгаков М. Избр. произв. (Киев, "Дніпро", 1989. Т. I. С. 675–676).

С. 137. Речь идет об одной из возможных встреч Булгакова и Мандельштама: в 1920 г. во Владикавказе или (более вероятно) летом 1921 г. в Тифлисе или Батуме. О том, что это могло быть в Батуме в 1921 г., подтверждает письмо Н. Я. Мандельштам Е. С. Булгаковой от 3 июня 1962 г., приведенное в ст. М. О. Чудаковой "М. А. Булгаков-читатель" ("Книга: Исследования и материалы". М., "Книга", 1980. Сб. 40. С. 173). Существует и другое мнение. "В Тифлисе он познакомился с Осипом Мандельштамом, жившим бедно, гордо и поэтически беспечно. Именно это очень запомнилось и вызвало уважение" (Ермолинский С. О Михаиле Булгакове. "Театр", 1966, № 9. С. 80).

Е. Н.

Ирина Одоевцева. На берегах Невы.

Ирина Одоевцева (наст. имя и фамилия – Ираида Густавовна Гейнике, псевд. избрала по имени матери; 1895 – 1990) – поэтесса, прозаик. Участница Цеха поэтов, ученица Н. С. Гумилева. В эмиграции с 1922 по 1987 г. Возвратилась в Ленинград по приглашению писательской общественности города. Автор поэтических сборников: "Двор чудес" (Пг., 1922), "Контрапункт" (Нью-Йорк, 1951), "Стихи, написанные во время бо-

лезни" (Нью-Йорк, 1953), "Стихи" (Париж, 1960), "Десять лет спустя" (Нью-Йорк, 1961), романов "Ангел смерти" (1928), "Оставь надежду навсегда" (1932), книги "Девять повестей" (1951), мемуаров "На берегах Невы" (1967, 1988), "На берегах Сены" (1983, 1989).

Фрагменты воспоминаний приводятся по изд.: О д о е в ц е в а И. На берегах Невы. М., "Худож. лит.", 1988. С. 119–164. Впервые: Вашингтон, 1967.

С. 139. *"За радость тихую дышать и жить..."* – Из стих-ния "Дано мне тело – что мне делать с ним..." (1909).

С. 141. *"Божье Имя, как большая птица..."* – Заключительное четверостишие стих-ния "Образ твой, мучительный и зыбкий..." (1912).

С. 144. *"На каменных отрогах Пиэрии..."* – Из стих-ния "Черепаша" (1919).

С. 146. *...светлую "галассу"...* – море (др.-греч.).

С. 147. *"Я блуждал в игрушечной чаще..."* – Заключительная строфа стих-ния "Отчего душа так певуча..." (1911).

С. 152. *"Прозрачная весна над черною Невой..."* – Заключительная строфа стих-ния "На страшной высоте блуждающий огонь!..." (1918).

С. 155. *"Мне не надо пропуска ночного, //Я милиционеров не боюсь..."* – У Мандельштама: "Часовых я не боюсь..." – Из стих-ния "В Петербурге мы сойдемся снова..." (1920).

С. 157. *"Мы все сойдем под вечны своды..."* – Из стих-ния А. С. Пушкина "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (1829).

С. 160. *"Я слово позабыл, что я хотел сказать..."* – Из стих-ния "Ласточка" (1920).

С. 161. *"И если подлинно поется..."* – Заключительная строфа стих-ния "Отравлен хлеб, и воздух выпит..." (1913).

С. 163. *"Делия, где ты была?"...* – Г. Иванов и Вс. Рождественский называют автором двустишия М. Лозинского. Другой вариант имени – Лесбия.

С. 164. *"Я ненавижу бред..."* – У Мандельштама: "Я ненавижу свет..." – начало одноименного стих-ния 1912 г., в котором слово "бред" встречается в третьей строке первой строфы.

С. 164. *"Что если над модной лавкой..."* – Последняя строфа стих-ния "Я вздрагиваю от холода..." (1912), которая в окончательной редакции 1937 г. звучит так:

Что, если вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

С. 166. *"Но я боюсь, что раньше всех умрет..."* – Из стих-ния "От легкой жизни мы сошли с ума..." (1913).

С. 167. *"Неужели я настоящий..."* – Последние строки стих-ния "Отчего душа так певуча..." (1911).

С. 173. Стих-ние "От вторника и до субботы..." (1915).

С. 178. *"И сам себя несу я // Как жертва палачу?"* – У Мандельштама: "Как жертву..." – Стих-ние "Я наравне с другими..." (1920).

С. 183. *"Когда в Москве локомотив свистит?"* – У Мандельштама: "Когда огонь в акрополе горит..." – Стих-ние "Tristia" (1918).

Е. Н.

Георгий Адамович. Мои встречи...

Георгий Викторович Адамович (1894–1972) – поэт, журналист, критик, эссеист, редактор; автор поэтических сборников "Облака", "Чистилище", "На Западе", "Единство", а также книг "Одиночество и свобода", "Комментарии" и др. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, был членом Цеха поэтов. В 1923 г. эмигрировал. В эмиграции сотрудничал во всех крупнейших периодических изданиях – "Северных записках", "Звене", "Встречах", "Новом журнале", "Числах", "Иллюстрированной России", "Опытах", "Мостах", и др.

В настоящем издании печатается фрагмент по первой публ.: А д а м о в и ч Г. Мои встречи с Ахматовой (альм. "Воздушные пути", 1967, № 5). Название фрагмента дано составителем.

С. 184. *Хлебников... казался загадкой.* – Ср. с воспоминаниями художника Юрия Анненкова: "Есенин провел ночь в моей комнате для друзей, на кровати, на которой в разное время ночевали у меня Владимир Маяковский, Михаил Кузмин, Василий Каменский, Осип Мандельштам (...) В. Хлебников, всех не упомяну. Хлебников, с которым я дружил, был неотразим, странен, (...) патологически молчалив. Случалось, что мы просиживали с ним целые ночи, не проронив ни одной фразы. Он сидел, углубившись в кресло, похожий на аиста, и смотрел на меня; я делал то же самое. В этом было нечто гипнотическое. Не помню, курил ли он или не курил. Кажется, курил. Молча мы, однако, не переставали разговаривать друг с другом. Как-то, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я приподнялся и хотел неслышно выйти из комнаты, чтобы его не разбудить.

– Не перебивайте, – произнес Хлебников, не открывая глаз, – поговорим еще. Пожалуйста". ("Опыты", Нью-Йорк, 1954, № 3. С. 163).

С. 185. *Валериан Чудовский* – критик, сотрудник "Аполлона"; автор статей об Ахматовой, Гиппиус, Мережковском, Брюсове. Мандельштам неоднократно бывал у Чудовских дома.

С. 185. *...восьмистишие о Рашели-Федре.* — Речь идет о стих-нии "Ахматова" (1914).

В. К.

Георгий Адамович. Несколько слов о Мандельштаме.

Впервые опубликовано в изд.: "Воздушные пути". Сб. 2, 1961. С. 87—101. В нашем сборнике дается в сокращении.

С. 190. *"Декабрь торжественно струит свое дыханье..."* — Из стих-ния "Соломинка" (1916).

С. 191. *...не бывал у него на дому никто.* — Пожалуй, Г. Иванов — единственный из мемуаристов, упоминавший, что бывал дома у Мандельштама в дореволюционное время.

С. 192. *...был доступ через... поэта Рюрика Ивнева.* — Воспоминания Р. Ивнева см. в нашем издании (с. 245).

В. К.

Артур Лурье. Осип Мандельштам.

Артур Сергеевич Лурье (1892—1967) — композитор, автор оперы "Арап Петра Великого" и оперы-балета "Пир во время чумы"; написал также несколько камерных и симфонических произведений. Учился в Петербургской консерватории у А. Глазунова. Познакомился с Мандельштамом не позднее 1912 г. В эмигрантских изданиях опубликовал несколько коротких воспоминаний — о Глебовой-Судейкиной, Хлебникове, Мандельштаме.

Предлагаемый фрагмент очерка Лурье "Чешуя в неводе" печатается по: альм. "Воздушные пути". Сб. 2, 1961. С. 202—203. Название фрагмента дано составителем.

С. 196. *"Ода Бетховену"* написана в декабре 1914 г.

В. К.

Михаил Слонимский. Книга воспоминаний.

Михаил Леонидович Слонимский (1897—1972) — писатель, один из группы "Серапионовых братьев".

В настоящем издании печатается фрагмент "Книги воспоминаний" М. Слонимского (М.—Л., Сов. пис.", 1966. С. 60—63).

С. 197. *Стихотворение это* — Стих-ние "Ласточка" было напечатано в "Доме Искусств" (1920, № 1; вышло два номера). Об этом периоде жизни Мандельштама сохранилось немало воспоминаний. Все они, на мой взгляд, кроме воспоминаний И. Одоевцевой ("На берегах Невы"), фрагментарны и лаконичны. Что же касается Одоевцевой, то ее мемуары, хотя и не со-

держат принципиальных фактических ошибок, вызывают сомнения в отношении достоверности диалогов, которые представляются полными интонаций самой И. Одоевцевой.

В. К.

Корней Чуковский. Мастер.

Знакомство Мандельштама и Корнея Чуковского (1882–1969) продолжалось около четверти века. Известны два письма Мандельштама Чуковскому – оба из воронежской ссылки. В одном из них имеется фраза, определяющая характер этих отношений: "...мы с Вами совсем не близки".

Воспоминания печатаются по кн.: Чуковский К. М., "Искусство", 1979. С. 56–62. Название фрагмента дано составителем.

С. 199. Стих-ние было написано в 1912 г., вошло в первое издание "Камня" (1913). От текста в "Камне" приведенный в "Чукоккале" автограф отличается пунктуацией.

С. 200. *Хвостик лодкой, перья – черно-желты...* – Приводится строфа из стих-ния "Детский рот жует свою мякину..." (1936).

С. 201. *"Подруга шарманки, появится вдруг..."* – Строки стих-ния "Мороженоно!" Солнце. Воздушный бисквит..." (1914).

С. 202. У Мандельштама: не "Делия", а "Лесбия".

С. 203. У Мандельштама: в первой строке стих-ния – не "Путник", а "Смертный"; в последней строке вместо "Путник, молю, расскажи..." – "Боги, скажите, молю..."

В. К.

Михаил Пришвин. Сопка Маира.

Рассказ Михаила Пришвина (1873–1954) написан в форме обращения к писателю Алексею Михайловичу Ремизову, эмигрировавшему во Францию.

Публикуется по журн.: "Лит. учеба", 1980, № 1. С. 126–129.

Е. Н.

Эмилий Миндлин. Осип Мандельштам.

Эмилий Львович Миндлин (1900–1981) – поэт и прозаик, автор пьесы "Сервантес" (1939), повестей "Не дом, но мир" (1969), "И подымается рука..." (1973).

Глава "Осип Мандельштам" публикуется по кн.: Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. Изд. 2-е. М., "Сов. пис.", 1979, С. 86–108.

С. 211. Точная дата приезда Мандельштама в Феодосию не-

известна. Вероятнее всего, он приехал в Крым не летом, а осенью 1919 г.

С. 211. Под маркой "Типерборея" вышло в свет второе издание "Камня" (Пг., 1916).

С. 212. "Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия..." — См.: Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 210.

С. 213. Из Харькова привезли альманах... — Стих-ние "Я изучил науку расставанья..." было опубликовано в журн. "Пути творчества" (Харьков, 1919, № 4. С.11).

С. 214. Мы познакомились в подвале "Флака". — Феодосийский литературно-художественный кружок, созданный в 1919 г. московским актером и режиссером А. Самариным-Волжским. Просуществовал до мая 1920 г.

С. 215. ...мечты о Золотом Роге... — залив у Константинополя.

С. 217. Соколовский Александр Саулович был к этому времени автором маленькой книжки стих-ний "Зеленые глаза", вышедшей в Одессе в 1916 г.

С. 217. "О горбоносых странников фигурки!.. — Из стих-ния Мандельштама "Феодосия". (1920).

С. 218. Здесь и далее цитируются строки из стих-ния "Венецианская жизнь" (1920).

С. 219. ...в одной из своих статей. — Ст. "Выпад" (Мандельштам О. Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 212).

С. 220. Из текста письма Мандельштама к Волошину от 25 июля 1920 г.: "... я имел несчастье потерять 3 года назад одну Вашу книгу. Но еще большее несчастье вообще быть с Вами знакомым".

С. 222. Газета "Накануне" издавалась в Берлине в 1922—1924 гг.

С. 222. Стих-ние "Ветер нам утешенье принес..." (1922).

С. 222. ...было напечатано в "Накануне". — Стих-ние "С розовой пеной усталости у мягких губ..." было опублик. в "Накануне" (30 июля 1922 г.), под названием "Европа" — во "Всемирной иллюстрации" (1922, № 3. С. 10).

В. К.

Елена Тагер. О Мандельштаме.

Елена Михайловна Тагер (1895—1964) — поэтесса, писательница. Родилась в Петербурге. В 1938 г. была арестована, приговорена к десятилетнему сроку на Колыме. В 1956 г. реабилитирована.

Одно из ее стихотворений, посвященных Мандельштаму, было напечатано в 1965 г. в сб. "Воздушные пути":

Нетленной мысли исповедник,
Господней милостью певец,
Стиха чеканного наследник,
Последний пушкинский птенец...

Он шел, покорный высшим силам,
Вослед горящего столпа.
Над чудаком, больным и хилым,
Смеялась резвая толпа.

В холодном хоре *дифирамбов*
Его напев не прозвучал;
Лишь Океан дыханью ямбов
Дыханьем бури отвечал.

Лишь он, Великий, темноводный,
Пропел последнюю хвалу
Тому, кто был душой свободной
Подобен ветру и орлу.

Несокрушимей сводов храма
Алмазный снег, сапфирный лед,—
И полюс в память Манделъштама
Сиянья северные льет.

Колыма, 1943

Печатается по изд.: "Новый журнал" (Нью-Йорк, 1965, № 81. С. 172–199). В СССР воспоминания Е. Тагер о Манделъштаме публиковались в журнале "Наше наследие" (1988, № 6).

С. 235. *Левберг Мария Евгеньевна* (1894–1934) – переводчица, поэтесса, автор сборника "Лукавый странник" (Пг., 1915).

С. 235. *Тумповская Маргарита Марьяновна* (1891–1942) – поэтесса, критик, автор напечатанных в "Аполлоне" статей о сборнике Гумилева "Колчан" и о книге Брюсова "Семь цветов радуги".

С. 237. *Блох Яков Ноевич* – основатель издательства "Петрополис", в котором вышли в свет "Сады" Г. Иванова, "Огненный столп" Н. Гумилева, "Подорожник" А. Ахматовой и "Tristia" О. Манделъштама.

С. 238. *Стенич* (наст. фам. Сметанич Валентин Осипович (1898–1939) – поэт, переводчик и критик. Блестящий и широко одаренный человек, остролов и оригинал, Стенич был знаком со всем литературным миром Ленинграда. О нем писал Блок, назвавший его "русским денди". Стенич был арестован осенью 1937 г. и погиб в застенках НКВД. Манделъштам бывал у него дома на канале Грибоедова незадолго до ареста.

С. 238. Сборник "Tristia" вышел не в 1928-м, а в начале 1922 г. в Берлине. В мае 1928 г. были изданы "Стихотворения"

Мандельштама, включившие "Камень", "Tristia" и раздел, названный "1921–1925".

С. 240. *Бородин Сергей Петрович* (псевд. до 1941 г. – Амир Саргиджан, 1902–1974) – писатель. Автор называет его Саркис Амирджанов.

С. 243. Этот эпизод относится не к 1936 г., а к 1934 г.

С. 243. *Оксман Юлиан Григорьевич* (1894–1970) – литературовед, специалист по русской литературе XIX в.

В. К.

Рюрик Ивнев. Осип Мандельштам.

Рюрик Ивнев (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев, 1891–1981) – поэт и прозаик, многократно обращался к образу Мандельштама в своей мемуарной (воспоминания о С. Есенине, Н. Клюеве) и художественной прозе. Кроме приводимого ниже фрагмента из автобиографической повести "Богема", ряд страниц посвящен Мандельштаму и в повести "Первопутье" ("Из литературной жизни 20-х годов", как гласит ее подзаголовок), опубл. в журн. "Дружба" (М., София, 1986, № 2. С. 98, 104; № 3. С. 115–117, 122, 123).

В нашем издании публикуется по: журн. "Кодры" (Кишинев, 1988, № 2. С. 99–117).

С. 245. *Там он родился...* – Мандельштам родился в Варшаве; из Динабурга (Двинска, сейчас – Даугавпилса в Литве) семья переехала в 1897 г. сначала в Павловск, затем в Петербург.

С. 246. *Пути наши пересеклись еще раз в Батуми (1922).* – В Батуми Мандельштам был в 1920 и 1921 гг.

С. 248. Стих-ние "От легкой жизни мы сошли с ума..." (1913).

С. 252. См. главу "Хлебников" во "Второй книге" Н. Я. Мандельштам (М., 1990. С. 80–91).

Е. Н.

Рюрик Ивнев. Разговор в Трехпрудном.

Глава пятнадцатая из повести "Богема" (1931) печатается по изд.: И в н е в Р. Избранное. М., "Правда", 1988. С. 264–268.

Е. Н.

Николай Чуковский. Встречи с Мандельштамом.

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) – писатель, автор романа "Балтийское небо" (1954). В юности был членом гумилевской студии "Звучащая раковина" вместе с Н. Тихоно-

вым. К. Вагиновым, В. Лурье и др.

В настоящем издании приводятся фрагменты воспоминаний Н. Чуковского по их первой публ.: "Москва", 1964, № 8. С. 143—152.

С. 256. *В 1918 году он уехал из Петрограда в Крым...* — О поездке Манделъштама в Крым в 1918 г. ничего достоверного неизвестно. В любом случае из Петрограда Манделъштам уехал не в Крым, а в Москву.

С. 256. *...в конце 1920 года, когда он вернулся в Петроград из Крыма...* — Манделъштам вернулся в Петроград в октябре 1920 г., но не из Крыма, а с Кавказа (с короткой остановкой в Москве).

С. 256. *"Недалеко до Смирны и Багдада..."* — Из стих-ния "Феодосия" (1920).

С. 257. Выражение "мраморная муха" задолго до того было ходовым в кругу эгофутуристов.

С. 257. *"Летают Валкирии, поют смычки..."* — Стих-ние "Валкирии". Н. Чуковский говорит здесь о первом издании "Камня" (1913), однако стих-ние "Валкирии", датированное 1914 г., включено только во второе издание (1916).

С. 258. Стих-ние "Уничтожает пламень..." (1915) приведено полностью.

С. 259. *"Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?.."* — Строфа из стих-ния "За то, что я руки твои не сумел удержать...", написанного в 1920 г. Следовательно, речь идет о чтении в Тенишевском училище в промежутке между октябрем 1920 г. (месяц приезда в Петроград) и мартом 1921 г. (временем отъезда).

С. 259. Мемуарист ошибается. Стих-ние "В Петербурге мы сойдемся снова..." написано в ноябре 1920 г. не во врангелевском Крыму, а в большевистском Петрограде.

С. 260. Ошибка автора — в Петрограде он прожил до весны 1921 г., а не 1922-го.

С. 260. *...у Наппельбаумов...* — В семье фотографа Моисея Соломоновича Наппельбаума (1869—1958), запечатлевшего многих деятелей культуры, в том числе и Манделъштама.

С. 260. Мемуарист ошибается: стих-ние "Соломинка" написано в 1916 г. и, во всяком случае, не в Доме ученых.

С. 261. *Так живал он... в Перми.* — В 1934 г. Манделъштам был арестован и выслан в г. Чердынь Пермской области, куда был доставлен через г. Соликамск.

С. 262. *...в стихотворении двадцатых годов "Леди Годива".* — Стих-ние под назв. "С миром державным я был лишь ребячески связан..." датируется 1931 г.

С. 262. *...он несколько раз сбежал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда.* — Из Воронежа в течение всего периода ссылки Манделъштам не мог никуда самовольно отлу-

чаться. Поездка в Москву и Ленинград могла состояться после окончания ссылки (май 1937 г.).

С. 263. ...из только что вышедшей тогда "Второй книги стихов" Заболоцкого. — Она вышла в 1937 г., что также подтверждает, что описываемая встреча могла произойти лишь в 1937 г.

С. 263. ...одно из самых последних его стихотворений... — Стих-ние "Жил Александр Герцевич..." было написано в 1931 г. Впервые опубли.: Опыты. Нью-Йорк, 1956. Кн. 7. С. 5.

Е. Н.

Всеволод Рождественский. Страницы жизни.

Рассказ о встрече Всеволода Рождественского (1895–1977) с Мандельштамом в Петроградском университете на поэтическом вечере в 1916 г. взят из главы "Первые опыты". В нашем издании публикуется по кн.: Рождественский В. Страницы жизни. М.—Л., 1962. С. 128–131.

С. 265. ...под председательством профессора Д. К. Петрова... — Дмитрий Константинович Петров (1872–1925) — специалист по романской филологии, основоположник русской испанистики, исследователь русско-европейских литературных связей.

Е. Н.

Вениамин Каверин. Встречи с Мандельштамом.

В сборнике публикуются воспоминания Вениамина Каверина (1902–1989), взятые из кн.: Каверин В. Счастье таланта. М., "Современник", 1989. С. 299–305. Впервые: Каверин В. Неизвестный друг: как я не стал поэтом ("Октябрь", 1959, № 10. С. 131); Несколько лет ("Новый мир", 1966, № 11. С. 133–134).

С. 269. ...в каких-то культурно-просветительских учреждениях... — В 1918–1919 гг. поэт работал в Наркомпросе в качестве заведующего подотделом художественного развития учащихся в Отделе реформы школы, с февраля 1919 г. — член Всеукраинского Литературного комитета и заведующий его поэтической секцией.

С. 271. ...своему единственному последователю, поэту Константину Вагинову... — Константин Константинович Вагинов (1899–1934) — автор сб. стих-ний "Путешествие в хаос" (1921), "Стихотворения" (1926), "Опыты соединения слов посредством ритма" (1931) — близок Мандельштаму темой умирания Петербурга, античности в современности.

С. 271. ...стихотворение полно безумной смелости. — Стих-ние "Мы живем, под собою не чуя страны..." (1933) впервые бы-

ло опубл. в Собр. соч., т. I. (Вашингтон, 1967); в СССР – в 1988 г. в нескольких изд.: "Радуга" (Таллинн, № 3. С. 17); "Ленинградский рабочий" (3 июня. С. 13); в мемуарах В. Каверина "Эпилог" ("Огонек", № 47. С. 26).

Е. Н.

Валентин Катаев. Встреча Мандельштама с Маяковским.

Предлагаемый фрагмент взят из мемуарной повести Валентина Катаева (1897–1986) "Трава забвения" ("Новый мир", 1963, № 3. С. 93–94). Название фрагмента дано составителем.

В. К.

Лидия Гинзбург. Из старых записей.

Фрагменты дневников литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–1990) приводятся по их первой публикации в кн.: Г и н з б у р г Л. О старом и новом. Л., "Сов. пис.", 1982. С. 413–414. Наиболее полно записи о Мандельштаме 1920–1970 гг. представлены в ее кн. "Литература в поисках реальности" (Л., 1987).

С. 275. ...читал у Анны Андреевны... -- у А. А. Ахматовой.

Е. Н.

Эмма Герштейн. Слушая Мандельштама.

Воспоминания литературоведа Эммы Григорьевны Герштейн (р. 1903 г.) приводятся по публ.: "Новый мир", 1987, № 10. С. 194–196.

С. 277. В статье "Борис Пастернак" Мандельштам писал: "Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это – кумыс после американского молока" ("Россия", 1923, № 6, февраль. С. 29).

С. 278. *Паллас Петр Симон* (1741–1811) – член Петербургской Академии наук, натуралист и путешественник, автор "Путешествия по разным провинциям Российского государства" (1771–1776). Мандельштам писал о нем в "Путешествии в Армению."

С. 278. ...люб... преобразаясь в "понимающий купол"... – Образ из "Стихов о неизвестном солдате" (1937).

Е. Н.

Воспоминания биолога и поэта Бориса Сергеевича Кузина (1903–1973) во фрагментах приводятся по журн.: "Вопросы истории естествознания и техники", 1987, № 3. С. 133–144. Впервые – "Вестник русского христианского движения". Париж, 1983, № 140. С. 99–129.

С. 283. ...совместной поездки в Старый Крым... – весной 1933 г.

С. 288. Строка из стих-ния "Квартира тиха, как бумага..." (1933).

С. 288. "Шевеля кандалами цепочек дверных..." – Последняя строка стих-ния "Ленинград" (1930).

С. 288. "Путешествие в Армению" было опубликовано в журн. "Звезда" (1933, № 5. С. 103–125).

С. 289. Строфа из стих-ния И. А. Бунина "Имру-уль-Кайс" (1908).

С. 291. "Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей – разговора б!" – Заключительные строки стих-ния "Куда мне деться в этом январе?" (1937).

С. 292. ...стихотворение о Сталине. – Стих-ние "Мы живем под собою не чуя страны..." (1933).

С. 293. ...успели обменяться лишь немногими письмами... – См. письма Б. С. Кузину от 26 февраля и 10 марта 1938 г. ("Вопросы истории, естествознания и техники", 1987, № 3. С. 133–144).

Е. Н.

Семен Липкин. Угль, пылающий огнем.

Встречи и разговоры с Осипом Мандельштамом.

Приводятся по первой публикации в журн.: "Лит. обозрение", 1987, № 12. С. 94–101.

С. 294. ...с книгой Мандельштама "Стихотворения", выпущенной Госиздатом... – Вышла в 1928 г., обложка Д. Митрохина.

С. 297. ...служил в газете "Московский комсомолец"... – С осени 1929 г. по начало 1930 г. Мандельштам вел "литературную страницу" газеты.

С. 300. "У Чарльза Диккенса спросите..." – Строки из стих-ния "Домби и сын" (1913).

С. 300. "Я список кораблей прочел до середины..." – Из стих-ния "Бессонница. Гомер. Тугие паруса..." (1915).

С. 302. "Как будто на свете одни сторожа и собаки..." – Строка из стих-ния "Золотистого меда струя из бутылки текла..." (1917).

С. 302. *"Ничего, голубка Эвридика, // Что у нас холодная зима..."* – Строки из стих-ния *"Чуть мерцает призрачная сцена..."* (1920).

С. 302. *"Собирались элины войною..."* – Из одноименного стих-ния (1918).

С. 305. *...смеются над его стихотворениями в антологическом роде...* – Имеется в виду стих-ние *"Золотистого меда струя из бутылки текла..."* с его последней строкой: *"Одиссей возвратился, пространством и временем полный"*.

С. 306. Из стих-ния *"Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем..."* (1931).

С. 306. *"Слаще пеня итальянской речи..."* – Из стих-ния *"Чуть мерцает призрачная сцена..."* (1920).

С. 309. *... "Форель разбивает лед" Кузмина...* – Сб. имеет подзаголовок *"Стихи"* (1925–1928. Л., 1929).

С. 310. *"Царь-девица"* – поэма-сказка М. Цветаевой (1922).

Е. Н.

Елена Осмеркина-Гальперина. *Моя встреча.*

Фрагменты воспоминаний приводятся по их публикации в журн.: *"Наше наследие"*, 1988, № 6. С. 105–106.

С. 314. *...сделал с Мандельштама два карандашных рисунка.* – Находятся в Музее частных коллекций (собрание И. С. Зильберштейна).

Е. Н.

Надежда Мандельштам. *Воспоминания.*

Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980) – жена поэта, автор *"Второй книги"* (Париж; „УМСА-Press“, 1972; М., *"Московский рабочий"*, 1990; *"Книги третьей"* (Париж, „УМСА-Press“, 1987). Подготовила публикацию четырех стих-ний О. Мандельштама (*"Простор"*, 1966, № 11. С. 10), заметок о путешествии в Армению (*"Лит. Армения"*, 1967, № 3. С. 99–101).

В сборнике публикуются главы по изд.: Мандельштам Н. Я. *Воспоминания. "Книга"*, 1989. С. 4–95. Впервые: Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1970.

С. 315. *...Какой сумасшедший Суриков // Мой последний напишет путь?* – Из стих-ния А. Ахматовой *"Я знаю, с места не сдвинуться..."* (1939).

С. 315. *Лева* – сын А. А. Ахматовой Л. Н. Гумилев.

С. 319. *...черновики сонетов Петрарки...* – В декабре 1933–январе 1934 г. Мандельштам перевел четыре сонета Петрарки: три из цикла *"На смерть мадонны Лауры"* и один из цикла *"На жизнь мадонны Лауры"*.

С. 319. ...черновик "Волка"... – Так кратко именуется стих-ние "За гремучую доблесть грядущих веков..." (1931).

С. 320. *Пророческие стихи к тому времени были уже написаны...* – В марте 1916 г. были написаны стих-ния Н. Гумилева "Рабочий" и О. Мандельштама "На розвальнях, уложенных соломой..."

С. 320. ...*тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта.* – Тема трагической судьбы гениального поэта, умирающего голодной смертью на чердаке, нашла классическое выражение в драме "Чаттертон" (1835) Альфреда де Виньи.

С. 320. ...*"с гурьбой и гуртом"*. – Слова из "Стихов о неизвестном солдате" (1937), выражающие неотделимость судьбы поэта от трагедии многих миллионов людей XX в.

С. 326. *Николая Ивановича Бухарина я посетила...* – С февраля 1934 г. Бухарин работал в редакции "Известий".

С. 327. *"Политический Красный Крест"* – Существовал с 80-х годов XIX в. как комитет помощи политическим ссыльным и заключенным. С декабря 1917 г. до середины 1937 г. его председателем была Е. П. Пешкова.

С. 329. *"...не тронут, не убьют"* – Из стих-ния "1 января 1924".

С. 331. ...*у следователя было традиционное в русской литературе отчество.* – Николай Христофорович Шиваров сближен здесь с гр. А. Х. Бенкендорфом, возглавлявшим политический сыск Третьего отделения императорской канцелярии.

С. 338. ...*на балахане...* – Надстройка над первым этажом.

С. 340. ...*"племенем пушкинovedов"*... – Слова из стих-ния "День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток..." (1935), отразившего граничащие с бредом впечатления на пути в ссылку из Москвы в Свердловск и далее в Соликамск.

С. 344. *"Самоубийца"* – пьеса Н. Р. Эрдмана (1928).

С. 354. ...*Ходасевич очень точно назвал "тайнослышаньем"*. – Имеются в виду строки из стих-ния "Психея! Бедная моя!..." из сб. "Тяжелая лира": "Простой душе невыносим//Дар тайнослышанья тяжелый".

С. 364. *Е. Х.* – Е. Я. Хазин.

С. 367. ...*ослепил меня целым фейерверком сопоставлений "чудотворных строителей"*... – Н. Я. Мандельштам имеет в виду сопоставление "строителя чудотворного" Петра I в "Медном всаднике" А. Пушкина и Сталина.

Е. Н.

Наталья Штемпель. Мандельштам в Воронеже.

Наталья Евгеньевна Штемпель (1908–1988) – преподаватель литературы в Воронеже. Дружила с Мандельштамом и его женой в последний год их пребывания в городе. Поэт посвятил ей ряд стих-ний. В годы репрессий и Отечественной войны сохранила

переданную ей часть архива поэта. Многие сделала для сохранения памяти о поэте и для знакомства с его творчеством.

Фрагменты воспоминаний печатаются по: "Новый мир", 1987, № 10. С. 194–236.

С. 371. ...*былинных белых першеронах...* – Першерон (фр. percheron) – лошадь тяжеловоз белого (сивого) цвета или вороной масти.

С. 374. *"Я видел озеро, стоявшее отвесно..."* – Начало стих-ния "Реймс-Лаон" (1937).

С. 375. ...*говорить только хочется об "Осах", "Ягненке гневном"...* – Речь идет о стих-ниях "Вооруженный зрением узких ос..." (1937) и "Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста..." (1937).

С. 378. *"Длинной жажды должник виноватый..."* – Стих-ние "Кувшин" (1937) приведено полностью. Тогда же написаны стих-ния "Гончарами велик остров синий..." и "Флейты греческой тэта и мята..."

С. 378. ...*с арестом замечательного музыканта Карла Карловича Шваба...* – Осенью 1935 г. певцы, оркестранты, композиторы Воронежа были обвинены в создании... подпольной фашистской организации. В списке из четырнадцати человек К. К. Шваб, немец по национальности, числился третьим, как один из руководителей, был осужден на пять лет лагерного заключения с последующим поражением в гражданских правах. См.: Ласунский О. "Мором стала мне мера моя". – "Труд", 15 янв. 1991 г.

С. 380. *"И в голосе моем после удушья..."* – Из стих-ния "Стансы" (1935).

С. 385. ...*статья, направленная против Мандельштама.* – Кретова О. За литературу, созвучную эпохе! ("Коммуна", Воронеж, 1937, 23 апреля. С. 3). См. также воспоминания О. К. Кретовой "Горькие страницы памяти" ("Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама", С. 36–42). Она пишет: "С тридцать шестого Мандельштаму стало очень худо. Не давали работать для радио, для театра, в печати. Самое тяжелое началось с весны тридцать седьмого. Состоялось позорное собрание, где мы, "братья-писатели", отлучали, отторгали Мандельштама от литературы, отмежевывались от него и иже с ним, подвергали остракизму. Одни это делали убежденно, со всюю страстью своего темперамента, другие – через горечь и боль. Мандельштам осунулся, стал сплошным комком нервов, страдал одышкой. Жена, Надежда Яковлевна, приходила с заявлениями о материальной помощи. Я, заместитель секретаря Союза писателей, накладывала резолюции: "Отказать", "Воздержаться". Документы эти хранятся в областном архиве. Рубцы – на сердце. Мне до сих пор мучительно стыдно и за свою статью (...). Я вынуждена была ее написать под давлением обстоятельств" ("Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама". С. 39).

С. 388. *Это лучшее, что я написал.*— "Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать — воскресшего". (Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990. С. 206).

Е. Н.

Надежда Мандельштам. Дата смерти.

Глава "Дата смерти" публикуется по изд.: Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., "Книга", 1989. С. 356—370.

С. 391. *...вскоре после снятия Ежова...* — 7 декабря 1938 г.

С. 391. *...что говорил Клюев о своих ранних сединах.*— "И за мои неожиданные сединах//Отмщаю тягой лебединой..." — В стих-нии "Хулителям искусства".

С. 394. *...мы читали в газетах о приезде Ромена Роллана с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным.*— О пребывании Р. Роллана в СССР в июне — июле 1935 г. см.: Роллан Р. Московский дневник ("Вопр. лит", 1989, № 3—5). В беседе Роллана со Сталиным 28 июня в Кремле центральное место занимал вопрос о репрессиях. Посланные в СССР после возвращения во Францию Р. Ролланом двадцать писем в защиту "арестованных друзей" остались без ответа.

С. 396. *Рассказ Шаламова...* — Рассказ "Шерри-бренди" Варлама Шаламова (1907—1982) из первого сб. "Колымских рассказов" ("Новый журнал", Нью-Йорк, 1968. Кн. 91. С. 5—8; В СССР — "Москва", 1988, № 9. С. 133—136).

С. 398. *...Домбровский, автор повести о нашей жизни...* — Речь идет о повести "Хранитель древностей" (1964).

С. 398. *...в период "странной войны"...* — В течение девяти месяцев с начала второй мировой войны, т.е. с сентября 1939 г.

С. 400. *...оно будет пересматриваться еще не раз.*— Реабилитация О. Э. Мандельштама по "делу" 1934 г. датируется 28 октября 1987 г.

Е. Н.

- Абрамов Соломон Абрамович (1884-1957), поэт и издатель художественного журнала «Творчество» 116-117
- Аввакум Петров (ок. 1621-1682), писатель, протопоп, глава церковного раскола, в ссылке с 1667 г., сожжен за «хулы» на царский дом 344
- Авербах Леопольд Леонидович (1903-1939), секретарь РАПП 343
- Агнiewicz Николай Яковлевич (1888-1932), поэт 129
- Адалис (Ефрон) Аделина Ефимовна (1900-1969), поэтесса 177-178
- Адамович Георгий Викторович (1894-1972), поэт 12, 184-195
- Адуев Николай Альфредович (1895-1950), писатель-сатирик 225
- Айвазовский Иван Константинович (1817-1900), художник 84, 96
- Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928), критик 254, 304
- «Академия стиха» (Общество ревнителей художественного слова) 21, 22, 61
- «Акмэ», изд-во 19
- «Альманах муз» 35
- Андерсен Ханс Кристиан (1805-1875), датский писатель 148
- Андроникова (по первому мужу Андреева, по второму Гальперн) Саломея Николаевна (1888-1982), княжна 23, 102
- Анненков Юрий Павлович (1889-1974), художник и писатель 199
- Анненский Иннокентий Федорович (1885-1909), поэт 48, 61, 110, 186, 188
- «Антология античной глупости» 19, 107-108
- «Аполлон», журнал 10, 44-46, 50, 51, 53, 73-74, 86-87, 110, 165, 173
- Арабажин Константин Иванович (1865-1929), критик 254
- Арбенина (Гильдебрандт) Ольга Николаевна (1901-1980), актриса Александринского театра, художница, член группы «Тринадцать» 23, 24, 170, 178
- Ардовы - Ардов (Зильберман) Виктор Ефимович (1900-1976), писатель, его жена Ольшевская Нина Антоновна (р. 1908), актриса и режиссер 37, 34, 324
- Асеев Николай Николаевич (1889-1963), поэт 38, 308
- Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889-1966), поэтесса 10, 12, 14, 16, 17, 18-39, 87, 88, 105, 109, 184-186, 188, 194-195, 200, 202-203, 239, 245, 251, 263, 270, 272,

- 275, 281, 289, 292, 294, 296-297, 299, 300, 302, 304, 307, 310-311, 314-315, 320-321, 323-326, 328, 330, 334-336, 338, 343, 350, 352, 354, 358, 360-361, 366, 371, 380, 385
- Бабель Исаак Эммануилович (1894-1950), писатель 30, 316, 317, 335
- Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895-1934), поэт 294, 299, 308
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788-1824), английский поэт 72-73
- Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873-1944), литовский и русский поэт, полномочный представитель Литвы в СССР в 1921-1939 гг. 33, 329, 330
- Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942), поэт 122, 309
- Бараташвили Николоз Мелитонович (1817-1845), грузинский поэт 136
- Баратынский Евгений Абрамович (1880-1844), поэт 389
- Барина Галина Всеволодовна (р. 1910), скрипачка и педагог 379
- Батюшков Константин Николаевич (1787-1855), поэт 279, 306, 374
- Бах Иоганн Себастьян (1685-1750), немецкий композитор 282
- «Башня» 9, 19, 21, 173
- Бедный Демьян (Ефим Алексеевич Придворов, (1883-1945), поэт 34, 329
- Безыменский Александр Ильич (1898-1973), поэт 299
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848), критик и публицист 254
- Бел-Конь-Любомирская, поэтесса 129
- Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич, 1880-1934), поэт 30, 61, 122, 206, 295, 308, 309, 322, 349
- Бергсон Анри (1859-1941), французский философ 70, 301
- Бернардинер, преподаватель философии в Воронеже 377
- Бетховен Людвиг ван (1770-1827), австрийский композитор 353
- «Библиотека поэта» 272, 306, 311
- Блок Александр Александрович (1880-1921), поэт 18, 20, 24, 26, 37, 48, 61-64, 106, 107, 110, 121, 122, 154, 177, 182, 185-188, 190, 229-231, 233, 251, 254, 278, 289, 304, 309
- Блох Яков Ноевич (1892-1968), секретарь правления книжного кооператива «Петрополис» 237
- Блюмкин Яков Григорьевич (1898-1929), левый эсер, сотрудник ВЧК, убийца немецкого посла графа В. фон Мирбаха 12, 78, 80, 133, 155
- Богаевский Константин Федорович (1872-1943), художник 97
- Бородин Сергей Павлович (псев. Амир Саргиджан, 1902-1974), писатель 16, 240, 333

- Бродский Давид Григорьевич (1899-1966), поэт-переводчик 297, 298, 315-317
«Бродячая собака», артистическое кафе 11, 22, 25, 105-108, 165, 184, 186, 191, 192, 235, 273
- Бруни Лев Александрович (1894-1948), художник 97
- Бруни Николай Александрович (1891-1938), поэт, священник 26
- Брюллов Карл Петрович (1799-1852), художник 189
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924), поэт 20, 41, 69, 87, 110, 113, 178, 309
- Булавин Михаил Яковлевич (р. 1900), писатель 385
- Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), писатель 37, 137, 223, 335
- Булгакова Елена Сергеевна (1893-1970), жена М.А. Булгакова 34, 37, 335
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859), писатель и журналист, осведомитель политической полиции 362
- Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), писатель 189, 289, 294, 301
- Буренин Виктор Петрович (1841-1926), поэт-пародист 86
- Бурлюк Давид Давидович (1882-1967), поэт и художник 42, 121
- Бутомо-Названова Ольга Николаевна (1888-1960), певица 26
- Бухарин Николай Иванович (1888-1938), 33, 34, 326-329, 360, 399
- Вагинов (Вагингейм) Константин Константинович (1899-1934), поэт, прозаик 271, 310
- Важа Пшавела (Разикашвили Лука Павлович, 1861-1915), грузинский писатель 136
- Ваксель Ольга Александровна (1903-1932), актриса 23, 26
- Васильев Павел Николаевич (1909-1937), поэт 308
- Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867-1941), критик, переводчик 113
- Венгерова Изабелла Афанасьевна (1877-1956), пианистка 113
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805-1827), поэт 306
- Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (1867-1945), писатель 208
- Верлен Поль (1844-1896), французский поэт 41, 128
- Вермель Юлий Матвеевич, зоолог 354
- Верхарн Эмиль (1855-1916), бельгийский поэт 184
- Вийон (Виллон) Франсуа (ок. 1431 — после 1463), французский поэт 122, 123
- Винавер Михаил Львович, сотрудник Политического Красного Креста 339
- Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877-1932), поэт 13, 20, 28, 94-100, 102, 113-117, 118-119, 125, 149, 212-214, 219-221, 231-232, 256

- Волынский (Флексер) Аким Львович (1863-1926), критик 64, 237
- Воронский Александр Константинович (1884-1943), критик 117
- Врангель Николай Николаевич (1880-1915), сотрудник «Аполлона» 77
- Врангель Петр Николаевич (1878-1928), барон, генерал-лейтенант, главнокомандующий Добровольческой армией в Крыму 127, 140, 256
- «Всемирная литература», изд-во 153
- Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954), генеральный прокурор СССР (1935-1939) 359, 360
- Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871-1913), эстрадная певица 97
- Гавронская Л.С., член партии эсеров 41
- Гаприндашвили Валериан Иванович (1888/1889-1941), грузинский поэт 136
- Гатов Александр Борисович (1899-1972), поэт, переводчик 213
- Герман Юрий Павлович (1910-1967), писатель 263
- Герцык (Лубны-Герцык) Аделаида Казимировна (1874-1925), поэтесса, критик 21
- Герцык (Лубны-Герцык) Евгения Казимировна (1878-1944), переводчица, критик, мемуарист 21
- Герштейн Эмма Григорьевна (р. 1903), литературовед 15, 34, 277-281, 324, 367, 369
- Гершуни Григорий Александрович (1870-1908), террорист, организатор боевой группы партии эсеров, член ЦК этой партии 41
- Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832), немецкий писатель 96, 254, 283, 354, 378
- «Гилея», группа футуристов 24
- Гинзбург Лидия Яковлевна (1902-1990), литературовед 269, 275-276
- «Гиперборей» — журнал 11, 20, 22, 81-82, 85, изд-во 211
- Гиппиус Владимир Васильевич (1876-1941), поэт, преподавал в Тенишевском училище русский язык и литературу 8, 20, 105
- Гиппиус Василий Васильевич (1890-1942), поэт, переводчик, литературовед 26, 106
- Гиппиус Зинаида Николаевна (1869-1945), поэтесса, критик 69, 254
- Глухов, парторг Ульяновского института 397
- Глюк Кристоф Вилибальд (1714-1787), австрийский композитор 184
- Голлербах Эрих Федорович (1895-1942), искусствовед 28
- Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), писатель 193, 234, 241
- «Голубые роги», группа грузинских символистов 128, 134-136

- Гомер, легендарный древнегреческий поэт 66, 109, 302
- Гонкур де, братья Эдмон (1822-1896) и Жюль (1830-1870), французские писатели 304
- Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867-1941), литературовед, переводчик 15, 298, 299
- Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967), поэт 24, 26, 33, 75, 185, 289
- Горький Максим (Пешков Алексей Максимович, 1868-1936), писатель 108, 153, 208, 321
- Готье Теофиль (1811-1872), французский писатель и критик 175, 189
- Грацианская Нина, поэтесса 129
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829), писатель 174
- Гримм, братья Якоб (1785-1863) и Вильгельм (1786-1859), немецкие филологи 148
- Гриммельсхаузен Ханс Якоб Кристоффель (ок. 1621-1676), немецкий писатель 174
- Гуковский Григорий Александрович (1902-1950), литературовед 30
- Гумилев Николай Степанович (1886-1921), поэт, критик, глава группы акмеистов 9, 10, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 46, 50, 51, 61, 63, 73, 74, 88, 89, 105, 110, 139, 140-145, 149, 152, 154, 156, 158, 159, 162-167, 169-175, 177, 179, 182, 185, 190, 230, 245, 254, 256, 289, 308, 320, 329, 330, 337, 371
- Гумилев Лев Николаевич (р. 1912), востоковед-историк, этнолог, географ 21, 38, 144, 148, 150-153, 158, 163-166, 179, 180, 186, 189, 315, 324, 353, 354
- Гюго Виктор Мари (1802-1885), французский писатель 175, 304
- Данте Алигьери (1265-1321), итальянский поэт 17, 18, 30, 31, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 202, 221, 275, 306, 331, 335, 354, 367, 373, 374, 384
- Данько Наталия Яковлевна (1892-1942), скульптор-керамист 33
- Де Костер Шарль (1827-1879), бельгийский писатель 15
- Делакруа Эжен (1798-1863), французский художник 378
- Державин Гаврила Романович (1743-1816), поэт 193, 254, 371
- Джойс Джеймс (1882-1941), ирландский писатель 19, 38
- Джунковский В.Ф., командир жандармского корпуса, товарищ министра внутренних дел 81
- Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926) 12, 79
- Диккенс Чарльз (1812-1870), английский писатель 213, 300, 302

- Дитрих Марлен (р. 1901), актриса кино, певица 181, 182
- Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957), художник 158
- Дмитриева Елизавета Ивановна (псевд. Черубина де Габриаки, 1887-1928), поэтесса 113
- Довнар-Запольский, профессор в Киеве 149
- Дом Герцена 260, 277, 288, 290, 301, 308, 311, 312, 337
- Дом Искусств 63-64, 109, 140-148, 149, 158, 162, 168, 179, 197-198, 223, 225, 236, 256, 260
- Дом литераторов 138, 143, 147, 156, 158, 162, 168, 169
- Домбровский Юрий Осипович (1909-1978), писатель 398, 399, 401
- Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), писатель 30, 142, 161, 300, 304
- Дункан Айседора (1876-1927), американская танцовщица 239
- Дымшиц Александр Львович (1910-1975), литературовед 272, 311
- Дюма Александр (1802-1870), французский писатель 395
- Дюрер Альбрехт (1471-1528), немецкий художник 377
- Еврипид (ок. 480-407 или 406 до н.э.), древнегреческий драматург 157, 185
- Ежов Николай Иванович (1894-1939?), нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности 353, 361, 391
- Енукидзе Абель Софронович (1877-1937), секретарь ЦИК СССР (до июня 1935 г.) 33, 305, 328
- Есенин Сергей Александрович (1895-1925), поэт 31, 110, 190, 251, 299, 300, 308
- Жамм Франсис (1868-1938), французский поэт 175
- Жаров Александр Алексеевич (1904-1984), поэт 299
- Жид Андре (1869-1951), французский писатель 156
- Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971), литературовед 105, 227
- Жордания (псевд. А.Костров) Ной Николаевич (1869-1953), публицист, председатель меньшевистского правительства Грузинской республики (1918-1921) 129, 130
- Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), поэт 29, 107, 354
- Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958), поэт 263, 296, 310
- Загоровский Павел Леонидович (1892-1952), психолог, проректор Воронежского пединститута 376, 377

- Зайцев Борис Константинович (1881-1972), писатель 208
- Замятин Евгений Иванович (1884-1937), писатель 149, 154
- «Звезда», журнал 53, 271
- Зельманова-Чудовская Анна Михайловна, художница 23
- Зенкевич Михаил Александрович (1891-1973), поэт, переводчик 19, 20, 23-26, 34, 289, 295, 337-338, 364
- Златовратский Николай Николаевич (1845-1911), писатель 301
- «Знамя труда», газета левых эсеров (1918-1919) 27
- Зноско-Боровский Евгений Александрович (1884-1954), секретарь журнала «Аполлон» в 1909-1912 гг.
- Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882-1938), поэт и переводчик 154
- Зоценко Михаил Михайлович (1894-1958), писатель, 30, 313, 314, 394
- Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949), поэт 9, 19, 20, 21, 22, 48, 51, 61, 66, 86, 110, 173, 188, 207, 309
- Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), писатель 10, 11, 12, 19 23, 26, 35, 37, 70-89, 105, 139, 142, 143, 144, 146, 154, 156, 162-166, 171, 172, 178, 180-183, 343
- Каблуков Сергей Платонович (1881-1919), преподаватель математики, музыкальный критик и сотрудник журнала «Музыкальный современник», секретарь Религиозно-философского общества (1909-1913) 61
- Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (1902-1989), писатель 268-272
- Казарновский Юрий А. (1904-после 1954), автор сб. «Стихи» (М. 1936), солагерник О.Э. Мандельштама 392-396, 401
- Калецкий Павел Исаакович (1906-1942), фольклорист, был в ссылке в Воронеже (1934-1935) 385
- Калменс Семен Николаевич, зав. конторой газеты «Накануне» 223
- Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883-1936), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1919-1926) 79
- Каменева (Бронштейн) Ольга Давыдовна (1883-1941?), сестра Л.Д. Троцкого и жена Л.Б.Каменева 78-80
- Кандауров Константин Васильевич (1865-1930), художник 97
- Кант Иммануил (1724-1804), немецкий философ 71
- Капнист Василий Васильевич (1758-1823), поэт 295
- Капрелевич Магдалина де, поэтесса 129
- Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), писатель, историк 29
- Карпович Михаил Михайлович (1888-1959), историк 40-43

- Катаев Валентин Петрович (1897-1986), писатель 36, 273-274, 391
- Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н.э.), римский поэт 134
- Каутский Карл (1854-1938), лидер германской социал-демократии 129
- Кириенко-Волошина (Глазер) Елена Оттобальдовна (1850-1923), мать М.А. Волошина ("Пра") 96, 99, 119
- Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934) 53
- Кирсанов Семен Исаакович (1906-1972), поэт 33, 331
- Клейст Эвальд Кристиан фон (1715-1759), немецкий поэт 373
- «Клуб поэтов» 61, 63, 107
- Клычков (наст. фам. Лешенков) Сергей Антонович (1889-1940), поэт и прозаик 225, 277, 290, 292
- Клюев Николай Алексеевич (1887-1937), поэт 31, 255, 308, 391
- Козаков Михаил Эммануилович (1889-1954), писатель, 241
- Козинцева Любовь Михайловна (1900-1971), художница, жена И.Г.Эренбурга 125, 126, 128, 130-132
- Козьма Прутков — коллективный псевдоним А.К.Толстого и братьев А.М. и В.М. Жемчужниковых 109, 203
- Колчак Александр Васильевич (1874-1920), адмирал, 118
- Кольцов Алексей Васильевич (1809-1842), поэт 190, 308
- Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898-1942), журналист 226
- Комиссаржевская Вера Федоровна (1864-1910), актриса 32
- Коневской Иван (Ореус Иван Иванович, 1877-1901), поэт 8
- К.Р. — псевд. великого князя Константина Константиновича Романова (1858-1915), поэт 370
- Кончаловский Петр Петрович (1876—1956), художник 121
- Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1937), поэт 295
- Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк 42
- Короленко Владимир Галактионович (1853-1921), писатель 298
- Короткова Августа Петровна (р. 1899), секретарь Н.И.Бухарина (1926-1937), 327
- Котрелев Н.В. (род. 1941), литературовед 21
- «Красная новь», журнал 117
- «Круг», изд-во 209
- Кругликова Елизавета Сергеевна (1865-1941), художница 211, 212
- Крученых Алексей Елисеевич (1886-1968), поэт 106, 302
- Кудашева Мария Павловна (Кювилье, во втором браке жена Ромена Роллана, 1895-1985), поэтесса 99, 113, 115-116, 219, 221, 394

- Кудрявцев А.Е. 108
- Кузин Борис Сергеевич (1903-1973), биолог 15, 282-293, 322, 323, 350, 353, 354, 357
- Кузмин Михаил Алексеевич (1872-1936), поэт 20, 46, 139, 141, 153, 154, 174, 178, 212, 219, 309, 310
- Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886-1959), юрист, в эмиграции католический священник 26, 106
- Кузьмина-Караваева (Пиленко во втором браке Скобцова) Елизавета Юрьевна (1891-1945), поэтесса, с 1919 г. в эмиграции, с 1931 г. монахиня — мать Мария, участница французского Сопротивления 25, 26, 106
- Кульбин Николай Иванович (1866-1917), военный врач, художник, критик, теоретик футуризма 199
- Ланн (Лозман) Евгений Львович (1896-1958), переводчик 213
- Ламарк Жан Батист (1744-1829), французский ботаник и зоолог 354
- Лахути Абулькасим (1887-1957), поэт 338
- Левберг Мария Евгеньевна (1894-1934), переводчица, поэтесса 223
- Лентулов Аристарх Васильевич (1882-1943), художник 97
- Леонов Леонид Максимович (р. 1899), писатель 30, 343
- Леопарди Джакомо (1798-1837), итальянский поэт 174
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт 49, 187, 189, 193, 311, 372
- Лившиц Бенедикт Константинович (1887-1939), поэт, переводчик, автор книги воспоминаний «Полутораглазый стрелец» (1933) 29, 36, 37, 110, 166, 200
- Лидин Владимир Германович (1894-1979), писатель 223
- Липкин (Липкинд) Семен Израелиевич (р. 1911), поэт, переводчик 36, 294-311
- Лиснянская Инна Львовна (р. 1928), поэтесса 307
- «Литературная газета» 33, 124
- «Литературный Воронеж», журнал 385, 386
- «Литературная энциклопедия» 123
- Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955), поэт, переводчик 20, 22, 25-27, 107, 108, 142-145, 157, 158, 170, 172, 173, 175, 179, 202, 203, 357
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765), писатель и ученый, 19
- Луговской Владимир Александрович (1901-1957), поэт 299
- Лукницкий Павел Николаевич (1900-1973), писатель, биограф Н.С.Гумилева 29
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), писатель и критик 78, 140, 141, 186, 192, 193, 251

- Луппол Иван Капитонович (1896-1943), литературовед 369
- Лурье Артур Сергеевич (1892-1967), композитор, мемуарист 36, 184, 196
- Львов-Рогачевский Василий Львович (1873-1930), литературовед 225
- Маккавейский Владимир Николаевич, поэт 110, 111
- Маковский Сергей Константинович (1877-1962), поэт, критик, редактор журнала «Аполлон», мемуарист 37, 44-60
- Малкина Екатерина Романовна (? — 1945), филолог 237
- Малларме Стефан (1842-1898), французский поэт 18, 47, 49, 63
- Мандельштам Александр Эмильевич (1892-1942), средний брат поэта, библиограф, работник издательства 34, 39, 114, 128, 130-132, 213, 214, 288, 336, 391
- Мандельштам Исая Бенедиктович (1885-195?), переводчик 329
- Мандельштам Мере Абрамовна (1832-1910-е), бабушка поэта 70-71
- Мандельштам (Хазина) Надежда Яковлевна (1899-1980), жена поэта, филолог, мемуарист 8, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 28, 31, 34, 37, 38-39, 177, 181, 182, 217, 240-242, 247, 249, 250, 262, 263, 273, 274, 282, 283, 286-289, 291-293, 301, 307, 310, 312, 315-368, 369-378, 380, 381, 383-385, 388-390, 391-401
- Мандельштам (Вербловская) Флора Осиповна (1866-1916), мать поэта 7, 44-45, 51, 70
- Мандельштам Эмиль (Хацкель) Вениаминович (1851-1938), отец поэта, купец 1-й гильдии, владелец конторы по продаже кожаных изделий 7, 38, 70
- Манн Генрих (1871-1950), немецкий писатель 310
- Манн Томас (1875-1955), немецкий писатель 310
- Маранц Федор Степанович (погиб на фронте в 1942 г.), воронежский агроном 353, 354
- Маргулис см. Моргулис А.О.
- Мариенгоф Анатолий Борисович (1897-1962), поэт, драматург 246
- Маринетти Филиппо Томмазо (1876-1944), итальянский писатель, теоретик футуризма 184
- Маркс Карл (1818-1883) 8, 347
- Маркиш Перец Давидович (1895-1952), писатель 34
- Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930), поэт 22, 121, 184, 251, 300, 308, 309, 312, 313
- Меркулов Василий Лаврентьевич (1908-1980), физиолог, преподаватель Ленинградского университета, соллагерник О.Э.Мандельштама 124, 395, 396
- Милашевский Владимир Алексеевич (1893-1976), художник 158, 159

- Миндлин Эмилий Львович (1900-1981), писатель 13, 37, 211-226
- Мирбах Вильгельм фон (1871-1918), посол Германии в России, убит 6 июля 1918 г. 77, 80
- Мицишвили (Сирбиладзе) Николоз Иосифович (1894-1937), грузинский писатель 134, 135
- «Молодая гвардия», журнал 294
- Моль Жюль, переводчик «Шах-Наме» Фирдоуси (Париж, 1838-1878, т. 1-7, на французском языке) 300
- Мольер (Поклен) Жан Батист (1622-1673), французский писатель 174-175
- Моравская Мария Людвиговна (1889-1947), поэтесса 20, 26
- Моргулис Александр Осипович (1898-1938), переводчик 353, 364, 395
- «Московский комсомолец», газета 297, 299
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791), австрийский композитор 278
- Мочульский Константин Васильевич (1892-1948), литературовед 65-68
- Набоков Владимир Владимирович (1899-1977), русский и англоязычный писатель 8, 271
- Надирадзе Колау (Николай Галактионович, р. 1895), грузинский поэт 136
- Надсон Семен Яковлевич (1862-1887), поэт 304
- «Накануне», газета, выходящая в Берлине 222-225
- Наполеон I Бонапарт (1769-1821) 308
- Наппельбаум Моисей Соломонович (1869-1958), фотограф 370
- Нарбут Владимир Иванович (1888-1938), поэт 20, 26, 289, 308, 316, 395
- Наруми Кандзо (1899-1974), японский филолог-русист 25
- Нахман Магда Максимилиановна, художница 97
- Недоброво Николай Владимирович (1882-1919), поэт, критик 19, 28, 61
- Неймиц см. Немитц А.В.
- Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877), поэт 304
- Нельдихен (Нельдихен-Ауслендер) Сергей Евгеньевич (1891-1942), поэт, критик 179
- Немитц Александр Васильевич (1879-1967), контр-адмирал, командующий Черноморским фронтом (1917) 177
- Нерваль Жерар де (1808-1855), французский писатель 174
- Нерлер П. М., литературовед 307
- Неслуховская М. К. 64
- Никитин Иван Саввич (1824-1861), поэт 375
- Никольский Юрий Андреевич (1893-1921?) критик 227
- Новинский Александр Александрович, капитан второго ранга, начальник Феодосийского порта, в эмиграции писал сценарии для Голливуда 115, 221

- «Новый мир», журнал 15, 53, 295
- Оболдуев Георгий Николаевич (1898-1954), поэт 299
- Оболенская Юлия Леонидовна (1889-1945), художница 97, 113
- Овидий Публий Назон (43 г. - 17 г. н.э.), римский поэт 65, 200, 202, 212
- «Огонек», журнал 226
- Одоевцева Ирина Владимировна (Гейнике Ираида Густавовна, 1895-1990), поэтесса 138-183
- Озеров Владислав Александрович (1769-1816), драматург 189
- Оксенов Иннокентий Александрович (1897-1942), поэт, переводчик 278
- Оксман Юлиан Григорьевич (1894-1970), литературовед 243, 244
- Осмеркин Александр Александрович (1892-1953), художник 313, 314
- Осмеркина-Гальперина Елена Константиновна (1903-1987), актриса, жена А.А.Осмеркина 39, 312-314
- Оцуп Николай Авдиевич (1894-1958), поэт член Цеха поэтов, эмигрировал в 1922 г., участвовал в итальянском и французском Сопротивлении 61, 143, 144, 179, 237
- Павлович Надежда Александровна (1895-1980), поэтесса, мемуаристка 61, 63-64
- Паллас Петр Симон (1741-1811), естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук 278
- Пастернак Борис Леонидович (1890-1960), поэт 16, 18, 30, 33, 34, 35, 188, 189, 194, 249, 253-255, 260, 277, 285, 292, 297, 300, 304, 308, 310, 328, 329, 361, 360, 371, 375, 376, 378, 387, 388
- Пастернак Зинаида Николаевна (1893-1966), жена Б.Л.Пастернака 34
- Пейн Роберт, американский литературовед 34
- Пергамент Михаил, поэт 227, 228
- Петр 1 (1672-1725) 52
- Петрарка Франческо (1304-1374), итальянский поэт 30, 124, 310, 319, 374, 396
- Петров Дмитрий Константинович (1872-1925), профессор Петербургского университета 265
- Петровых Мария Сергеевна (1908-1979), поэтесса, переводчица 23, 302, 307, 311
- «Петрополис», изд-во в Берлине 53
- Пешкова (Волжина) Екатерина Павловна (1876-1965), председатель Политического Красного Креста 327, 328
- Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894-1941), писатель 33, 137
- Павленко Петр Андреевич (1899-1951), писатель 61, 63-64

- Пиндар (ок. 518-442 или 438 до н.э.), древнегреческий поэт 68, 224
- Платон (427-347 до н.э.), древнегреческий философ 178
- Полонский Яков Петрович (1819-1898) 315
- Полуэктова, поэтесса 219
- Поплавский Борис, поэт 192
- Поступальский Игорь Стефанович (1907-1990), переводчик, критик 330
- «Правда», газета 157, 361, 391
- «Привал комедиантов», литературно-артистическое кабаре 186, 192 235
- Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954), писатель 206-210
- Потемкин Петр Петрович (1886-1926), поэт, драматург 106
- Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953), композитор 33
- Пронин Борис Константинович (1875-1946), актер, режиссер, основатель кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» 25, 184, 235
- Пулькин Иван Иванович (1903-1941), поэт 299
- Пунин Николай Николаевич (1888-1953), искусствовед, критик, муж А.А.Ахматовой 315
- Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), писатель 17, 20, 25, 29, 34, 37, 47, 49, 65, 86, 87, 122, 160, 161, 165, 187, 189, 191, 193, 219, 229, 254, 256, 262, 266, 282, 285, 303, 304, 306, 311, 331, 340, 349, 367, 370.
- Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886-1940), писатель 11, 37, 61, 64, 105-108, 197, 198, 226, 319, 322
- Радлова (Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891-1949), поэтесса, переводчица 23, 147, 237
- Расин Жан (1639-1699), французский писатель 185, 186, 189, 194
- Рафалович Сергей Львович (1875-1943), поэт и драматург 129
- Рафаэль Санти (1483-1520), итальянский художник 378
- Рашель (Рашель Феликс Элиза, 1820-1858), французская актриса 185
- Рейснер Лариса Михайловна (1895-1926), журналистка, писательница 170, 237
- Рембо Артюр (1854-1891), французский поэт 159, 192
- Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957), писатель 33, 154
- Рильке Райнер Мария (1875-1926), австрийский поэт 174
- Роден Огюст (1840-1917), французский скульптор 158
- Рождественский Всеволод Александрович (1895-1977), поэт, 28, 61, 63-64, 236, 237, 265-267
- Роллан Ромен (1866-1944), французский писатель 394, 400

- Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-1894), пианист и композитор 175
- Романовский Н., воронежский критик 385
- Рудаки Абу Абдаллах (ок. 860-941), персидский поэт 303
- Рудаков Сергей Борисович (1909-1944), филолог 17, 35, 353, 354, 370
- Рудакова (Финкельштейн) Полина Самуиловна (1906-1977) 320
- Русланов, актер театра им. Е.Б.Вахтангова 33
- «Русская мысль», журнал 42, 69, 87
- «Русское искусство», журнал 35
- Руссо Анри Жюльен Феликс (1844-1910), французский художник 128
- Рыжманов Григорий, поэт 386
- Савина Мария Гавриловна (1854-1915), актриса 32
- Савинков Борис Викторович (187—1925), писатель, деятель боевой организации эсеров 41
- Савинов, военный губернатор Петрограда 186
- Саводник Владимир Федорович (1874-1940), литературовед 376
- Савич Овадий Герцович (1896-1967), переводчик, писатель 126
- Сакко Николо (1891-1927) и Ванцетти Бартоломео (1888-1927) деятели американского рабочего движения 320
- Сафо (7-6 вв. до н.э.), древнегреческая поэтесса 36
- Светлов Михаил Аркадьевич (1903-1964), поэт, драматург 299
- Свирский Алексей Иванович (1865-1942), писатель 223
- Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890-1939), литературовед, вернулся из эмиграции в СССР в 1932 г., погиб в заключении 395
- «Северные записки», журнал 24
- Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич, 1887-1941), поэт 75, 98, 184, 318
- Сейфулина Лидия Николаевна (1889-1954), писательница 328
- Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899-1968), поэт 38, 225, 277
- Серафимович (Попов) Александр Серафимович (1863-1949), писатель 137
- Синани Борис Наумович (1850-1922?), врач, Борис Борисович (1889-1910), школьный друг поэта 41
- Скрыпник Николай Алексеевич (1872-1933), нарком государственного контроля в Киеве в 1919 г. 250
- Скрябин Александр Николаевич (1871-1915), композитор 353
- Слезкин Юрий Львович (1885-1947), писатель 223
- Слонимский Михаил Леонидович (1897-1972), писатель 197-198, 256
- Слущкий Борис Абрамович (1919-1986), поэт 397

- Случевский Константин Константинович (1837-1904), поэт 315
- Соколовский Александр Саулович, поэт 217, 219
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), поэт, философ 227
- Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), писатель, лауреат Нобелевской премии (1970), выслан из СССР в 1974 г. 392
- Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863-1927), писатель 21, 87, 106, 154, 294, 309
- Сорокин Григорий Эммануилович (1898-1954), поэт, прозаик 241
- Срезневская Валерия Сергеевна (1887-1964), жена психиатра Вячеслава Вячеславовича Срезневского, автор воспоминаний об А.А.Ахматовой 25, 26
- Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900-1943), писатель 387
- Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) 16, 32, 33, 34, 54, 59, 148, 243, 292, 311, 322, 327, 332, 339, 350, 359, 360, 361, 363, 394, 397, 399, 400
- Стенич (Сметанич) Валентин Осипович (1898-1939), переводчик, критик 238, 241, 242, 263
- Стеффен, директор кукольного театра в Воронеже 385, 387
- Стравинский Игорь Федорович (1882-1971), композитор 23
- Страховский (псевд. Чацкий) Леонид, литературовед 36, 37
- Струве Глеб Петрович (1898-1986), литературовед 53, 54
- Струве Петр Бернгардович (1870-1944), публицист, редактор журнала «Русская мысль» (1905-1918), издавал его в 20-30-е годы в Софии, Праге, Париже, Белграде 42
- Судейкин Сергей Юрьевич (1884-1946), художник 184
- Судейкина (Шиллинг, де Боссе) Вера Артуровна, актриса 23
- Суриков Василий Иванович (1848-1916), художник 315
- Сурков Алексей Александрович (1899-1983), поэт 360, 400
- Сюннерберг Константин Александрович (1871-1942), поэт, критик, философ 61
- Тагер Елена Михайловна (1895-1964), писательница, переводчик 14, 15, 227-244
- Табидзе Нина 135
- Табидзе Тициан Юстинович (1895-1937), грузинский поэт 127-128, 134-136
- Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909-1956), критик 121, 363
- Тарковский Арсений Александрович (1907-1989), поэт 36, 296, 302
- Тассо Торквато (1544-1595), итальянским поэт 374, 375

- Тацит Публий Корнелий (ок. 55-ок.120), римский историк 194
- Твардовский Александр Трифонович (1910-1971), поэт 300
- Терапиано Юрий Константинович (1892-1980), поэт, критик 12, 13, 110-112, 151
- Терпандр (7 в. до н.э.), древнегреческий поэт 212
- Тибулл Альбий (ок.50-19 до н.э.), древнеримский поэт 134
- Тинторетто Якопо (1518-1594), итальянский живописец 121
- Тирсо де Молина (1571 или ок.1583-1648), испанский драматург 108
- Тициан (1476/77-1576), итальянский живописец 121
- Тихонов Александр Николаевич (1880-1956), писатель 153
- Тихонов Николай Семенович (1896-1979), поэт 269, 270, 382
- Толстая Софья Андреевна (1900-1957), жена С.А.Есенина, хранитель Музея Союза писателей 33
- Толстой Алексей Николаевич (1882-1945), писатель 16, 19, 33, 222, 240, 241, 271, 321, 322, 327
- Толстой Алексей Константинович (1817-1875), писатель 354
- Толстой Лев Николаевич (1828-1910), писатель 30, 193, 210, 271, 313
- Трубчинская (Эфрон) Анна Яковлевна (1883-1971), сестра С.Я.Эфрона 230-232
- Тумповская Маргарита Марьяновна (1891-1942), поэтесса, критик 235
- Тютчев Федор Иванович (1803-1873), поэт 49, 175, 186-187, 190, 212, 219, 289, 303, 304, 311
- Тюфяков, проректор Ульяновского пединститута 397-398
- Тынянов Юрий Николаевич (1894-1943), писатель, литературовед 30, 268, 269, 272, 295, 309, 380
- Уразов Михаил, поэт 213
- Усов Дмитрий Сергеевич (1896-1944), поэт-переводчик 339
- Уткин Иосиф Павлович (1903-1944), поэт 299
- Ушаков Николай Николаевич (1899-1973), поэт 297
- Фадеев Александр Александрович (1901-1956), писатель 391
- Федин Константин Александрович (1892-1977), писатель 30
- Федоров Андрей Венедиктович (р. 1906), литературовед, переводчик 269
- Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892), поэт 289, 311
- Фирдоуси Абулькасим (ок. 940-1020 или 1030), персидский поэт 300
- Фишер Куно (1824-1907), немецкий историк философии 71

- ФЛАК — Феодосийский литературно-художественный кружок 214
- Флобер Гюстав (1821-1880), французский писатель 304
- Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745-1792) 295
- Фондаминская (Гавронская) Амалия Осиповна (ум. 1935), член партии эсеров 412
- Фор Поль (1872-1960), французский поэт 184
- Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961), писательница 63, 236
- Фофанов Константин Михайлович (1862-1911), поэт 304
- Фурманов Дмитрий Андреевич (1891-1926), писатель 226, 311, 313
- Фурманов Аркадий Андреевич (1890-1962), брат писателя, чекист 323
- Хазин Евгений Яковлевич (1893-1974), брат Н.Я.Мандельштам 30, 33, 34, 279, 288, 292, 320, 324, 336, 358, 364, 366, 391
- Хазина Вера Яковлевна, мать Н.Я.Мандельштам 373
- Ханцин Иза Давыдовна (1899-1985), пианистка 353
- Харджиев Николай Иванович (р. 1903), литературовед 22, 306
- Хаскин И.В. 241
- Херасси Фернандо, испанский художник 126
- «Хлам», артистическое кафе в Киеве 12, 110, 111
- Хлебников Велимир (Виктор Владимирович, 1885-1922), поэт 17, 109, 184, 252-255, 300, 303, 304, 308, 317, 334
- Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), писатель 294
- Ходотов Николай Николаевич (1878-1932), актер 129
- Хойзер Каспар (1812-1833), находившийся в Нюрнберге в заточении молодой человек неизвестного происхождения 41
- Христофорыч см.Н.Х.Шиваров
- Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), поэтесса 18, 90-104, 211, 232, 294, 300, 310, 371
- Церетели Григорий Филимонович (1870-1938), филолог-эллинист 268, 269
- Цех поэтов 19, 20, 22-26, 33, 50, 63, 129, 143, 144, 168, 169, 174, 185, 186, 188, 194, 195
- Цыгальский Александр Викторович (1880-?), военный инженер, полковник, поэт 114
- Чаплин Чарлз Спенсер (1889-1977), киноактер и режиссер 379
- Чайковский Петр Ильич (1840-1893), композитор 175
- Чернявский Владимир Степанович (1889-1948), поэт 26

- Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович, 1880-1932), поэт 318
- Чудовский Валериан Адольфович (1891-1937?), критик 185
- Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич, 1882-1969), критик, литературовед 142, 177, 199-205, 385
- Чуковский Николай Корнеевич (1904-1965), писатель 30, 256-264
- Чулков Георгий Иванович (1879-1939), писатель, 33, 75
- Шагал Марк Захарович (1887-1985), русский и французский живописец 63
- Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982), писательница 361
- Шаламов Варлам Тихонович (1907-1982), писатель 396
- Шамиль (1797-1871), вождь горцев Дагестана в борьбе против царя 96
- Шамфор Никола Себастьян Рок (1741-1794), французский писатель 175
- Шваб Карл Карлович, воронежский музыкант 378
- Шекспир Уильям (1564-1616), английский писатель 202, 249
- Шенгели Георгий Аркадьевич (1894-1956), поэт, переводчик, стиховед 213, 225, 250, 251, 302, 303, 311, 363
- Шенье Андре Мари (1762-1794), французский поэт 36
- Шиваров Николай Христович, следователь ОГПУ-НКВД, ведший «дело» О.Э.Мандельштама 331-332, 336, 357-363
- Шилейко Владимир (наст.имя Вольдемар) Казимирович (1891-1930), ассириолог, переводчик 22, 202-203
- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805), немецкий поэт 107
- Шкапская (Андреевская) Мария Михайловна (1891-1952), писательница 61
- Шкловская (Карди) Василиса Георгиевна (1890-1977) 39, 391
- Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), литературовед, писатель 109, 278, 361, 391, 396
- Шопенгауэр Артур (1788-1860), немецкий философ 301
- Шпенглер Освальд (1880-1936), немецкий философ 301
- Шпет Густав Густавович (1879-1940), философ 33
- Штемпель Наталья Евгеньевна (1910-1988), преподаватель литературы в Воронеже 23, 37, 353, 369-390
- Штраус Рихард (1864-1949), австрийский композитор 41, 184
- Шуберт Франц (1797-1828), австрийский композитор 26, 205, 288
- Щербина Николай Федорович (1821-1869), поэт, 203
- Эйхенбаум Борис Михайлович (1886-1959), литературовед 30, 309

- Эльснер Владимир Юрьевич (1886-1964), поэт-переводчик 61
- Элис (Кобылянский) Лев Львович (1879-1947), поэт
- Энгельс Фридрих (1820-1895), 347, 398
- Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967), писатель 13, 36, 114-115, 118-133, 221, 226, 327, 328, 379, 395, 396
- Эсхил (ок. 525-456 до н.э.), древнегреческий трагик 268, 269
- Эфрон Ариадна Сергеевна (1912-1975), переводчица, дочь М.И.Цветаевой 30, 92-94
- Эфрон Елизавета Яковлевна (1885-1976), актриса 231
- Эфрон Сергей Яковлевич (1893-1938), муж М.И.Цветаевой 96, 232-234
- Юркун Юрий Иванович (1895-1938), писатель, друг М.А. Кузмина 23, 139, 141, 170
- Ягода Генрих Григорьевич (1891-1938), нарком внутренних дел (1934-1936) 33, 319, 327, 359, 360
- Языков Николай Михайлович (1803-1847), поэт 306
- Ярхо Борис Исаакович (1889-1942), литературовед, переводчик 339
- Яшвили Паоло (1895-1937), грузинский поэт 127-129, 136
- Яхонтов Владимир Николаевич (1899-1945), актер 370

Составил Е.Нечепорук

Указатель произведений
О. Э. Мандельштама

- Адмиралтейство 105, 257
Айя-София 257
Актер и рабочий 220
Армения 15, 36, 238 288,
299
Армия поэтов 268
Ахматова 25, 185
- Батюшков 279, 374
"Бессонница. Гомер. Тугие
паруса..." 102, 189, 200
"Блок – король..." 107
"Буйных гостей голоса..." 108
- "В лицо морозу я гляжу
один..." 382
"В Петербурге мы сойдемся
снова..." 85, 189, 237, 260
"В разноголосице девического
хора..." 50, 102
"В тот вечер не гудел стрель-
чатый лес органа..." 26
- Валкирии 200, 257
Век 656 – 57
Венецианская жизнь 62, 218
"Ветер нам утешенье принес..."
222, 294
"Возможна ли женщине мерт-
вой хвала..." 23
"Возьми на радость из моих
ладоней..." 51 – 52, 109
"Вооруженный зреньем узких
ос..." 375
"Вот дароносица, как солнце
золотое..." 49 – 50
"Вы, с квадратными окошка-
ми..." 203 – 204
- Газелла 120
"Голубые глаза и горячая лоб-
ная кость..." 122
"Гончарами велик остров си-
ний..." 378
- "Дано мне тело – что мне де-
лать с ним..." 46, 65, 73,
139, 166, 201, 257
Декабрист 274
"День стоял о пяти головах.
Сплошные пять суток..."
29
"Детский рот жует свою мя-
кину..." 200
"Довольно кукситься! Бума-
ги в стол засунем!..." 306
Домби и сын 300
- Египетская марка 53, 193,
271
Египтянин ("Я избежал суро-
вой пени...") 22
"Если грустишь, что тебе за-
должал я одиннадцать ты-
сяч..." 154
"Есть женщины сырой земле
родные..." 389
"Есть целомудренные чары..."
166
"Еще не умер ты, еще ты не
один..." 376
- "Жизнь упала, как зарница..."
23, 28
"Жил Александр Герцевич..."
238, 263 – 264
- "За гремучую доблесть гряду-
щих веков..." 33, 60, 119,
123, 238, 304, 319, 325,
333, 362

”За Паганини длиннопалым...”
379
”За то, что я руки твои не сумел удержать...” 23, 259
Заметки о поэзии 212
Зверинец 236
”Знакомства нашего на скло-не...” 27
”Золотистого меда струя из бутылки текла...” 48, 66, 145 – 146, 202, 204 – 205, 301 – 302, 304 – 305
Золотой 105
”И глагольных окончаний ко-локол...” 66
Извозчик и Дант 398
Импрессионизм 121, 378
К немецкой речи 288, 353, 374, 398
”К пустой земле невольно припадая...” 37, 388 – 389
”Как по улицам Киева-Вия...” 38, 119
”Как светотени мученик Рем-брандт...” 378
”Как Черный ангел на сне-гу...” 22
Кассандре 26
Камень 11, 14, 19, 41, 46, 53, 68, 115, 127, 138, 149 166, 211, 213, 228, 257 – 258, 277, 371, 372
”Квартира тиха, как бума-га...” 30, 288, 362, 398
Кинематограф 228
”Клейкой клятвой липнут почки...” 37, 387
”Когда Психея-жизнь спуска-ется к теням...” 68
”Когда щегол в воздушной сдобе...” 381
”Колют ресницы. В груди при-кипела слеза...” 124
”Кому зима – арак и пунш голубоглазый...” 124
Концерт на вокзале 36, 226

Кувшин 378
”Куда мне деться в этом ян-варе?...” 291, 292, 383 – 384
Ламарк 58 – 59, 279
Ласточка 160, 197, 270
Ленинград 123 – 124, 288
”– Лесбия, где ты была?...” 163
”Мастерица виноватых взо-ров...” 23
Меганом 66 – 67
”Мне жалко, что теперь зи-ма...” 178
”Морожено!” Солнце. Воз-душный бисквит...” 201
”Мы живем, под собою не чуя страны...” 32, 53 – 54, 271 – 272, 292, 322, 332, 339
”На меня нацелилась груша да черемуха...” 389
”На розвальнях, уложенных соломой...” 102, 320
”На страшной высоте блу-ждающий огонь!...” 52 – 53, 152
Нашедший подкову (Пинда-рический отрывок) 57, 224 – 225
”Не веря воскресенья чуду...” 67 – 68, 83 – 85, 94 – 95, 100 – 102
”Не мучнистой бабочкою бе-лой...” 124
”Не сравнивай: живущий не-сравним...” 376
”Не унывай...” 77
”Нет, не луна, а светлый ци-ферблат...” 199
”Нет, никогда ничей я не был современник...” 58
”Ни о чем не нужно гово-рить...” 229

- "О временах простых и гру-
 бых..." 46 – 47
 "О свободе небывалой..." 73
 О природе слова 122
 О поэзии 219
 О собеседнике 211 – 212
 "О, этот медленный, одышли-
 вый простор!..." 383
 "Образ твой, мучительный и
 зыбкий..." 71, 141
 (Ода) 32
 Ода Бетховену 196
 "От вторника и до субботы..."
 173
 "От легкой жизни мы сошли
 с ума..." 166, 248
 "От сырой простыни говоря-
 щая..." 379
 "Отравлен хлеб, и воздух вы-
 пит..." 161
 "Оттого все неудачи..." 382
 "Отчего душа так певуча..."
 147, 167
 1 января 1924 57 – 58
 Петербургские строфы 73, 75,
 200, 228, 257 – 258
 Письмо о русской поэзии 35
 "Полночь в Москве. Роскош-
 но буддийское лето..." 123
 "Полюбил я лес прекрас-
 ный..." (Стихи о русской
 поэзии, 3) 279 – 280
 "Привыкают к пчеловоду пче-
 лы..." 27
 "Пусти меня, отдай меня, Во-
 ронеж..." 120
 Путешествие в Армению 287–
 288
 Разговор о Данте 120, 122 –
 123, 275, 306, 331, 354,
 384
 Реймс – Лаон 374
 "С миром державным я был
 лишь ребячески связан..."
 23, 262
 "С розовой пеной усталости у
 мягких губ..." 222
 "Сегодня дурной день..." 166,
 229
 "Сестры тяжесть и нежность,
 одинаковы ваши приме-
 ты..." 29, 164, 216
 "Смертный, откуда идешь..."
 19
 "Собирались эллины вой-
 ную..." 302
 Соломинка 23, 102, 190, 219,
 260
 "Сохрани мою речь навсегда
 за привкус несчастья и ды-
 ма..." 352
 Стансы ("Я не хочу средь
 юношей тепличных...") 33
 Старый Крым 362
 Стихи о неизвестном солдате
 280 – 281, 320, 380
 Стихотворения (Сб. 1928) 14,
 36, 53, 222, 294, 371
 Сумерки свободы 12, 119
 "Сын Леонида был скуп..."
 107, 163
 "Твое чудесное произно-
 шенье..." 26
 Телефон 27 – 28
 Тетушка и Мирабо 89
 "Улыбнись, ягненок гневный
 с Рафаэлева холста..." 375,
 378
 "Уничтожает пламень..."
 258 – 259
 Фазтонщик 279
 Феодосия 217, 256
 "Флейты греческой тэта и
 йота..." 378
 Франсуа Виллон 24, 121
 Футбол 105 – 106
 "Холодок щекочет темя..."
 256
 Царское Село 29, 201

Черепаша 111, 144 – 145, 151,
214

”Черты лица искажены...” 25,
27

Четвертая проза 32, 298 –
299, 323, 327, 329, 335,
399

”Чуть мерцает призрачная сце-
на...” 202, 302, 306

Шпигун 379

Шум времени 14, 18, 31 –
32, 41, 53, 68, 94, 121, 193,
221, 271

”Эта область в темноводье...”
375 – 376

”Я вздрагиваю от холода...”
164

”Я молю, как жалости и ми-
лости...” 121 – 122, 379

”Я наравне с другими...” 178

”Я не слышал рассказов Осси-
ана...” 200

”Я не увижу знаменитой
”Федры”...” 88

”Я ненавижу свет...” 164

”– Я потеряла нежную ка-
мею...” 372

Notre Dame 257

Tristia (стих-ние) 121, 125,
144, 183, 202, 213, 214

Tristia (Сб. стих-ний) 14,
23, 53 – 54, 68, 83, 101,
111, 140, 200, 209, 236,
238, 371

Составил *Е. Нечепорук*

**ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ
И ЕГО ВРЕМЯ**

*Редактор Г. И. Дзюбенко
Художник Р. М. Сайфулин*

Подписано в печать 5.06.95 г. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,2 + 1,68 печ. л. вклеек. Усл. кр.-отт. 27,3.
Уч.-изд. л. 26,93. Тираж 5 000 экз. Заказ № 412.

Издательство «L'Age d'Homme — Наш дом».

Отпечатано в АО «Типография «Новости».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

